

ф а з и л ь
Искандер

с о б р а н и е



п у т ь и з в а р я г в г р е к и



собрание

фазиль

ИСКАНДЕР

путь из варяг в греки



МОСКВА

2003

ББК 84.7-4

И86

*Издательство выражает благодарность
Александру Леонидовичу Мамуту
за поддержку в издании книги*

Федеральная программа книгоиздания

Макет, оформление, иллюстрации
Валерий Калныньш

ISBN 5-94117-055-6

© Ф. А. Искандер, 2003

© В. Я. Калныньш, 2003

© Издательский дом «Время», 2003



путь из варяг в греки

созвездие козлотура

детство чика

сандро из чегема 1

сандро из чегема 2

сандро из чегема 3

софичка

человек и его окрестности

козы и шекспир

паром

начало

Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, что и мы могли бы позволить себе такого рода отклонения, но не хотим, нам это ни к чему. А может, все-таки хотим?

Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает.

Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнителя мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот, закрепиться в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула.

Правда, в отдельных случаях человеку удастся навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически пьющим.

Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил. Про одного моего знакомого так и говорят: мол, талантливый инженер человеческих душ, губит вином свой талант.

Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь, потому что неблагородно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то по крайней мере не мешай ему.

Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему окружающими людьми.

Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как это ни странно, в самом деле превратили.

Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами передовым для того времени методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному саженцу в ямку, таким образом давая возможность новому, прогрессивному методу и старому проявить себя в свободном соревновании.

Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная эвкалиптовая роща, и уже никак невозможно было различить, где гнездовые посадки, а где одиночные. Тогда говорили, что одиночные саженцы в непосредственной близости от гнездовых, завидуя им Хорошей Завистью, подтягиваются и растут не отставая.

Так или иначе, сейчас, приезжая в родной город, я иногда в жару отдыхаю под нашими, теперь огромными, деревьями

и чувствую себя Взволнованным Патриархом. Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны.

Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний день, когда мы возделывали пустырь, один из ребят обратил внимание остальных на то, как я держу носилки, на которых мы перетаскивали землю. Военрук, присматривавший за нами, тоже обратил внимание на то, как я держу носилки. Все обратили внимание на то, как я держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и повод был найден. Оказалось, что я держу носилки как Отыявленный Лентяй.

Это был первый кристалл, выпавший из раствора, и дальше уже шел деловитый процесс кристаллизации, которому я теперь сам помогал, чтобы окончательно докристаллизоваться в заданном направлении.

Теперь все работало на образ. Если я на контрольной по математике сидел, никому не мешая, спокойно дожидаясь, покамест мой товарищ решит задачу, то все приписывали это моей лени, а не тупости. Естественно, я не пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же я по русскому письменному писал прямо из головы, не пользуясь учебниками и шпаргалками, это тем более служило доказательством моей несправимой лени.

Чтобы оставаться в образе, я перестал исполнять обязанности дежурного. К этому привыкли настолько, что, когда

кто-нибудь из учеников забывал выполнять обязанности дежурного, учителя под одобрительный шум класса заставляли меня стирать с доски или тащить в класс физические приборы. Впрочем, приборов тогда не было, но кое-что тащить приходилось.

Развитие образа привело к тому, что я вынужден был перестать делать домашние уроки. При этом, чтобы сохранить остроту положения, я должен был достаточно хорошо учиться.

По этой причине я каждый день, как только начиналось объяснение материала по гуманитарным предметам, ложился на парту и делал вид, что дремлю. Если учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, но не хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лежа на парте, я внимательно слушал голос учителя, не отвлекаясь на обычные шалости, и старался запомнить все, что он говорит. После объяснения нового материала, если оставалось время, я вызывался отвечать в счет будущего урока.

Учителей это радовало, потому что льстило их педагогическому самолюбию. Получалось, что они так хорошо и доходчиво доносят предмет, что ученики, даже не пользуясь учебниками, все усваивают.

Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, звенел звонок, и все были довольны. И никто, кроме меня, не знал, что только что зафиксированные знания рушатся из моей головы, как рушится штанга из рук штангиста после того, как прозвучит судейское: «Вес взят!»

Для полной точности надо сказать, что иногда, когда я, делая вид, что дремлю, лежал на парте, я и в самом деле погрузился в дремоту, хотя голос учителя продолжал слышаться. Гораздо позже я узнал, что таким или почти таким методом изучают языки. Я думаю, не будет выглядеть слишком нескромным, если я сейчас скажу, что открытие его принадлежит мне. О случаях полного засыпания я не говорю, потому что они были редки.

Через некоторое время слухи об Отъявленном Лентяе дошли до директора школы, и он почему-то решил, что это именно я стащил подзорную трубу, которая полгода назад исчезла из географического кабинета. Не знаю, почему он так решил. Возможно, сама идея хотя бы зрительного сокращения расстояния, решил он, больше всего могла соблазнить лентяя. Другого объяснения я не нахожу. К счастью, подзорную трубу отыскали, но ко мне продолжали присматриваться, почему-то ожидая, что я собираюсь выкинуть какой-нибудь фокус. Вскоре выяснилось, что никаких фокусов я не собираюсь выкидывать, что я, напротив, очень послушный и добросовестный лентяй. Более того, будучи лентяем, я вполне прилично учился.

Тогда ко мне решили применить метод массированного воспитания, модный в те годы. Суть его заключалась в том, что все учителя неожиданно наваливались на одного нерадивого ученика и, пользуясь его растерянностью, доводили его успеваемость до образцово-показательного блеска.

Идея метода заключалась в том, что после этого другие нерадивые ученики, завидуя ему Хорошей Завистью, будут са-

ми подтягиваться до его уровня, как одиночные посадки эвкалиптов.

Эффект достигался неожиданностью массивированного нападения. В противном случае ученик мог ускользнуть или испакостить сам метод.

Как правило, опыт удавался. Не успевала мала куча, образованная массивированным нападением, рассосаться, как преобразованный ученик стоял среди лучших, нагло улыбаясь смущенной улыбкой обесчещенного.

В этом случае учителя, завидуя друг другу, может быть, не слишком Хорошей Завистью, ревниво по журналу следили, как он повышает успеваемость, и, уж конечно, каждый старался, чтобы кривая успеваемости на отрезке его предмета не нарушала победную крутизну.

То ли на меня навалились слишком дружно, то ли забыли мой собственный приличный уровень, но, когда стали подводить итоги работы надо мной, выяснилось, что меня довели до уровня кандидата в медалисты.

— На серебряную потянешь, — однажды объявила классная руководительница, тревожно заглядывая мне в глаза.

Это была маленькая самолюбивая каста неприкасаемых. Даже учителя сами слегка побаивались кандидатов в медалисты. Они были призваны защищать честь школы. Замахнуться на кандидата в медалисты было все равно, что подставить под удар честь школы.

Каждый из кандидатов в свое время собственными силами добивался выдающихся успехов по какому-нибудь из ос-

новых предметов, а уже по остальным его дотягивали до нужного уровня. Включение меня в кандидаты было пока еще тихим триумфом метода массированного воспитания.

На выпускных экзаменах к нам были приставлены наиболее толковые учителя. Они подходили к нам и часто, под видом разъяснения содержания билета, тихо и сжато рассказывали содержание ответа. Это было как раз то, что нужно. Спринтерская усвояемость, отшлифованная во время исполнения роли Отъявленного Лентяя, помогала мне точно донести до стола комиссии благотворительный шепоток подстраховывающего преподавателя. Мне оставалось включить звук на полную мощность, что я и делал с неподдельным вдохновением.

Кончилось все это тем, что я вместо запланированной на меня серебряной медали получил золотую, потому что один из кандидатов на золотую по дороге сорвался и отстал.

Он был и в самом деле очень сильным учеником, но ему никак не давались сочинения и у него была слишком настырная мать. Она была членом родительского комитета и всем надоела своими вздорными предложениями, которые никто не принимал, но все вынуждены были обсуждать. Она даже внесла предложение кормить кандидатов усиленными завтраками, но члены родительского комитета своим демократическим большинством отвергли ее вредное предложение.

Так вот, мальчик этот, готовясь к первому экзамену, составил, чтобы избежать всякой случайности, двадцать сочинений на наиболее возможные темы по русской литературе. Ка-

ждое сочинение он сшил в микроскопический томик с эпиграфом и библиографическим знаком на обложке, чтобы не запутаться. Двадцать лилипутских томов можно было сжать в ладони одной руки.

Он успешно написал свое сочинение, но, видно, переутомился. На следующих экзаменах он, хотя и правильно отвечал, но говорил слишком тихим голосом, а главное, задумывался и, что уже совсем непростительно, вдруг возвращался к сказанному, уточняя формулировки уже после того, как экзаменатор кивнул головой в знак согласия.

Когда экзаменатор или, скажем, начальник кивает тебе головой в знак согласия с тем, что ты ему говоришь, так уж, будь добр, валяй дальше, а не возвращайся к сказанному, потому что ты этим ставишь его в какое-то не вполне красивое положение.

Получается, что экзаменатору первый раз и не надо было кивать головой, а надо было дождаться, пока ты уточнишь то, что сам же высказал. Так ведь не всегда уточняешь. Некоторые могли даже подумать, что, кивнув первый раз, экзаменатор или начальник не подозревали, что эту же мысль можно еще точнее передать, или даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспринципность: мол, и там кивает, и тут кивает.

Сам не замечая того, он оскорблял комиссию, как бы снисходил до нее своими ответами.

В конце концов было решено, что он зазнался за время своего долгого пребывания в кандидатах, и на двух последних экзаменах ему на балл снизили оценки.

Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамы на выпускном вечере. Вернее, не на самом вечере, а перед вечером в раздевалке.

— Негодяй, притворившийся лентяем! — сказала она, увидев меня в раздевалке и одергивая зонтик.

Мне бы промолчать или по крайней мере потерпеть, пока она повесит свой вонючий зонтик.

— Все же он получает серебряную, — сказал я, чувствуя, что мое утешение должно ее раздражать, и, может, именно поэтому утешая.

— Мне серебро даром не надо, — прошипела она и, неожиданно вытянув руку, несколько раз мазнула мне по шее мокрым зонтиком. — Я три года проторчала в комитете!

Она это сделала с такой злостью, словно то, что она мазнула мне по шее зонтиком, ничего не стоит, что, в сущности, шею мою надо было бы перепилить.

— А я вас просил торчать? — только и успел я сказать. Слава Богу, из ребят никто ничего не заметил. Но все равно было обидно. Особенно было обидно, что он был мокрый. Если б сухой, не так было бы обидно.

В тот же год я поехал учиться в Москву, а самую медаль, которую я еще не видел, через несколько месяцев принесли маме прямо на работу. Она показывала ее знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлинности золота.

— Сказал, настоящее, если он не заодно с ними, — рассказывала она мне на следующий год, когда я приехал на каникулы.

Так, доигрывая навязанный мне образ Отъявленного Лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мокрым зонтиком по шее.

И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство.

Года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я дал ему «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла, а он мне — один из разрозненных томов Гегеля, «Лекции по эстетике». Я уже знал, что Гегель — философ и гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной рекомендацией.

Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными, непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля, кроме рационального зерна, немало идеалистической шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, которые я пропускал, скорее всего и содержали эту шелуху.

Вообще я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд возле оазиса. Некоторые мысли его удивили меня высокой точно-

стью попадания. Так, он назвал басню рабским жанром, что было похоже на правду, и я постарался это запомнить, чтобы в будущем по ошибке не написать басни.

Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на Моховой. Я поднялся по лестнице и, следуя указаниям бумажных стрел, вошел в помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди, за некоторыми — довольно юные девушки. На каждом столике стоял плакатик с указанием факультета. У столиков толпились выпускники, томясь и медля перед сдачей документов. В зале стоял гул голосов и запах школьного пота.

За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле этого столика, и тем безудержней я пересек это пространство, как бы выжженное философским скептицизмом.

Я подошел к столику. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня.

— Откуда, юноша? — спросил он голосом, усталым от философских побед.

Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к намеченному диалогу.

— Из Чегема, — сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучестью происхождения. По моему мнению, университет, но-

сящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям.

— Это что такое? — спросил он, едва заметным движением руки останавливая мою попытку положить на стол документы.

— Чегем — это высокогорное село в Абхазии, — доброжелательно разъяснил я.

Пока все шло по намеченному диалогу. Все, кроме радости по поводу моей дремучести. Но я решил не давать сбить себя с толку мнимой холодностью приема. Я ведь тоже преувеличивал высокогорность Чегема, не такой уж он высокогорный, наш милый Чегемчик. Он с преувеличенной холодностью, я с преувеличенной высокогорностью. В конце концов, думал я, он не сможет долго скрывать радости при виде далекого гостя.

— Абхазия — это Аджария? — спросил он как-то рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехватить мою очередную попытку положить документы на стол.

— Абхазия — это Абхазия, — сказал я с достоинством, но не заносчиво. И снова сделал попытку вручить ему документы.

— А вы знаете, какой у нас конкурс? — снова остановил он меня вопросом.

— У меня медаль, — расплылся я и, не удержавшись, добавил: — Золотая.

— У нас медалистов тоже много, — сказал он и как-то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола: то ли

искал внушительный список медалистов, то ли просто пытался выиграть время.

— А вы знаете, что у нас обучение только по-русски? — вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами.

— Я русскую школу кончил, — ответил я, незаметно убирая акцент. — Хотите, я вам прочту стихотворение?

— Так вам на филологический! — обрадовался он и кивнул: — Вон тот столик.

— Нет, — сказал я терпеливо, — мне на философский. — Человек погрустнул, и я понял, что можно положить на стол документы.

— Ладно, читайте, — и он вяло потянулся к документам.

Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков.

*Мне снилось: мертвенно-бессильный,
Почти жилец земли могильной,
Я глухо близился к концу.
И бывший друг пришел к кровати
И, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу!*

— И правильно сделал, — сказал он, подняв голову и посмотрев на меня.

— Почему? — спросил я, оглушенный собственным чтением и еще не понимая, о чем он говорит.

— Не заводите себе таких друзей, — сказал он не без юмора.

Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось.

— Пойду узнаю, — сказал он и, шлепнув мои документы на стол, поднялся, — кажется, на вашу нацию есть разнарядка.

Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи и разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся.

В тот же день я поступил в Библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона.

Если человек из университета все время давал мне знать, что я не дотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат, как слишком крупную для этого института и поэтому подозрительную купюру. Он приглядывался к остальным документам, заглядывал мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и прося в ответ на его сочувствие проявить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу.

— Хорошо, вы приняты, — сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не то утешен-

ный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов.

Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Сейчас Библиотечный институт переименован в Институт культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить вывеску.

Через три года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгодней самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я перешел в Литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней квалификации и стал осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды.

Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрестности города я нашел красивыми, только полное отсутствие гор создавало порой ощущение беззащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или даже спрятаться за нее.

Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают нам возможность перене-

сти оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.

Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши по сравнению с москвичами едят гораздо больше зелени.

Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, — это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.

— Тише! — встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. — Погоду передают.

Все затаив дыхание слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное «тише!», я вздрагивал, думал, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело?

Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно

и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна.

Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное призвание — это открывать и изобретать.

Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в своем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде, я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой.

— Ну как, — говорю я, — что там передают насчет погоды? Ветер с востока?

— Нет, — радостно отвечают москвичи, — ветер юго-западный, до умеренного.

— Ну, если до умеренного, — говорю, — это еще терпимо.

И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности.

Но чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу.

Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста, и я уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я вижу лицо читателя, с выражением добродетельного терпения ждущего, когда я наконец начну про смешное.

Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня все-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьезное я начал говорить нарочно, чтобы потом было еще смешней.

Вообще, я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы сами участники описываемых событий делали, что им заблагорассудится, а я бы сидел в сторонке и только поглядывал на них.

Но чувствую, что пока не могу этого сделать: нет полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку: делай все, что тебе заблагорассудится, мы имеем в виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки, делается еще приятней.

Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать неприятные глупости или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то есть пребывать в унылом бездействии.

Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости:

— Веселее, ребята!

В понимании юмора тоже нет полной ясности.

Однажды на теплоходе «Адмирал Нахимов» я ехал в Одессу. Был чудесный сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабеля.

Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи проносились подо мной, издавая соблазнительный

шорох тающей пены свежего бочкового пива. Но тут ко мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные струи продолжали проноситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены свежего бочкового пива больше не удавалось.

— Простите, — сказал он с понимающей улыбкой, — вы — это вы?

— Да, — говорю, — я это я.

— Я, — говорит он, все так же понимающе улыбаясь, — вас сразу узнал по кольцу.

— То есть по какому кольцу? — заинтересовался я и перестал слушать пену.

— В журнале печатались статьи с вашими портретами, — объяснил он, — где вы сняты с этим же кольцом.

В самом деле, так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со снимками из этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, нестареющим женихом с обручальным кольцом, выставленным вперед, подобно тому, как раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястье с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.

Я уже было совсем собрался поругаться с редакцией за эту рекламу, но тут обнаружилось, что редакция больше не собирается меня печатать, и необходимость выяснять отношения отпала сама собой.

Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа «Детский сад», он прямо-таки стал захлебываться от хохота, что в значительной мере улучшило мое настроение.

Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж смешным, но, если он читателю показался таким, было бы глупо его разуверять в этом. Уподобляясь ему, перескажу содержание рассказа.

Во дворе детского сада росла груша. Время от времени с дерева падали перезревшие плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть, но воспитательница отобрала у него грушу и сказала, что она пойдет на общий обеденный компот. После некоторых колебаний мальчик утешился тем, что его груша пойдет на общий компот.

Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла домой. В руке она держала сетку. В сетке лежала его груша. Мальчик побежал, потому что ему стыдно было встретиться глазами с воспитательницей.

В сущности, это был довольно грустный рассказ.

— Так что же вас так рассмешило? — спросил я у него. Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул рукой: дескать, хватит меня разыгрывать.

— Все-таки я не понимаю, — настаивал я.

— Неужели? — спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно выпуклые глаза.

— В самом деле, — говорю я.

— Так если воспитательница берет грушу домой, представляете, что берет директор детского сада?! — почти выкрикнул он и снова расхохотался.

— При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова не говорится, — возразил я.

— Потому и смешно, что не говорится, а подразумевается, — сказал он и как-то странно посмотрел на меня своими выпуклыми, недоумевающими глазами.

Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно прямо сказать о чем-то, а в каких случаях прямо говорить не смешно. Здесь именно такой случай, сказал он, потому что читатель по разнице в должности догадывается, сколько берет директор, потому что при этом отталкивается от груши воспитательницы.

— Выходит, директор берет арбуз, если воспитательница берет грушу? — спросил я.

— Да нет, — сказал он и махнул рукой.

Разговор перешел на посторонние предметы, но я все время чувствовал, что заронил в его душу какие-то сомнения, боюсь, что творческие планы. Во время нашей беседы выяснилось, что он работает техником на мясокомбинате. Я спросил у него, сколько он получает.

— Хватает, — сказал он и обобщенно добавил: — С мяса всегда что-то имеешь.

Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

— Что тут смешного? — сказал он. — Каждый жить хочет. Это тоже прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, чтобы установить, что имеет директор комбината, но не решился.

Он стал держаться несколько суше. Я теперь его раздражал тем, что открыл ему глаза на его более глубокое понимание смешного, и в то же время сделал это нарочно слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состязаться. В конце пути он сурово взял у меня телефон и записал в книжечку.

— Может, позвоню, — сказал он с намеком на вызов.

Каждый день, за исключением тех дней, когда меня не бывает дома, я закрываюсь у себя в комнате, закладывая бумагу в свою маленькую прожорливую «Колибри» и пишу.

Обычно машинка, несколько раз вяло потявкая, надолго замолкает. Домашние делают вид, что стараются создать условия для моей работы, я делаю вид, что работаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобретаю или, склонившись над машинкой, прислушиваюсь к телефону в другой комнате. Так деревенские свиньи в наших краях, склонив головы, стоят под плодовыми деревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, чтобы вовремя к нему подбежать.

Дело в том, что дочка моя тоже прислушивается к телефону, и если успевает раньше меня подбежать к нему, то ударом кулачка по трубке ловко отключает его. Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лишено смысла.

О многих своих открытиях ввиду их закрытого характера, пока существует враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд ценных наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором.

Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов.

петух

В детстве меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития.

В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья — мать, две взрослые дочери, два взрослых сына — с утра уходила на работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накор-

мить козлят (хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток), к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястребы чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось как представителю хилого городского племени выпивать пару свежих яиц из-под кур, что я и делал добросовестно и охотно.

На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которые неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стену. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание — и я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде.

В доме я нашел две книги: Майн Рида «Всадник без головы» и Вильяма Шекспира «Трагедии и комедии». Первая книга потрясла. Имена героев звучали как сладостная музыка: Морис-мустангер, Луиза Пойндекстер, капитан Кассий Кольхаун, Эль-Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Коваруби де Лос-Льянос.

«Просите прощения, капитан, — сказал Морис-мустангер и приставил пистолет к его виску. — О, ужас! Он без головы! — Это мираж! — воскликнул капитан».

Книгу я прочел с начала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали.

Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах.

Домик, в котором мы жили, стоял на холме, круглосучно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец.

Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные, крикливые птенцы. Их прожорливость могла соперничать только с неутомимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное, стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение — и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы.

Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нарочно давал ему

уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, с остекленевшими глазами.

— Не жилец, — говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню.

Вожакom куриного царства был огромный рыжий петух, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие? Или его бесила моя нерадивость во время нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действовало на него, а главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть.

Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.

Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время ястребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахта и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе и, гневно клопоча, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных шагов в сторону летящей птицы, но, так как

идуший не может догнать летящего, это производило впечатление пустой бравады.

Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур. Порою, вытянув шею, он посматривал в небо: нет ли опасности?

Вот скользнула по двору тень парящей птицы или раздались карканье ворона, он воинственно вскидывает голову, озирается и дает знак быть бдительными. Куры испуганно прислушиваются, иногда бегут, ища укрытое место. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа сожительниц в состоянии нервного напряжения, он подавлял их волю и добивался полного подчинения.

Разгребая жилистыми лапами землю, он иногда находил какое-нибудь лакомство и громкими криками призывал кур на пиршество.

Пока подбежавшая курица клевала его находку, он успевал несколько раз обойти ее, напыщенно волоча крыло и как бы захлебываясь от восторга. Затея эта обычно кончалась насилием. Курица растерянно отряхивалась, стараясь прийти в себя и осмыслить случившееся, а он победно и сыто озирался.

Если подбегала не та курица, которая приглянулась ему на этот раз, он загоразивал свою находку или отгонял ее, продолжая урчащими звуками призывать свою новую возлюбленную. Чаще всего это была опрятная белая курица, хуленькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вы-

тягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности.

Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за ней, но и чувствуя постыдность своего положения, он продолжал бежать, на ходу стараясь сохранять солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение.

Между прочим, нередко призывы пировать оказывались сплошным надувательством. Клевать было нечего, и куры об этом знали, но их подводило извечное женское любопытство.

С каждым днем он все больше и больше нагнел. Если я переходил двор, он бежал за мной некоторое время, чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину охватывает морозец, я все-таки останавливался и ждал, что будет дальше. Он тоже останавливался и ждал. Но гроза должна была разразиться, и она разразилась.

Однажды, когда я обедал на кухне, он вошел и встал у дверей. Я бросил ему несколько кусков мамалыги, но напрасно. Он склевал подачку, но видно было, примиряться не собирается.

Делать было нечего. Я замахнулся на него головешкой, но он только подпрыгнул, вытянув шею наподобие гусака, и уставился ненавидящими глазами. Тогда я швырнул в него головешкой. Она упала возле него. Он подпрыгнул еще выше

и ринулся на меня, извергая петушиные проклятия. Горящий, рыжий ком ненависти летел в меня. Я успел заслониться табуреткой. Ударившись о нее, он рухнул возле меня, как поверженный дракон. Крылья его, пока он вставал, бились о земляной пол, выбивая струи пыли, и обдавали мои ноги холодком боевого ветра.

Я успел переменить позицию и отступал в сторону двери, прикрывшись табуреткой, как римлянин щитом.

Когда я переходил двор, он несколько раз бросался на меня. Каждый раз, взлетая, он пытался, как мне казалось, выключить мне глаз. Я удачно прикрывался табуреткой, и он, ударившись о нее, шлепался на землю. Оцарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табуретку все труднее было держать. Но в ней была моя единственная защита.

Еще одна атака — и петух мощным взмахом крыльев взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно уселся на него.

Я бросил табуретку, несколькими прыжками достиг террасы и дальше — в комнату, хлопнув за собой дверь.

Грудь моя гудела, как телеграфный столб, по рукам лилась кровь. Я стоял и прислушивался, я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись за дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей и стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он звал меня в бой, но я предпочел отсиживаться в крепости. Наконец ему надоело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал.

Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали устраивать ежедневные турниры. Решительного преимущества никто из нас не добивался, мы оба ходили в ссадинах и кровоподтеках.

На мясистом, как ломоть помидора, гребешке моего противника нетрудно было заметить несколько меток от палки: его пышный, фонтанирующий хвост порядочно ссохся, тем более нагло выглядела его самоуверенность.

У него появилась противная привычка по утрам кукарекать, взгромоздившись на перила террасы прямо под окном, где я спал.

Теперь он чувствовал себя на террасе, как на оккупированной территории.

Бои проходили в самых различных местах: во дворе, в огороде, в саду. Если я влезал на дерево за инжиром или за яблоками, он стоял под ним и терпеливо дожидался меня.

Чтобы сбить с него спесь, я пускался на разные хитрости. Так, я стал подкармливать кур. Когда я их звал, он приходил в ярость, но куры предательски покидали его. Уговоры не помогали. Здесь, как и везде, отвлеченная пропаганда легко посямлялась явью выгоды. Пригоршни кукурузы, которую я швырял в окно, побеждали родовую привязанность и семейные традиции доблестных яйценосок. В конце концов являлся и сам паша. Он гневно укорял их, а они, делая вид, будто стыдятся своей слабости, продолжали клевать кукурузу.

Однажды, когда тетка с сыновьями работала на огороде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным

и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке.

Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпуская из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнулся и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч. Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный пружинистый рывок и ударом крыла по лицу оглушил меня на одно ухо. Страх удесятерил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала у меня в ладони, и ощущение было такое, будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешнястые когти шевелились, стараясь дотянуться до моего тела и врезаться в него.

Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках.

Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя на нас из-за ограды. Что ж, тем лучше! Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение. Победенный ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить — набросится, а держать его бесконечно невозможно.

— Перебрось его в огород, — посоветовала тетка. Я подошел к изгороди и швырнул его окаменевшими руками.

Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжелые крылья. Через мгнове-

ние он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился наутек, а из груди моей вырвался древний спасительный клич убегающих детей:

— Ма-ма!

Надо быть или очень глупым, или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился.

Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался на мне, насадно хрипя от кровавого наслаждения. Вероятно, петух продолбил бы мне позвоночник, если бы подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру петух вышел из кустов притихший и опечаленный.

Промывая мои раны, тетка сказала:

— Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его зажарим.

На следующий день мы с братом стали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротой страуса. Он перелетел в огород, прятался в кустах, наконец забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Казалось, он хотел мне сказать: «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек ему голову. Тело петуха запрыгало и забилося, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и... скучно.

Впрочем, обед удался на славу, а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали.

Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боев давно прошла, а воевать с людьми — пропащее дело.

рассказ о море

Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить — неизвестно. Воспитывали коллективно. Дом наш всегда был полон всякими двоюродными братьями и сестрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных деревень поступать в школы и техникумы и, поступая, проходили сквозь наш довольно тусклый дом, как сквозь тоннель. Среди них было немало забавных и интересных людей, некоторых я любил, но море мне все-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему, когда только мог.

Летом море было ежедневным праздником. Бывало, только выйдем с ребятами со двора, а уже какое-то радостное волнение окрыляет шаги — быстреей, быстреей! Через весь город бежали на свидание с морем.

Конец улицы упирался в серую крепостную стену. За стеной — море. Крепость как бы пытается закрыть от города море, но это ей плохо удается. Запах моря, всегда мощный и све-

жий, спокойно и даже насмешливо проходит сквозь каменную преграду.

Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он догадается даже в полный штиль: за стеной живет что-то могучее и прекрасное, и не успокоится, пока не прикоснется к нему.

До революции крепость была тюрьмой, а еще раньше она была собственно крепостью. Из крепости легко сделать тюрьму, а из тюрьмы можно сделать крепость. Среди обломков сохранилась камера, где, говорят, сидел Серго Орджоникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутского уезда.

Сквозь приплюснутое узкое оконце он смотрел вдаль, как танкист в смотровую щель. Оконце позволяло смотреть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, который должен смотреть в одну сторону, или ничего не видит, или видит больше тех, кто вынудил его смотреть в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок моря, перечеркнутый железными прутьями, он смирился бы или сошел с ума. Но он видел больше и потому победил.

Обо всем этом мы тогда не думали. Мы проходили через крепостной двор, всегда вкусно пахнущий жареной рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. Белье, развешанное на веревках, плотно надувалось ветром, близость моря не давала ему покоя, пеленки подражали парусам.

И наконец, море! Огромное и неожиданное, оно врывается в глаза и обдавало стойкой соленой свежестью. Обычно

не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в теплую, ласковую воду.

Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул мне, что видел в одном месте в море золотые монеты. Поклявшись никому не говорить об этой тайне, мы расстались до следующего дня. Ночью я плохо спал: ворочался, вскакивал, никак не мог дожждаться рассвета. Чуть забрезжило, я встал и на цыпочках выскользнул из дому. Мы встретились у старой крепости. Говорили почему-то шепотом, хотя кругом на полкилометра простирался пустынный пляж. Было по-утреннему зябко, вода тихо плескалась у ног. Мы взобрались на мокрый от утренней сырости обломок крепостной стены и осторожно переползли к его краю. Легли на живот и стали глядеть. Через некоторое время товарищ мой ткнул пальцем в воду. Свесив голову, замирая от волнения, я вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очертания дна. Но он очень хотел, чтобы я увидел монеты. И я наконец увидел их. Как бы колыхаясь, они таинственно поблескивали сквозь толщу воды. Разглядеть их можно было в короткое мгновение, когда одна волна уже пробежала, а другая еще не подошла.

Мы разделись и начали нырять. Вода еще была очень холодная: дело происходило в апреле или в начале мая. Я несколько раз нырнул, но до дна не достал. Не хватало дыхания, и уши сильно болели.

Я тогда еще не знал, что нырять нужно под углом, а не вертикально, как это я делал. Нырять под углом, проходишь боль-

шее расстояние до дна, зато идти легко, а главное — уши при-
выкают к давлению и не болят.

Каждый раз я почти доныривал до дна, казалось, только протяни руку — и схватишь монеты, но меня обманывала прозрачность воды. Наконец мне пришлось в голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже нырнуть за счет инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без труда донырнул до дна. Схватив монеты вместе с горстью песка, я с силой оттолкнулся и вынырнул. Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял другую руку. Песок стыдливими струйками стекал с ладони, а на ладони моей блестели две металлические пробки, которыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания трезво пи-
ривала, устроившись на этой каменной глыбе. Дорого же нам обошелся этот нарзанный пир! С трудом продев одеревеневшие руки и ноги в одежду, мы долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись. Море подшутило над нами.

Я люблю это место. Здесь можно было часами жариться, лежа на скале, лениво следя за дымящими теплоходами или парящими парусниками. В камнях водились крабы, мы их ловили, натывая на заостренный железный прут. Море в этих местах наступает на берег: можно заплыть и метрах в двадцати от берега нащупать ногами ржавый обломок стены, неподвижно стоять на нем по грудь в воде, легким движением рук удерживая равновесие.

Я люблю это место. Здесь я когда-то научился плавать, и здесь же я чуть не утонул. Обычно любишь места, где пе-

режил большую опасность, если она не результат чьей-то подлости.

Я хорошо запомнил день, когда научился плавать, когда я почувствовал всем телом, что могу держаться на воде и что море держит меня. Мне, наверное, было лет семь, когда я сделал это великолепное открытие. До этого я барахтался в воде и, может быть, даже немного плавал, но только если я знал, что в любую секунду могу достать ногами дно.

Теперь это было совсем новое ощущение, как будто мы с морем поняли друг друга. Я теперь мог не только ходить, видеть, говорить, но и плавать, то есть не бояться глубины. И научился я сам! Я обогатил себя, никого при этом не ограбив.

Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены, через него перекачивались легкие волны. Я доплывал до него, ложился плашмя и отдыхал. Это было похоже на путешествие на необитаемый остров. Впрочем, остров был не такой уж необитаемый. С набегающей волной иногда выплескивался краб, неуклюже забегал за край скалы и, высовываясь из-за камня, следил за мной злыми, хозяйскими глазами. Если глядеть в глубину, можно было заметить каких-то серебристых мальков, которые неожиданно проносились, вспыхивая как искры, выбитые из головешки.

Иногда я ложился на спину и, когда волна перекачивалась через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий.

Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающих легко было узнать по неестественно белым телам или

искусственно темному загару. На вершине каменной глыбы, громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу — вернее, делала вид, что читает, точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней на корточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и черных, как дельфинья спина. Он ей что-то говорил. Девушка, иногда откидывая голову, смеялась и щурилась не то от солнца, не то оттого, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и зубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашка парня. Он ей все время приятно мешал читать. Я следил за ними со своего островка и, хоть ничего не понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень иногда поворачивал голову и мельком глядел в сторону моря, как бы призывая его в свидетели. Он глядел весело и уверенно, как подобает человеку, у которого все хорошо и еще долго будет все хорошо. Мне было приятно их видеть, и я вздрагивал от смутного и сладкого сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое.

От долгого купания я продрог, но, не успев как следует отогреться на берегу, снова лез в воду. Я боялся, что чудо не повторится и я не смогу удержаться на воде.

До скалы и обратно — раз. До скалы и обратно — два, до скалы и обратно... И вдруг я понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская

соль, холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу, я услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку.

Не знаю почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал, возможно, язык отнимался от страха. Но мысль работала ясно. Оттого, что я не мог кричать, было страшно, как это бывает во сне, и я с отчаянной жадностью ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой грустной мыслью я опять погрузился в воду, она казалась мутной и равнодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с удесятенной отчетливостью слышались голоса людей. И тем обидней было тонуть у самого берега.

Второй раз я вынырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели, и теперь совсем близко увидел туфлю парня, черную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком.

Я даже разглядел металлический наконечник на шнурке. Я вспомнил, что такие наконечники на моих ботинках часто почему-то терялись и концы шнурков делались пушистыми, как кисточки, и их трудно было продеть в дырочки на ботинках, и я ходил с развязанными шнурками, и меня за это ругали. Вспоминая об этом, я еще больше пожалел себя.

В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою сторону и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом напоминает меня.

«Это я, я! — хотелось крикнуть мне. — Я проплывал мимо вас, вы должны меня вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо; я боялся, что волнение и страх так исказили его, что парень меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней, и я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной.

Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. От радости и от тепла, постепенно разливавшегося по телу, хотелось тихо и благодарно скулить. Но я не только не благодарил, но молча и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что мое спасение не стоит его намокшей одежды, и старался оправдаться серьезностью своего положения.

— Надо сделать искусственное дыхание, — раздался голос девушки надо мной.

— Сам очухается, — ответил парень, и я услышал, как хлюпнула вода в его туфле.

Что такое искусственное дыхание я знал и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склоненное надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими, выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб, рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь.

— Трави, травы, — сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку.

Рубашка потемнела, но у самого ворота была белой, как и раньше: туда вода не доставала. Когда он заговорил, я понял, что расплаты за причиненный ущерб не будет. Я сосредоточился и «стравил»: было приятно, что у меня в животе столько воды. Ведь это означало, что я все-таки по-настоящему тонул.

— Будешь теперь заплывать? — спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую рубашку.

Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался нарядным.

— Не буду, — охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить.

— Напрасно, — сказал парень и еще туже закрутил рубашку.

Я решил, что это необычный взрослый и действовать надо необычно.

Я встал и, шатаясь, пошел к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и девушка держала в руках свою ненужную, наконец закрытую книгу. Я лег на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло разогретых камней.

Так он и ушел навсегда со своей девушкой, ушел, мимоходом вернув мне жизнь.

тринадцатый подвиг геракла

Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно.

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность.

И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, а тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, — сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего был.

Звали его Харламий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его

перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервнрует школьников. На самом деле, нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами.

К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.

Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было невысказано. Это было все равно что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.

Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из горно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.

Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбежали с урока, то это был, как правило, урок пения.

Бывало, только входит наш Харламий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не сти-

хийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а Харламий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харламий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.

Ученик мнетя, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь понезаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика — редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опоздании, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.

Харламбий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Например:

— Принц Уэльский.

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харламбий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.

Большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.

Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.

Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.

Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:

— Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.

Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.

— Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.

Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.

— Авдеенко думает, что он лебедь, — поясняет Харлампий Диогенович. — Черный лебедь, — добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, угрюмое лицо Авдеенко. — Сахаров, можете продолжать, — говорит Харлампий Диогенович.

Сахаров садится.

— И вы тоже, — обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. — Если, конечно, не сломаете

шею... черный лебедь! — твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно.

Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.

Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, — не лентяй, не лоботряс, не хулиган, просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.

И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.

Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать,

сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.

В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное из-за вредителей, ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле.

Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плошай.

Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.

И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:

— Ну, как задача?

— Ничего, — говорит он, — решил.

При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.

— Как решил, ведь ответ неправильный?

— Правильный, — кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженное, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневать-

ся, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих: хвататься руками за воздух.

Оказывается, в это время в дверях появился Харламий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер.

Харламий Диогенович прошел на место.

Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харламий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым меня вызовет.

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал Алик, потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.

Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый оставался таким, каким был.

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка — держать руки на промокашке, от чего я его никак не мог отучить.

— Гитлер капут, — шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче.

Между тем Харламий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрой.

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.

— Кто дежурный? — неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку.

Дежурного не оказалось, и Харламий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока он стирал, Харламий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорей кончил свое нудное протирание. Наконец староста сел.

Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь и в дверях появились доктор с медсестрой.

— Извините, это пятый «А»? — спросила доктор.

— Нет, — сказал Харламий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие

может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б», он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.

— Извините, — сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешкав, закрыла дверь.

Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома.

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов.

И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.

— Можно, я им покажу, где пятый «А»? — сказал я, обнаглев от страха.

Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.

— Покажите, — сказал Харламбий Диогенович и слегка приподнял брови.

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.

Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.

— Я покажу вам, где пятый «А», — сказал я. Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.

— А нам что, не будете делать? — спросил я.

— Вам на следующем уроке, — сказала докторша, все так же улыбаясь.

— А мы уходим в музей на следующий урок, — сказал я несколько неожиданно даже для себя.

Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно.

Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой.

На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта Хижина Дореволюционного Бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.

— А мы вас не пустим, — сказала докторша шутливо.

— Что вы, — сказал я, начиная волноваться, — мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей.

— Значит, организованно?

— Да, организованно, — повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей.

— А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, — сказала она и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.

— Но ведь нам сказали сначала в пятый «А», — заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.

Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.

— Какая разница, — сказала докторша и решительно повернулась.

— Мальчику не терпится испытать мужество, да?

— Я малярик, — сказал я, отстраняя личную заинтересованность, — мне уколы делали тыщу раз.

— Ну, малярик, веди нас, — сказала докторша, и мы пошли.

Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом.

Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как

будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли.

«Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.

— Молодец, Алик, — сказал я тихо Комарову, — такую трудную задачу решил.

Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.

— Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харлампий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать. Авдеенко, на место, — кивнул он Шурику.

Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.

Класс заволновался, но Харлампий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным.

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.

— Ну, кто из вас самый смелый? — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.

Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.

— Будем вызывать по списку, — сказал Харламий Диогенович, — потому что здесь сплошные герои. Он раскрыл журнал.

— Авдеенко, — сказал Харламий Диогенович и поднял голову.

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.

Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол.

Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.

Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.

Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.

— Отвернись и не смотри, — говорил я ему.

— Я не могу отвернуться, — отвечал он затравленным шепотом.

— Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, — подготавливал я его.

— Я худой, — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, — мне будет очень больно.

— Ничего, — отвечал я, — лишь бы в кость не попала иголка.

— У меня одни кости, — отчаянно шептал он, — обязательно попадут.

— А ты расслабься, — говорил я ему, похлопывая его по спине, — тогда не попадут.

Спина его от напряжения была твердая, как доска.

— Я и так слабый, — отвечал он, ничего не понимая, — я малокровный.

— Худые не бывают малокровными, — строго возразил я ему. — Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.

У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.

К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у не-

го есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего.

После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.

— «Скорую помощь!»! — закричал я. — Побегу позвоню!

Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.

Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.

— Даже не почувствовал, — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.

— Молодец, малярик, — сказала докторша.

Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».

— Еще потрите, — сказал я, — надо, чтобы лекарство разошлось.

Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.

Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный лекарства. Ученики сиде-

ли, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.

— Откройте окно, — сказал Харламий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.

Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.

— Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, — сказал он и остановился. Щелк, щелк — перебрал он две бусины справа налево. — Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, — добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.

«Смотри, чего захотел», — подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалющую мифологию, может быть, и можно подправлять, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.

— Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, — продолжал Харламий Диогенович, — и это ему отчасти удалось.

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы

сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.

— Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости... — Харлампий Диогенович задумался и прибавил: — Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг...

Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.

Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.

— ...Мне кажется, я догадываюсь, — проговорил он и посмотрел на меня.

Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху вlepилось в спину.

— Прошу вас, — сказал он и жестом пригласил меня к доске.

— Меня? — переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.

— Да, именно вас, бесстрашный малярник, — сказал он. Я поплелся к доске.

— Расскажите, как вы решили задачу, — спросил он спокойно, и — щелк, щелк — две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.

Я смотрел краем глаза на доску, пытаюсь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.

— Мы вас слушаем, — сказал Харлампий Диогенович, не глядя на меня.

— Артиллерийский снаряд, — сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.

— Дальше, — проговорил Харлампий Диогенович, вежливо выждав.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаюсь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.

В классе раздался сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни

за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.

— Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? — спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством.

Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.

— Да, — быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.

— Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, — сказал Харлампий Диогенович, но класс уже и так смеялся.

Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который, хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.

Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружили во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.

Звонок, как погребальный колокол, прорвался сквозь хохот класса. Харламий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.

С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.

Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся, и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.

Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.

Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харламия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувст-

во, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.

мой дядя самых честных правил...

Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своими знаменитыми родичами, я молчал, я давал им высказаться.

Военные проходили по высшей категории. Но и среди военных была своя особая, подсказанная мальчишеским воображением субординация. На первом месте были пограничники, на втором — летчики, на третьем — танкисты, а потом остальные. Пожарники проходили вне конкурса.

Тогда еще не было войны, а у меня, как назло, ни один родственник не служил в армии. Но я имел свой особый козырь, которым пользовался довольно успешно.

— А у меня дядя сумасшедший, — говорил я спокойным голосом, отодвигая на некоторое время слишком реальных героев своих товарищей. Сумасшедший — это необычно, а главное, почти недоступно. Летчиком и пограничником можно стать, если хорошо учиться, — так, по крайней мере, утверждали взрослые. А они, конечно, знали что к чему. А сумасшедшим не станешь, будь ты самым что ни на есть отличником. Конечно, если не заучиться. Но нам это не грозило.

Одним словом, сумасшедшим надо родиться, или в детстве удачно упасть, или заболеть менингитом.

— А он настоящий? — спрашивал кто-нибудь из ребят недоверчиво.

— Конечно, — говорил я, ожидая этого вопроса. — У него справки есть, его смотрели профессора.

Справки вправду были, они лежали у тетки в швейной машинке «Зингер».

— А почему он не в сумасшедшем доме живет?

— Его бабушка туда не пускает.

— А вы не боитесь его по ночам?

— Нет, мы привыкли, — говорил я спокойно, как экскурсовод, ожидая следующих вопросов. Иногда задавали глупые вопросы, вроде того, не кусается ли он, но я оставлял их без внимания.

— А ты не сумасшедший? — догадывался кто-нибудь спросить, глядя на меня пронизательными глазами.

— Немножко могу, — говорил я со скромным достоинством.

— Интересно, кто победит: Фран-Гут или сумасшедший? — бросал кто-нибудь, и сразу же возникали десятки интересных предположений. Фран-Гут был знаменитым борцом из проезжего цирка шапито. Он был негр, и поэтому мы все за него болели.

Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и остальной родней. Существовали две фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное состояние. По первой из них получалось, что это случилось с ним в детстве после болезни. Это была неинтересная и потому

маловероятная версия. По второй, которую распространяла тетка и в конце концов заглашала бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скакуна.

Тетя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим.

— Он не сумасшедший, — говорила она, — он душевнобольной.

Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила приукрашивать действительность, и это ей отчасти удавалось. Но все-таки он был настоящий сумасшедший, хотя и почти нормальный.

Обычно он никого не трогал. Сидел себе на скамеечке на балконе и пел песенки собственного сочинения. В основном это были романсы без слов.

Правда, иногда на него находило. Он вспоминал какие-то старые обиды, начинал хлопать дверьми и бегать по длинному коридору второго этажа. В таких случаях лучше было не попадаться ему на глаза. Не то чтобы он обязательно чего-нибудь натворил, но все же лучше было не попадаться. Если при этом бабушка оказывалась дома, она его довольно быстро приводила в себя. Бабка заворачивала ему ворот рубахи и бесцеремонно подставляла его голову под кран. После хорошей порции холодной воды он успокаивался и садился пить чай.

Словарь его, как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат. Вытряхните на стол тетрадь второ-

классника — там будут все слова, которыми дядюшка обходился при жизни. Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно: «Удушю мать».

Говорил он в основном по-абхазски, но ругался на двух языках: по-русски и по-турецки. По-видимому, в память они ему врезались по степени накала. Отсюда можно заключить, что русские и турки в минуту гнева выдают выражения примерно одинаковой эмоциональной насыщенности.

Как все сумасшедшие (и некоторые несумасшедшие), он был очень сильным. Дома он выполнял всякую работу, не требующую большой сообразительности. Сливал помои, таскал свежую воду, когда еще не было водопровода, приносил базарные сумки, колол дрова. Работал добросовестно и даже вдохновенно. Когда мощная струя помоев, описав крутую траекторию со второго этажа, глухо шлепалась в яму, бродячие кошки, возившиеся в ней, взлетали, как бы подброшенные взрывной волной.

Бабушка его жалела, она считала, что он может надорваться на работе. Иногда, в дни генеральной уборки, она насильно укладывала его в постель и объявляла, что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, и он лежал растерянный и несколько смущенный мистификацией. В конце концов

ему надоедало лежать, и он пытался подняться, но бабушка снова заталкивала его в постель. Заставить работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал плечами и говорил: «Бабушка не разрешает». Он бабушку называл бабушкой, хотя она ему была мамой. Такой уж он был, со странностями.

Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детям, всегда его ставили в пример. Я с тех пор, как увижу слишком чистоплотного человека, не могу избавиться от мысли, что у него в голове не все в порядке. Я, понятно, ему об этом не говорю, но так, для себя, имею в виду.

Словом, дядя был ужасно чистоплотным. Бывало, не подходи, когда он тащит свежую воду или сумку с провизией или садится есть. А уж руки мыл каждые десять-пятнадцать минут. Его за это ругали, потому что он протирал полотенце, но отучить не могли. Бывало, пожмет ему кто-нибудь руку, он тут же бежит к умывалке. Взрослые часто потешались над этим и нарочно здоровались с ним по многу раз на день. Из какого-то такта дядя Коля не мог не подать руки, хотя и понимал, что его разыгрывают.

Больше всего на свете он любил сладости, из всех сладостей — воду с сиропом. Если нас посылали с ним на базар и мы проходили мимо ларька с фруктовыми водами, он, обычно не склонный к сантиментам, трогал меня рукой и, показывая на цилиндрики с разноцветными сиропами, застенчиво говорил: «Коля пить хочет».

Приятно было угостить взрослого седоглавого человека сладкой водичкой и чувствовать себя рядом с ним челове-

ком пожившим, добрым и снисходительным к детским слабостям.

А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие ему доставляли не так уж часто. Примерно раз в месяц. Иногда его посылали в парикмахерскую, но чаще его брила сама тетка.

Бритье он воспринимал серьезно. Сидел не морщась и не шевелясь, пока тетка немилосердно скребла его намыленную, горделиво приподнятую голову. В такие минуты можно было из-за теткиной спины показывать ему язык, грозить кулаком, он не обращал никакого внимания, погруженный в парикмахерский кейф. И это несмотря на то, что борода и особенно волосы на голове, как бы возросшие на целинных землях, густо курчавились и отчаянно сопротивлялись бритве. Иногда тетка просила меня подержать ему ухо или натянуть кожу на шею. Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю недоступность такого удовольствия в обычных условиях. С несколько преувеличенным усердием я держал его большое смуглое ухо, заворачивая его в нужном направлении и рассматривая шишки мудрости на его голове.

Обычно похожий на добродушного пасечника с курчавой бородой, после бритья он резко менялся: лицо его принимало брезгливо-надменное выражение римского сенатора из учебника по истории древнего мира. В первые дни после бритья он становился замкнутым и даже высокомерным, потом постепенно римский сенатор уходил в глубь бороды и выступал добродушный демократизм деревенского пасечника.

Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, проходя мимо памятника в городском сквере, он испытывал некоторое возбуждение и, кивая на памятник, говорил: «Это я». То же самое повторял, увидев портрет человека, поданный крупным планом в газете или журнале. Ради справедливости надо сказать, что он за себя принимал любое изображение мужчины в крупном плане. Но так как в этом виде почти всегда изображался один и тот же человек, это могло быть понято как некоторым образом враждебный намек, опасное направление мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась отучить его от этой привычки, но ничего не получалось.

— Нельзя, нельзя, комиссия! — грозно говорила бабушка, тыкая пальцем в портрет и отлучая дядю от него, как нечистую силу.

— Я, я, я, — отвечал ей дядя радостно, постукивая твердым ногтем по тому же портрету. Он ничего не понимал.

Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых мне казались просто глупыми.

Комиссии дядя действительно боялся. Дело в том, что соседи, исключительно из человеколюбия, время от времени писали анонимные доносы. Одни из них указывали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и что он должен жить в сумасшедшем доме, как и все нормальные сумасшедшие. Другие писали, что он целый день работает и надо проверить, нет ли здесь тайной эксплуатации человека человеком.

Примерно раз в год являлась комиссия. Пока члены ее опасно подымались по лестнице, тетя успевала надеть на него новую праздничную рубашку, давала ему в руки бабушкины четки и грозным шепотом приказывала ему сидеть и не двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом, извинялись и задавали тетке необходимые вопросы, время от времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. Тетя извлекала из зингеровской машинки дядины документы.

— У него золотой характер, — говорила она. — А физический труд ему полезен. Об этом сам доктор Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер воды принесет от скуки, вот и все.

Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки, и глядел прямым немигающим взглядом деревенской фотографии.

Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившись и осмелев, спрашивал у дяди:

— Нет ли жалоб?

Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю.

— Он у нас плохо слышит, — говорила тетя с таким видом, как будто это был его единственный недостаток.

— Жалобы, говорю, есть? — громче спрашивал тот.

— Батум, Батум... — задумчиво, сквозь зубы цедил дядя. Он начинал злиться на всю эту комедию, потому что про Батум он вспоминал в минуты крайнего раздражения.

— Ну, какие у него могут быть жалобы? Он шутит, — говорила тетя, очаровательно улыбаясь и провожая комиссию до порога. — Он у меня живет как граф, — добавляла она крепнувшим голосом, глядя в спину уходящей комиссии. — Если бы некоторые эфиопки смотрели за своими мужьями, как я за своим инвалидом, у них не было бы времени сочинять армянские сказки.

Это был вызов двору, но двор, притаившись, трусливо молчал.

После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали и тетя назло соседям посылала его за водой. Гремя ведрами, он радостно бросался в путь, явно предпочитая коммунальным фокусам свое древнее занятие водоноса.

Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не знаю, как насчет остальных, но в нелюбви к детям отчасти виноват и я.

За многие годы я хорошо изучил все его наклонности, привязанности, слабости. Любимым занятием моим было дразнить его. Шутки порой бывали жестокими, и я теперь в них каюсь, но сделанного не вернешь. Единственное, что в какой-то мере утешает, это то, что и мне от него доставалось немало тумачков.

Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне. Бабушка возится у плиты, рядом дядя на скамеечке, а я сижу на кушетке и читаю какую-нибудь книгу. Потрескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. В конце концов этот

тихий, сумасшедший уют начинает надоедать. Я все чаще откладываю книгу и смотрю на дядю. Дядя смотрит на меня, потому что знает, что рано или поздно я должен выкинуть какую-нибудь штучку. И так как он знает это и ждет, я не могу удержаться.

Простейший способ нарушить его спокойствие — это долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начинает ерзать на стуле, потом опускает глаза и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем он думает. Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, смотрю я или нет. Я продолжаю смотреть. Я даже занимаю спокойную, удобную позу. Она должна внушить ему, что смотреть на него я намерен долго и это не составляет для меня большого труда. Он начинает беспокоиться и вполголоса говорит:

— Этот дурачок меня дразнит.

Он не хочет раньше времени подымать ненужный шум. Он говорит для меня. Он как бы репетирует передо мной свою будущую жалобу.

Я продолжаю упорно смотреть. Бедняга отворачивается, но ненадолго. Ему хочется узнать, продолжаю ли я смотреть. Я, конечно, смотрю. Тогда он прикрывает глаза ладонью. Но и это не помогает. Ему хочется узнать, оставил ли я его в покое в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони и смотрит в щелочку. Я гляжу как ни в чем не бывало. Тогда разражается скандал.

— Он смотрит на меня, я его убью! — кричит дядюшка, и злые огни вспыхивают в его глазах. Я мгновенно отвожу

взгляд на книгу, а потом подымаю голову с видом человека, неожиданно оторванного от своих мирных занятий.

— Что же, ему глаза выколоть, что ли? — говорит бабушка и, дав ему легкий подзатыльник, советует не смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так его раздражает.

Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутками, он сам дает подзатыльники, хватая полено или кочергу, и тогда наступает страшная минута. Особенно если нет рядом бабушки или взрослых сильных мужчин. «Боженька, — шепчу я про себя, — спаси на этот раз, и тогда я никогда в жизни не буду его дразнить. И буду всегда тебя любить и даже вместе с бабушкой тебе молиться. Вот увидишь, ты только спаси». Но видно, я не слишком надеюсь на боженьку, тем более что каждый раз его подвожу. Несмотря на страх, сознание работает быстро и четко. Бежишь, если дядя еще не отрезал путь к дверям. Но если бежать уже невозможно, единственное спасение — неожиданно подойти к нему и, низко наклонившись, подставить голову: бей. Это довольно жуткая минута, потому что перед тобой вооруженный безумец, да еще в ярости.

Но, видно, эта жалкая поза, эта полная покорность судьбе его обезоруживают. Какое-то врожденное благородство его останавливает от удара. Он мгновенно гаснет. Бывало, только оттолкнет брезгливо и отойдет, в недоумении пожимая плечами на то, что люди могут быть такими дерзкими и такими жалкими одновременно.

Однажды я прочитал замечательную книжку, где шпион притворился глухонемым, но потом его разоблачили,

потому что он во сне заговорил по-немецки. Один наш контрразведчик нарочно выстрелил над его головой, но он даже не вздрогнул. Он был сильной личностью. Но во сне он переставал быть сильной личностью, потому что спал. И вот он заговорил по-немецки, а мальчик его разоблачил. Другой мальчик тоже слышал, как шпион говорит во сне, но не мог его разоблачить, потому что плохо занимался по-немецки и не понял, по-какому тот говорит. Но главное не это. Главное, что шпион притворялся глухонемым.

Мысль моя сделала гениальный скачок: я понял, что дядя мой совсем не сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет. Но и это препятствие я быстро опровернул. Его подменили, догадался я. Сумасшедший дядя был, но шпионы изучили его повадки и словечки, и в один прекрасный день дядю выкрали, а вместо него подсунули шпиона. А брезгливым он притворяется нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил.

Я вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он что-то записывал на листках бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он тщательно прятал. Я, конечно, заглядывал в них, но раньше они мне казались каракулями неграмотного человека. Здорово же он нас обманывал! А удочки!

Дядя иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не было бы ничего странного, ведь и нормальные люди увлекаются

рыбной ловлей. Но дело в том, что на удочке его не было крючков. А мы еще смеялись над ним. Может быть, внутри удилица был тайный радиоприемник и он передавал сведения вражеской подводной лодке?

Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в «Пионерской правде» большой заголовок: «Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны!»

Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами:

«С некоторых пор пионер такой-то (то есть я) стал тихим и грустным. Его близорукие родители (то есть мои родители) считали, что он заболел. На самом деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпиона, который долгое время выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг. Но пионер не растерялся. Это была борьба нервов». И дальше в таком же духе и даже еще лучше.

Первым делом надо было выкрасть удочку и проверить ее. Она лежала у дяди под кроватью. К постели своей он меня близко не подпускал, все из той же якобы брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда его послали за водой, вытащил удилице из-под кровати, взял напильник и тайком, в огороде, стал распиливать суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но удилице оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обратил внимание на то, что самое первое звено у основания удилица не имело естественной перегородки, она была проломана, и туда можно было просунуть палец. Все ясно! Он туда просовывает

свой приемничек, а потом вынимает и прячет. Ну и хитрец! Я закопал удилице в огороде и стал обдумывать, что делать дальше.

Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка. Но вот тетка ушла из дому по своим делам, бабушка вышла на двор посидеть в холодке, а я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и, глядя через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я пошел в кухню и сел против него за стол. Главное, решил я, напор и неожиданность. Он думает, что начну дразнить, а на самом деле...

— Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг, — сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам на поверхности газированной воды.

Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг. Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых читал, в том числе сам майор Пронин.

— Отстань, — сказал дядя мне в ответ тем тоскливым голосом, каким он говорил, когда чувствовал, что я начинаю его дразнить, а у него не было охоты связываться со мной.

Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Железный человек», — подумал я, восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту минуту.

— Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали, — великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова

приходили точные и крепкие, они вселяли уверенность в правоте дела.

— Мальчик сумасшедший, — сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения. Он всегда меня называл мальчиком, как будто у меня не было своего имени.

«Увиливает, шельма», — подумал я, задыхаясь от вдохновения, и решил, что пора намекнуть ему кое на что.

— Рыбка не клюет? — спросил я, проникательно улыбаясь и глядя ему в глаза. — Море волнуется или удочка не годится?

— Удочка? — повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло подобие мысли.

— Вот именно, удочка, — сказал я, поняв, что ухватился за то самое звено, при помощи которого можно, не слишком громыхая, вытащить и всю цепь.

— Моя удочка? — повторил он, начиная что-то соображать.

— Вы попались на свою удочку, подполковник! — сострил я и, откинувшись на стуле, стал ждать, что будет дальше.

— Удочка, удочка, удушю мать! — пробормотал он в сильном волнении и, что-то окончательно себе уяснив, ринулся к дверям.

— Ни с места! — крикнул я. — Дом оцеплен!

— Батум! — крикнул он и побежал в комнату.

Я немного растерялся. Вместо того чтобы с достоинством сдать и сказать: «На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант...», он побежал искать удочку, как будто это имело какое-нибудь значение.

Через несколько минут он влетел в комнату, и все перепуталось.

— Украл удочку! — кричал он в ярости, пытаясь схватить меня.

— Добровольное признание облегчит вашу участь! — кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приемом английской разведки.

— Вор! Удочка! Удушю мать! — кричал он, возбуждаясь от схватки.

— Назовите сообщников! — орал я в ответ, срезая угол стола. В этом было мое спасение, потому что тормозить он не умел и, промахиваясь, пробегал мимо. Все-таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол или ткнуть кулаком вдогонку.

Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но, когда один бьет, а другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьет.

В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы закричал:

— Бабушка!

Она и так уже подымалась по лестнице. Видимо, грохот нашей схватки был слышен во дворе. Увидев ее, бедняга бросился к ней и стал оправдываться. Кстати, это ему почти никогда не удавалось. Нормальному человеку и то трудно оправдаться, а уж такого и слушать никто не хочет.

— Удочка, удочка, — лепетал он, растеряв от волнения и те немногие слова, которые знал.

И вдруг я почувствовал к нему жалость, я как-то понял, что никогда в жизни он не сможет толком оправдаться. А ведь я и в самом деле испортил ему удочку. Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости не хватило. И не только смелости. Я знал, что взрослые привыкли в таких случаях считать его виноватым, и догадывался, что им будет неприятно менять свою удобную привычку и принимать во внимание более сложные соображения.

Я сказал, что он на меня напал, но побить все же не успел. Это был примиренческий выход, к сожалению, самый распространенный.

В связях с иностранной разведкой я его больше не подозревал.

Как я ни откладывал, но теперь придется рассказать о его великой любви, которую он, к сожалению, никак не мог скрыть от окружающих. Он был влюблен в тетю Фаину. Об этом знали все, и взрослые смачно толковали о его страсти, мало озабоченные тем, что их слушают не вполне подготовленные дети.

Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно ее, самую замызанную, самую конопатую, самую глупую из женщин нашего двора. Я далек от утверждения, что среди них можно было найти Суламифь или Софью Ковалевскую. Но все-таки он выбрал самую некрасивую и самую глупую. Может быть, он чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен?

Тетя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей поручали перешивать старые вещи, детские рубашонки, трусы и всякую мелочь.

— Оборочки, манжеттики, — говорила она, суетливо обмёривая заказчика сантиметром и стараясь казаться настоящим мастером.

Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда и ничего не давали, в счет будущих заказов.

— Спасибо, Фаиночка, сочтемся, — говорили ей при этом.

— За спасибо хлеба не купишь, — отвечала она, горестно усмехаясь с некоторой долей отвлеченной обиды в голосе, как бы обижаясь не на заказчиков, а на тех, кто не продает хлеб за спасибо.

В свободное от работы время, а иногда и одновременно с работой тетя Фаина ругалась со своей ближайшей соседкой, одинокой молодой женщиной неопределенных занятий. Звали ее тетя Тамара. Иногда вечерами к ней в гости приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, а тетя Тамара им подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали. Соседки не любили тетю Тамару, но побаивались ее.

— Она дерется как мужчина, — говорили они.

Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело в том, что они обе были рыжие. А рыжие между собой никогда не уживаются, тем более по соседству. Они терпеть друг друга не могут.

— Рыжая команда! — бывало кричит тетя Тамара, стоя у бельевой веревки, увешанная прищепками, как пулеметными лентами.

— Ты сама рыжая, — отвечает тетя Фаина вполне справедливо.

— Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета, — усмехается тетя Тамара.

— К тебе матросы ходят, — нервничает тетя Фаина.

— Интересно, кто к тебе пойдет? — ехидно говорит тетя Тамара.

— У меня муж есть, — доказывает тетя Фаина, — все знают моего мужа, он честный человек.

— Начхала я на твоего мужа, — как-то обидно говорит тетя Тамара и, развесив белье, удаляется в комнату.

Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. Как я теперь понимаю, это была самая бескорыстная и долговечная любовь из всех, которые я встречал в своей жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину крылатым или сумасшедшим, была обеспечена ему от рождения.

Ему ничего не надо было от любимой, только находиться поблизости, видеть ее крымские веснушки цвета свежей барабульки и слышать ее голос профессиональной плакальщицы.

Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он усаживался рядом и смотрел на нее томными глазами.

— И за что только он меня так любит? — говорила она, если у нее было хорошее настроение.

Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты тети Фаины была кухонная пристройка, собственно говоря, базарный ларечек, купленный по дешевке ее мужем. Целыми днями она возилась в этой кухоньке, время от времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто куда прошел, и стараясь

угадать у соседок по выражению их лиц, не дают ли где-нибудь дефицитных товаров. Когда она выглядывала оттуда, вид у нее был какой-то испуганный, как будто она боялась, что, пока она возится с обедом, может упустить что-то важное для жизни или кто-нибудь ее просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы, которая увлеченно что-то клюет, а потом вдруг вспомнит про опасность, быстро подымает голову и осторожно озирается.

Так вот, дядя обычно подходил к этой кухоньке с тыльной стороны и, наклонившись к фанерной стене, следил за ней в щелочку. Он ничего не мог увидеть, кроме ее стряпни, но, видимо, этого ему было достаточно. Так он мог стоять часами и наблюдать за ней, пока она не выходила из себя и не кричала тете через весь двор:

— Скажите ему, что у меня есть муж, он опять за мной ухаживает!

Тетя гнала его домой и ругала, правда, больше для виду. Застигнутый на месте преступления, бедняга чувствовал постыдность своей страсти и, проходя мимо тети, неопределенно пожимал плечами, показывая, что это сильнее его.

— Купите ему воду с двойной сироп, и пусть он успокоится, — советовала тетя Фаина.

Но, видимо, вода с двойным сиропом была слишком слабым утешением. Через час или два дядя сбегал из-под надзора бабушки и снова проникал в заветный уголок.

Вечером, когда приходил с работы муж тети Фаины, она рассказывала ему о своих дневных горестях, не забывая

и дядю. Муж ее был косоглазый сапожник, мирный и добрый человек.

— Я люблю, когда все тихо. Моя жена никому не мешает, — говорил он полугромко, так, чтобы никто не обижался, но было видно, что он защищает свою жену. При этом он затыкал или замазывал замазкой очередную дырочку, пробитую дядей в кухонной стене.

Взрослые часто говорили об этой необычной любви. Видимо, для многих из них она сама по себе была достаточно ненормальным признаком.

Говорили при нем, думая, что он ничего не понимает. Но я уверен, что тут он догадывался, о чем идет речь. В такие минуты я замечал в глазах его выражение страдания и стыда, замечал мелкое дрожание губ, а иногда невольный протестующий жест рукой. Как будто он хотел сказать: отстаньте, как вам не стыдно!

Он любил ее до конца своих дней, так ни разу не удостоившись внимания своей жестокой возлюбленной.

Умер дядя вскоре после бабушки. Он по ней очень скучал и все спрашивал, куда она уехала, хотя она умерла при нем. О смерти ее он быстро забыл, но о жизни помнил, потому что эта жизнь окружала его безумие человеческой теплотой и любовью. Ведь неразумных детей матери любят сильнее — они больше других нуждаются в их защитной любви.

Тетя потом говорила, что перед самой смертью к дяде пришла ясность ума, как будто судьба на мгновение решила ему показать, каково быть в здравом рассудке. И это вдвойне же-

стоко, потому что такой короткой вспышки могло хватить только на то, чтобы ощутить всю бесчеловечность перехода из одной пустоты в другую.

Но я думаю, что тете это только показалось. Она любила, чтобы все было красиво, а для этого ей приходилось многое преувеличивать.

Сейчас я жалею, что ничего хорошего ему в жизни не успел сделать. Разве что угощал его сладкой водичкой да в баню с ним ходил. Он очень любил мыться. В бане он ничем не отличался от остальных посетителей и только больше других стеснялся, каким-то библейским жестом руки стараясь прикрыть свою наготу.

Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем. Мы идем в деревню. Это километров двенадцать от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя, мы едва за ним поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемоданы, а за спиной самовар. Начало лета. Еще не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упругий морской ветерок, дорожной сладостью новизны охлаждающий грудь. Бабушка попыхивает сигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость этого маленького путешествия.

Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пенье его было простым и радостным, как пенье птиц.

запретный плод

По восточному обычаю в нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые и детям строго-настрого запрещали. Хотя другая заповедь Магомета — относительно алкогольных напитков — нарушалась, как я теперь понимаю, безудержно, по отношению к свинине не допускалось никакого либерализма.

Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со сморщенными шкурками и крапчатыми разрезами. Я представлял, как сдираю с них кожуру и вонзаю зубы в сочную пружинистую мякоть. Я до того ясно представлял себе вкус этой колбасы, что, когда попробовал ее позже, даже удивился, настолько точно я угадал его фантазией.

Конечно, бывали случаи попробовать свинину еще в детском саду или в гостях, но я никогда не нарушал принятого порядка.

Помню, в детском саду, когда нам подавали плов со свининой, я вылавливал куски мяса и отдавал их своим товарищам. Муки жажды побеждались сладостью самоотречения. Я как бы чувствовал идейное превосходство над своими товарищами. Приятно было нести в себе некоторую загадку, как будто ты знаешь что-то такое, недоступное ок-

ружающим. И тем сильнее я продолжал мечтать о греховном соблазне.

В нашем дворе жила медсестра. Звали ее тетя Соня. Почему-то все мы тогда считали, что она доктор. Вообще, взрослея, замечаешь, как вокруг тебя дяди и тети постепенно понижаются в должностях.

Тетя Соня была пожилой женщиной с коротко остриженными волосами, с лицом, застывшим в давней скорби. Говорила она всегда тихим голосом. Казалось, она давно поняла, что в жизни нет ничего такого, из-за чего стоило бы громко разговаривать.

Во время обычных в нашем дворе коммунальных баталий с соседями она свой голос почти не повышала, что создавало дополнительные трудности для противников, так как часто, недослышав ее последних слов, они теряли путеводную нить скандала и сбивались с темпа.

Наши семьи были в хороших отношениях. Мама говорила, что тетя Соня спасла меня от смерти. Когда я заболел какой-то тяжелой болезнью, она с мамой дежурила возле меня целый месяц. Я почему-то не испытывал никакой благодарности за спасенную жизнь, но из почтительности, когда они об этом заговаривали, как бы радовался тому, что жив.

По вечерам она часто сидела у нас дома и рассказывала историю своей жизни, главным образом о первом своем муже, убитом в гражданскую войну. Рассказ этот я слышал много раз и все-таки замирал от ужаса, когда она доходила

до того места, когда среди трупов убитых ищет и находит тело своего любимого. Здесь она обычно начинала плакать, и вместе с нею плакали моя мама и старшая сестра. Они принимались ее успокаивать, усаживали пить чай или подавали воды.

Меня всегда поражало, как быстро после этого женщины успокаивались и могли весело и даже освеженно болтать о всяких пустяках. Потом она уходила, потому что должен был вернуться с работы муж. Звали его дядя Шура.

Мне очень нравился дядя Шура. Нравилась черная кудлатая голова с чубом, свисающим на лоб, опрятно закатанные рукава на крепких руках, даже сутулость его. Это была не конторская, а ладная сутулость, которая бывает у старых рабочих, хотя он не был ни старым, ни рабочим.

Вечерами, приходя с работы, он вечно что-нибудь чинил: настольные лампы, электрические утюги, радиоприемники и даже часы. Все эти вещи приносились соседями и чинились, разумеется, бесплатно.

Тетя Соня сидела по другую сторону стола, курила и подтрунивала над ним в том смысле, что он берется не за свое дело, ничего не получится и тому подобное.

— А посмотрим, как это не получится, — говаривал дядя Шура сквозь зубы, потому что у него во рту была папироса. Он легко и уверенно повертывал в руках очередную починку, на ходу сдувая с нее пыль, и вдруг заглядывал на нее с какого-то совсем неожиданного бока.

— А вот так вот и не получится, осрамишься, — отвечала тетя Соня и, пуская изо рта надменную струю дыма, угрюмо запахивалась в халат.

В конце концов ему удавалось завести часы или в приемнике возникали трески, обрывки музыки, а он подмигивал мне и говорил:

— Ну что? Получилось у нас или нет?

Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что я тут ни при чем, но ценю то, что он берет меня в свою компанию.

— Ладно, ладно, расхвастался, — говорила тетя Соня, — убирай со стола, будем чай пить.

Все же в голосе ее я улавливал тайную, глубоко скрытую гордость, и мне приятно было за дядю Шуру, и я думал, что он, наверное, не хуже того героя гражданской войны, которого никак не может забыть тетя Соня.

Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла моя сестра, и они оставили ее пить чай. Тетя Соня накрыла стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало, предлагали и мне, но я неизменно и твердо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя чая, который я начал пить, от возмущения затвердела у меня в глотке, и я с трудом ее проглотил.

— Вот видишь, — сказал дядя Шура. — Эх, ты, монах.

Что я мог сказать? Она ела свой бутерброд с какой-то бессовестной деликатностью, поглядывая на меня бессмысленными глазами. Она делала вид, что ест официально, только из уважения к хозяевам. Своим бессмысленным взглядом она старалась мне внушить, что это не всерьез и вообще не считается.

«Нет, считается!» — со злобным торжеством думал я, глядя, как бутерброд в ее руке мучительно уменьшается.

Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и по тому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного гяурским лакомством, и по тому, как она глотала каждый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. Неровно нарезанные ломти сала были тоньше с того края, где она откусывала. Вернейший признак того, что она получала удовольствие, потому что все нормальные дети, когда едят, оставляют напоследок лучший кусок. Одним словом, все было ясно.

Теперь она подбиралась к краю бутерброда с самым толстым куском сала, планомерно усиливая блаженство. При этом она с чисто женским коварством рассказывала про то, как брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться на его поведение. Рассказ ее имел двоякую цель: во-первых, отвлечь внимание от того, что сама она сейчас делала, и, во-вторых, тончайшим образом польстить мне; так как всем было известно, что на меня жаловаться учительница

не приходила и тем более у меня не было причин бегать от нее в окно.

Рассказывая, она поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я следить за ней или, увлеченный ее рассказом, забыл про то, что она сейчас делает. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращивала глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару.

В какое-то мгновение мне показалось, что возмездие наступило: сестра поперхнулась. Она начала осторожно откашливаться. Я заинтересованно следил, что будет дальше. Дядя Щура похлопал ее по спине, она покраснела и перестала откашливаться, показывая, что средство помогло, а неловкость ее была не такой уж значительной. Но я чувствовал, что кусок, который застрял у нее в горле, все еще на месте... Делая вид, что порядок восстановлен, она снова откусила бутерброд.

«Жуй, жуй, — думал я, — посмотрим, как ты его проглотить».

Но, верно, боги решили перенести возмездие на другое время. Сестра благополучно проглотила этот кусок, по-видимому, она даже затолкала им тот, предыдущий, потому что облегченно вздохнула и даже повеселела. Теперь она особенно вдумчиво жевала и после каждого куска так долго облизывала губы, что отчасти просто показывала мне язык.

Она дошла до края бутерброда с самым толстым куском сала. Прежде чем отправить его в рот, она откусила не прикрытый салом краешек хлеба. Таким образом, она усиливала впечатление от последнего куска.

И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не осталось.

Все это длилось не так долго, как я рассказываю, и внешне было почти незаметно. Во всяком случае, дядя Шура и тетя Соня, по-моему, ничего не заметили.

Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. До этого я отказался от печенья, чтобы страдать до конца и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности.

Словом, настроение было испорчено, и я, как только выпил чай, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен.

— Мне надо уроки делать, — сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями.

Особенно просила сестра. Она была уверена, что дома я первым делом наябедничаю, к тому же она боялась одна ночью переходить двор.

Придя домой, я быстро разделся и лег. Я был погружен в завистливое и сладостное созерцание отступничества сестры. Странные видения проносились у меня в голове. Вот я красный партизан, попавший в плен к белым, и они заставляют меня есть свинину. Пытают, а я не ем. Офицеры удивляются, качают головами, что за мальчик? А я сам себе удивляюсь — но не ем, и все. Убивать убивайте, а съесть не заставляйте.

Но вот скрипнула дверь, в комнату вошла сестра и сразу же спросила обо мне.

— Лег спать, — сказала мама, — что-то он скучный пришел. Ничего не случилось?

— Ничего, — ответила она и подошла к моей постели. Я боялся, что она сейчас начнет уговаривать меня и все такое прочее. О прощении не могло быть и речи, но мне не хотелось мельчить состояние, в котором я находился. Поэтому я сделал вид, что сплю. Она постояла немного, а потом тихонько погладила меня по голове. Но я повернулся на другой бок, показывая, что и во сне узнаю предательскую руку. Она еще немного постояла и отошла. Мне показалось, что она чувствует раскаянье и теперь не знает, как искупить свою вину.

Я слегка пожалел ее, но, видно, напрасно. Через минуту она что-то полушепотом рассказывала маме, и они то и дело начинали смеяться, стараясь при этом не шуметь, якобы заботясь обо мне. Постепенно они успокоились и стали укладываться.

На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидались его. В последнее время у него что-то не ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным.

До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я почувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятней, чем разоблачить.

Она то бледнела, то вспыхивала. Порой надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп.

— Ну, конечно, — сказал я, — она вчера так наелась у дяди Шуры...

— А что ты ела? — спросил брат, как всегда ничего не понимая.

Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп. Я вошел во вкус. Я переложил ей из своей тарелки вареную луковицу. Вареный лук — это кошмар детства, мы все его ненавидели. Мать строго и вопросительно посмотрела на меня.

— Она любит лук, — сказал я. — Правда, ты любишь лук? — ласково спросил я у сестры.

Она ничего не ответила, только еще ниже наклонилась над своей тарелкой.

— Если ты любишь, возьми и мой, — сказал брат и, поймав ложкой лук из своего супа, стал перекладывать в ее тарелку. Но тут отец так посмотрел на него, что ложка остановилась в воздухе и трусливо повернула обратно.

Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил кусок хлеба пяточками огурца из салата и стал есть, деликатно покусывая свой зеленый бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я считал, что очень остроумно восстановил картину ее позорного падения. Сестра поглядывала на меня с недоумением, словно не узнавая этой картины и не признавая, что она была такой уж позорной. Дальше этого ее протест не подымался.

Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель шантажировала, а порок опускал голову. После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. Особенно радовалась сестра. Щеки у нее разрумянились, глаза так и полыхали. Она стала рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло. Меня слегка коробило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с ее прошлым мог бы вести себя поскромней, не выскакивать вперед, а подождать, пока ту же историю расскажут более достойные люди. Я уже хотел было произвести небольшую эк-

зекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей.

Надо сказать, что в те довоенные годы тетради было так же трудно достать, как мануфактуру и некоторые продукты. А это были лучшие гляцевые тетради с четкими красными полями, с тяжелыми прохладными листиками, голубоватыми, как молоко.

Тетрадей было всего девять штук, и отец роздал их нам поровну, каждому по три. Я почувствовал, что настроение у меня начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью.

Дело в том, что я хорошо учился, иногда бывал даже отличником. Среди родственников и знакомых меня выдавали даже за круглого отличника, может быть, для того, чтобы уравновесить впечатление от нездоровой славы брата.

В школе он считался одним из самых буйных лоботрясов. Способность оценивать свои поступки, как сказал его учитель, у него резко отставала от темперамента. Я представлял себе его темперамент в виде маленького хулиганистого чертика, который все время бежит впереди, а брат никак не может его догнать. Может быть, чтобы догнать его, он с четвертого класса мечтал стать шофером. Каждый клочок бумаги он заполнял где-то вычитанным заявлением:

«Директору транспортной конторы.

Прошу принять меня на работу во вверенную Вам организацию, так как я являюсь шофером третьего класса».

Впоследствии ему удалось осуществить эту пламенную мечту. Вверенная организация дала ему машину. Но оказалось, чтобы догнать свой темперамент, ему приходится мчаться с недозволенной скоростью, и в конце концов ему пришлось менять свою профессию.

И вот меня, почти отличника, приравняли к брату, который, начиная с последней страницы, будет заполнять эти прекрасные тетради своими дурацкими заявлениями. Или с сестрой, которая вчера уплетала сало, а сегодня получает ничем не заслуженный подарок.

Я отодвинул от себя тетради и сидел, насупившись, чувствуя, как тяжелые, а главное, унижительные слезы обиды перехватывают горло. Отец утешал, уговаривал, обещал повезти рыбачить на горную реку. Но ничего не помогало. Чем сильнее меня утешали, тем сильнее я чувствовал, что несправедливо обойден.

— А у меня две промокашки! — неожиданно закричала сестра, раскрывая одну из своих тетрадей. Это было последней соломинкой. Может быть, не окажись у нее этой лишней промокашки, не случилось бы того, что случилось.

Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу:

— Она вчера ела сало...

В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. То ли неясно выразился, то ли слишком близко оказались великие предначертания Магомета и маленькое желание овладеть чужими тетрадями.

Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухших век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону.

— Она вчера ела сало у дяди Шуры, — сказал я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается.

В следующее мгновение отец схватил меня за уши, потрянул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей.

— Сукин сын! — крикнул отец. — Еще предателей мне в доме не хватало!

Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверь, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забывают змею.

Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу. Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на мои уши, восторженно орал:

— Наш отличник!

Я очень любил отца, и он впервые меня наказал.

С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделался от этого счастливей.

Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами она ни прикрывалась.

детский сад

Он был расположен на нашей улице совсем недалеко от нашего дома. Первое время, когда я скучал по дому, я подходил к решетчатым воротам и смотрел на темно-кирпичный двухэтажный дом с балкончиками на втором этаже. Было приятно убедиться, что он стоит на месте.

Обычно на балконе сидела тетя и, покуривая папиросу, переговаривалась через улицу с соседями — учила их жить.

Сначала ходить туда было неохота. Хотел избавиться, но не знал как. Однажды мимо нашего дома, весело провыв сиреной, промчалась пожарка. «Детский сад горит!» — закричал я и бросился к окну. Все рассмеялись. Я не понимал почему. Потом оказалось, что пожар совсем в другом месте.

Но с годами, как говорится, я к нему привык и в конце концов полюбил. Это было старенькое одноэтажное здание, облепленное со всех сторон флигельками, похожими на избышки из детских сказок. Наверное, в нем было тесно, но мы тогда этого не замечали.

Посреди двора был прорыт большой котлован. Мы знали, что здесь будет новое здание детского сада. Но строили в те

годы слишком медленно, а мы росли слишком быстро, и было ясно, что не успеем пожить в новом здании. Но это нас не огорчало, пользовались тем, что было.

Бросали негашеную известь в канаву с водой. Булькало и шипело. Шел дым. Запах индустриализации щипал ноздри.

Однажды кто-то бросил в канаву котенка. Помню его мордочку, судорожно вытянутую над водой, и огромные замученные глаза. Такие глаза потом, взрослым, я встречал у актрис и у женщин, во что бы то ни стало решивших считать себя несчастными.

В этой же канаве мы запускали бумажные кораблики с бумажными парусами. Кораблики неподвижно стояли на воде. Внезапно, уловив движение воздуха, быстро пересекали канаву.

Мы не придавали игре большего значения, чем она стоила. Бумажные кораблики были бумажными корабликами, и ничем больше. Это потому, что рядом было настоящее море и по нему ходили настоящие корабли.

Лёсик был бледный, застенчивый мальчик. Обычно он молча стоял рядом с нами, не принимая участия в наших играх.

Однажды он вынул из кармана сережку и, краснея от стыда, протянул ее мне.

— Кораблик, — сказал он, стараясь понравиться.

Я понял, что он ничего не понимает. Я спрятал сережку и постарался отвлечь его великолепным каскадом остроум-

ных выдумок. Лёсик порозовел от удовольствия. Я сделал королевский жест и подарил ему свой кораблик. Показал, как дуть в паруса, и предупредил ребят, чтобы его не трогали.

Я ему хотел еще подарить морскую пуговицу с якорем, но он уже вошел в азарт, и я решил, что сейчас правильной будет не отрывать его от коллектива.

Почему-то я знал, что надо делать с сережкой. На углу рядом с детским садом стоял старик, с лицом небритым и морщинистым, как старая кора. Под стеклом лотка, как рыбы в аквариуме, горели малиновые леденцы. Старик продавал леденцы. Возможно, это был последний частник на нашей земле.

Мы с товарищем, выбрав удобный момент, пролезли в пролом ограды и побежали к этому лотошнику.

Хочется попутно рассказать о моем товарище, о нашей дружбе, вероятно, довольно странной. Во всяком случае, нетипичной.

Он жил со мной в одном дворе, и мы вместе ходили в детский сад. Я сейчас не называю его имени, потому что мне не хочется подрывать его авторитет.

Дело в том, что он теперь стал прокурором. Но я тогда этого не знал и сейчас со стыдом признаюсь, что я в те годы над ним тиранствовал.

Вообще-то, мне кажется, все нормальные дети так или иначе проходят, можно сказать, тираническую стадию развития. У одних она проявляется по отношению к животным, у других — к родителям. А у меня по отношению к то-

варищу. Я думаю, что настоящие, взрослые тираны — это те, кто в детстве не успел побыть хоть каким-нибудь тиранчиком.

Дело не ограничивалось тем, что, когда его родителей, а главное, бабки не было дома, я не вылезал из сахарницы. Но главное — халва.

Отец моего друга работал одно время на каком-то сказочном предприятии, где готовили халву. У нас говорят: кто варит мед, хоть палец, да облизнет. В доме бывала халва.

Она стояла на буфете. Она высилась над тарелкой как горная вершина, или, точнее, Вершина Блаженства, прикрытая, как облаком, белоснежной салфеткой. Ровная, гладкая стена с одной стороны, крутые спуски, опасные трещины и сладостные осыпи — с другой. Я вонзал в нее вилку, как альпеншток. Я с хрустом отваливал великолепные куски, попутно выколупывая ядрышки ореха, как геолог ценные породы.

Но пойдём дальше. Выкладываться, так уж до конца. Страшно признаться, но я его вынуждал воровать деньги у отца. Это бывало редко, но бывало. Конечно, деньги не ахти какие, но на леденцы хватало. Бедняга пытался остаться на стезе добродетели, но я с какой-то сатанинской настойчивостью загонял его в такой угол, откуда только один выход: или деньги на бочку, или клеймо маменькиного сыночка.

Возможно, именно в те годы я заронил в его душу прокурорскую мечту о вечной справедливости и правопорядке.

И все-таки я его очень любил.

После работы родители часто ходили с ним гулять. Такой постыдно нарядный, тщательно промытый симпатяга между сияющими родителями.

О, с какой ревностью и даже ненавистью я следил за ними, чувствуя, что меня обкрадывают! Каналья все понимал, но делал вид, что его силком тащат, а он ни при чем. Но я-то видел, как ноги его пригарцовывали от радости.

Случалось, что мы ссорились. Я думаю, что эти дни для него были вроде каникул. А я мучился. Я пускал в ход всю свою изобретательность, подсылал знакомых ребят и не успокаивался до тех пор, пока нас не примиряли.

Правда, внешне все выглядело так, как будто обе стороны пришли к взаимовыгодным соглашениям. Политика!

Однажды, после особенно длительной ссоры, нас примирили. Я, не сдержавшись, проявил такую буйную радость, что выглядел неприлично даже с точки зрения не особенно щепетильного детского кодекса.

Ради справедливости надо сказать, что я был сильнее и нередко защищал его от задиристых ребят с нашей улицы. Склонности разрешать уличные конфликты при помощи кулаков он и тогда не проявлял. Видно, как чертовски далеко он смотрел.

Можно сказать, напротив, он полагался не столько на руки, сколько на ноги. Бегал как олененок.

Это потому, что он был худеньким и нервным ребенком. Не знаю, отчего он был нервным (нельзя же сказать, что я

его настолько задержал), но худеньким он был оттого, что его пичкали едой. И как многие дети хорошо обеспеченных родителей, он рос в неодолимом отвращении к еде.

К тому же, в виде дополнительной нагрузки, он еще был единственным ребенком.

У меня все было проще. Я не был единственным ребенком и никогда не страдал отсутствием аппетита. Не помню, как насчет материнского молока, но всякую другую еду принимал с первобытной радостью.

Этим я не хочу сказать, что меня в отличие от товарища держали в черном теле или я вырос в сиротском приюте. Ничего подобного. Кусок хлеба с маслом в моей руке не был такой уж редкостью. Но все дело в том, какой слой масла на этом хлебе. Вот в чем штука.

Теперь я понимаю, что родители его отчасти терпели меня из-за моего аппетита.

Когда мой друг впадал в очередную гастрономическую хандру, меня призывали на помощь в качестве аппетитчика или заразительного примера. Я охотно отзывался на такие призывы.

Обычно на стол подавала бабка, вынужденная примириться с моим присутствием под влиянием более могущественных сил. Легко представить, как она меня ненавидела, хотя бы по такому примеру. Однажды после легкого набега, когда мы, как обычно, через форточку выходили из его квартиры, она появилась во дворе. По нашим расчетам, она должна была появиться гораздо позже.

От волнения, уже наполовину высунувшись, я застрял в форточке. Можно сказать, что дух мой уже был на свободе, а сам я висел на форточке в состоянии какого-то дурацкого равновесия. Вот так вот, покачиваясь, я смотрел на нее сверху вниз, а она на меня снизу. Я чувствовал, что ее особенно раздражает, как проявление дополнительного нахальства, то, что я продолжаю висеть. Но вот она вышла из оцепенения, открыла дверь, и, как я вслепую ни отбивался ногами, та часть тела, которая оказалась недостаточно сухопарой, порядочно пострадала. В конце концов я вывалился, оставив у нее в руках кусок штанов, как ящерица оставляет хвост.

Но ей этого было мало. Только я дома рассказал довольно правдоподобную историю о том, как злая соседская собака напала на меня на улице, а мама приготовилась идти устраивать скандал, как появилась бабка, держа в руке проклятый трофей.

Она, конечно, все выложила, и мама, побледнев от гнева, уставив грозный перст на несчастный клочок, спросила:

— Откуда это?

В глубинах ее голоса kloкотал призывок закипающей лавы.

— Не знаю, — сказал я.

Мне тогда крепко досталось, так как ко всем своим проделкам я еще лишил ее удовольствия поговорить с соседкой начистоту. У них были свои счеты.

Так вот, эта самая бабка обычно подавала нам обед. Мне она накладывала не особенно густо, как бы для за-

травки основного мотора. Но я не давал себя провести и быстро съедал свою неполноценную порцию, пока мой друг ковырялся в какой-нибудь котлете, вяло шлепая губами, потрескивая накрахмаленным панцирем салфетки и поглядывая на меня тоскливыми глазами вырождающегося инфанта.

Бабка начинала нервничать и в сотый раз рассказывала жалкий анекдот про одного мальчика, который плохо ел, а потом заболел чахоткой. Внук вяло внимал, а дело двигалось медленно. У меня же, наоборот, чересчур успешно.

— Чай не на пожар? — спрашивала бабка ехидно.

— А я всегда так кушаю, — отвечал я неуязвимо.

Проглотив последний кусок, я глядел на нее с видом отличника, который первым решил задачу и еще хочет решить, была бы только потрудней. Чтобы оправдать истраченное, ей приходилось давать мне добавку. По лицу ее расплывались красные пятна, и она тихонько шипела внуку:

— Ешь, холера, ешь. Посмотри, как улетает этот волчонок.

Внук смотрел мне в рот с какой-то бесплотной завистью и продолжал мямлить. Златые горы, которые обычно обещались на третье, не производили на него никакого впечатления.

Но стоило бабке выйти из комнаты на минуту, как он перебрасывал мне что-нибудь из своей тарелки. После этого он оживлялся и доедал все остальное довольно сносно. Сознание, что бабка обманута (не особенно поощрительное для бу-

дущего прокурора), вдохновляло его. А вдохновение, видно, необходимо и в еде.

Бабка чувствовала, что дело нечисто, но была рада, что он все-таки ест хоть так.

После такого обеда мне хотелось посидеть, поблагодарить, но бабка бесцеремонно выдворяла меня.

— Наелся, как бык, и не знает, как быть, — говорила она, — давай, давай.

Я не обижался, потому что никогда не был особенно высокого мнения о ее гостеприимстве. Удаляясь с видом маленького доктора, я говорил:

— Если что, позовите.

— Ладно, ладно, — бурчала бабка, выпуская меня за дверь, испытывая (я это чувствовал) неодолимую потребность дать мне подзатыльник.

Однако я сильно отвлекся — вернемся к леденцам.

Выскочив из детского сада, мы с товарищем осторожно подходим к лотку. Под стеклом простирается заколдованное царство сладостей. Беззвучно кричат петухи, беззвучно лопочут попугаи, и подавно безмолвствуют рыбы. Большая лиса, льстиво изогнувшись, так и застыла рядом с явно пограничной собакой, бдительно наострившей уши.

В этом маленьком раю животные жили мирно. Никто никого не кусал, потому что все сами были сладкими.

Мы с товарищем иногда покупали леденцы, а чаще просто стояли возле лотка, глядя на все это богатство. Обычно старик, звали его дядя Месроп, не давал нам долго задерживаться.

— Проходи дальше, — говорил он и таращил глаза. Может быть, ему было жалко, что мы бесплатно пожираем глазами его леденцы, а может быть, мы ему просто надоедали.

Зато когда он бывал под хмельком, мы устраивали ему концерт. Пели в основном две песни: «Цыпленок жареный» и «Там в саду при долине». Песни разбирали Месропа. Бог знает, что он вспоминал! Толстые щеки его багровели, глаза делались красными.

— Пропал, Месроп, пропал, — говорил он и сокрушенно бил себя ладонью по лбу.

Мне самому эти песни нравились. Особенно вторая. Потрясали слова: «И никто не узнает, где могилка моя». Я ее понимал почему-то не как песню бездомного сиротки, а как песню последнего мальчика на земле. Никого-никого почему-то не осталось на всем белом свете. И вот один-единственный мальчик сидит на крыше маленького домика, смотрит на заходящее солнце и поет: «И никто не узнает, где могилка моя». Ну кто же мог узнать, если все, все умерли, а он остался один. Ужасно тоскливо.

Дядя Месроп звучно сморкался и выдавал нам по петушку. Это были мои первые и, как я теперь понимаю, самые радостные гонорары. К сожалению, он бывал готов к восприятию нашего пения реже, чем хотелось бы.

И вот мы с товарищем стоим перед лотком. Я вынимаю из кармана сережку и протягиваю Месропу. Я знаю, что он сейчас спросит, и потому приготовился отвечать.

Осторожно ухватив толстыми пальцами золотую сережку с водянисто-прозрачным камушком внутри, дядя Месроп подносит ее к лицу и долго рассматривает.

— Где воровал? — спрашивает он, продолжая глядеть на сережку.

— Нашел, — говорю я. — Играл возле канавы и нашел.

— Дома украл? Халам-балам будет, — говорит он, не слушая меня. — Месропу хватит свой халам-балам.

— Нашел, — старался я пробиться к нему, — халам-балам не будет.

— Как не будет! — горячится он. — Украл — халам-балам будет. Мама-папа халам-балам! Милиция — большой халам-балам будет!

— Не будет милиция, не будет халам-балам, — говорю я. — Я нашел, нашел, а не украл.

Лицо у Месропа озабоченное. Он достает большой грязный платок и протирает сережку. Камушек сверкает, как капелька росы. Продолжая бурчать, он заворачивает сережку в платок и запирает ее узелком. Платок осторожно всовывает во внутренний карман.

И вот открывается лоток. Волосатая рука Месропа достает двух петушков, потом, немного помешкав, добавляет двух попугаев.

— Халам-балам будет, — говорит Месроп, не то сожалея, не то оправдываясь, и передает мне увесистый пучок леденцов.

Я делюсь с товарищем, мы бегом огибаем угол и вот уже снова в саду. Прячась за стволом старой шелковицы, жадно

обсасываем леденцы. Привкус чего-то горелого придает им особую приятность. Леденцы делаются все тоньше и тоньше. Сначала малиновые, потом красные, потом розовые и прозрачные, с отчетливой, в маленьких ворсинках палочкой внутри. Когда леденцы кончились, мы тщательно обсосали палочки. Они тоже были вкусными. К сладости примешивался смолистый аромат сосны.

На следующий день я снова встречаюсь с Лёсиком и острожно навещаю, нет ли у него еще таких корабликов. Он радостно выворачивает карманы и подает мне всякую чепуху, явно не имеющую меновой стоимости.

Конечно, я понимал, что совершил проступок: взял у него взрослую вещь. Но угрызений совести почему-то не чувствовал. Я только боялся, как бы его родители не кинулись искать сережку.

И все-таки возмездие меня покарало.

Во дворе нашего сада стояло несколько старых, развесистых грушевых деревьев. Мы жадно следили за тем, как они цветут, медленно наливаются за лето и наконец поспевают в сентябре.

Иногда, прошелестев в листве, груша задумчиво падала на землю, усыпанную мягким песком. И тут только не зевай.

И вот однажды на моих глазах огромная краснобокая груша тупо шлепается на землю. Она покатилась к бачку с водой, где пила воду чистенькая девочка с ангельским личиком. Груша подкатилась к ее ногам, но девочка ничего не заметила.

Что это было за мгновение! Волнение сдавило мне горло. Я был от груши довольно далеко. Сейчас девочка оторвется от кружки и увидит ее. На цыпочках, почти не дыша, я подбежал и схватил ее, свалившись у самых ног девочки. Она надменно взмахнула косичками и отстранилась, но, поняв, в чем дело, нахмурилась.

— Сейчас же отдай, — сказала она, — я ее первая заметила.

Бессилие лжи было очевидным. Я молчал, чувствуя, как развратная улыбка торжества раздвигает мне губы. Это была великолепная груша. Я такой еще не видел. Огромная, она не укладывалась на моей ладони, и я одной рукой прижимал ее к груди, а другой очищал от песчинок ее поврежденный от собственной тяжести, сочащийся бок. Сейчас мои зубы вонзятся в плод, и я буду есть, причмокивая от удовольствия и глядя на девочку наглыми невинными глазами.

Теперь я понимаю, что я был к ней не вполне равнодушен. А так как приударить за ней мне не позволяло мое мужское самолюбие, я возненавидел ее и, как сейчас вспоминаю, распространял о ней самые фантастические небылицы. Теперь я убедился, что многие взрослые так и поступают в подобных случаях.

И вот я стою перед девочкой и медлю, предвкушая иезуитское удовольствие есть на ее глазах грушу, смиренно доказывая при этом преимущества своих прав, одновременно не полностью отрицая и ее права. Теоретически, конечно. Но тут

на беду подходит к нам воспитательница из группы девочки — тетя Вера.

— Что случилось, Леночка? — медовым голосом спросила она.

— Он взял мою грушу, тетя Вера, — ответила Леночка, ткнув пальцем в мою сторону. — Я пила воду и положила грушу на землю, — добавила она бесстыдно.

— Все врёт она, — перебил я ее, чувствуя, что вообще-то я мог у нее отнять грушу и потому мне могут не поверить.

— Ну, хорошо, — сказала тетя Вера, — как поступают хорошие мальчики, когда они находят грушу?

Я затосковал. Я почувствовал непрочность всякого счастья. Я знал, что и плохие и хорошие мальчики съедают найденные груши, даже если они червивые. Но тетя Вера ждала какого-то другого ответа, который явно грозил потерей добычи. Поэтому я молчал.

Тогда тетя Вера обратилась к Леночке:

— Как поступают хорошие девочки, когда они находят грушу?

— Хорошие девочки отдают грушу тете Вере, — ласково сказала Леночка. Такая грубая лесть слегка смутила воспитательницу. Она решила поправить дело и сказала:

— А для чего они отдают грушу тете Вере?

— Чтобы тетя Вера ее скушала, — сказала Леночка, преданно глядя на воспитательницу.

— Нет, Леночка, — мягко поправила она свою любимицу и, уже обращаясь к обоим, добавила: — Груша пойдет на компот, чтобы всем досталось.

С этими словами тетя Вера отобрала у меня грушу и, не зная, куда ее положить, сунула в развилку ствола, как бы вернув ее настоящему хозяину.

Тетя Вера взяла Леночку за руку, и они удалились, мирно беседуя. Я чувствовал, что затылок Леночки показывает мне язык.

Убедившись, что грушу невозможно достать, я, как это ни странно, довольно быстро успокоился. Мысль, что моя груша пойдет на общий компот, доставляла взрослое удовольствие. Я почувствовал себя взрослым государственным человеком, одним из тех, кто кормит детей детского сада. Об этом нам часто напоминали. Я похаживал возле дерева, солидно заложив руки за спину, никого не подпуская слишком близко. Как бы между прочим, пояснял, что грушу нашел я и добровольно отдал на общий компот. Тогда я еще не знал, что лучший страж добродетели — вынужденная добродетель.

За обедом я не просил ни добавок, ни горбушек. Я просто понял, что горбушек не может хватить на всех. А если так, пусть они достаются другим. Во всяком случае, человек, отдавший свою грушу на общий компот, не станет лезть из кожи, чтобы заполучить какую-то там горбушку.

На третье подали компот. Я скромно ел его, аккуратно выкладывая косточки в тарелку, а не стараясь, как обычно, выдуть их кому-нибудь в лицо. Сам я о груше не напоминал, но мне казалось естественным, что другие о ней вспомнят

во время компота. Это было бы вполне уместно. Однако все весело уплетали компот, и никто не вспоминал о моей груше. Неблагодарность человечества слегка уязвила меня, и я почувствовал себя совсем взрослым.

Я вспомнил свою дорогую тетю, которая называла своих племянников неблагодарными, тогда как она всю свою цветущую молодость загубила на нас. И хотя я загубил на детский сад не молодость, а только грушу, я теперь ее хорошо понимал. Я глядел на лица своих товарищей, и мне было приятно видеть вокруг себя столько неблагодарных детей.

Наверное, я выглядел необычно, потому что добрая тетя Поля, кормившая нас, сказала:

— Что-то ты у меня сегодня квелый. Не заболел ли? — Она тронула шершавой ладонью мой лоб, но я с мрачной усмешкой отстранил ее руку.

Но самое страшное ждало впереди. Выйдя из детского сада, я заметил тетю Веру, она стояла на тротуаре и разговаривала с каким-то парнем. В руках ее покачивалась сетка, на дне которой лежала моя груша. Моя груша! Я не мог не узнать ее красный бок. Но я не хотел верить своим глазам. Я обошел тетю Веру и посмотрел на грушу с другого бока. Конечно, моя. С этой стороны она была разбита, как тогда, только рана потемнела. Полосатая, как тигр, оса пыталась присесть на нее. Ей не удавалось усесться, потому что тетя Вера все время покачивала сетку. Наконец сетка остановилась, и оса уселась на мою грушу. Я вздрогнул

и посмотрел на тетю Веру. Наши взгляды встретились. Я почувствовал, что неудержимо краснею от стыда, боясь, что она догадается, что я все знаю.

Возможно, она просто так посмотрела, но я бросился бежать и бежал до самого дома.

Так окончилась моя вторая попытка стать взрослым. Во время первой я вымазал голову киселем и плотно зачесал волосы назад. Великолепная прическа держалась до вечера. Вечером голову мою нещадно намылили и, с хрустом раздирая волосы, вернули их в обычное состояние.

После груши я решил с этим делом не очень спешить, хотя все мои любимые герои, начиная от Иванушки-дурачка и до челюскинцев, были взрослыми людьми.

Возможно, я переусердствовал в этом решении, потому что теперь иногда попадаю впросак, как говорят, из-за детской доверчивости. Зато есть и свои преимущества. Так называемые душевные раны на мне быстро заживают, как на детях и собаках.

дедушка

Мы с дедушкой на лесистом гребне горы. Жаркий летний день, но здесь тенисто, прохладно. Земля покрыта толстым, слабо пружинящим слоем прошлогодней листвы. Тут и там разбросаны сморщенные ежики кожуры буковых орешков. Обычно они пустые, но иногда попадаются и с орешками. Во-

круг, куда ни посмотришь, мощные серебряные стволы буков, редкие кряжистые каштаны.

В просвете между деревьями, в дальней глубине — голубой призрак Колхидской долины, огражденной стеной моря, вернее, куском стены, потому что все остальное прикрывает лес.

Дедушка стоит на обрывистом склоне и рубит цалдой, остроносим топориком, ореховый молодняк — то ли для плетня, то ли для новых виноградных корзин. Время от времени он забрасывает наверх подрубленные стволы, я их вытягиваю на тропу и собираю в кучу.

Воздух леса пронизан непрерывным щебетом птиц. Голоса их сначала кажутся пеньем, а потом начинаешь чувствовать, что они переговариваются, перекликаются, переругиваются, перёсмеиваются, а то и просто перемигиваются.

Иногда со стороны моря доносится какой-то случайный порыв ветра, и тогда тени на земле дробятся, расходятся, между ними пробегают солнечные пятна, а птичий щебет усиливается, словно порыв ветра стряхивает его с деревьев, как дождевики.

Но все это мне скучно, неинтересно. Я стою и жду дедушку. В руке у меня его палка, самодельный посох. Станный он какой-то, мой дедушка. Интерес к нему у меня время от времени вспыхивает, но тут же гаснет. Таинственные следы его долгой-предолгой жизни в самый тот миг, когда, как я надеюсь, они должны привести к военной тропе абрека, неожиданно сворачивают в вонючий козлийный загон или на пахот-

ное поле. Но что-то в нем есть такое, что вынуждает окружающих уважать его, и это уважение мешает им жить так, как они хотят, и они за это его часто ругают.

Все это я вижу и улавливаю детским чутьем, хотя, конечно, объяснить и понять не могу.

Сейчас мы в лесу. Он рубит ореховые прутья, а я смотрю. Рубить ему неудобно, потому что он стоит на обрывистом склоне, а заросли лесного ореха, обвитые густыми плетями ежевики, пониже, до них трудно дотянуться. Иногда, чтобы дотянуть топорик, нужно перерубить целое проволочное заграждение ежевичных плетей. И он перерубает.

Каждый раз, когда он берется за новое препятствие, мне хочется, чтобы у него не получилось. Это потому, что мне скучно и мне хочется посмотреть, что дедушка будет делать, если у него не получится. Но не только это. Я чувствую, что окружающим не хватает примеров дедушкиного посрамления. Я чувствую, что, будь их побольше, многие, пожалуй, решились бы относиться к нему без всякого уважения, и уж тогда им ничего не мешало бы жить так, как они хотят. Я чувствую, что и мне было бы полезно иметь при себе такой примерчик, потому что дедушка и меня заставляет иногда делать что-нибудь такое, чего я не хочу делать, да и взрослым, я чувствую, если при случае бросить в копилочку такую находку, будет приятно. Это все равно, что я подымусь до их уровня, докарабкаюсь, да еще не с голыми руками, а с похвальным примерчиком дедушкиного посрамления, зажатым в старательном кулаке.

Дедушка приканчивает ближайшие заросли и теперь дотягивается до новых, но дотянуться трудно, потому что склон крутой, сыпучий и ногу негде поставить.

Дедушка озирается. Не выпуская из руки топорика, утирает пот с покрасневшего лица, неожиданно пригибается и всей пятерней левой руки ухватывается за одинокий куст рододендрона. Обхватив клешнятыми пальцами все ветки, он натягивает их в кулаке, как натягивают поводья, и теперь уверенно свешивается в сторону свежих зарослей. Небольшого роста, гибкий, сейчас он похож на ладного подростка, решившего побаловаться над обрывом.

Прежде чем добраться до зарослей, ему нужно перерубить толщиной с веревку ежевичную плеть. Я всем телом чувствую, до чего ему неудобно стоять, свесившись на одной руке, и вытянутой другой, едва доставая, тюкать по упругой ежевичной плети. Топорик все время отскакивает, да и удар не тот.

— Дедушка, не перерубливается, — говорю я ему сверху, давая ему возможность почетного отступления.

Дедушка молча продолжает бить по пружинящей плети, а потом говорит, сообразуя свой ответ с ударами топорика:

— Перерубится... Куда ей деться? Перерубится...

И снова тюкает топорик. Я смотрю и начинаю понимать, что в самом деле некуда ей деться. Если б она могла куда-нибудь деться, может быть, дедушка и не угнался бы за ней. А так ей некуда деться. А раз некуда деться, он так и будет ее рубить целый день, а то и два, а то и больше. Мне представля-

ется, как я ему сюда ношу обед, ужин, завтрак, а он все рубит и рубит, потому что деться-то ей некуда.

И ежевичная плеть, кажется, тоже начинает понимать, что она напрасно сопротивлялась. С каждым ударом она все меньше и меньше пружинит, все безвольней опадает под топориком, следы от лезвия все глубже входят в нее. Сейчас она распадется. А дедушка все рубит и рубит. Теперь я надеюсь, что дедушка, не рассчитав последнего удара, шлепнется сам или хотя бы врежет лезвие топорика в каменистую землю. Но плеть распадается, дедушка не падает сам и топорик успевает остановить.

Мне скучно, а тут еще комары заедают. Я босой и в коротких штанах, так что они мне все ноги обкусили. Время от времени я до крови расчесываю укусы или бью по ногам хлесткой веткой ореха. Ветка обжигает ноги. Я хлещу и хлещу их с каким-то остервенелым наслаждением.

Потом я забываюсь и начинаю выслеживать отдельных комаров. Вот один сел мне на руку. Слегка поерзал, прилаживаясь к местности, высунул хоботок и стал просовывать его между порами. Хоботок сначала даже слегка загнулся — видно, не туда попал, но потом дошел до крови и тоненькой болю притронулся к ней.

И вот он сидит на моей руке и посасывает мою кровь, а я все терплю, сдерживаю раздражение и смотрю, как постепенно у него живот розовеет от моей крови, раздувается, раздувается и делается багровым. Но вот он с трудом вытаскивает свой хоботок, растопыривает крылья, словно сыто

потягивается, готовясь улететь, но тут я его — хлоп! На месте зудящей боли кровавое пятнышко. Вот он, сладостный бальзам мести! Я размазываю, я втираю труп врага в рану, нанесенную им.

Но иногда, стараясь сделать бальзам мести еще сладо- стнее, я слишком запаздываю с ударом, и комар преспо- койно улетает. И тогда в ярости я хватаю ветку и изо всех сил нахлестываю свои ноги — пропадите вы пропадом, па- разиты!

Дедушка замечает, как я отбиваюсь от комаров, и я чув- ствую, что на губах у него промелькнула презрительная ус- мешка.

— Знаешь, как больно, — говорю я ему, уязвленный этой усмешкой, — тебе хорошо, ты в брюках...

Дедушка, усмехаясь, вытягивает из кустарника подруб- ленный стебель. Тот сопротивляется, гнется, путается ветка- ми в колючках ежевики.

— Как-то приходит Аслан, — начинает дедушка без всяко- го предупреждения, — к своему другу. Видит — тот лежит в постели.

«Ты что?» — спрашивает Аслан.

«Да вот ногу мне прострелили, — отвечает друг, — придет- ся полежать...»

«Тьфу ты! — рассердился Аслан. — Век не буду в твоём до- ме. Я думал, его лихорадка скрутила, а он улегся из-за какой- то пули».

И ушел.

— Вот какие люди были, — говорит бабушка и перебрасывает мне длинный зеленый прут, — а ты — комары.

И снова застучал топориком. Ну что ты ему скажешь? Ну хорошо, думаю я, я знаю, что раньше в наших краях бывала такая лихорадка, что люди от нее часто умирали. Но почему человек, которому прострелили ногу, не может полежать в постели, пока у него рана не заживет? Этого я никак не могу понять. Может, этот самый Аслан знаменитый абрек и ему что градина по голове, что пуля — один черт.

— Бабушка, он что, был великий абрек? — спрашиваю я.

— Ты про кого? — оборачивает бабушка ко мне свое горбоносое, немного свирепое лицо.

— Да про Аслана, про кого еще, — говорю я.

— Какой он к черту абрек. Он был хороший хозяин, а не какой-то там абрек.

И снова затюкал топориком. Опять какая-то ерунда получается. По-бабушкиному выходит, что абрек, то есть герой и мститель, хуже какого-то хозяйчика.

— Да ты сам видел когда-нибудь абреков?! — кричу я ему.

С бабушкой я говорю почти как с равным, словно чувствую, что мы с ним на одинаковом расстоянии от середины жизни, хотя и по разные стороны от нее...

— Чтоб ты столько коз имел, сколько добра они у меня пережрали, — отвечает бабушка, не отрываясь от своего дела.

— Да на черта мне твои козы! — злюсь я. — Ты лучше скажи, за что ты не любишь абреков?

— А почему они у меня сарай сожгли?

— Какой такой сарай?

— Обыкновенный, табачный...

— Да ты расскажи по порядку...

— А что рассказывать? Нагрянуло шесть человек. Три дня их кормили, поили. Прятались они в табачном сарае. А на четвертую ночь ушли и сарай сожгли.

— А может, они от карателей следы замечали, — говорю я.

— Да они сами хуже всяких карателей, — отвечает бабушка и сплевывает, — из-за них нас чуть не выслали...

— Почему? — спешу я спросить, чтобы он не останавливался.

— Потому что старшина на сходке в Джгердах объявил, что мы прячем абреков и нас надо выслать, чтобы абрекам нигде было прятаться...

— А почему он сказал, что вы прячете абреков?

— Потому что мы их в самом деле прятали, — отвечает бабушка просто.

— Ну а дальше, бабушка?

— На этой самой сходке была моя мама, но старшина ее не заметил, потому что она подъехала позже. Как только он сказал такое, моя мама, расталкивая сходку, подъехала к нему и давай давить его лошадьё и лупцевать камчой, да еще приговаривая: «А ты видел, как мой сын прячет абреков? А ты видел?!»

Трое мужчин еле-еле ее остановили, отчаянная была моя мама.

— Но, дедушка, ты ведь сам сказал, что вы прятали абреков?

— Мало что прятали... Все знали, что прячем. А почему? Потому что живем на самом отшибе. Вот они к нам и приходили. А по нашим обычаям нельзя не впустить человека, если он просится к тебе в дом. А непустишь, будет еще хуже — или тебя пристрелит, или скотину уведет. Так что выходит — лучше абрека впускать в дом, чем не впускать.

— Дедушка, — прерываю я его, — а как старшина узнал, что у вас бывают абреки?

— Все знали. Да разве такое скроешь? Но одно дело знать, а другое дело об этом на сходке говорить. Это, по-нашему, считалось предательством. А в наши времена доносчик себе курдюк недолго отращивал. Будь ты хоть старшиной над всеми старшинами, но, если ты доносчик, рано или поздно язык вывалишь...

— Дедушка, — пытаюсь я понять ход его мысли, — но ведь старшина был самый главный в деревне, кому же он доносил?

— Вот самому себе и доносил...

— Дедушка, ты что-то напутал, — говорю я, — так не бывает.

— Ничего я не напутал, — отвечает дедушка, — если старшина знает и молчит или только говорит среди своих родственников, по закону считается, что он ничего не знал. Но если старшина говорит об этом на сходке, по закону считается, что он знает и должен наказать. Вот и выходит, что он доносчик и донес самому себе.

— А-а, — говорю я, — ну а что, старшина потом вам не отомстил?

— Наоборот, — говорит дедушка, — он стал нас уважать. Уж если у них женщины такие дикие, решил он, что же связываться с мужчинами.

Дедушка снова затюкал топориком, а мне вдруг становится тоскливо. Выходит, абреки не обязательно гордые мстители и герои, выходит, что они могут сжечь сарай или ни с того ни с сего убить человека? Мне почему-то горько и неприятно, что среди моих любимых героев встречаются мошенники и негодяи. Я чувствую, что это как-то заставляет меня присматриваться ко всем абрекам, что, конечно, оскорбительно для честных и благородных разбойников. Я горестно прохожу перед строем абреков и ищу среди них поджигателя дедушкиного сарая. Я верю в честность большинства из них, но ничего не поделаешь, приходится проверять вывернутые карманы рыцарей. И я чувствую, что рыцари с вывернутыми карманами, даже если и оказались честными, уже не совсем рыцари, и сами они это чувствуют, и от этого мне нестерпимо горько.

Что-то похожее я испытал, когда однажды отец мне сказал, что царь был плохим человеком. Эта весть поразила меня как громом. До этого я считал, что царь людей и царь зверей выбираются по одному и тому же закону. А так как среди зверей считался царем лев, то есть самый сильный, самый храбрый и самый благородный зверь, то я, естественно, считал, что люди в выборе своего царя пользуются не менее разумными признаками.

А еще однажды меня привели в театр. И вот после замечательного зрелища люди почему-то начали хлопать в ладоши, а те, что жили на сцене, теперь просто так вышли и стали раскланиваться. Среди них особенно противным был один человек, которого за несколько минут до этого убили, а теперь он не только бесстыдно восстал из мертвых и как дурак стоял среди живых, у него еще хватило бесстыдства держаться одной рукой за руку своего убийцы, а другой тихо отряхивать себе штаны.

И все они вместе улыбались и кланялись, а я себя чувствовал обманутым и оскорбленным. А глупые зрители почему-то тоже улыбались и хлопали в ладоши, словно приговаривая: «Хорошо вы нас обманывали, нам очень понравилось, как вы нас обманывали...»

И вдруг я замечаю, что в просвете между деревьями появляется корабль. А за ним и другие. Целая флотилия военных кораблей. Они медленно-медленно, оставляя жирный, как бы выдвигаемый из труб, дым, проползают по миражной стене моря. Застыв от радостного изумления, я слежу за ними. Особенно поражает один, низкий, непомерно длинный, он занимает почти весь просвет между деревьями.

— Дедушка, смотри! — кричу я, очнувшись, и показываю на него пальцем.

Дедушка смотрит некоторое время, а потом снова берется за топорик.

— Это что? — говорит он. — Вот «Махмудья» был такой большой, что на нем можно было скачки устраивать...

— Это что еще за «Махмудья»? — спрашиваю я. Но дедушка не отвечает. Он подхватывает охапку последних прутьев, поднимается с ними по склону и бросает в общую кучу. Дедушка усаживается у края гребня, удобно свесив ноги с обрывистого склона. Он достает из кармана платок, утирает потную, бритую голову в коротких седых волосах, прячет платок и затихает, расстегнув на седой груди пуговицы. Я слежу за ним и чувствую, что мне приятно его не окостеневшая по-старчески, а гибкая, живая ладонь со сточенными пальцами, круглая седая голова, и мне приятно само удовольствие, с которым он утирал от пота свою голову, а теперь прохладждает ее. Но я знаю, что он еще должен ответить на мой вопрос, и жду.

— Мы на нем в амхаджира уплывали, — говорит он, задумавшись.

Я уже знаю, что такое амхаджира, — это насильный угон абхазцев в Турцию. Это было давно-давно. Может быть, сто, а то и больше лет прошло с тех пор.

— Дедушка, — говорю я, — расскажи, как вас угоняли?

— А нас и не угоняли, мы сами, — отвечает дедушка.

— Да как же не угоняли, когда и в книжках об этом написано, — говорю я.

— Обманывать обманывали, а угонять не угоняли, — прямо отвечает дедушка и подымает на меня голову, — да и как ты абхазца угонишь? Абхазец в лес уйдет или в горы. Вот кубанцев, скажем, можно угнать, потому что у них земля голая как ладонь... А нашего не угонишь, потому

что наш всегда в сторону свернуть норовит. Во времена первого переселения я был мальчишкой, меня и братья не хотели...

Я усаживаюсь рядом с дедушкой в знак того, что теперь намерен его долго слушать. Дедушка снимает с ног чувяки из сыромятной кожи, вытряхивает из них мелкие камушки, землю, потом выволакивает оттуда пучки бархатистой особой альпийской травы, которую для мягкости закладывают в чувяки. Сейчас он слегка копнит эти пучки в руках и осторожно, как птичьи гнезда, всовывает в чувяки.

— Ну и как вы, дедушка, приплыли? — спрашиваю я и представляю огромный, но простой, как паром, пароход «Махмудья», на котором полно наших беженцев. Они почему-то нисколько не унывают, а, наоборот, время от времени устраивают скачки, а турки, важно перебирая в пальцах четки, следят за скачками.

— Приплыли хорошо, прямо в Стамбул, — вспоминает дедушка, — всю дорогу нас кормили хлебом и пловом. Очень нам понравилось это.

— Ну а потом?

— Вышли мы в Стамбуле, но нас там не оставили. Только и увидели мусульманскую мечеть, которая Ай-Софья называется.

— А почему вас не оставили?

— Потому что, сказали нам, в Стамбуле и без того греков и армян много, а если еще абхазцев пустить, так туркам, говорят, некуда будет деться.

— Так куда же вас повезли?

— Повезли в другое место. Вышли на берег, смотрим — место голое, каменистое. А нам до этого говорили, что в Турции хлебоносные деревья и сахар из земли прямо, как соль, добывают. А тут не то что хлебоносных деревьев, простой чинары не видно. И вот наши спрашивают у турков:

«А плов с белым хлебом вы нам будете пароходом подвозить, что ли?»

«Никакого плова с белым хлебом, — говорят турки, — мы вам не будем подвозить. Пашите землю, разводите себе коз и живите...»

«Да мы что, сюда пахать приехали?! — рассердились наши. — Пахать мы и у себя могли. У нас и земля лучше, и вода родниковая...»

«Придётся пахать», — отвечают турки.

«А что же нам говорили, что в Турции сахар из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут?» — не унимаются наши.

«Нет, — говорят турки, — в Турции сахар в земле не водится, потому что, если бы сахар водился в земле, турки бы ее насквозь прокопали, а это бы султан никогда не позволил».

«Да что султану от этого, хуже, что ли?» — удивляются наши.

«Конечно, хуже, — отвечают турки. — Если землю прокопать насквозь, она будет дырявая, как сыр, изъеденный крысами, а кому интересно управлять дырявой страной?»

«Ничего тут страшного нет, — отвечают наши, — дырку можно огородить и объезжать».

«Не в этом дело, — говорят турки, — дырку, конечно, огородить можно, но другие султаны и даже русский царь будут смеяться над нашим султаном, что он управляет дырявой страной, а это для него большая обида».

«Выходит, у вас и хлебные деревья не растут?» — догадываются наши.

«Хлебные деревья тоже не растут, — отвечают турки, — зато у нас растут инжировые деревья».

«Да вы что, турки, с ума посходили! — кричат наши. — Что вы нам голову мутите своими сахарными дырками да инжировыми деревьями?! Да абхазец из-за какого-то инжира не то что море переплыть, со двора не выйдет, потому что у каждого инжир растет во дворе».

«Ну, — говорят турки, — если вы такие гордые и у вас свой инжир, чего вы сюда приехали?»

«Да нам говорили, — объясняют наши, — что в Турции сахар прямо из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут. Вот мы и решили — прокормимся, раз деревья хлебоносные и сахар каждый себе может накопать. Да мы и мусульманство, по правде сказать, из-за этого приняли. Нас царь предлагал охристианить, да мы отказались. Смотрите, турки, мы еще к царю можем податься», — припугивают наши.

«Так чего же вы раньше не подались?» — удивляются турки.

«Оттого не подались, — отвечают наши, — что у царя Сибирь слишком далеко раскинулась и холодная слишком. А мы, абхазцы, любим, когда тепло, а когда холодно, мы не любим».

«Да вам-то что, что Сибирь далеко раскинулась?» — удивляются турки.

«А то, что, — отвечают наши, — у нас обычай такой — арестованных родственников навещать, передачи им передавать, чтобы они духом не падали. А в Сибирь и на хорошей лошади за месяц не доедешь. Так что сколько ни вези передач, сам по дороге слопаешь. Мы и прошение писали через нашего писаря, чтобы для абхазцев Сибирь устроили в Абхазии. Мы даже котловину себе выбрали хорошую, безвыходную. И стражникам удобно — бежать некуда. И нам хорошо — подъехал на лошади и катать себе вниз что вяленое мясо, что сыр, что чурек».

«Ну и что вам царь ответил?» — удивляются турки.

«В том-то и дело, что не ответил, — говорят наши, — то ли писарю мало дали за прошение, то ли царь не захотел Сибирь передвигать...»

Тут турки стали между собой переговариваться, а потом один из них спрашивает:

«Скажите нам, только честно. Правда, что русские снег едят?»

«Спатью, может быть, — отвечают наши честно, — а так — нет».

«Ну, тогда селитесь, разводите коз и больше нас не заговаривайте», — решают турки.

«Если вы нас здесь поселите, — все-таки приторговываются наши, — мы, пожалуй, сбросим мусульманство, нам оно ни к чему...»

«Ну и сбрасывайте, — обижаются турки, — мы и без вас обойдемся».

«А тогда почему на пароходе нас кормили белым хлебом да пловом? — допытываются наши. — Нам очень понравилась такая пища».

«Это была политика», — отвечают турки.

«Так куда ж она делась, если была? — удивляются наши. — Пусть она еще побудет».

«Теперь ее нет, — отвечают турки. — Раз вы приехали, кончилась политика...»

Но наши не поверили, что кончилась политика, они решили, что турецкие писаря припрятали ее для себя.

«Если так, мы будем жаловаться султану», — пригрозили наши.

«Что вы! — закричали турки. — В Турции жаловаться нельзя, в Турции за это убивают».

«Ну тогда, — говорят наши, — мы будем воровать, нам ничего не остается...»

«Что вы! — совсем испугались турки. — В Турции воровать тоже нельзя».

«Ну, если в Турции ничего нельзя, — отвечают наши, — везите нас обратно, только чтобы по дороге кормили пловом и белым хлебом, а цро инжир даже не заикайтесь, потому что мы его все равно в море побросаем».

Но турки нас обратно не повезли, а сами наши дорогу найти не могли, потому что море следов не оставляет. Тут приуныли наши и стали расселяться по всей Турции, а кто и дальше пошел — в Арабистан, а многие в турецкую полицию служить пошли. И хорошо служили, потому что нашим приятно было над турками власть держать, хотя бы через полицию. А я через год так затосковал по нашим местам, что нанялся на фелюгу к одному бандиту, и он меня привез в Батум, а оттуда я пешком дошел до нашего села.

Дедушка замолкает и, глядя куда-то далеко-далеко, что-то напевает, а у меня перед глазами проносятся странные видения дедушкиного рассказа...

— Вот так, — говорит дедушка и, взяв в руки чувак, разминает его перед тем, как надеть на ногу, — обманывать обманывали, а насильно из нашего села не угоняли...

Я смотрю на крупные ступни дедушкиных ног, на их какое-то особое, отчетливое строение. На каждой ноге следующий за большим палец крупнее большого и как бы налезают на него. Я знаю, что такие ступни никогда не бывают у городских людей, только почему-то у деревенских. Гораздо позже точно такие же ноги я замечал на старинных картинах с библейским сюжетом — крестьянские ноги апостолов и пророков.

Надев чуваки, дедушка легко встает и раскладывает прутья в две кучи — одну, совсем маленькую, для меня и огромную для себя.

— Дедушка, я больше донесу, — говорю я, — давай еще...

— Хватит, — бормочет дед и, обломав гибкую вершину орехового прута, скручивает ее, перебирая сильными пальцами, как будто веревку сучит. Размочалив ее как следует в руках, он просовывает ее под свои прутья, стягивает узел, ногой прижимает к земле всю вязанку, снова стягивает освободившийся узел и замысловато просовывает концы в самую гущу прутьев, так, чтобы они не выскочили.

Покамест он этим занимается, я стою и жду, положив поперек шеи дедушкин посох и перевалив через него руки. Получается, вроде висишь на самом себе. Очень удобно.

— Однажды, — говорит дед, сопя над вязанкой, — когда строили кодорскую дорогу, пришли к русскому инженеру наниматься местные жители. Инженер выслушал их, оглядел и сказал:

«Всех беру, кроме этого...»

Дед кивает, как бы показывая на отвергнутого работника.

— Дедушка, а почему он его не взял? — спрашиваю я.

— Потому, что он стоял, как ты, — показывает дедушка глазами на палку.

— А разве так нельзя стоять? — спрашиваю я и на всякий случай все-таки убираю палку с шеи.

— Можно, — отвечает дед, не подымая головы, — да только кто так стоит, тот лентяй, а зачем ему нанимать лентяев?

— Да откуда же это известно? — раздражаюсь я. — Вот я снял палку с шеи, значит, я уже не лентяй, да?

— Э-э, — тянет дед, — это уже не считается, но раз ты держал палку поперек шеи, да еще руки повесил на нее, значит, лентяй. Примета такая.

Ну что ты ему скажешь? А главное, я и сам чувствую, что, может быть, он и прав, потому что, когда я так палку держал, мне ничего-ничего неохота было делать. И даже не просто неохота было ничего делать, а было приятно ничего не делать. Может быть, думаю я, настоящие лентяи — это те, кто с таким удовольствием ничего не делают, как будто делают что-то приятное. Все же на всякий случай я вонзаю дедушкин посох в землю рядом со своей вязанкой, над которой он сейчас возится.

Теперь две стройно стянутые вязанки ореховых прутьев с длинными зелеными хвостами готовы.

— Пойдем-ка, — неожиданно говорит дедушка и входит в кусты рододендрона по ту сторону гребня.

— Куда? — спрашиваю я и, чтобы не оставаться одному, бегу за ним. Теперь я замечаю, что в зарослях рододендрона проходит еле заметная тропа. Полого опускаясь в котловину, она идет вдоль гребня.

Сразу чувствуется, что это северная сторона. Сумрачно. Кусты рододендрона здесь особенно жирные, мясистые. На кустах огромные, какие-то химические цветы. В воздухе пахнет первобытной гнилью, ноги по щиколотку уходят в рыхлую, прохладную землю.

И вдруг среди темной сумрачной зелени, радуя глаза светлой, веселой зеленью, высовываются кусты черники. Высо-

кие, легкие кусты щедро обсыпаны черными дождинками ягод. Так вот куда меня дедушка привел!

Дедушка нагибает ближайший куст, стряхивает на ладонь ягоды и сыплет их в рот. Я тоже стараюсь не отставать. Длинные, легкие стебли только тронешь, как они податливо наклоняются, сверкая глазастыми ягодами. Они такие вкусные, что я начинаю жадничать. Мне кажется, что мне одному не хватит всего этого богатства, а тут еще дедушка, как маленький, ест да ест ягоды. Не успеет обшипать одну ветку, как уже присматривается, ищет глазами другую и вдруг — цап! — схватился за ветку, полную ягод.

Но вот наконец я чувствую, что больше не могу, уже такую оскомину набил, что от воздуха больно холодит зубы, когда открываешь рот. Дедушка тоже, видно, наелся.

— Смотри, — говорит он и носком чувяка толкает в мою сторону помет, — здесь, видно, медведь бывает... А вот и кусты обломаны.

Я слежу за его рукой и вижу, что и в самом деле кое-где обломаны черничные ветки. Я озираюсь. Место это сразу делается подозрительным, неприятным. Очень уж тут сумрачно, слишком глубоко уходят ноги в вязкую, сырую землю, не особенно разбежишься в случае чего. А вон и в кустах рододендрона, за тем каштаном, что-то зашевелилось.

— Дедушка, — говорю я, чтобы не молчать, — а он нас не тронет?

— Нет, — отвечает дедушка и ломает ветки черники, — он сам не трогает, разве что с испугу.

— А чего ему нас пугаться, — говорю я, на всякий случай громко и внятно, — у нас даже ружья нет. Чего нас бояться?

— Конечно, — отвечает дедушка, продолжая наламывать ветки черники.

Все-таки делается как-то неприятно, тревожно. Скорее бы домой. Но сейчас прямо сказать об этом стыдно.

— Хватит, — говорю я дедушке все так же громко и внятно, — мы наелись, надо же теперь и ему оставить.

— Сейчас, — отвечает дедушка, — хочу наших угостить.

Цепляясь за кусты, он быстро взбирается на крутой косогор, где много еще нетронутой черники. Я тоже наламываю для наших черничные ветки, но мне почему-то завидно, что дедушка первым вспомнил о них. Пожалуй, я бы совсем не вспомнил...

С букетами черники снова выбираемся на гребень. После сырого, охлаждающего ноги северного склона приятно снова ступать по сухим, мягким листьям. Дедушка приторочивает наши букеты к вязанкам.

Он кладет свою огромную вязанку на плечо, встряхивается, чтобы почувствовать равновесие, и, поддерживая вязанку топориком, перекинутым через другое плечо, двигается вниз по гребню. Я проделываю то же самое, только у меня вместо топорика дедушкина палка поддерживает груз.

Мы спускаемся по гребню. Дедушку почти не видно, впереди меня шумит и колыхается зеленый холм ореховых листьев.

Сначала идти легко и даже весело. Груз почти не давит на плечо, ступать мягко, склон не слишком крутой, ноги свободно удерживают тело от разгона, а тут еще возле самого рта играют сверкающие бусинки черники. Можно языком слизнуть одну, другую, но пока не хочется.

Но вот мы выходим из лесу, и почти сразу делается жарко, а идти все трудней и трудней, потому что ступать босыми ногами по кремнистой тропе больно. А тут еще ветки впиваются в плечо, какая-то древесная труха летит за ворот, жжет и щекочет потное тело. Я все чаще встряхиваю вязанку, чтобы плечо не затекало и груз удобней лег. Но оно снова начинает болеть, вместо одних неудобных веток высовываются другие и так же больно давят на плечо. Я нажимаю на дедушкину палку, как на рычаг, чтобы облегчить груз на плече, и он в самом деле делается легче, но тогда начинает болеть левое плечо, на котором лежит палка. А дедушка все идет и идет, и только трясется впереди меня огромный сноп зеленых листьев.

Наконец сноп медленно поворачивается, и я вижу свирепое дедушкино лицо. Может, он сейчас сбросит свою кладь и мы с ним отдохнем? Нет, что-то не похоже...

— Не устал? — спрашивает дедушка. Вопрос этот вызывает во мне тихую ярость: да я не то что устал, я просто раздавлен этой проклятой вязанкой!

— Нет, — выдавливаю я из себя для какой-то полноты ожесточения, только бы не показаться дедушке жалким, ни к чему не способным.

Дедушка отворачивается, и снова перед глазами волнуется и шумит огромный зеленый сноп. Я почему-то вспоминаю дедушкино лицо в то мгновение, когда он повернулся ко мне, и начинаю понимать, что свирепое выражение у него выработалось от постоянных физических упражнений. Сейчас под грузом у него резче обозначались на лице те самые складки, которые видны на нем и обычно. Я догадываюсь, что эта гримаса преодоления так и застыла у него на лице, потому что он всю жизнь что-то преодолевал.

Мы проходим мимо дома моего двоюродного брата. Собаки издали, не узнавая нас, заливаются лаем. Я думаю: может, дедушка остановится, чтобы хоть собаки успокоились, но дедушка не останавливается и с каким-то скрытым раздражением на собак (мне кажется, я это чувствую по тому, как трясется кладь на его спине) проходит дальше.

Я вижу, как из кухни выходит мой двоюродный брат и смотрит в нашу сторону. Это могучий гигант, голубоглазый красавец. Сейчас он стоит на взгорье и видится на фоне неба и от этого кажется особенно огромным. Он с трудом узнает нас и кричит:

— Ты что, дед, совсем спятил — ребенка мучить!

— Бездельник, — кричит ему дедушка в ответ, — лучше б своих чумных псов придержал!

Мы еще некоторое время проходим под холмом, на котором стоит дом моего двоюродного брата, и он еще сверху следит за нами, и я, зная, что он сейчас жалеет меня,

чтоб угодить его сочувствию, стараюсь выглядеть еще согбенней.

А идти все трудней и трудней. Пот льется с меня рекой, ноги дрожат и, кажется, вот-вот согнутся и я растянусь прямо на земле. Я выбираю глазами впереди какой-нибудь предмет и говорю себе: «Вот дойдем до этого белого камня, и я сброшу свою кладь, вот дойдем до этого поворота тропы, а там и отдых, вот дойдем...»

Не знаю почему, но это помогает. Может, дело в том, что, репетируя преодоление последнего отрезка дороги, я оживляю надежду, мечту на отдых, которую мертвит слишком тяжелый, слишком однообразный путь.

Неожиданно дедушка останавливается у изгороди кукурузного поля. Он пригибается и прислоняет свою вязанку к изгороди. Только бы дойти до него, только бы дотянуть...

И вот он снимает с моего плеча вязанку и ставит рядом со своей.

Мы с дедушкой усаживаемся на траву, откинувшись спиной на изгородь. Блаженная, сладкая истома. Позади нас кукурузное поле, впереди на десятки километров огромная равнина, с огромной стеной моря во весь горизонт. Широкий и ровный ветерок тянет с далекого моря, шелестит в кукурузной листве.

— В прошлом году с этого поля взяли сорок корзин кукурузы, — говорит дедушка, — а я здесь брал в самый плохой год шестьдесят...

«Господи, да мне-то что?» — мелькает у меня в голове, и я забываюсь.

До того сладко сидеть, откинувшись спиной на изгородь и потной шеей чувствовать ровный, прохладный ветерок, а то вдруг за пазуху пробьется струйка воздуха или за ворот рубашки и холодком протечет по ложбинке спины. И так странно и хорошо сидеть, вслушиваясь, как тело наполняется и наполняется свежестью и никак не может переполниться, это наполнение как-то сливается с упругим ровным ветерком, с высоким могучим небом, откуда доносится дремотный, мерцающий звон жаворонков, с лениво перепархивающим от стебля к стеблю шелестом кукурузы за спиной.

Я знаю, что дедушка сейчас ждет моего вопроса, но мне неохота разговаривать, и я молчу.

— А почему? — не дождавшись вопроса, сам себе его задает дедушка и отвечает: — Да потому, что я трижды мотыжил, а они дважды, да и то видишь как?

Дедушка легко встает и быстро перелезает через изгородь. Я бы сейчас за миллион рублей не встал с места. Все же я поворачиваю голову и слежу за ним сквозь щели в изгороди.

— Этот надо было срезать, — говорит дед и вырывает из земли уже рослый стебель кукурузы, — и этот, и этот, и этот...

Даже я сейчас вижу, что мотыжили плохо, траву у корней кукурузы срезали небрежно, просто заваливали зем-

лей, и теперь она снова проросла. Через несколько минут дедушка перебрасывает через изгородь большую охапку кукурузных стеблей.

— Лентяи, лоботрясы, бездельники, — бормочет дед, приторачивая кукурузные стебли к своей вязанке.

Мне почему-то представляется, что вся деревня сидит в тени деревьев и с утра до вечера слушает всякие истории, и при этом все сидят, закинув свои палки поперек шеи, и у всех руки лежат на палках, безвольно свесив кисти. Я смотрю вниз. Под нами котловина Сабида, справа от нее голый зеленый склон, на котором видны отсюда черные и рыжие пятна пасущихся коров. Густой лес темнеет во всю котловину. И только местами зелень светлее — это грецкие орехи. Они выше самых высоких каштанов, светло-зелеными холмами высятся их кроны над лесом.

— Дедушка, — спрашиваю я, — откуда эти грецкие орехи в лесу? Может, раньше там кто-нибудь жил?

— А-а, — кивает дедушка, словно довольный тем, что я наконец-то их заметил, — это я их повсюду рассадил и виноград пустил на каждый орех.

Мне странно, что дедушка, такой маленький, мог посадить такие гигантские деревья, самые большие в лесу. А раньше мне казалось, что когда-то в этих местах жили великаны, но потом они почему-то ушли в самые непроходимые дебри. Может быть, их обидели или еще что — неизвестно. И вот эти грецкие орехи да еще развалины каких-то крепостных стен,

которые иногда встречаются в наших лесах, — все, что осталось от племени великанов.

— Когда я сюда перебрался жить, здесь не то что орехов, ни одного человека не было, — говорит дедушка.

— И ни одного дома? — спрашиваю я.

— Конечно, — говорит дедушка и вспоминает: — Я случайно набрел на это место, здесь вода оказалась хорошая. А раз вода хорошая, значит, жить можно. Когда я вернулся из Турции, мама женила меня на твоей бабушке, а то уж слишком я был легок на ногу. Бабка твоя тогда была совсем девочка. Года два она ложилась с моей мамой, а потом уже привыкла ко мне. А когда мы переехали сюда, у нас уже был ребенок, а из четвероногих у нас была только одна коза и то чужая. Одолжил, чтобы ребенка было чем кормить. А потом у нас все было, потому что я работы не пугался...

Но мне скучно слушать, как дедушка любил работать, и я его перебиваю.

— Дедушка, — говорю я, — ты когда-нибудь лошадей уводил?

— Нет, — отвечает дедушка, — а на что они мне?

— Ну а что-нибудь уводил?

— Однажды по глупости телку увели с товарищем, — вспоминает дедушка, подумав.

— Расскажи, — говорю я, — все как было.

— А что рассказывать? Шли мы из Атары в нашу деревню. Вечер в лесу нас застал. Смотрим — телка. Заблудилась.

дилась, видно. Ну, мы ее сначала смехом погнали впереди себя, а потом и совсем угнали... Хорошая была годовалая телка.

— И что вы с ней сделали? — спрашиваю я.

— Съели, — отвечает дедушка кратко.

— Вдвоем?

— Конечно.

— Да как же можно вдвоем целую телку? — удивляюсь.

— Очень просто, — отвечает дедушка, — завели ее подальше от дороги. Развели костер, зарезали. Всю ночь жарили и ели. Ели и жарили.

— Не может быть! — кричу я. — Как же можно годовалую телку вдвоем съесть?!

— Так мы же были темные, вот и съели. Даже кусочка мяса не осталось. Помню, как сейчас, на рассвете чисто обглоданные кости вывалили в кусты, затоптали костер и пошли дальше.

— Дедушка, — говорю я, — расскажи такой случай, где ты проявил самую большую смелость.

— Не знаю, — говорит дедушка и некоторое время смотрит из-под руки в котловину Сабида. Похоже, что он не узнает какую-то корову или не может досчитаться. Но вот успокоился и продолжает: — Я такие вещи не любил, я работать любил.

— Ну все-таки, дедушка, вспомни, — прошу я и смотрю на него. А он сидит рядом со мной, круглоголовый, широкоплечий и маленький, как подросток. И мне все еще трудно по-

верить, что это он насажал столько гигантских деревьев, что это у него дюжина детей, а было и больше, и каждый из них на голову выше дедушки ростом и все-таки в чем-то навсегда уступает ему, и я это чувствую давно, хотя, конечно, объяснить не в силах.

— Вот если хочешь, — неожиданно оживляется дедушка и спиной, прислоненной к изгороди, нащупывает более удобную позу, — слушай... Однажды поручили мне передать односельчанину одну весть. А он в это время уже был со своим скотом на альпийских лугах. Это в трех-четыре дня ходьбы от нашего села. И вот я пошел. Но как пошел? Сначала обогнал всех, кто со скотом проходил по этой дороге. Потом обогнал всех, кто пешком шел по этой дороге, потом обогнал тех, кто днем раньше вышел со скотом по этой дороге, и ночью обогнал тех, кто пешком днем раньше пустился в путь. А на следующий день утром, когда еще пастухи коров не успели подоить, я подошел к балагану.

— Дедушка, а тех, что днем раньше выехали верхом? — спрашиваю я.

— Тех не успел, — отвечает дедушка.

— И ты ни разу не останавливался?

— Только чтобы выпить воды или кислого молока в пастушеском балагане. Клянусь нашим хлебом и солью — день и ночь шел, ни разу нигде не присев, — говорит дедушка важно и замолкает, положив на колени руки.

И опять я представляю, как дедушка топает по дороге и все, кто вышел перегонять скот, остаются позади, и те,

что идут сами по себе, остаются позади, и те, что вышли со скотом днем раньше, остаются позади, и те, что днем раньше вышли сами по себе, остаются позади. Но тех, кто днем раньше выехал верхом, дедушка не достал, да и то, мне кажется, что они все оглядывались и нахлестывали своих лошадей, чтобы дедушка их не догнал.

— Ну ладно, пошли, — говорит дедушка и легко подымается. Подымаюсь и я.

И снова зеленый сноп качается впереди. Солнечные лучи, дробясь и сверкая на свежих листьях, режут глаза, раздражают.

Наконец мы входим в ворота дедушкиного дома. Дедушка открывает ворота и, придерживая ногой, пропускает меня. Собаки с лаем несутся на нас и только вблизи, узнав, притормаживают и отбегают. Мы прислоняем к забору свои вязанки.

На шум из кухни выходит моя тетушка. Она подходит к нам, еще издали придав лицу скорбное выражение, смотрит на меня.

— Умаял, убил, — говорит она, показывая бабке, которая высовывается из кухни, что она жалеет меня и осуждает дедушку.

Мои двоюродные братишка и сестренка валяются на бычьей шкуре в тени грецкого ореха. Сейчас, подняв головы, они смотрят на наши вязанки одинаковым телячьим взглядом. Это погодки года на два, на три младше меня. Мальчик крепыш с тяжелыми веками, а девочка хорошень-

кая, круглолицая, с длинными турецкими бровями. Почти одновременно догадываясь, вскакивают.

— Лавровишни! — кричит Ремзик.

— Черника, черника, — радостно поправила Зина, и оба, топоча босыми ногами, подбегают к нам.

— Мне! Мне! Мне! — кричат они, протягивая руки к моему букету, который я уже вытащил из вязанки. Разделив поровну, я раздаю им черничные ветки. Две собаки, Рапка и Рыжая, кружатся у ног, бьют по земле хвостами, заглядывают в лицо. Они чувствуют, что мы принесли что-то съедобное, но не понимают, что это для них не годится.

Дети жадно едят чернику, а я чувствую себя взрослым благодетелем.

Тетушка вынимает из вязанки дедушкин букет и, на всякий случай приподняв его повыше, чтобы Ремзик по дороге не цеплялся, проходит в кухню. Она несет букет с таким видом, словно он ей нужен для каких-то хозяйственных надобностей. Все же не выдерживает и, по дороге ощипав несколько ягод, бросает в рот, словно из тех же хозяйских соображений: не дай Бог, окажется кислятиной.

Дедушка выдергивает из вязанки кукурузные стебли и идет к загону, где заперты козлята. Они уже давно слышали шум листьев и сейчас нетерпеливо ждут, привстав на задние ноги и опираясь передними на плетень. Они заливаются тонким, детским бляньем. Время от времени пофыркивают. Над плетнем торчат кончики ушей и вос-

ковые рожки. Дедушка забрасывает охапку кукурузных стеблей в загон, кончики ушей и рожки мгновенно исчезают.

Я чувствую удовольствие от каждого своего движения. Ноги мои чуть-чуть дрожат, плечи ноют, и все-таки я ощущаю во всем теле необыкновенную легкость, облегченность и даже счастье, какое бывает, когда после долгой болезни впервые ступаешь по земле.

Тетушка выносит из кухни кувшин с водой и полотенце. Мы с дедушкой умываемся, тетушка поливает.

Пока мы умываемся, Ремзик, прикончив свою чернику, выхватывает у сестренки последнюю ветку и убегает. Девочка заливается слезами, ревет, глядя на мать бессмысленными и в то же время ждущими возмездия глазами. Тетушка снова начинает ругать деда.

— Чтоб ты подавился своей черникой, на черта она была нужна, — приговаривает она и грозит в сторону сына: — А ты еще захочешь кушать, а ты еще вернешься.

Крепыш, насупившись, стоит за воротами. Видно, что он теперь и сам не рад, потому что чернику уже успел съесть, а время обеда приближается. Из кухни доносится вкусный запах чуть-чуть подгорелой мамалыги.

— Что же ты, обещал мне новую ручку приделать к мотыге, а все не делаешь, — бросает тетушка в сторону деда, заходя в кухню.

— Сейчас, — говорит дедушка и подходит к поленнице, где свалено в кучу несколько мотыг и лопат. Он подымает

тетушкину мотыгу и одним ударом обуха топорика отбивает лезвие от ручки. Дедушка наклоняется и берет лезвие в руки.

Я захожу в кухню и усаживаюсь у очага рядом с бабушкой. Высоко над огнем в большом чугуне висит готовая мамалыга. Я вытягиваю ноги. Золотистый запах поджаренной мамалыжной корочки нестерпимой сладостью щекочет ноздри. Скорее бы за стол, но тетушка ждет хозяина, как она говорит про мужа. Покамест он не придет, мы за стол не сядем.

— А ну, сукин сын, поди сюда, — зовет дедушка моего братца.

— Чего тебе, — слышится после некоторой паузы.

— Иди, покрутишь мне точильный камень, — говорит дедушка.

— Мамка будет драться, — после некоторого раздумья отвечает мальчик, как бы и матери давая время высказаться по этому поводу.

Но тетушка не высказывается.

— Не бойся, иди, — говорит дед и, зайдя в кухню, наливает в кувшинчик воды, чтобы поливать точильный камень.

У огня ноги мои начинают чесаться, и бабушка обращает внимание на это. Увидев, в каком они состоянии, она всплескивает руками и начинает ругать дедушку. Тут и тетушка подходит ко мне, низко наклоняется над моими окровавленными ногами и тоже начинает ругать дедушку.

— Ничего, — говорю я, — это же комары...

— Господи, пронеси, — говорит бабушка, — да что же он сделал с тобой, проклятый непоседа!

— Мне не больно, бабушка, — говорю я.

— Вот это и плохо, что не больно, — причитает бабушка, — лучше бы болело.

— Что мы теперь скажем его маме? Здорово мы сберегли ее ребенка, — повторяет тетушка, напоминая, что скоро должна приехать из города моя мама. Бабка ставит у огня чайник с водой.

— Запричитали, дуры, запричитали, — слышится из-за кухни голос деда.

Потом доносится сочный звук металла, трущегося о мокрый точильный камень. Бабка ставит возле меня тазик, наливает туда теплую воду из чайника и наклоняется мыть мне ноги. Мне стыдно, но я знаю, что теперь трудно с ней сладить, и соглашаюсь. Бабка и тетушка продолжают ворчать на деда и жалеть меня.

Мне приходится расстаться с ролью взрослого парня, каким я себя чувствовал, когда вошел во двор со своей поклажей. Мне навязывают состояние угнетенного безжалостным дедом, чуть ли не сиротки. И я постепенно вхожу в него. Я чувствую, что состояние угнетенности не лишено своего рода приятности.

Хотя ноги и в самом деле в кровавых ссадинах и немного припухли, я никаких особых страданий не испытываю. Немного печет — вот и все. Но мне уже приятно соглашать-

ся с ними, приятно чувствовать себя страдающим, когда признаки страдания очевидны, а на самом деле никакого страдания нет, так что сочувствие воспринимается как поэзия чистой прибыли.

Я ощущаю, как тепловатая сладость лицемерия разливается у меня в груди. Ноги мои в крови — значит, я страдаю — таковы правила игры, которую предлагают мне взрослые, и я ее с удовольствием принимаю.

— Ровно крути, — слышится голос бабушки, — еще ровней...

— Что я, мельница, что ли? — ворчит Ремзик.

Снова сочный звук металла, трущегося о мокрый камень.

— Теперь в обратную сторону, — слышится голос бабушки.

— Мне неудобно, у меня рука болит, — ворчит Ремзик, но все же крутит.

— Лоботряс, — говорит бабушка, — я в твоём возрасте...

Бабушка подает мне чистую тряпку и выносит тазик с водой. Слышится, как шлепнулась вода о траву. Я вытираю ноги.

Но тут бабушке показалось, что кто-то ее кличет. Она замирает, прислушиваясь.

— Тише вы там! — кричит она деду и выбегает во двор.

Она подходит к самой изгороди и слушает. В самом деле чей-то далекий голос.

— Чего тебе, уй! — кричит она своим пронзительным голосом.

В открытую кухонную дверь видно, как она стоит, слегка наклонившись вперед, в позе, поглощающей звук.

— Так гоните ж, гоните! — кричит она, что-то выслушав.

Опять оттуда доносится неопределенный звук, а она замирает, прислушиваясь. Почувствовав, что воздушная связь прочно налажена, точильный камень снова заработал.

— У меня уже рука болит, я не могу, — сдавленным голосом жалуется Ремзик.

— А ты левой, — говорит дедушка.

—левой я не привык, — продолжает ворчать Ремзик. Снова слышится звук металла, трущегося о мокрый точильный камень.

— Хорошо, передам, хорошо! — кричит тетка и возвращается на кухню.

— Что там случилось? — спрашивает бабушка испуганно. С тех пор как в прошлом году ее сын, дядя Азис, погиб на охоте, она так и не пришла в себя и все боится, что еще что-нибудь случится.

— Ничего, ничего, просто буйвол Датико опять залез в кукурузник, — отвечает тетушка и ставит у огня чугунок с утренним лобио.

Об этом буйволе я уже слышал сто раз. Как только его выпустят, он как сумасшедший бежит прямо на колхозную кукурузу, и никакая изгородь его не может удерживать. Дядя мой работает бригадиром, поэтому сюда и кричат.

— Вернули бы мне три дня молодости, — говорит дедушка из-за дома: оказывается, он все слышал, — я бы показал этому буйволу...

Я думаю над дедушкиными словами и никак не могу сообразить, что бы он показал этому буйволу и почему ему нужно для этого три дня молодости. Потом догадываюсь: дедушка его украл бы и съел. А так как буйвол большой, ему пришлось бы есть его целых три дня. Я представляю, как дедушка сидит в лесу над костром, жаривает куски буйволятины и ест. Жарит и ест, жарит и ест, и так целых три дня и три ночи. Потом собирает кости и забрасывает их в кусты, а когда поворачивается, то он уже снова старик, то есть у него волосы опять побелели, а все остальное осталось таким же.

Тетушка быстро и ловко продевает на вертел вяленое мясо, разгребает жар и, присев на низенький стульчик, покручивает вертел на огне, время от времени отворачиваясь от огня — слишком печет. Постепенно мясо жаривается, покрывается розовой корочкой, влажнеет от жира, который начинает по каплям стекать на раскаленные угли. Там, где упадет капля, всплескивается голубой язычок пламени. От вяленого и теперь еще жаренного мяса подымается такой дух, что просто нет никакого терпения.

— Пепе идет! — кричит Ремзик, первым заметив отца. Так они его почему-то называют. Это сигнал к примирению. Он как бы хочет сказать маме, стоит ли помнить мелкие обиды перед таким общим праздником, как приход отца.

Тетушка выглядывает в дверь и, прислонив вертел с мясом к стенке очага, ставит перед скамьей, на которой мы сидим, низенький деревенский столик.

Дядя Кязым вдруг останавливается посреди двора. А-а, это он подымает Зину. О ней как-то все забыли. Наревевшись, она не то забылась, не то уснула на зеленой лужайке двора. Сейчас она ковьялет рядом с отцом на кухню.

Сразу же после отца в кухню входят дедушка и Ремзик, чувствующий себя прощенным за свои труды с дедушкой.

Между делом тетушка все-таки успевает достать его таким быстрым, бреющим ударом по голове.

— Ты чего? — удивляется дядя. Обычно он суров, а все-таки не любит, чтобы детей били.

— Он знает чего, — говорит тетушка.

Ремзик обиженно опускает свои бычьи веки, но долго обижаться не приходится, еще без обеда останешься.

Тетушка наливает мужу воду. Дядя медленно моет огромные руки, потом мокрыми ладонями несколько раз проводит по лицу и коротко остриженной голове.

— Опять буйвол Датико залез в кукурузник, — говорит тетушка, поливая, — тебе кричали...

— Гори огнем, — отвечает дядя безразлично и молчит. Потом, вытирая руки, не выдерживает: — Заперли?

— Да, — говорит тетушка и накрывает на стол.

— Кого, буйвола или Датико? — спрашиваю я, потому что как-то неясно, кого следует наказывать: буйвола или его хозяина.

Дядя усмехается, а все остальные смеются. Обидно, что и дети смеются.

— Стоило бы его самого запереть дня на три, — говорит дядя, как бы оправдывая мое предположение.

Мы все сидим в ряд возле очага. В головах дед, потом бабушка, потом дядя, потом остальные. Тетушка мамалыжной лопатой накладывает каждому свою порцию прямо на тщательно выскобленную розовую доску стола. Мамалыга густо дымит. Потом она каждому в тарелочку разливает лобio, разбрасывает по столу снопы зеленого лука, а потом уже более расчетливо делит жареное мясо.

Я не могу удержаться, чтобы тайно, краем глаза не проследить, как она раздает мясо. Все мне кажется, что лучшие куски она раздает своим, мужу и детям. Я знаю, что стыдно за этим следить, но все же не удерживаюсь и подглядываю. Вон и Ремзику, хоть он и провинился, а все же не удержалась и дала ему самый большой кусок мяса и тут же, словно спохватилась, что чаша весов слишком явно перевесила в его сторону, шлепнула его по лбу ладонью, словно толкнула рукой другую чашу.

Я чувствую, что тетушка знает, что я слежу за ней, и это сковывает ее действия, и она старается скорей закончить раздачу.

— Дали бы мне три дня молодости, — повторяет дедушка с полным ртом, — я бы показал, что сделать с этим буйволом...

— Ну, ты у нас герой, — говорит дядя насмешливо. Я знаю, на что он намекает.

На краю табачной плантации стоит огромное каштановое дерево. Часть веток его отбрасывает тень на плантацию, и на этом месте табак всегда хилый, недоразвитый.

С самого начала лета я слышал разговоры о том, что надо бы подрубить ветки этому каштану, но почему-то никто не брался. Правда, влезть на него очень трудно, потому что метров на десять поднимается совсем голый ствол и не за что ухватиться.

Сначала все решили, что на дерево подыметесь заведующий фермой, охотник и скалолаз. Но в это время он был в горах, и решили послать за ним человека, потому что все равно пора было ехать в горы за сыром. Человека послали, заведующий фермой приехал, но, когда ему показали на дерево, он отказался на него влезать, потому что, по его словам, за дичью он может лазить по скалам, как муха по стене, но на этот каштан влезать боится, потому что у него кружится голова от одного взгляда на такие большие деревья. Тогда ему сказали, зачем же он приехал, если у него кружится голова, даже когда он смотрит на такие большие деревья. На это он ответил, что на альпийских лугах он так соскучился по семье, что каштан этот ему показался не таким уж высоким и ветки вроде, казалось, пониже расти начинают. Но теперь, когда он повидался с семьей, он чувствует, что ему не одолеть этот каштан, что он, пожалуй, поедет назад, потому что пастухи без него там загубят весь скот.

Одним словом, заведующего фермой пришлось отпустить, а каштан так и остался со своей раскидистой тенью, и никому неохота было на него лезть, и все почему-то шутили по этому поводу, а то и ругались: пропади он пропадом, весь табак, чтобы еще из-за него на дерево влезать...

Дедушка долгое время все это терпел, и в конце концов, с неделю тому назад, когда утром пришли мотыжить эту самую плантацию, дедушка уже был на дереве и, привалившись спиной к стволу, молча рубил ветви, обращенные к плантации. Никто не видел, как он залез, но, судя по тому, что он слез при помощи двух остроносых топориков, попеременно вонзая в ствол то один, то другой, предполагали, что он таким же способом и залез на дерево. После этого дедушку не только не хвалили, его дня два просто поедом ели, потому что он мог свалиться с дерева и опозорить семью, люди могли подумать, что дедушку заставляли работать, да еще в колхозе. Об этом и напоминал сейчас дядя.

Все заняты едой. Редко-редко перекинутся словом. Дедушка с жадным удовольствием мнет в пальцах мамалыгу, сочно кусает зеленый лук, яростно рвет все еще крепкими зубами упругие куски вяленого мяса. Дядя ест вяло, словно печаль какой-то неразрешенной задачи навсегда испортила ему аппетит и он каждый раз заставляет себя есть.

Тетушка, я знаю, тоже ест с удовольствием, но ей приходится скрывать это от насмешливого мужа. И она все время сдерживается, просто почти не жует, а прямо-таки заглатывает непрожеванные ломти, чтобы не создавать суеты пережевывания. Временами мне делается страшно — до того огромные куски ей приходится заглатывать.

Но вот мы поели, вымыли руки. У дяди, как у всех людей, которые плохо едят, есть свое лакомство. Он любит сухую ко-

рочку, которая прижаривается к чугунок после мамалыги. Сейчас он ее не спеша соскребает, выколупливает ножом. Сам хрустит и нас угощает.

Тетушка укладывает в плетеную корзину обед для старшей дочки. Она осталась в табачном сарае, где вместе с другими девушками и женщинами нижеет табак. Понесет его Зина. Она натягивает на себя зеленое праздничное платье, обувается в сандалии. Все-таки как-никак на люди выходит.

С корзинкой в руке, с какой-то девичьей пристойностью она переходит двор и, оглянувшись, сворачивает на тропу.

— Не бойся, я здесь стою, — говорит тетушка, следя за ней с веранды.

Зина исчезает за изгородью, а через несколько минут, когда она доходит до самого страшного места, где особенно густо обступают тропу заросли ежевики, папоротников, бузины, вдруг раздается ее голос. Отчаянно фальшивя, она поет неведомо как залетевшую в горы песенку, которая почему-то и тогда казалась устаревшей:

*Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
Но мы тоже не сидели,
Того дожидалися...*

И вдруг не выдержала, побежала, побежала, встряхивая и рассыпая слова песенки.

— Понесло, — говорит тетушка, улыбаясь голосом. Вздыхнув и помедлив, входит в кухню.

Слышно, как дедушка возится на веранде, обтачивая новую ручку для теткиной мотыги. Чувствуется, что после еды у него хорошее настроение, он что-то напевает себе и строгаёт ручку.

— Наелся мяса и поет, — говорит дядя насмешливо, кивая в сторону деда.

И вдруг дедушка замолкает. Может, услышал? Мне делается как-то неприятно.

Я люблю дядю. Я знаю, что он самый умный из всех знакомых мне людей, и я знаю, что ему не мяса жалко, просто он завидует дедушкиной безмятежности. Сам он редко бывает таким, разве что во время пирушки какой-нибудь...

Но сейчас вдруг горячая жалость к дедушке пронизывает меня. «Дедушка, деду, — думаю я, — за что они тебя все ругают, за что?..» В тишине слышно старательное сопение дедушки и сочный звук стали, режущей свежую древесину: хруст, хруст, хруст...

ЛОШАДЬ ДЯДИ КЯЗЫМА

У дяди Кязыма была замечательная скаковая лошадь. Звали ее Кукла.

Почти каждый год на скачках она брала какие-нибудь призы. Особенно она была сильна в беге на длинные дистан-

ции и в состязаниях, которые, кажется, известны только у нас в Абхазии, — чераз.

Суть чераза состоит в том, что лошадь разгоняют и заставляют скользить по мокрому полю. При этом она не должна спотыкаться и не должна прерывать скольжения. Выигрывает та, которая оставляет самый длинный след.

Возможно, это состязание вызвано к жизни условиями горных дорог, где умение лошади в трудную минуту скользить, а не падать особенно ценно.

Я не буду перечислять ее стати, тем более что ничего в них не понимаю. Я ушел от лошади, хотя и не пришел к машине.

Внешность Куклы помню хорошо. Это была небольшая лошадь рыжей масти с длинным телом и длинным хвостом. На лбу у нее было белое пятнышко. Одним словом, внешне она мало отличалась от обычных абхазских лошадей, но, видно, все-таки отличалась, раз брала призы и была всем известна.

Днем она паслась в котловине Сабида или в ее окрестностях. К вечеру сама приходила домой. Неподвижно стояла у ворот, время от времени прядая маленькими острыми ушами. Дядя выносил ей горстку соли и кормил ее с руки, что-то тихо приговаривая. Кукла осторожно дотягивалась до его ладони, раздувала ноздри, страшно косила фиолетовым глазом с выпуклым белком, похожим на маленький глобус с кровавыми меридианами.

Во время прополки кукурузы дядя собирал срезанные стебли, и вечером лошадь хрустела свежими листьями молодой кукурузы.

Тетка Нуца, дядина жена, иногда ворчала, что он только и занят своей лошастью целыми днями. Это было не совсем так. Дядя был хорошим хозяином. Я думаю, что тетка Нуца слегка ревновала его к лошади, а может, ей было обидно за коров и коз. Впрочем, кто его знает, почему ворчит женщина?

Иногда Кукла не возвращалась из котловины Сабида, и дядя, как бы поздно ни узнавал об этом, сейчас же подпоясывался уздечкой, топорик через плечо — и уходил искать. Бывало, возвратится поздно ночью по пояс в росе или весь мокрый, если дождь. Присядет у огня, греется. Красивая, резко высеченная большая голова, неподвижно растопыренные пальцы. Сидит успокоенный, главное дело сделано — Кукла найдена.

В жаркие дни дядя водил ее купать. Стоя по пояс в ледяной воде, он окатывал ее со всех сторон, расчесывал гриву, выдергивал репы и всякую труху.

— Мухи заедают, — бормотал он и соскребал с ее живота пригоршни твердых, нагло упирающихся мух.

В воде Кукла вела себя более покорно. Она только изредка дергалась и не переставала дрожать.

Стоя на берегу ручья, я любовался дядей и его лошастью. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы плеснуть в нее водой, на его худом костистом теле прокатывались мускулы и выделялись ребра. Иногда к его ногам присасывались пиявки. Выходя из воды, он спокойно отдирал их и одевался. Этих пиявок мы смертельно боялись и из-за них не купались в ручье.

После купания дядя иногда сажал меня на Куклу, брал в руки поводья, и мы подымались наверх, к дому. Тропинка была очень крутая, я все время боялся соскользнуть с мокрой лошадиной спины, всеми силами прижимался ногами к ее животу и крепко держался за гриву. Ехать было мокро и неудобно и все-таки приятно, и я держался за лошадь, испуганно радуясь и смущаясь оттого, что чувствовал ее отвращение к седоку и смутно сознавал, что это отвращение справедливо. Каждый раз, как только ослабевали поводья, она поворачивала голову, чтобы укусить меня за ногу. Но я был начеку. Обычно мы таким образом подходили к воротам, и я слезал с лошади, празднично возбужденный оттого, что теперь целый и невредимый стою на земле.

Однажды мы так же подъехали к воротам, и вдруг с другой стороны двора появился один из наших соседей, которого почему-то особенно не любили собаки. Они ринулись в его сторону.

— Пошел! Пошел! — закричал дядя, но было уже поздно. — Держи! — Он метнул мне поводья.

Мне кажется, лошадь только этого и ждала. Я это почувствовал раньше, чем она повернула голову. Я вцепился в поводья со всей силы. Она стала поворачивать голову, и я понял, что удержать ее так же невозможно, как остановить падающее дерево. Она пошла сначала рысью, и я, подпрыгивая на ее спине, все еще пытался сдерживать ее. Но вот она перешла в галоп, плавно и неотвратимо увеличивая скорость, как увеличивает скорость падающее дерево. Замелькало что-то зеле-

ное, и ударил сумасшедший ветер, словно на этой скорости была совсем другая погода.

Не знаю, чем бы это кончилось, если б не мой двоюродный брат. Он жил на взгорье недалеко от дяди и, услышав собачий лай, вышел посмотреть, что случилось. Он увидел меня, выбежал на тропу, закричал и замахал руками. В нескольких метрах от него Кукла остановилась как вкопанная, и я, перелезев через ее голову, упал на землю.

Я вскочил и удивился, что снова попал в тихую погоду. Неожиданный толчок прервал мое удивление. Что-то опрокинуло меня и поволокло по земле. Но тут подскочил мой брат, выхватил из рук поводья и стал успокаивать Куклу. Оказывается, я от страха так вцепился в поводья, что не мог разжать пальцы даже после того, как упал.

С тех пор дядя меня на Куклу больше не сажал, да и я не просился. И все же я не только не охладел к ней, но наоборот, еще больше полюбил. Ведь так и должно было случиться, — она знаменитая лошадь и никого не признает, кроме своего хозяина.

Надо сказать, что даже самому дяде она давалась не просто. Чтобы надеть на нее уздечку, он медленно подходил к ней, вытягивал руку, говорил что-то ласковое, а дотянувшись до нее, поглаживал ее по холке, по спине и наконец вкладывал в рот железо. Такими же плавными, замедленными движениями пасечники вскрывают ульи.

Обычно, когда дядя подходил к ней, Кукла пятилась, задирала голову, отворачивалась, вся напряженная, дрожащая, го-

товая рвануться от одного неосторожного движения. Казалось, каждый раз она со стыдом и страхом отдавалась в руки своему хозяину.

Иногда днем, когда мы ходили в котловину Сабида за черникой или лавровишней, мы ее встречали в самых неожиданных местах.

Бывало, окликнешь ее: «Кукла, Кукла!» Она остановится и смотрит долгим, удивленным лошадиным взглядом. Если пытались подойти, она удирала, вытянув свой длинный красивый хвост. Вдали от дома она совсем дичала.

Бывало, где-нибудь в зарослях ежевики, лесного ореха, папоротников раздавался неожиданный хруст, треск, топот. Леденя от страха, ждем: вот-вот на нас набросится дикий кабан. Но из-за кустов вырывается Кукла и, как огненное видение, пронесится мимо, и через мгновение далеко-далеко затихает топот ее копыт.

— Куклу не видели? — спрашивал дядя, заметив, что мы возвращаемся из котловины Сабида.

— Видели, — отвечали мы хором.

— Вот и молодцы, — говорил он довольный, словно то единственное, что можно было сделать в котловине Сабида, мы сделали, а об остальном и спрашивать не стоит.

Мы все в доме, хотя дядя об этом никогда не говорил, чувствовали, как он любит свою лошадь. Надо сказать, что и Кукла, несмотря на свою дикость, любила по-своему дядю. Вечерами, когда она стояла у ворот, только слышит его голос, сразу же поворачивает голову и смотрит, смотрит...

Иногда днем дядя ловил Куклу и приезжал на ней, сидя боком — ноги на одну сторону. У него это получалось как-то молодо, лихо. Эта молчаливая шутка была особенно приятна, как бывала приятна неожиданная улыбка на его обычно суровом лице.

Видно было, что у него хорошее настроение, а хорошее настроение оттого, что предстояла особенно дальняя и интересная поездка. Дядя привязывал Куклу к яблоне, подогревал кувшинчик с водой, брился, мыл голову. Тетка Нуца начинала ворчать, но слова ее отлетали от него, как градины от бурки, которую он, переодевшись, набрасывал на себя.

И вот он перекидывает ногу через седло, усаживается поудобней, в руке щеголеватая камча. Статный, сильный, он некоторое время медлит посреди двора, отдавая последние хозяйские распоряжения. Легко пригнувшись, сам себе открывает ворота и удаляется быстрой рысью. В эти минуты нельзя было не залюбоваться им, и только тетушка продолжала ворчать и делать вид, что не слушает его и не смотрит в его сторону. Но и она не удерживается. А в руках сито, или забытая вязанка хвороста, или еще что. Грустно ей чего-то, а чего — мы не знаем.

...Война подходила все ближе и ближе. Где-то за перевалом уже шли бои, и, если прислушаться, можно было услышать отдаленный, как бы уставший грохот канонады. В деревне почти не осталось молодых парней и мужчин.

Однажды председатель объявил, что временно мобилизуются все ослики и лошади для перевозки боеприпасов на пе-

ревал. Сначала забрали всех осликов, а потом назначили день, когда будут брать лошадей, чтобы их приготовили и держали дома.

Накануне вечером дядя загнал Куклу во двор, а утром ее уже не выпустили.

В этот же день рано утром приехал из соседней деревни известный лошажник Мустафа. Это был человек небольшого роста, с коротенькими кустистыми бровями, из-под которых, как настоженные зверьки, выглядывали глаза.

Мы поняли, что он приехал неспроста. В честь его приезда зарезали курицу, и тетка поставила на стол алычовую водку.

— Про мезблизацию, конечно, знаешь? — спросил он, принимаясь за еду.

— Конечно, — ответил дядя.

— Как решил? — Мустафа облизнул губы и, стараясь не опережать дядю, осторожно приподнял рюмку.

— Сам видишь, — дядя кивнул во двор, — придется отдать.

— Дурное дело, — сказал лошажник. И без всякого перехода: — За твой дом, за старых и за малых, за всю семью!..

— Спасибо...

Выпили и некоторое время молча ели. Дядя, как всегда, вяло, без интереса. Гость, наоборот, с удовольствием. Мы, дети, сидели в сторонке, жадно прислушивались и жадно глядели, как гость сокрушает лучшие куски курятины.

— Знаю, что дурость, но куда податься...

— Сегодня же найду тебе — сдай другую...

— Неудобно, все знают мою Куклу..
— Не мне учить тебя, но..
— За твоих близких, которые там, чтобы все вернулись! — Дядя кивнул в сторону перевала.

— Спасибо, Кязым. Судьба — вернется. Нет— что поделаешь...

Снова выпили. Гость вновь заработал жирными челюстями.

— Учти, что, если лошадь и вернется, это будет не та лошадь.

— Что поделаешь — меблизация, азакуан.

— Меблизация, азакуан, я знаю, но где ты слышал, чтоб они понимали наших лошадей. Они и своих лошадей не понимают.

— Что поделаешь...

— Азакуан требует лошадь, а не Куклу..

— Но люди знают...

— Хлеб-соль прикроет любой рот.

— Мустафа, ты это видишь? — Дядя приподнял в руке белый ломтик сыру.

— Вижу, — сказал Мустафа, и зверечки под его густыми бровями забеспокоились.

— Ты знаешь, во что он превратится после того, как я его съем?

— Ну и что?

— И все-таки мы его хотим есть чистым и белым. Иначе не хотим. Так и это, Мустафа.

— Говоришь, как мулла, а лошадь губишь.

— Знаю, но так лучше. — И вдруг неожиданно горько добавил. — В этой чертовой жаровне наши мальчишки стоят по колено в огне, а что лошадь... Лучше выпьем за них.

— Конечно, выпьем, но азакуан что говорит? Он говорит...

Я помню, как пронзила меня неожиданная горечь дядиных слов. Может быть, потому, что обычно он говорил насмешливо, безжалостно. Вот так, бывало, редко улыбался, но улыбнется — и радость вспыхнет, как спичка в темноте.

Допив водку, они вымыли руки и вышли во двор. Дядя Кязым, высокий и унылый, а рядом лошажник, маленький и бодрый, с крепким красным затылком.

Дядя поймал Куклу и надел на нее уздечку. Мустафа подошел к лошади, потрепал ее. Потом стал почему-то толкать ее назад. Я даже испугался, думал, что он пьяный. Потом он неожиданно нагнулся и начал поднимать ей переднюю ногу. Кукла всхрапнула и потянулась укусить его, но он небрежно отмахнулся от нее и все-таки заставил поднять ногу. Стоя на четвереньках и посапывая, он осмотрел каждое копыто. Сначала передние ноги, потом задние. Когда он подошел к ней сзади, я думал: тут она ему отомстит за его нахальство, но она почему-то его не лягнула. Даже когда он схватил ее за хвост и протер хвостом копыто, чтобы как следует рассмотреть подкову, она не ударила его, а только все время дрожала.

— Стоит перебить передние, — сказал он, вставая, — сам знаешь, дорога на Марух...

Дядя вынес из кухни ящик с инструментами. «Зачем он возится с ней, раз она ему не достанется?» — думал я, глядя на Мустафу и пытаюсь постигнуть сложную душу лошадника.

Куклу отвели под тень яблони, где была привязана лошадь Мустафы.

— Что у вас за мухи, мою лошадь загрызли, — сердито удивился Мустафа, оглядев свою лошадь.

— Это у нас от коз, — сказал дедушка. Он подошел помогать.

Дядя держал Куклу, коротко взяв ее под уздцы. Маленький лошадиник ловко стал на одно колено, приподнял лошадиную ногу и стал выковыривать из подковы ржавые гвозди. Он порылся в ящике и, набрав оттуда целый пучок гвоздей для подков, как фокусник, сунул их в рот и зажал губами. Потом он вынимал их оттуда по-одному и двумя-тремя ударами вколачивал в безвольно повернутое копыто лошади. После каждого удара Кукла вздергивалась, и волна дрожи пробегала по ее телу, как круги по воде, если в нее швырнуть камень.

— Кукла-а, — приговаривал дядя, чтобы успокоить ее и дать знать, что видит все, что делается.

Вторую подкову, отполированную травой и камнями, Мустафа почему-то снял и заменил ее новой, но ржавой, из единственного ящика. Пока он возился, Кукла несколько раз хлестнула его кончиком хвоста. Каждый раз после этого он подымал голову и, не выпуская изо рта гвозди, сердито мычал, словно не ожидая от нее такого ребячества.

— Теперь хоть к самому дьяволу скачи! — сказал он и, вбросив молоток в ящик, выпрямился.

Дядя взял ящик одной рукой и как-то нехотя отнес его домой. Даже по спине его видно было, до чего ему нехорошо. Куклу привязали рядом с лошадью Мустафы.

Снятая подкова блестела как серебряная, я заслонил ее, чтобы потом незаметно поднять, но дедушка отодвинул меня и поднял ее сам. Он тут же прибил ее к порогу — на счастье. Там уже была прибита другая подкова, но она порядочно протерлась, а эта даже в тени блестела как серебряная. Может быть, дед решил, что пришло время обновлять счастье.

Мустафа уезжал. Дядя поддерживал ему лошадь под уздцы. Лошадник крепко ухватился руками за скрипнувшее седло и вдруг замер.

— Может, переседлаем, — сказал он, как бы собираясь сорвать седло со своей лошади и перенести его на дядину.

С яблони сорвалось яблоко и, глухо стукнувшись о траву, покатилося. Кукла вздрогнула. Я проследил глазами за яблоком, чтобы потом поднять его. Оно остановилось у изгороди в зарослях сорняка.

— Не стоит, Мустафа, — сказал дядя Кязым, подумав.

Мустафа вскочил на свою лошадь.

— Всего, — сказал он и тронул ее камчой.

— Хорошей дороги, — сказал дядя и отпустил поводья только после того, как лошадь тронулась, чтобы не казалось, что хозяин спешит избавиться от своего гостя.

Мустафа скрылся за поворотом дороги, дядя вошел в дом, а я вспомнил про яблоко и, подойдя к изгороди, раздвинул ногой заросли сорняка. Яблока там не оказалось. Я сначала удивился, но потом увидел свинью. Она похаживала по ту сторону изгороди, прислушиваясь к шороху в листьях яблони. Видно, она просунула морду сквозь прутья плетня и вытащила мое яблоко. Я прогнал ее камнями, но это было бесполезно. Она остановилась невдалеке, продолжая следить не столько за мной, сколько за яблоней, что было особенно обидно.

Весь этот день дядя лежал в комнате и курил. Длинный, худой, он курил, глядя в потолок, и лежал, как опрокинутый. Тетка Нуца не решалась его беспокоить и сама занималась всеми хозяйскими делами. Время от времени она посылала нас посмóтреть, что делает дядя. Мы проходили в огород и от туда через окошко смотрели на дядю. Он ничего не делал, только лежал и курил, глядя в потолок, все такой же длинный, опрокинутый.

— Что он там делает? — спрашивала тетка, когда мы возвращались на кухню.

— Ничего, только курит, — говорили мы.

— Ну ничего, пусть курит, — отвечала она и, быстро скрутив длинную тонкую сигарку, закуривала сама, озираясь на дверь, чтобы не увидел дед.

К вечеру пришел парень из сельсовета и спокойно, как человек, привыкший ходить по чужим дворам, отбиваясь палкой от собак, прошел на кухню. Все знали, зачем он пришел,

и он знал, что все об этом знают, но для приличия он сначала говорил про всякую ерунду. Дядя так и не вышел из комнаты, хотя тетка тайком посылала за ним. В конце концов парень объявил о цели своего прихода, сделав при этом постную мину горевестника. С этой же постной миной горевестника он взял Куклу за повод и повел ее со двора. Он вел ее на предельно вытянутых поводьях, словно удлиняя расстояние между собой и лошадью, молча втолковывая нам, что она имеет дело не с ним, а с законом. Но, пожалуй, он это делал слишком явно, и потому мы, дети, не очень поверили ему. Мы чувствовали, что по дороге от хозяина к закону он что-нибудь отщипнет для себя самого.

Как только он вышел со двора, мы вбежали в огород и, прячась в кукурузе, следили за ним. Так оно и оказалось. Недалеко от дома он остановился у большого камня, осторожно влез на него и оттуда спрыгнул на шею лошади. Кукла взвилась, но опрокинуть его не смогла. В наших краях слишком многие хорошо ездят.

— Меблизация! — крикнул он, не то понукая лошадь, не то оправдываясь, и поскакал. До сельсовета было пять километров.

Мы постояли еще немного, покамест не смолк звук лошадиных копыт, и потом тихо вернулись во двор.

Через несколько дней после того, как дядю взяли на заготовку леса, в котловине Сабида медведь задрал соседскую корову. Она долго редела, наверное, звала на помощь, но спуститься было некому. Мы все столпились у края котловины

и слушали. Больше часа длился этот жуткий рев, придавленный теменью котловины и нашим страхом. Потом он стал слабеть и удлиняться. Казалось, голос коровы уже не пытался вырваться к людям наверх, а стекал вместе с кровью по днищу котловины. Потом он превратился в еле слышный стон, и этот стон был еще страшнее, чем рев. К нему особенно настойчиво и долго прислушивались, стараясь не спутать его с другими звуками ночи, а главное — не упустить его, словно остротой слуха отдаляли мгновение смерти. Наконец, все замолкло, а потом стало слышно, как за перевалом отдаленно грохочет война.

Несколько дней после этого скотина, проходя мимо того места, где была растерзана корова, редела, вытягивая морды и принюхиваясь к следам крови. Казалось, животные давали прощальный салют своему погибшему товарищу. Потом дождь смыл следы крови, и они успокоились.

Дядя, вернувшись домой, устроил в лесу засаду и несколько ночей подкарауливал медведя, но он больше не появлялся.

Шли дни. Про лошадь дядя не говорил, и мы при нем о ней не вспоминали, потому что тетка нас предупредила об этом. И без того не слишком разговорчивый, он стал еще более молчаливым. Бывало, хлопнет за ним калитка, тетка посмотрит ему вслед и вздохнет: «Скучает наш хозяин».

Однажды я встал раньше всех, потому что накануне приметил на дереве несколько инжиров, которые должны были поспеть за ночь. Выхожу на веранду и не верю своим глазам: у ворот стоит лошадь.

— Кукла! — закричал я, замирая.

— Не может быть! — радостно отозвалась тетка из комнаты, словно она только и ждала моего возгласа.

Я спрыгнул с крыльца и побежал к воротам.

Через минуту взрослые и дети все столпились у ворот. Дядя вышел последним. Он спокойно прошел двор своей легкой походкой. Было заметно, что он старается выглядеть спокойным. Возможно, он стеснялся нас или думал, что радость может оказаться преждевременной.

Лошадь впустили во двор. Она прошла несколько шагов и нерешительно остановилась перед дядей. Он обошел ее, внимательно оглядывая. Только теперь мы заметили, какая она худая и смертельно усталая. Когда она сошла с места, рой мух со злобным гудением слетел с ее спины и потом снова уселся ей на спину, как стая лилипутских стервятников. Спина лошади оказалась стертой.

— Кто ее знает, что она там перевидела, — прервал дедушка общее молчание, как бы оправдывая лошадь.

— Чоу! — взмахнув рукой, дядя согнал ее с места. Кукла отошла на несколько шагов, остановилась, постояла, и вдруг оглянулась на дядю.

— Чоу! — снова взмахнув рукой, он согнал ее с места и посмотрел ей вслед. Рану на ее спине он презрительно не замечал, как будто лошади нарочно протерли спину, чтобы отвлечь его внимание от того главного, что с ней случилось.

— Перестань, — тихо сказал дедушка, хотя он ничего не делал.

— Порченная, — устало ответил дядя, — надорвалась... — Он повернулся и пошел в дом.

Я не понимал, что значит порченная, но чувствовал, что с лошадей случилось что-то страшное, и в то же время не верил этому.

— Разве рана не заживет? — спросил я у дедушки, когда дядя ушел на работу.

Дедушка сидел в тени яблони и плел корзину.

— Не в этом дело, — сказал он. Его кривые, сточенные работой пальцы остановились. Он оглядел свое плетенье и, сообразив, как идти дальше, добавил: — У ней гордость убили...

— Какую гордость? — спросил я.

— Ясно какую, лошадиную, — ответил он, уже не слушая меня. Он просунул между дрожащих и стоящих торчком планок поперечную планку и жадными, сильными пальцами стянул ее, чтобы уплотнить плетенье, как стягивают подпругой лошадиный живот.

— Но она же отдохнет, — напомнил я, стараясь нащупать, что он имел в виду.

— Ей теперь все равно, в ней игры нет, — сказал он, продолжая скручивать, прогибать и натягивать гибкую, свежеструганную ореховую планку. Что-то непристойное, нестариковское было в жадном удовольствии, с которым он плел корзину. Правда, он все делал с такой же жадностью.

Только через много лет я понял, что потому-то он и оказался не сломленным до конца своих дней, что обладал да-

ром хороших крестьян и больших художников — извлекать удовольствие из самой работы, а не ждать ее часто обманчивых плодов. Но тогда я этого не знал, и мне было обидно за Куклу.

С месяц лошадь жила во дворе. Мы, дети, верили, что она отдохнет и станет такой же, как раньше. Теперь мы сами водили ее купать, приносили свежую траву, отгоняли от нее мух, очищали рану керосиновой тряпкой. Через некоторое время рана затянулась, лошадь стала гладкой и красивой. Но, видно, что-то в ней и вправду навсегда изменилось. Теперь, если подойти к ней и положить руку на шею или на спину, она совсем не дрожала, а только затихала и прислушивалась. Иногда, когда она вот так затихала и прислушивалась, казалось, что она пытается и никак не может вспомнить, какой она была раньше.

Вскоре дедушка отправился с ней на мельницу, потому что наш ослик так и не возвратился с перевала. Потом ее стали одалживать соседи, но дядя на нее больше не садился и даже не подходил к ней. Она все еще помнила его и, услышав его голос, подымала голову, но он всегда неумолимо проходил, не замечая ее.

— Какой ты жестокий, — сказала тетка однажды, когда мы собрались перед обедом на кухне, — подошел бы хоть раз, приласкал бы...

— Можно подумать, что ты мою лошадь любишь больше, чем я, — сказал он насмешливо и, сунув сигарку в огонь, прикурил.

Осенью Куклу продали в соседнее село за пятнадцать пудов кукурузы — слишком много нас собралось в доме дяди, своей не хватало.

Больше мы Куклу не видели, но однажды услышали о ней. Как-то новый хозяин ее приехал на скачки. Он привязал ее у коновязи, а сам протиснулся в толпу. Во время самого длинного заезда, когда азарт дошел до предела и Кукла слышала гул толпы, запах разгоряченных лошадей, топот копыт, она вспомнила что-то.

Так или иначе, она оборвала привязь, влетела в круг, обогнала мчащихся всадников и почти целый круг шла впереди с нелепо болтающимися стремями под свист и хохот толпы. Потом ее обогнали другие лошади, и она сама сошла с круга.

После Куклы дядя Кязым не заводил скаковых лошадей. Видно, возраст уже был не тот, да и время не то.

время счастливых находок

Вот что было со мною в детстве.

Как-то летним вечером собрались гости у моего дяди. Выпивки не хватило, и меня послали за вином в ближайшую лавку, что было, как я теперь понимаю, не вполне педагогично. Правда, сначала предложили пойти моему старшему брату, но он заупрямился, зная, что в ближайшие часы его никто не накажет, а до завтра он все равно выкинет что-нибудь такое, за что и так придется держать ответ.

Бегу босиком по теплой немощеной улице. В одной руке бутылка, в другой деньги. Отчетливо помню: какое-то необычайное возбуждение, восторг пронизывают меня. Разумеется, это было не предчувствие предстоящей покупки, потому что в те годы к этому делу я не проявлял особого интереса. Да и сейчас интерес вполне умеренный.

Чем прекрасно вино? Только тем, что оно гасит наши личные заботы, когда мы пьем со своими друзьями, и усиливает то общее, что нас связывает. И если даже нас связывает общая забота или неприятность, вино, как искусство, преображающее горе, примиряет и дает силы жить и надеяться. Мы испытываем обновленную радость узнавания друг друга, мы чувствуем: мы люди, мы вместе.

Пить с любой другой целью просто-напросто малограмотно. А одиночные возлияния я бы сравнил с контрабандой или с каким-нибудь извращением. Кто пьет один, тот чокается с дьяволом.

Я повторяю — по дороге в лавку меня охватило какое-то странное возбуждение. Я бежал и все время смотрел под ноги: мне мерещилась пачка денег. Время от времени она появлялась у меня перед глазами, и я даже приостанавливался, чтобы убедиться, так это или нет. Я понимал, что все это мне только кажется, но видел до того ясно, что не мог удержаться. Убедившись, что ничего нет, я еще более восторженно верил, что должен найти деньги, и летел дальше.

Я вбежал по деревянным ступеням (лавка стояла как бы на трибунке) и быстро сунул деньги и бутылку продавцу. По-

ка он приносил вино, я в последний раз посмотрел себе под ноги и увидел пачку денег, перепоясанную довоенной тридцаткой.

Я поднял деньги, схватил бутылку и помчался назад, полумертвый от страха и радости.

— Деньги нашел! — закричал я, вбегая в комнату. Гости нервно, а некоторые даже оскорбленно вскочили на ноги. Поднялся переполох. Денег оказалось сто с чем-то рублей.

— Я тоже сбегаяю! — закричал мой брат, загораясь запоздалым светом моей удачи.

— Жми! — закричал шофер дядя Юра. — Это я первый сказал, что надо выпить. У меня легкая рука.

— И даже слишком, — ехидно вставила всегда спокойная тетя Соня.

— Однажды у нас в Лабинске... — начал было дядя Паша. Он всегда рассказывал или про свою язву желудка или про то, как раньше жили на Кубани. Начинал с того, как раньше жили на Кубани, а кончал язвой желудка или наоборот. Но сейчас дядя Юра его перебил.

— Это я сказал первый! Мне магарыч! — шумел он. Бывало, как заведется — не остановишь.

— Почему ты первый? Я, например, не слышал, — угрюмо возразил дядя Паша.

— Ты же сам говорил, что тебя белоказак рубанул шашкой по уху!

— Так то левое ухо, а ты справа сидишь, — сказал дядя Паша, довольный тем, что перехитрил дядю Юру, и привычным

движением отогнул огромной рабочей рукой свое ухо. Над ухом была вдавлинка, в которую спокойно можно было вложить грецкий орех. Все с уважением осмотрели шрам от казачьей шашки.

— Помню, как сейчас, стояли под Тихорецком, — начал было дядя Паша, воспользовавшись вниманием гостей, но дядя Юра опять его перебил.

— Если мне не верите, пусть он сам скажет, — и все посмотрели на меня.

В те времена я любил дядю Юру, да и всех сидящих за столом. Мне хотелось, чтобы все радовались моей удаче, чтобы все были соучастниками ее и ни у кого не было преимущества.

— Все сказали, — изрек я восторженно.

— Я не говорю, что не все сказали, но кто первый, — заревел дядя Юра, но голос его потонул в шуме, потому что все радостно захлопали в ладоши: очень уж дядя Юра всегда старался вырваться вперед.

— О, Аллах, — сказал дядя Алихан, самый мирный и тихий человек, потому что он был продавцом козинаков, — мальчик нашел деньги, а они шумят. Лучше выпьем за его здоровье, да?

Мужчины зашумели и стали, перебивая друг друга, пить за мое здоровье.

— Я всегда знал, что из него выйдет человек...

— С этим маленьким бокалом...

— Молодым везде у нас дорога...

— За счастливое детство...

— Дорога, но какая дорога? Асфальт!

— За эту жизнь, — провозгласил последним дядя Фима, — мы дрались, как львы, и львиная доля из нас осталась на поле.

— Он будет, как вы, ученым, — вставила тетя, чтобы успокоить его.

— И даже лучше, — крикнул дядя Фима и, забросив меня на неслыханную высоту, выпил свой стакан. Дядя Фима был самым образованным человеком на нашей улице и поэтому быстрее всех опьянел.

Я был в восторге. Мне хотелось сейчас же доказать, как я их всех люблю. Мне хотелось дать честное пионерское слово, что я каждому из них найду и возвращу все, что он потерял в жизни. Может быть, я думал не этими словами, но думал я именно так. Но я не успел ничего сказать, потому что пришла мама и, нарочно не замечая всеобщего веселья, выдернула меня оттуда, как редиску из грядки.

Она вообще не любила, когда я бывал на этих праздничных сборищах, а тут еще была обижена, что я пробежал с найденными деньгами мимо своего дома.

— Ты, как твой отец, будешь стараться для других, — сказала она, когда мы спускались по лестнице.

— Я буду стараться для всех, — ответил я.

— Так не бывает, — грустно сказала она, думая о чем-то своем.

Тут нам встретился брат, который возвращался после поисков. По его лицу было видно, что в лотерее два номера подряд не выигрывают.

— Ты все деньги показал? — спросил он у меня мимоходом.

— Да, — гордо ответил я.

— Ну и дурак, — бросил он и убежал.

Эти мелкие неприятности не могли погасить того, что заиграло во мне. Я решил, что всем неудачам и потерям в нашем доме пришел конец. Раз я ни с того ни с сего мог найти такие деньги, чего я только не найду, если буду все время искать. Земля полна надземных и подземных кладов, только ходи и не хлопай глазами, да не ленись подбирать.

На следующее утро на эти же деньги мне купили прекрасную матросскую куртку с якорем, которую я носил несколько лет. В этот же день весть о моей находке распространилась в нашем дворе и далеко за его пределами. Приходили поздравить, узнать подробности этого праздничного события. Женщины глядели на меня с хозяйственным любопытством, по их глазам было видно, что они не прочь меня усыновить или, по крайней мере, одолжить на время.

Я десятки раз рассказывал, как нашел деньги, не забывая при этом заметить, что предчувствовал находку.

— Я чувствовал, — говорил я, — я все время смотрел на землю и видел деньги.

— А сейчас ты не чувствуешь?

— Сейчас нет, — честно признавался я.

Это было и в самом деле маленькое чудо. Теперь я думаю, что какой-то шофер-левак — они часто там останавливались и распивали вино — потерял эти деньги. А потом в дороге спохватился, и его тревожные сигналы были правильно расшифрованы моим возбужденным мозгом.

В этот же день пришла одна женщина из соседнего двора, поздравила мою маму, а потом сказала, что у нее пропала курица.

— Ну и что мне теперь делать? — спросила мама сурово.

— Попросите вашего сына, пусть поищет, — сказала она.

— Оставьте, ради Бога, — ответила мама, — мальчик один раз нашел деньги, и теперь покоя не будет сто лет.

Они разговаривали в коридоре, а я из комнаты прислушивался к ним. Но тут я не выдержал и приоткрыл дверь.

— Я найду вашу курицу, — сказал я, бодро выглядывая из-за маминой спины. Дня за два до этого у меня закатился мяч в соседский подвал. Вытаскивая его оттуда, я заметил какую-то курицу, а так как ни у кого в нашем дворе куры не терялись, теперь я догадался, что это ее курица. — Я чувствую, что она в этом подвале, — сказал я, немного подумав.

— Там нет никакой курицы, — неожиданно возразила хозяйка подвала. Она развешивала во дворе белье и, оказываясь, прислушивалась к нашему разговору.

— Должна быть, — сказал я.

— Нечего туда лазить, дрова раскидывать, еще пожар устроите, — затараторила она.

Я взял спички и ринулся в подвал. Дверь в него была заперта, но с другой стороны подвала была дыра, в которую я и пролез.

В подвале было темно, только слабая полоска света падала из дыры, идти приходилось согнувшись.

— Что он там делает? — спросил кто-то снаружи.

— Клад ищет, — ответила Сонька, бестолковая спутница моего детства. — Он там мильон денег нашел.

Осторожно чиркая спичками и озираясь, я подошел к тому месту, где видел курицу, и снова увидел ее. Она приподнялась и, подслеповато поводя головой, посмотрела в мою сторону. Я понял, что она здесь высидивает яйца. Городские куры обычно уходят нестись куда-нибудь в укромное место. В темноте поймать ее было нетрудно. Я нащупал рукой гнездо, которое она себе устроила на клоке сена, и стал перекладывать теплые яйца в карманы. Потом я осторожно пошел назад. Теперь я шел на свет и поэтому мог не зажигать спичек.

Увидев курицу, хозяйка от радости закудахтала вместе с ней.

— Еще не все, — сказал я, передавая ей курицу.

— А что? — спросила она.

— А вот что, — ответил я и стал вынимать из карманов яйца. Увидев яйца, курица почему-то рассердилась, хотя я и не скрывал от нее, что взял их оттуда. Наверно, она тогда в темноте не заметила. Хозяйка переложила яйца в передник и, держа курицу под мышкой, вышла со двора.

— Когда поспеет инжир, приходи, — крикнула она из калитки.

С тех пор я всегда чего-нибудь искал и часто находил неожиданные вещи, так что прослыл чем-то вроде домашней ищейки. Помню, один наш чудаковатый родственник, когда у него пропал козел, хотел увезти меня в деревню, чтобы я его как следует поискал. Я был уверен, что найду козла, но мама меня не пустила, потому что боялась, как бы я сам не заблудился в лесу.

Я находил и многие другие вещи, потому что все время искал и потому что все считали, что я умею находить. Дома я находил щепки, запеченные в хлеб, иголки, воткнутые в подушки рассеянными женщинами, старые налоговые квитанции и облигации нового займа.

Одна из наших соседок часто теряла очки и звала меня искать их. Я ей быстро находил очки, если она не успевала их вынести из комнаты вместе с мусором. Но и в этом случае я их находил в мусорном ящике, потому что кошки, которые там возились, никогда их не трогали. Но она слишком часто теряла очки, и в конце концов я ей посоветовал купить запасные, чтобы, потеряв первые, она могла бы при помощи запасных искать их. Она так и сделала, и некоторое время было все хорошо, но потом она стала терять и запасные, так что работы стало вдвое больше, и я был вынужден припрятать ее запасные очки.

Мне доставляло радость дарить окружающим то, что они потеряли. Я выработал свою систему поисков потерянных вещей, которая заключалась в том, что потерянные вещи сначала надо искать там, где они были, а потом там, где они не бы-

ли и не могли быть. Гораздо позже я узнал, что это называется диалектическим единством противоположностей.

Если окружающие меня люди переставали что-нибудь терять, мне приходилось иногда создавать находки искусственно.

По вечерам я, как комендант, обходил двор и прятал забытые вещи. Часто это было белье, забытое на веревке. Я его закидывал на деревья, а потом на следующий день, когда ко мне приходили за помощью, после некоторых раздумий и расспросов, где что висело, как бы вычислив уравнение с учетом скорости ветра и направления его, я показывал изумленным домохозяйкам на их белье и сам же его снимал с деревьев. Разумеется, я был не настолько глуп, чтобы повторяться слишком часто. Да и настоящих потерь было гораздо больше.

За все это время только один раз находка моя не доставила радости хозяйке. Вот как это было.

В нашем дворе жила взрослая девушка. Звали ее Люба. Она почти целый день сидела у окна и улыбалась на улицу, зачесывая и перечесывая волосы золоченым гребнем, который я тогда ошибочно считал золотым. Рядом с ней стоял граммофон, повернутый изогнутой трубой на улицу. Он почти все время пел одну и ту же песенку:

*Люба, Любушка,
Любушка, голубушка...*

Граммoфон был вроде зеркальца из пушкинской сказки, он все время говорил про хозяйку. Во всяком случае, я был

в этом уверен, а судя по улыбающейся мордочке Любушки, она тоже.

Однажды летом в довольно глухом садике возле нашего дома я нашел в траве Любушкин гребень. Я был уверен, что это ее гребень, потому что другого такого я никогда не видел. В тот же вечер я прохаживался по двору в ожидании, когда подымется паника и меня пригласят искать. Но Любушки не было видно, и никакой тревоги не замечалось. На следующее утро я еще больше удивился, не обнаружив посылного у своей постели. Я решил, что золотую гребенку потерял кто-то другой. Но все-таки надо было убедиться, что Любушкина гребенка на месте. Как назло, целый день она не появлялась у окна. Она показалась только к вечеру, но теперь граммофон играл совсем другую песню.

Я не знал, что это за песня, но понимал, что граммофон больше не разговаривает с ней. Это была грустная песня, а когда Любушка повернулась спиной к окну, я увидел, что в ее волосах нет никакой гребенки, и понял, что граммофон вместе с ней оплакивает потерю.

Мать и отец ее стояли у другого окна, уютно облокотившись на подоконник.

— Любка, — спросил я, дождавшись, когда кончится пластинка, — ты ничего не теряла?

— Нет, — сказала она испуганно и тронула рукой волосы именно в том месте, где раньше был гребень. При этом она почему-то так покраснела, что стало ясно — она понимает, о чем я говорю. Я только не знал, почему она скрывает свою потерю.

— А это ты не теряла, — сказал я с видом волшебника, слегка уставшего от всеобщего ротозейства, и вынул из кармана золотой гребень.

— Шпион проклятый, — неожиданно крикнула она и, выхватив гребень, убежала в комнату. Это было совершенно бессмысленное и глупое оскорбление.

— Дура, — крикнул я в окно, стараясь догнать ее своим голосом, — надо читать книжки, чтобы знать, что такое шпион.

Я повернулся уходить, но отец ее окликнул меня. Теперь у окна стоял он один, а Любушкина мать побежала за ней.

— Что случилось? — спросил он, высовываясь из окна.

— Сама гребень потеряла в саду, и сама обижается, — сказал я и удалился, так и не поняв, в чем дело. В тот вечер Любке крепко попало.

А потом у них в доме появился летчик и пластинка про «Любимый город». Песенка была очень красивая, но я никак не мог понять там одного места: «Любимый город в синем дым-Китая». Каждое слово в отдельности было понятно, а вместе получалась какая-то китайская загадка.

Через неделю летчик уехал с Любушкой, и теперь ее мать грустила у окна вместе с граммофоном, который плакал, как большая собака, и все звал: «Люба, Любушка...»

Я продолжал свои поиски, прихватывая все новые и новые неоткрытые земли.

Особенно интересно было искать на берегу моря после шторма. Там я находил матросский ремень с пряжкой, пряжку без ремня, заряженные патроны времен гражданской вой-

ны, ракушки всевозможных размеров и даже мертвого дельфина. Однажды я нашел бутылку, выброшенную штормом, но записки в ней почему-то не оказалось, и я сдал ее в магазин.

Рядом с городом, на берегу реки Келасури я нашел целую отмель с золотоносным песком. Стоя по колено в бледно-голубой воде, я целый день промывал золото. Набирал в ладони песок, зачерпывал воду и, слегка наклонив ладони, смотрел, как она стекала. Золотые, пластинчатые искорки вспыхивали в ладонях, вода щекотала пальцы ног, большие солнечные зайцы дрожали на чистом-пречистом дне отмели, и было хорошо, как никогда.

Потом мне сказали, что это не золото, а слюда, но ощущение холодной горной воды, жаркого солнца, чистого дна отмели и тихого счастья старателя — осталось.

Но вот еще странная находка, о которой мне хочется рассказать поподробней.

У нас была такая игра: кто глубже нырнет. На глубине примерно двух метров мы начинали нырять и заходили все дальше и дальше, пока хватало дыхания.

В тот день мы с одним пацаном состязались таким образом на Собачьем пляже. Пляж этот и сейчас так называется, может быть, потому, что там строго-настрого запрещают купать собак, а может быть, потому, что собак там все-таки купают. И вот я ныряю в последний раз. Дохожу до дна, хочу схватить песок и почти носом упираюсь в большую квадратную плиту, на которой успел разглядеть изображение двух людей.

— Старинный камень с рисунком, — ошалело крикнул я, вынырнув.

— Врешь, — сказал пацан, подплывая ко мне и заглядывая в глаза.

— Честное слово! — выпалил я. — Большой камень, а на нем первобытные люди.

Мы стали нырять по очереди и почти каждый раз видели в подводных сумерках белую плиту с тусклым изображением двух людей. Потом мы нырнули вдвоем и попытались сдвинуть ее, но она даже не пошатнулась.

Наконец мы замерзли и вылезли из воды. Я до этого точно приметил место, где мы ныряли. Это было как раз между буйком и старой сваей, торчавшей из воды.

Через несколько дней начались занятия в школе и я рассказал учителю о своей находке. Он вел у нас уроки по географии и истории. Это был могучий человек с высохшими ногами. Геркулес на костылях. От его облика веяло силой ума и душевной чистоплотностью. В гневе он был страшен. Мы его любили не только потому, что он обо всем интересно рассказывал, но и потому, что он относился к нам серьезно, без той неряшливой снисходительности, за которой дети всегда угадывают безразличие.

— Это древнегреческая стелла, — сказал он, внимательно выслушав меня, — замечательная находка.

Решили после уроков пойти туда и, если это возможно, вытащить ее из воды. «Стелла», — повторял я про себя с удовольствием. Уроки прошли в праздничном ожидании похода.

И вот мы идем к морю. В качестве рабочей силы с нами отправили физрука. Сначала он не хотел идти, но директор его все-таки уговорил. В школе физрук никого не боялся, потому что, как он говорил, его в любой день могли взять тренером по боксу. Мы считали, что он одним ударом может нокаутировать весь педсовет. Может быть, поэтому с его лица не сходило выражение некоторой насмешки над всем, что делается в школе, и как бы ожидания того часа, когда этот удар нужно будет нанести.

Во время физкультуры, если его кто-нибудь не слушался, он мог дать щелчок-шалабан, равный по силе сотрясения прыжку с ограды стадиона на хорошо утоптаный школьный двор. В этом каждый из нас успел убедиться.

Мы разделись и посыпались в море. На берегу остался один учитель. Он стоял в своей белоснежной рубашке с закатанными рукавами и, опираясь на костыли, ждал.

Накануне был шторм, и я боялся, что вода окажется мутной, но она была прозрачная и тихая, как тогда.

Я первый подплыл к тому месту, нырнул и дошел до дна, но ничего не увидел. Это меня не очень беспокоило, потому что я мог нырнуть не совсем точно. Я отдышался и снова нырнул. Опять дошел до дна и опять ничего не увидел. Вокруг меня фыркали, визжали и брызгались ребята из нашего класса. Большинство из них просто игралось, но некоторые и в самом деле доныривали до дна, потому что доставали песок и шлепали им друг друга. Никто не видел плиты. Я под-

плыл к буйку, чтобы узнать, не сошел ли он с места, но он крепко стоял на тресе.

Подплыл физрук. Он слегка опоздал, потому что надевал плавки.

— Ну, где статуя, — спросил он, отдуваясь, словно ему было жарко в воде.

— Здесь должна быть, — показал я рукой.

Он набрал воздуха и, мощно перевернувшись, пошел ко дну, как торпеда. Нырнул и плавал он, надо сказать, здорово. Он долго не появлялся и, наконец, вынырнул, как взрыв.

— Всю воду замутили, — сказал он, отфыркиваясь и мотая головой... — А ну, шкилеты, давай отсюда! — заорал он и, плашмя ударив рукой о воду, выплеснул фонтан в сторону наших ребят.

Они отплыли поближе к берегу, и мы с ним остались один на один.

— Слушай, а ты не фантазируешь, — спросил он строго, продолжая отдуваться, словно ему было жарко в воде.

— Что я, сумасшедший, что ли, — сказал я.

— Откуда я знаю, — ответил он, глядя в воду, словно выискивая дырку, в которую удобней нырнуть. Наконец, нашел и, набрав воздуха, снова нырнул.

На этот раз он вынырнул с ржавым куском свай.

— Не это? — спросил он, выпучив глаза от напряжения.

— Что я, сумасшедший, что ли, — сказал я. — Там каменная плита, на ней люди.

— Откуда я знаю, — сказал он и, отбросив железяку в сторону, снова нырнул.

Оказавшись один, я подумал, что пришло время удирать на берег, но стыд перед учителем был сильнее страха. Я же видел ее здесь, она никуда не могла деться!

— Пфу! Черт! — заорал он на этот раз, испуганно выбрасываясь из воды.

— Что случилось? — спросил я, сам испугавшись. Я решил, что его хлестнул морской конек или еще что-нибудь.

— Что случилось, что случилось! Воздуху забыл взять, вот что случилось, — зафырчал он, гневно передразнивая меня.

— Сами забыли, а я виноват, — сказал я, несколько уязвленный его передразниванием.

Физрук что-то хотел мне ответить, но не успел.

— Что вы ищете? — спросила незнакомая девушка, осторожно подплывая к нам.

— Вчерашний день, — сердито сказал физрук, но, обернувшись, неожиданно растаял: — Древнегреческую статую... Можете, поныряете с нами?

— Я не умею нырять, — сказала она с идиотской улыбкой, словно приглашая его научить. На ней была красная косыночка. И физрук с молчаливым восхищением уставился на эту косыночку, как бы удивляясь, где она могла достать ее.

— А сами вы откуда? — спросил он ни с того ни с сего, словно, откуда была косынка, он уже установил.

— Из Москвы, а что? — ответила девушка и на всякий случай посмотрела на берег, прикидывая, не опасно ли на такой глубине разговаривать с чужими мужчинами.

— Вам повезло, — сказал физрук, — я вас научу нырять.

— Нет, — улыбнулась она на этот раз смелей, — лучше посмотрю, как вы ищете.

— Если я не вынырну, считайте, что вы меня нокаутировали, — сказал он, улыбкой перехватывая ее улыбку и доводя ее до нахальных размеров.

Он особенно мощно перевернулся и пошел ко дну. Я понял, что начались трали-вали и теперь ему будет не до плиты.

— Вы в самом деле видели статую? — спросила девушка и, вынув руку из воды, мизинцем, который ей по глупости показался наименее мокрым, приткнула сбившиеся волосы под косынку.

— Не статую, а стеллу, — поправил я ее, глядя, как она бесстыдно прихорашивается для физрука.

— А что это такое? — спросила она, продолжая спокойно стараться.

Я тоже решил принять свои меры, пока он не вынырнул.

— Не мешайте, — сказал я, — что вам моря мало, плывите дальше.

— А ты, мальчик, не груби, — ответила она надменно, словно разговаривала со мной из окна собственного дома. Быстро же они осваиваются. Она знала, что физрук рано или поздно вынырнет и будет на ее стороне.

Физрук шумно вынырнул, словно танцор, ворвавшийся в круг. Хотя он очень долго был под водой, это был пропащий нырок, потому что сейчас он нырял не для нас, а для нее.

— Ну как, видели? — спросила она у него, словно они были из одной компании, и даже подплыла к нему немного.

— А, — сказал он, отдышавшись, — фантазеры! — Так он называл всех маломощных и вообще никчемных людей. — Давайте лучше сплаваяем.

— Давайте, только не очень далеко, — согласилась она, может быть, назло мне.

— А как же плита? — проговорил я, тоскливо напоминая о долге.

— Я сейчас дам тебе шалабан, и ты сразу очутишься под своей плитой, — разъяснил он спокойно, и они поплыли. Черная голова с широкой загорелой шеей рядом с красной козынкой.

Я посмотрел на берег. Многие ребята уже лежали на песке и грелись. Учитель все еще стоял на своих костылях и ожидал, когда я найду плиту. Если б я еще вчера не видел этого пацана, с которым мы ее нашли, я бы, может, решил, что все это мне примерещилось.

Я пронырнул еще раз десять и перещупал дно от сваи до буйка. Но проклятая плита куда-то запропала. За это время учитель наш несколько раз меня окликал, но я плохо его слышал и делал вид, что не слышу совсем. Мне было стыдно вылезать, я не знал, что ему скажу.

Я сильно устал и замерз, и наглотался воды. Нырять с каждым разом делалось все противней и противней. Я уже не доныривал до дна, а только погружался в воду, чтобы меня не было видно. Многие ребята оделись, некоторые уходили домой, а учитель все стоял и ждал.

Физрук и девушка уже вылезли из воды, и он перешел со своей одеждой к девушке, и они сидели рядом и, разговаривая, бросали камушки в воду.

Я надеялся, что нашим надоест ждать и они уйдут, и тогда я вылезу из воды. Но учитель не уходил, а я продолжал нырять.

За это время физрук успел надеть на голову девушкину косынку. Пока я соображал, с чего это он повязал голову ее косынкой, он неожиданно сделал стойку, а она по его часам стала следить, сколько он продержится на руках. Он долго стоял на руках и даже разговаривал с нею в таком положении, что ей, конечно, очень нравилось.

Я уныло залюбовался им, но в это время учитель меня очень громко окликнул, и я от неожиданности посмотрел на него. Наши взгляды встретились. Мне ничего не оставалось как плыть к берегу.

— Ты же замерз, — закричал он, когда я подплыл поближе.

— Вы мне не верите, да? — спросил я, клацая зубами, и вышел из воды.

— Почему не верю, — строго сказал он, подавшись вперед и крепче сжимая костыли своими гладиаторскими руками, — но разве можно так долго купаться. Сейчас же ложись!

— Со мной был мальчик, — сказал я противным голосом неудачника, — я завтра его вам покажу.

— Ложись! — приказал он и сделал шаг в мою сторону. Но я продолжал стоять, потому что чувствовал — мне и стоя трудно будет их убедить, не то что лежа.

— А может, этот мальчик вытащил? — спросил один из ребят. Это был соблазнительный ход. Я посмотрел на учителя и по его взгляду понял, что он ждет только правды и то, что я скажу, то и будет правдой, и поэтому не мог солгать. Гордость за его доверие не дала.

— Нет, — сказал я, как всегда в таких случаях жалея, что не вру, — я его видел вчера, он бы мне сказал...

— Может, ее какая-нибудь рыба унесла, — добавил тот же мальчик, прыгая на одной ноге, чтобы вытряхнуть воду из ушей.

Это был первый камушек, я знал, что за ним посыплется град насмешек, но учитель одним взглядом остановил их и сказал:

— Если бы я не верил, я бы не пришел сюда. — Потом он задумчиво оглядел море и добавил: — Видно, ее во время шторма засосало песком или отнесло в сторону.

И все-таки через пятнадцать лет ее нашли, не очень далеко от того места, где я ее видел. И нашел ее, между прочим, брат моего товарища. Так что и на этот раз она далеко от меня не ушла.

Знаатоки говорят, что это редкое и ценное произведение искусства — надгробная стелла с мягким, печальным барельефом.

Я с волнением и гордостью вспоминаю нашего учителя, его курчавую голову с прекрасным горбоносым лицом эллинского бога, бога с перебитыми ногами.

...Хотя в наших морях не бывает приливов и отливов, земля детства — это мокрый, загадочный берег после отлива, на котором можно найти самые неожиданные вещи.

И я все время искал и, может быть, от этого сделался немного рассеянным. И потом, когда стал взрослым, то есть когда стало что терять, я понял, что все счастливые находки детства — это тайный кредит судьбы, за который мы потом расплачиваемся взрослыми. И это вполне справедливо.

И еще одно я твердо понял: все потерянное можно найти — даже любовь, даже юность. И только потерянную совесть еще никто не находил.

Это не так грустно, как может показаться, если учесть, что по рассеянности ее невозможно потерять.

мой кумир

В классе он сидел впереди меня. Во время уроков я подолгу любовался его возмужалым затылком и широкими плечами. Мне кажется, что я сначала полюбил его непреклонный затылок, а потом уже и самого.

Когда он поворачивался к нашей парте, чтобы макнуть перо в чернильницу, я видел его горбоносый профиль, густые сросшиеся брови и холодные серые глаза.

Поворачивался он всегда туго, как воин в седле, оглядывающий отстающих конников. Иногда он улыбался мне понимающей улыбкой, словно чувствуя на своем затылке мой взгляд, давал знать, что ценит мою преданность, но все же просит некоторой меры, некоторой сдержанности в любовании его затылком, тем более что достоинства его не ограничатся могучим затылком.

Вообще в его движениях чувствовалось несвойственная нашему возрасту тринадцати-четырнадцатилетних пацанов солидность. Но это была не та липовая солидность, которую пытаются корчить отличники и начинающие подхалимы. Нет, это была истинная солидность, которая бывает только у взрослых людей.

Я бы сказал, что истинная солидность — это такое состояние, когда человек сам испытывает свое выдающееся положение, как некоторую избыточность физической тяжести в каждом своем движении.

И если такой человек входит в помещение и, скажем, садится за ваш пиршественный стол, и, сев, небольшим движением руки усаживает всполошившихся застольцев, то при этом что характерно, дорогие товарищи?

Характерно то, что избыточность физической тяжести придает движению его руки такую весомость, что он усаживает вашу компанию, почти не глядя или даже не глядя на нее, из чего следует, что компания, всполошившись, правильно сделала. Да она и не могла не всполошиться ввиду облегченности и даже некоторым образом взвешенности своего

морального состояния перед лицом этого утяжеленного, но безусловно миротворческого жеста.

Так что во время движения этой руки, хотя и не слишком размашистого, но, к счастью, достаточно длительного, успевают всполошиться и те застолицы, которые по тем или иным причинам не успели вовремя всполошиться и теперь с некоторой запоздалой радостью (и как все запоздалое, преувеличенной) вскакивают и подключаются к всполошившимся, с тем чтобы уже вместе со всеми успокоиться, подчиняясь тому самому движению руки, как бы говорящему:

— Ничего, товарищи, ничего, я запросто, где-нибудь в уголке...

— Ничего себе — ничего! — отвечает восторженным шумом компания и, пошумев, затихает, утомленная счастьем.

Вот что значит истинная солидность!

И этой истинной солидностью обладал он, мой кумир, то есть постоянно испытывал избыточную физическую тяжесть в каждом движении. Правда, она, эта тяжесть, была прямым следствием его не по годам развитых мускулов, а не выражением бремени власти, как у взрослых людей.

Да, он, мой кумир, был сильнее всех не только в классе, но и во всем мыслимом, учитывая наш возраст, мире. А посмотреть со стороны — ничего особенного: коренастый мальчик небольшого даже для нашего класса роста.

— Курю, за это плохо расту, — говорил он на перемене, потягивая сигарку, зажатую в кулаке, что отчасти звучало

как божеская кара за невоздержанность, и, так как кара искупляла вину, он об этом спокойно говорил, продолжая курить.

Жили мы с ним на одной улице. Звали его Юра Ставракиди, и он был последним сыном в многочисленной семье маляра. Он постоянно, особенно летом и в каникулы, помогал отцу. Старший сын маляра к тому времени становился интеллигентом. Уже будучи взрослым парнем, он кончил индустриальный техникум, носил галстук и умел часами говорить о международной политике. Можно сказать, что Юра вместе с отцом помогали ему держаться в новом звании. И он сам, бывало, снимал галстук и, переодевшись, брал в руки малярную кисть и отправлялся на работу вместе с отцом и братом.

Вечером, приходя с работы, он долго умывался во дворе. Юра ему поливал, а так как я ждал Юру, мне приходилось все это терпеть, что было нелегко.

Обычно к этому времени все любители обсуждать международные события собирались в углу двора.

Юрин брат, вместо того чтобы поскорее умыться, поужинать и посидеть с ними, раз уж без этого нельзя, еще моюсь, начинал перекидываться всякими соображениями, что бесконечно растягивало мытье и прямо-таки выводило меня из себя. Видно, за целый рабочий день он успевал соскучиться по этим разговорам, потому что Юриному отцу они были ни к чему, да и вообще он за свой долгий малярный век, общаясь с голыми стенами, почти разучился говорить.

Всю жизнь он был занят тем, что полосовал стены и так же молча, надо полагать, делал детей. И чем больше он делал детей, тем больше приходилось ему полосовать стены, и тут уж не до разговоров — только успевай краски разводить да гашеную известь с белилами доставать. Да и о чем было говорить! Я думаю, будь на то его воля, он всем этим чересчур воинственным политикам и горлодерам замазал бы рты, уши и глаза, да и вообще закрасил бы их с ног до головы, чтобы стояли они, немые, глухие и слепые, как гипсовые статуи в парках. А то и вовсе вмуровал бы их в какую-нибудь стену и, уж будь спокоен, так закрасил бы ее, что хоть целый век колупай, не доколуешься до них. Потому что этим сукиным сынам, сколько ни делай детей, все мало для их сволочной мясорубки, сколько ни крась стены, все напрасно, потому что одна бомбежка уничтожит столько стен вместе с окраской и всеми отделочными работами, что потом тысячи строителей за год не восстановят.

Все это было написано на его угрюмом лице старого рабочего, и нужна была огромная война с ее бедствиями, чтобы мысль эта прояснилась для всех, проступила бы сквозь его угрюмство, как проступает великая фреска на заброшенной монастырской стене.

К сожалению, ни мы, дети, ни Юрин брат, ни другие любители поговорить о международных делах тогда об этом не догадывались. Юриного брата хоть белым хлебом не корми, но дай поговорить о коллективной безопасности, или кознях Ватикана, или еще о чем-нибудь в этом роде.

Мне всегда казалось нечестным, что он начинает говорить обо всем этом, еще не помывшись и не переодевшись.

К тому же, хлюпя водой по лицу, он, бывало, недослышит, что ему отвечают, и, все перепутав, берется переспрашивать. А то наберет воду в ковшик ладоней и вместо того, чтобы плеснуть себе в лицо, вдруг остановится на полпути и слушает, слушает, а вода знай сочится сквозь пальцы, а он ничего не замечает и продолжает слушать, а потом как шлепнет по щекам пустыми ладонями до еще и на Юру взглянет подозрительно, словно он нарочно все это подстроил и даже подсунил ему всех этих говорунов.

А то, бывало, с намыленным лицом откроет глаза и начинает спорить и горячиться, думая, что его не так понимают, а на самом деле, я же вижу, просто мыльная пена ему разъедает глаза. Или, случалось, зададут ему вопрос, а он как раз молча хлопнет себя по затылку, чтобы Юра поливал на голову, и вот, пока Юра поливает, те как истуканы ждут, когда брат его подымет свою мокрую голову и утешит их своим ответом.

Потом, утираясь полотенцем, он все продолжал говорить и, даже надевая рубашку, ни на минуту не переставал задавать вопросы и отвечать.

Бывало, просто смех, надевая рубаху, и голову не успеваешь просунуть, а все бормочет из-под рубахи, поди разбери, что он там набормотал. А иной раз голову просто и невозможно просунуть, потому что пуговицы на горле забыл расстегнуть. И нет чтобы расстегнуть самому, так он, любимчик семьи, как

маленький, ждет, чтобы Юра ему расстегнул, и в этой странной позе, с нахлобученной на голову рубашкой, продолжает говорить.

Совсем как тот сумасшедший фотограф, что приходил к нам в школу делать коллективные снимки и, уже надрубив на себя свой черный балдахин, что-то из-под него бормотал, а мы не понимали его бормотание или делали вид, что не понимаем, потому что имели право не понимать, да и кому приятно, когда с тобой говорят из-под балдахина. В конце концов, яростно барахтаясь, он выпрастывался из-под него и, отдышавшись, давал всякие там указания, кому куда пересесть, и, набрав воздуха, снова нырял под свой балдахин.

Так и Юрин брат в конце концов — правда, с помощью Юры — продевал голову в рубашку и отправлялся к своим друзьям, по дороге заправляя свою рубашку в брюки. Это уж, слава Богу, он делал сам.

Но тут выходила на крылечко Юрина мама и по-гречески звала его ужинать, а он все не шел, и так много раз, и тогда она начинала ругаться и кричать, чтобы он кончал «ляй-ляй-конференцию».

Кто его знает, может, она и ввела в обиход это выражение, но у нас в городе до сих пор про всякую долгую болтовню говорят «ляй-ляй-конференция». Раньше меня это выражение раздражало какой-то своей неточностью, какой-то незаполненностью, что ли, каким-то бултыханием смысла в слишком широкой звуковой оболочке, но потом я понял, что именно в этом бултыхании высшая точность,

потому что и в явлениях жизни понятие, которое оно в себе несет, так же бесполезно бултыхается. К счастью, со временем Юрин брат все реже и реже возвращался к профессии своего отца, так что я в ожидании Юры уже почти не страдал от его совмещенного мытья.

Я как сейчас вижу длинную высохшую фигуру отца Юры с обросшим лицом в известковых пятнах седины, и рядом оголенный по пояс Юра, облепленный брызгами извести, с ведром в руке и длинной щеткой за плечом. Озаренный закатным солнцем, прекрасный, как юный Геркулес, рядом со старым отцом, он возвращается с работы.

Потом он моется, ужинает и выходит на улицу, все такой же — оголенный по пояс.

И вот мы гурьбой сидим на теплом от летнего дня крылечке, и Юра рассказывает что-нибудь о хозяевах, у которых он с отцом работал сегодня. Руки его расслабленно лежат на коленях, лицо слегка побледнело от усталости, и я всем существом чувствую то удовольствие от неподвижности, которое испытывает он сам и каждый его мускул.

Если они с отцом работали у щедрого, хорошего хозяина, который умеет хорошо покормить своих работников, Юра долго рассказывает, какие блюда он ел в этом доме, и как много он лично съел, и как они с отцом старались работать лучше, чтобы угодить такому человеку.

Летом Юра часто бывал в деревне у своих родственников — цебельдинских греков. Приезжая, рассказывал, как там они живут, что едят и в каком количестве.

— Трехпудовый мешок принес из Цебельды за шесть часов, — говорит он как-то. Это обычная его спортивная новость.

— Неужели пешком из Цебельды? — раздается удивленный голос. В таких случаях всегда кто-нибудь удивляется за всех.

— Конечно, — говорит Юра и добавляет: — По дороге, правда, съел буханку хлеба и кило масла...

— Юра, но разве можно съесть кило масла? — спрашивает выразитель общего удивления.

— Это деревенское, греческое масло, — поясняет Юра, — его можно без хлеба тоже кушать...

Но не только физическая мощь, но и, как бы я теперь сказал, спортивная интуиция в нем была необыкновенно развита и проявлялась самым неожиданным образом.

Я не хочу пересказывать всем известный случай, когда он впервые сел на двухколесный велосипед, его толкнули, он несколько раз повихлял рулем и поехал.

То же самое однажды случилось на море. Почему-то Юра почти не плавал. При всей его немислимой отваге, мне кажется, он не доверял воде. То есть он держался на воде, мог сделать несколько деревенских саженок в глубину, но тут же поворачивал назад, нащупывал ногами дно и выходил на берег. То ли дело в том, что он все-таки рос в горной деревне, а не на море, то ли, подобно своему древнему сородичу, он ничего не мог без точки опоры, но, бывало, его никак не загоишь в глубину, проплывет пять-шесть метров — и на берег.

Как человек, уже тогда склонный к простым формам блаженства, я мог часами не выходить из воды, и меня, конечно, огорчало его сдержанное отношение к морю. Однажды я его с большим трудом уговорил пойти со мной на водную станцию. Мы разделись и вышли на помост перед пятидесятиметровой дорожкой. Среди щеголеватых, хотя и почти голых, спортивных пижонов станции, он, в длинных, до колен, трусах, выглядел странно и неуместно.

Он попытался было слезть с помоста, но я все-таки уговорил его спрыгнуть. Мы решили плыть рядом, с тем чтобы я оценил каждое его движение, приучил свободно держаться на глубине и в конце концов научил плавать близким к одному из культурных стилей.

Юра прыгнул в воду, разумеется, ногами. Никогда не забуду выражения растерянности и вместе с тем готовности к сопротивлению, которое было написано у него на лице, когда он выскочил на поверхность воды. С таким выражением, вероятно, беглец, проснувшись среди ночи, вскакивает с постели и, озираясь, хватается за оружие.

Впрочем, убедившись, что его никто не тащит на дно, он поплыл к противоположному помосту. Он плыл своими суровыми саженками, после каждого гребка поворачивая голову назад, словно охраняя свой тыл.

Подождав несколько секунд, я прыгнул за ним. Надо было ему сказать, чтобы он не вертел головой.

Я решил с прыжка, не поднимая головы, плыть кролем, так сказать, достать его одним дыханием.

И вот я поднял голову над водой, посмотрел на вторую дорожку рядом, но Юры там не оказалось. Он был впереди. Расстояние между нами почти не уменьшилось. Он продолжал вертеть головой и плыть вперед.

Изо всех сил отталкиваясь ногами, я поплыл за ним брасом. Как я ни старался, расстояние между нами не уменьшалось. Я ничего не мог понять. Голова его продолжала вертеться при каждом взмахе руки, и он плыл, сурово озираясь то через правое, то через левое плечо.

Когда я к нему подплыл, он уже отдыхал, вернее, дожидался меня, держась за решетку помоста.

— Ну, как я плыл? — спросил он.

Я внимательно посмотрел в его серые глаза, но никакой насмешки не заметил.

— Хорошо, только не крути головой, — сказал я ему, стараясь не выдавать своего тяжелого дыхания, и тоже ухватился за решетку помоста.

В ответ он помял немного шею и молча поплыл обратно. Я внимательно смотрел вслед. То, что он плыл, смешно поворачивая голову то вправо, то влево, слишком прямолинейно выбрасывая руки, скрадывало мощную подводную работу его рук и ног.

Он плыл, как сильное животное в чуждой, но хорошо одолеваемой среде. Прямая шея и непреклонный затылок гордо высывались над водой. Я понял, что мне его никогда не догнать ни на суше, ни на море.

Я думаю, что склонность к простым формам блаженства помогла мне одолеть приступ малодушной зависти. В конце

концов, решил я, его победа на море только еще раз доказывает, что я правильно выбрал себе предмет обожания.

Недалеко от нашей улицы был большой старинный парк. В этом парке уже в наше время были выстроены спортивные сооружения, в том числе огромная перекладина с целой системой спортивных снарядов: шест, кольца, канат и шведские стенки. Само собой разумеется, что Юра на всех снарядах был первым.

Но он, мой кумир, был не только самым сильным и ловким, он еще был самым храбрым, и это внушало смутное беспокойство.

Он поднимался по шведской лестнице до самой перекладины, взбирался на нее верхом, отпускал руки и осторожно выпрямлялся. И тут начинались чудеса храбрости.

Пока мы смотрели на него затаив дыхание, он пружинистым движением тела слегка раскачивал перекладину. Столбы, на которых держалась она, были расшатаны бесконечным раскачиванием каната, который использовался в качестве качелей, и поэтому вся система быстро приходила в движение.

И вот, раскачав ее, он внезапно, в каком-то неуловимом согласии с качанием, быстро и осмотрительно перебежал с одного края перекладины к другому. За эти несколько секунд, покамест он добегал до другого края, она успевала довольно сильно раскачаться, так что каждый раз казалось, что он не удержится, не сумеет ухватиться руками за ее край и слетит с нее. Но он каждый раз успевал.

Ребро перекладины было не шире ладони, и из него торчали болты, скрепляющие с ней все эти снаряды, и, пробегая, надо было ко всему еще и не задеть их ногой.

Как только он хватался за перекладину и быстро скользил вниз по шведской стенке, мы облегченно вздыхали. Каждый раз этот коронный номер моего кумира одинаково потрясал нас, зрителей. И всегда он его исполнял с предельным риском — обязательно раскачивал перекладину и обязательно перебежал, а не переходил.

Не знаю почему, но мне во что бы то ни стало захотелось испытать себя на этом высотном номере. Я выбрал время, когда никого из наших не было в парке, взобрался наверх. Пока я стоял на лестнице, держась рукой за брус, высота казалась не очень страшной. Но вот я с ногами забрался на перекладину, и сразу стало высоко и незащитно.

Я сидел на корточках и, держась обеими руками за нее, прислушивался к тихому покачиванию всей системы. Казалось, я уселся на спину спящего животного, слышу его дыхание и боюсь его разбудить.

Наконец я отпустил руки и разогнулся. Стараясь не смотреть вниз, я сделал шаг и, не отрывая второй ноги от бревна, подволок ее к первой. Перекладина тихо покачивалась подо мной. Вперед шла зеленая узкая тропинка, из которой торчали кочерыжки болтов, о которых тоже надо было помнить.

Я сделал еще один шаг и подтянул вторую ногу. Видимо, я это сделал недостаточно осторожно, потому что сооружение

ожило и задышало подо мной. Стараясь удержаться, я замер и посмотрел вниз.

Рыжая от опавшей хвои земля, прочно перевитая арматурой корней, поплыла подо мной.

«Назад, пока не поздно», — подумал я и осторожно повернул голову. Конец перекладины, от которого я отошел, был совсем близко. Но тут я почувствовал, что повернуться не смогу. Повернуться на таком узком пространстве было страшнее, чем идти вперед.

Я почувствовал, что попал в ловушку. Мне оставалось или сесть верхом на бревно и задним ходом уползти назад, или продолжать путь. Как мне ни было страшно, все-таки какая-то сила не позволила мне отступить столь позорно. Я пошел дальше. Иногда, теряя равновесие, я думал — вот вот прыгну, чтобы не сорваться, но все-таки каждый раз удерживался и шел дальше. Я дошел до самого края и, боясь уже от радости потерять равновесие, нагнулся и изо всех сил ухватился за перекладину и долго держал, обхватив ее руками и прислушиваясь к ее теперь уже безопасному покачиванию.

Разумеется, я свое маленькое достижение не держал в тайне от ребят. Сам Юра, взглянув на меня долгим взглядом, поздравил меня. После этого я нередко повторял его, но страх почти не уменьшался, просто я привык к тому, что я должен пройти через страх определенной силы, и проходил.

Мне кажется, в любом деле первоначальный страх силен тем, что предстает в наших ощущениях как шаг в зияющую

пустоту, в бесконечный ужас. Одолев его, мы не опасность устраняем, а находим меру тому, что мы считали бесконечностью. Кто определит меру небытия, тот и даст людям лучшее средство от страха смерти.

После меня и некоторые другие ребята научились проходить по качающейся перекладине, но ни они, ни я даже ни разу не попытались пробежать от одного конца до другого. Мы чувствовали, что это дело избранника, и только в самых потаенных мечтах могли повторить его подвиг.

...В видении Христа, идущего по воде, есть что-то от шарлатанства Великого Инквизитора. Мы видим, как при помощи чуда заманивают людей в религию. Но с еще большим успехом их можно было заманить в религию, если б Христос на глазах рыбаков прибрежную гальку превращал в золотые монеты.

В его прогулке по воде нет ничего духовного, потому что нет преодоления. Он идет по воде или потому, что бесплотен, или потому, что с неба на невидимой нитке его придерживает Главный Конструктор. А раз так, ему ничего не остается, как идти по воде Заслуженной Походкой, с тем скромным достоинством, с каким на собраниях проходят на сцену избранные в президиум.

Другое дело наш Юра. Вот он стоит на перекладине. Он готовится к подвигу, к человеческому чуду. Во всей его фигуре, в воинственном наклоне тела, в позе прыжка, в сосредоточенном лице горячий трепет борения отваги со страхом. Толчок — и несколько сверкающих секунд олимпийской победы духа над плотью!

На наших глазах он перегонял свое тело от одного конца перекладки к другому, как отважный наездник упирающегося коня через бешеную горную реку. И это было прекрасно, и все мы это чувствовали, хотя, почему это было прекрасно, и не могли бы тогда объяснить.

Однажды Юра предложил мне ограбить школьный буфет. И хотя до этого мы ни разу не грабили школьные буфеты, я почему-то согласился быстро и легко. Никаких угрызений совести мы не чувствовали, потому что это была чужая школа и притом для грабежа очень удобная, потому что была расположена рядом с нашим домом. Нас соблазнили сосиски, которые, по достоверным слухам, в этот день привезли в буфет.

План был прост: взломать дверной замок, съесть в буфете все сосиски, взять из кассы всю мелочь и скрыться. Бумажные деньги мы не планировали брать, потому что знали, что их не оставляют в кассе. Интересно, что нам в голову не приходило унести сосиски, мы представить себе не могли, что их может оказаться слишком много. И дело даже не в том, что под руководством моего кумира с его цебельдинским опытом можно было не беспокоиться об этом, но и вообще наш опыт подсказывал, да мы и слыхом не слыхали, что кто-то где-то мог не доесть сосиски.

Днем мы зашли в школьный буфет вроде бы от нечего делать, а на самом деле приглядываясь, что к чему, что где лежит и как расположено.

Большая миска, переполненная гроздьями перевитых сосисок, стояла на подоконнике. В косых сборных лучах

предзакатного солнца над миской струилось розовое сиянье.

Юра с такой сентиментальной откровенностью уставился на это видение, что я в конце концов был вынужден вывести его оттуда, потому что это становилось неприлично и опасно.

— Не могу, — сказал он, передохнув, когда мы остановились в коридоре у окна.

— Что не можешь? — спросил я у него тихо.

— На лопнутые не могу смотреть, — ответил он и с таким присвистом втянул воздух, словно хватил чересчур горячую сосиску.

У меня у самого потекли слюнки.

— Потерпи до вечера, — шепнул я ему, призывая к мужеству.

Мы вышли из школы.

Вечером в помещение школы можно было проникнуть через глухую, забитую дверь задней стены. Дверь эта была застеклена, но один проем был выбит, в него-то и можно было пролезть.

При школе жил завхоз, исполняющий одновременно обязанности сторожа. У нас с ним были свои многолетние тяжбы, потому что мы использовали школьный двор для футбола, а он нас гнал.

Это был, к сожалению, еще бодрый старик.

Как только хорошо стемнело, мы перелезли в школьный двор и незаметно подкрались к забитой двери. Она

была освещена слабым уличным светом, и черная дыра в проеме вызывала тревогу. С улицы доносились голоса наших ребят, как далекий шум мирной, но уже невозможной жизни. У самой двери маслянисто сияла довольно большая лужа. Я осторожно обошел ее и заглянул в проем.

— Давай, — сказал Юра, и я полез.

Я ухватился одной рукой за выбоину в стене, другой уперся в дверную ручку и, подтянувшись, сунул ноги в дыру, пытаясь нащупать ногами пол. Обеспокоенный страхом, изогнувшись, я некоторое время висел, шевеля носками и сползая, и, наконец, нащупав пол, втащил в помещение и верхнюю часть своего туловища.

Возле двери криво нависал пролет запасной лестницы, ведущей на чердак. Дальше надо было пройти коридором, потом свернуть в другой коридор, в конце которого и был расположен буфет.

Юра быстро перелез за мной, и мы пошли, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к жуткой тишине закрытых классов и пустой темной школы.

Сердце стучало так, что с каждым шагом приходилось одолевать отталкивающую назад силу отдачи. Когда мы проходили мимо окон, в темноте появлялся бесстрашный профиль моего друга, и действие страха ослаблялось. Я забыл сказать, что на мне была почему-то белая рубашка. Эта рубашка, больше подходящая для привидения, чем для грабителя, сейчас в темноте казалась странной, словно я был одет

в собственный страх. Я старался не смотреть на нее, чтобы еще больше не пугаться.

Мы подошли к двери буфета. В узкую щель проникала слабая струйка света. Юра надавил на дверь, щель расширилась, и он приник к ней.

Он долго смотрел в щель, словно пытался подсмотреть ночную жизнь сосисок или каких-то других обитателей буфета. Наконец он повернул ко мне повеселевшее лицо и знаком пригласил и меня посмотреть в щель, словно предлагая порцию бодрости перед самой опасной частью нашего дела. Я заглянул и снова увидел наши сосиски. Они стояли на том же месте, но теперь, прикрытые кисеей, еще соблазнительней просвечивали сквозь нее.

Юра вынул из-за пазухи щипцы, которыми мы заранее запаслись, и стал орудовать над замком. Надо было вырвать одно из колец, к которым был привешен замок. Но это оказалось не так просто.

Взволнованный видением сосисок, он слишком спешил, и щипцы, соскальзывая с кольца, несколько раз довольно громко лязгали.

И вдруг я отчетливо услышал на верхнем этаже человеческие шаги. Они переступили несколько раз и, словно прислушиваясь, остановились.

— Бежим! — мертвея, шепнул я, но тут же почувствовал, как его пальцы больно сжали мое предплечье.

Мы замерли и долго молчали в длинной коридорной тишине.

— Показалось, — наконец шепнул Юра.

Я замотал головой. Снова замерли.

Не знаю, сколько мы так простояли. Но вот Юра осторожно повернулся к двери, словно сравнивая степень риска со степенью соблазна. Снова прислушался. Заглянул в щель, прислушался и решительно принялся за дверное кольцо.

И вдруг шаги! И снова рука Юры, опережая мой рефлекс дезертирства, хватает меня за предплечье.

Но шаги не останавливаются. Теперь они отчетливо шлепают по ступеням, мгновение мешкают, и вдруг сноп света, раньше, чем шелк выключателя, взрывной волной разливается со второго этажа на первый, и снова следом шаги.

Рука Юры разжалась на моем предплечье. Дикий и точный конь страха вынес и выбросил меня у здания школы. Я ни на мгновение не останавливался перед дверным проемом, я просто вылился в него и очнулся, шлепнувшись в лужу. Только перевалившись через забор, я заметил, что Юра за мной не бежит. Я не знал, что подумать. Неужели его сторож поймал? Но почему, если так, я ничего не слышал?

Сквозь забор я смотрел на здание школы и ожидал, что вот-вот оно вспыхнет от каких-то сигнальных огней и зальется какими-то мелкими злыми звонками, а потом придет милиция...

Но время идет, и все тихо, и я начинаю замечать, что моя белая рубашка вся в грязи, что дома мне за это

не поздоровится, что надо как-нибудь незаметно проникнуть в дом, выбросить рубашку в грязное белье и надеть что-нибудь другое.

Погруженный в эти невеселые раздумья, я заметил Юру только тогда, когда он, перемахнув через забор, спрыгнул возле меня.

Что же случилось? Оказывается, когда мы бежали от сторожа, чувствуя, что вдвоем мы не успеем выбраться, он сообразил свернуть на чердачную лестницу и переждать там опасность. И это он успел сообразить за те несколько секунд, пока мы бежали!

Мне бы в жизни никогда такое в голову не пришло, я, как животное, мчался в ту дыру, откуда залез. Вот какой он был, мой давний товарищ Юра Ставракиди!

Я перечел написанное и вспомнил, что, в согласии с лучшими литературными рецептами, необходимо сказать и о некоторых недостатках моего героя, разумеется, незначительных, не затмевающих, а так, слегка притушевающих его светлый облик. Наличие таких небольших, повторяю, недостатков должно приблизить, очеловечить его облик и даже, может быть, вызвать грустную, всепонимающую улыбку: мол, ничего не поделаешь, человек есть человек.

Ну, так вот, Юра, в общем довольно хорошо говоривший по-русски, никак не мог научиться отличать слово «понос» от слова «насморк». Видимо, его вводила в заблуждение функциональная близость этих понятий, осложненная неко-

торым созвучием в духе современной рифмы, о чем Юра, разумеется, тогда не знал, тем более что тогда она и не была современной.

Я всякими способами пытался закрепить эти слова в его голове так, чтобы они занимали подобающее им место, но стоило ему тряхнуть головой, как они выскакивали и путались местами.

— В слове «понос» слышится слово «нос»? — спрашивал я его мирно.

— Да, слышится, — отвечал Юра, честно подумав.

— А насморк связан с носом? — спрашивал я его, воздействуя на него через логику первичных понятий.

— Связан, — отвечал Юра неуверенно, потому что не знал, куда я клоню.

— Так вот, — говорил я ему, — как только ты произносишь понос, ты сразу же вспоминай, что и нос и насморк к нему никакого отношения не имеют.

Но тут хаос славянского словаря накрывал его с головой.

— Тогда почему в нем слышится нос? — спрашивал он, высовывая голову, и все начиналось сначала. Одним словом, эта небольшая филологическая тупость не ослабляла моего постоянного эллинистического обожания друга.

Должен сказать, что Юра любил драться. В те годы все мы любили драться, но Юра, по естественным причинам, любил в особенности.

Он дрался, защищая собственную честь, или честь греческую, или просто слабых, или честь маляра, довольно часто

честь улицы, реже честь класса. А то и просто так, когда стороны добровольно хотели определить свою силу, чтобы потом на генеалогическом древе рыцарства вспрыгнуть на более высокую ветку или уступить свою.

— Хочу с ним подраться, — бывало, тихо говорит мне Юра, кивнув на какого-нибудь мальчика. Обычно это новичок, появившийся в школе или в окрестностях нашей улицы.

А иногда это кто-нибудь из старых знакомых, внезапно выросший или поздоровевший за лето и теперь требующий, даже если он сам этого не хочет, переоценки своих новых возможностей.

И вот Юра кивает в его сторону, и столько целомудрия и тайного счастья в его лице, что нельзя им не залюбоваться. Так, вероятно, садовник, обнаружив в саду досрочно налившийся плод, любителю им, осторожно пригнув ветку, или, может быть, так Дон-Жуан издали с многозначительной нежностью смотрел на свою новую возлюбленную.

Обычно мальчик этот рано или поздно догадывался о тайной страсти Юры, в его движениях появлялась некоторая стыдливая скованность, в конце концов переходящая в наглость.

— Тоже чувствует, — радостно кивал Юра в его сторону, и глаза его теплели козлиным лукавством маленького сатира.

Однажды мы с Юрой стояли у входа в наш лучший по тем временам кинотеатр «Апсны». Шла какая-то потрясающая картина, вокруг нас колыхалась толпа подростков. Многие

искали билеты, заглядывали в глаза, стараясь угадать перекупщиков.

Но до чего же было уютно стоять в толпе перед сеансом, время от времени нащупывая в кармане свой билет и зная, что вокруг столько страждущих, а ты вот со своим билетиком и тебе ничего не страшно. А когда начнут пускать, ты войдешь в дверь и еще будешь гулять по фойе, в сотый раз рассматривая чудные в своей цветной аляповатости картины местного художника на сюжеты пушкинских сказок, наслаждаясь сознанием, что эти маленькие удовольствия бесплатны, что главное удовольствие еще предстоит. А потом, когда впустят в кинозал, такой парной-парной от предыдущего сеанса, как бы хранящий самый запах зрелищного удовольствия, которое здесь только что испытывалось, а нам еще предстоит, а потом еще будет журнал, пусть иногда ерундовый, но ведь это тоже вроде надбавки, а главное, настоящее удовольствие еще предстоит, и, может быть, самое сладкое в жизни — это оттягивать, оттягивать его, если уж растянуть его не всегда возможно, потому что оно может оборваться, как кинолента...

Вот в таком блаженном ожидании кино я стоял, когда какой-то мальчик подошел к Юре.

— Нет билетика?

Юра посмотрел на этого мальчика, такого худенького, такого безбилетненького, промедлил, словно давая осознать всю бездну его сиротства, сказал:

— Есть, но сам пойду...

— Я вижу, ты хотел состричь, — сдерзил мальчик, смелый от горя.

— Да, хотел, — почему-то повторил Юра. Казалось, он не поверил своим ушам, что из этой бездны кто-то еще может отвечать ему, и теперь проверяет, не послышался ли ему этот дерзкий голос.

— Но у тебя не получилось, — сказал мальчик и, мстительно кивнув головой, повернулся уходить.

— Стой, — встрепенулся Юра. Мальчик бесстрашно остановился.

— Значит, я спекулянт? — неожиданно сказал Юра и, схватив его за грудки, потрянул. — Значит, я спекулянт? — повторил он.

Я почувствовал во рту вкус кислоты. Это была тогда еще не осознанная реакция организма на пошлость и несправедливость.

Я чувствовал, что Юра хочет с ним драться, но сейчас это не укладывалось ни в какие нормы. Мальчик явно не хотел драться, мальчик был явно слабее него, мальчик не говорил, что он спекулянт, в крайнем случае он даже не был рыжим.

— Значит, я спекулянт? — повторял Юра и, потряхивая, старался привести его в боевое состояние.

— Я не говорил, — сдавался голос мальчика, и он озирался в поисках знакомых или защитников.

— Нет, говорил! — снова тряс его Юра, стараясь вырвать из него еще какое-нибудь оскорбление, чтобы ударить его.

Но мальчик не поддавался и тем самым еще больше раздражал Юру, вынуждая его самого сделать последний шаг. Дело к этому шло.

И вдруг, откуда ни возьмись, с полдюжины греческих мальчиков окружило нас, и все они залопотали в один голос:

— Не стыдно, грек... кендрепесо, — доносились из вихря знакомые слова.

Видно, ребята эти хорошо знали Юру и этого мальчика, и Юра по каким-то причинам считался с ними. А мальчик этот, на вид явно русский, неожиданно, словно от страха, тоже как залопочет по-гречески, так что даже Юра растерялся. Видно, мальчик жил с этими ребятами в одном дворе.

Так они говорили, то возвышая, то понижая голос, переходя с русского на греческий и наоборот. Юра утверждал, что мальчик хотя и не называл его прямо спекулянтom, но спросил у него, за сколько он продает билет, и тем самым и т. д.

— Не говорил я так, неправда, — смело нервничал мальчик в окружении своих греческих друзей.

— Не стыдно, грек? — снова греки стыдили Юру по-гречески.

— Спросите у него, если не верите, — сказал Юра и обернулся ко мне.

Я давно этого ожидал. Я его ненавидел в эту минуту. Я готов был топтать его прекрасную лживую рожу, но он был мой друг, и по какому-то древнему закону товарищества, землячества, своячества или как там еще я его должен был защищать,

тогда как другое, более сильное, но почему-то бесправное чувство толкало меня стать на сторону этого мальчика.

Все обернулись на меня, уверенные, что я стану на сторону Юры уже потому, что он меня назвал. Но я промедлил первое мгновение и сразу же этим возбудил горячее любопытство, потому что, раз я его друг и не бросаюсь его защищать, значит, я должен сказать что-то непривычное в таких случаях, может быть, даже всю правду.

Все притихли, глядя на меня, и я чувствовал, что каждый миг молчания поднимает меня в их глазах на какую-то бесстрашную высоту. И я сам ощущал, как подымаюсь в своем молчании, как плодотворно оно само по себе, и в то же время заранее зная, что подведу их, как только раскрою рот, и старался угадать миг, когда возноситься дальше будет просто-напросто опасно ввиду обязательного предстоящего падения.

— Я не слышал, — сказал я, и струя кислоты брызнула мне в рот, словно я раздавил зубами дичайший дичок.

Мгновенно обе стороны потеряли ко мне всякий интерес и продолжили спор, полагаясь уже только на свои силы. Прозвенел звонок.

В кино мы сидели рядом. Иногда, косясь в его сторону, я видел строгий, отчуждающийся профиль моего друга.

По дороге домой я пытался ему что-то объяснить, но он молчал.

— Не будем разводить ляй-ляй-конференцию, — сказал он, поравнявшись со своим домом и сворачивая во двор.

Это было началом конца нашей дружбы. Мы не ссорились. Мы просто потеряли общую цель. Постепенно мы покидали общее детство и входили в разную юность, потому что юность — это начало специализации души. Да и внешне, по независящим от нас обстоятельствам мы потеряли друг друга.

И только через много-много лет я его встретил в нашем городе, на верхнем ярусе водного ресторана «Амра», куда я зашел выпить кофе. Он сидел в компании наших местных ребят. Мы еще издали друг друга узнали, и он, широко улыбаясь, встал из-за столика.

Я присел к ним, и мы с Юрой, как водится, повспоминали детство и школьных товарищей.

Оказывается, Юра — морской офицер и служит на Севере. Сейчас он в длительном отпуске, приехал отдохнуть и погулять, а потом остаток отпуска собирается провести в Казахстане, где живут сейчас его родители.

Я напомнил ему, как он пробегал по перекладине, и признался, что его подвиг так и остался для меня великой мечтой.

— Зато я не мог пройти, — сказал Юра, пожимая плечами.

— Как не мог?

— Медленно идти было страшно, — сказал он, и в его серых глазах промелькнула тень былого бесстрашия.

— Не может быть! — воскликнул я, чувствуя, что это признание навлекает на меня какую-то ответственность. Я еще не мог понять, какую.

— А раскачивал я ее знаешь почему? — спросил он и, не дожидаясь моего вопроса, ответил: — Просто я почувствовал, что хорошая килевая качка мне приятнее болтанки...

— Как в море, — добавил он почему-то, утешая меня более универсальным применением своего открытия.

Нет, я нисколько не жалел о своих отроческих восторгах его подвигом. Просто я почувствовал, что храбрость, как, вероятно, и трусость, имеет более сложную природу, и многое из того, что я считал решенным и ясным, вероятно, не так уж точно решено.

Мне стало грустно. Концы недодуманных мыслей мешали веселиться, как во времена студенчества несданные зачеты.

Мне захотелось сейчас же пойти домой и хотя бы кое-что додумать. Но уйти было невозможно, потому что подошла официантка с заказом. Она поставила на стол бутылку коньяка и искусно нарезанный арбуз, который, как только она поставила тарелку на стол, сочась, раскрылся, как гигантский лотос с кровавыми лепестками.

В самом деле, уйти было никак невозможно.

ПИСЬМО

В пятнадцать лет я получил в письме пламенное признание в любви. У меня до сих пор сохранилось впечатление, что вспыхнувшие при чтении слова признания были написаны золотом, а не обыкновенными химическими чернилами.

За минуту до того, как почтальонша вручила мне это письмо, я с обрывком электрического провода сбежал по лестнице нашего двухэтажного дома. Задача состояла в том, чтобы дотерпеть до конца лестницы бьющую сквозь тело таинственную силу тока. Притрагиваясь жикающим концом провода к металлическим перилам лестницы, я изо всех сил бежал вниз, разбрызгивая фиолетовые искры.

Ночью была гроза, во время которой оборвался этот провод. По-видимому, главную смертоносную часть тока принял на себя крыша нашего дома, остатками электричества забавлялся я.

Была весна. Витиеватые балясины перил были опутаны еще более витиеватыми лозами цветущей глицинии. Каскады тяжелых кистей свисали с наружной стороны лестницы. Они были такими же фиолетовыми, как электрические искры, вспыхивавшие под моей рукой.

Где-то возле середины первого лестничного марша началась площадка, ведущая в коммунальную уборную.

Жители двора время от времени пробегали туда, и, как только они притрагивались к перилам, я подключал к ним ток. Обычно при этом они вскрикивали или молча в диком прыжке переносились на площадку, однако, при всех разновидностях восприятия, маршрута никто не менял.

Все еще держа в руке провод, я прочел письмо. Сразу же почувствовал, что игра эта теперь не нужна, что ей пришел конец, и, видимо, навсегда, я бросил провод и вбежал в дом.

Хотя письмо не было подписано, я мгновенно догадался, кто его написал. Это была девочка, с которой два года назад мы учились в одном классе. Два года назад нас развели, разделив школы на мужские и женские по примеру классических гимназий. С тех пор я ее ни разу не видел и не вспоминал. В школьном журнале мы стояли рядом. Мало того, что мы стояли рядом, — у нас совпадали инициалы. Такое совпадение не могло остаться незамеченным. Еще тогда мы оба чувствовали его неслучайность. И вот наконец письмо.

Золотящиеся буквы вспыхивали и шевелились на бумаге. Я перечел письмо несколько раз, благодарно влюбился в автора и, тут же изорвав его на мелкие кусочки, выбросил в мусорный ящик.

Мои действиями двигал могучий патриархальный стыд и неосознанная логика начинающего социалиста. Ход ее я сейчас мог бы расшифровать примерно так: письмо, полученное мною, — это счастье, а счастливым быть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных. Ну а так как от счастья отказаться трудно (тактика!), надо его законспирировать, то есть держать в голове, уничтожив все материальные улики.

Теперь я бродил по улицам в надежде где-нибудь ее случайно встретить. Я довольно смутно представлял, что надо делать при встрече. Ну, во-первых, думал я, надо, конечно, подойти, а потом уж, как только представится случай, предложить ей свое сердце и жизнь, разумеется, до самой гробовой доски.

Нельзя сказать, чтобы я очень спешил со встречей. Как и для всякого начинающего социалиста, главное для меня была программа, а она с гениальной ясностью была намечена в ее послании. Для всего остального отводилась целая жизнь, а в пятнадцать лет она бывает до того огромной, что, сколько ее ни трать, все ее девать некуда, все она переливается через край.

И вот однажды, когда я вместе со своими товарищами стоял на главной улице нашего города, она вместе с двумя подружками прошла мимо нас.

Я успел заметить вдохновенную бледность ее вспыхнувшей щеки, быструю походку и тончайшую фигуру. За эти два года она из девочки превратилась в девушку, ухитрившись остаться такой же тонкой, как и была в том роковом для нашего совместного обучения седьмом классе.

Одним словом, был налицо тот источник бледно-розового сияния, необходимый для первого чувства мальчика моих лет.

А хитрость природы в данном случае состоит в том, что каждый мальчик, проходящий сквозь эту стадию, или, вернее даже сказать, получающий эту прививку, инъекцию любовной лихорадки, воспринимает это сиянье как особую милость его личной судьбы, угадавшей потребности его нежной души и однажды с исключительным тактом или даже со вкусом японского садовода соединившей в одной девушке редкие свойства его хрупкого и капризного идеала.

Увидев ее зардевшуюся щеку, я окончательно уверился в своей догадке и почувствовал, что подойти к ней будет не

так-то просто. Хотя мы успели окинуть друг друга только одним быстрым взглядом, как-то сразу в одно мгновение было решено, что неудобно теперь, через два года, узнать друг друга и поздороваться, тем более что между нами уже пролегла тайна письма.

Нет, нет! — крикнула она мне этим мгновенным взглядом, только не сейчас, не здесь, потому что, если ты сейчас со мной здороваешься, это будет означать, что ты своим друзьям все рассказал о моем письме, и я умру от стыда.

Теперь я ее стал встречать все чаще и чаще. Иногда она была со старшей сестрой, иногда в большой компании подружек и каких-то незнакомых мне ребят, и я чувствовал, что с каждым разом подойти к ней становится все трудней и трудней.

Кстати, сестра ее тоже училась с нами в одном классе, хотя и была старше ее на год или два. Не помню, как очутилась она с нами в одном классе, думаю, не от избытка любви к учебе. Для полной последовательности я и с сестрой не стал здороваться, чего она, кажется, не замечала. Вообще она была какая-то сонная девушка, и, хотя на вид, пожалуй, была привлекательней своей младшей сестры со своими тяжелыми нежными веками, чистым лицом и яркими губами, все-таки чувствовалось, что ребят привлекает именно младшая. Потому что от нее, младшей, исходило то беспокойство, то нетерпеливое ожидание праздника жизни, которое заражает окружающих.

Одним словом, подойти становилось все трудней и трудней.

Я ждал романтического случая и, вообще говоря, не спешил знакомиться, ибо, как думал я, спешить было некуда, раз и так вся жизнь теперь посвящена ей, и только ей.

А между тем рядом с ней вместе с другими мальчиками и девушками стал появляться некий военный, капитан по званию, как мне охотно разъяснили мои друзья.

И теперь я заметил, что возлюбленная моя при встрече со мной, если рядом с ней бывал капитан, как-то смущалась и опускала голову. Это ее смущение я воспринимал как бесконечно трогательное доказательство ее любви, приятно льстящее моему самолюбию, но, пожалуй, чересчур сильное.

И теперь, посылая многозначительные взоры, я старался ей внушить, чтобы она не слишком смущалась из-за своего капитана, что мы-то с ней знаем, какая великая тайна нас объединяет, что он-то, бедняжка, такого письма не получал и, судя по преклонному возрасту, теперь навряд ли когда-нибудь получит.

Капитан был парнем лет двадцати семи — возраст, который тогда казался мне для любви безнадежно запоздалым. Пожалуй, настолько преклонным, что при случае можно было, почтительно приподняв и тряхнув ладонью медали на его груди, спросить:

*Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?*

Возможно, моя тайная возлюбленная правильно оценила мои взоры, потому что со временем при встречах, если рядом

с ней бывал капитан, она почти не смущалась, а как-то изгибала губы в намеке на улыбку, которую я легко объяснял вынужденным лукавством. Каково ей, бедняжке, думал я, любить одного и терпеть ухаживания другого.

Так, в состоянии блаженного слабоумия, время от времени сопровождая свою возлюбленную как незримая тень, я дожид до середины лета, когда она вместе с сестрой и капитаном стала посещать танцы в городском парке.

В парке под влиянием музыки чувство мое, кажется, стало замутняться горечью.

Под трофейную и отечественную музыку шаркала послевоенная танцплощадка. В толпе танцующих мелькало ее бледное, вопросительно приподнятое на капитана личико. Он, высокий, статный парень, глядел на нее сверху вниз добродушно и, черт подери, кажется, с оскорбляющей меня едва заметной снисходительностью.

Трудно что-нибудь представить кошмарней танцплощадки тех лет. Вот она перед моими глазами — со стареющими девицами, годами кружащимися на этом асфальтовом пяточке, и казалось, с годами, с каждым танцем что-то женское, человеческое выплескивалось и выплескивалось из них, пока не выработалась эта профессиональная маска с голодными провалами глаз. А эти наглые сосунки, а эти престарелые уголовники, занявшиеся теперь более мирными ремеслами, но приходящие сюда для сентиментальных воспоминаний, и, наконец, неизменный первый танцор, работающий как водонос, делающий знаменитое в те годы па

с боковой пробежкой и закатыванием глаз в парикмахерском забытьи!

Внезапно где-нибудь на краю площадки, а то и в середине возникал маленький водоворот драки, постепенно вовлекающий в свою воронку все большее и большее количество людей, со свистом, с криками, с бегущими во все стороны девушками.

Стыд перед всем этим убожеством, страх за свою возлюбленную, да и за себя страх. Беспокойство и вместе с тем ярмарочное любопытство к драке и крови, и вместе с тем постоянное ощущение униженности от этой чрезмерной дозы грубости во всем, что здесь происходит, и вместе с тем необходимость скрывать эту отягченность, кривить губы улыбкой свойского парня, знающего больше, чем говорит, и все же говорящего больше, чем стоят окружающие.

А главное, уж слишком позорная цена, которая незримо назначается твоей личности, как только тыходишь сюда. Уж казалось, ты и сам предельно снизил стоимость своей личности, а, видно, все-таки недостаточно, и ты слегка ропщешь на это, но тебя никто и слушать не хочет, да и не может, пожалуй, потому, что ропщешь ты все-таки про себя. Но видно, на лице все-таки отпечатывается какой-то признак недовольства, и по этому признаку тебя в любой миг могут разоблачить как урод, как от рождения неспособного бить скопом одного, цвиркнуть слюной на спину ничего не подозревающего фраера или его девушки и вообще пакостить, пакостить, когда это тебе ни-

чем не угрожает, а иногда даже и под угрозой, но все-таки без угрозы лучше.

Все эти ощущения незримо роились во мне, пока я в течение многих дней любовался ею на танцплощадке. Наконец один из моих друзей прямо-таки швырнул меня к скамейке, на которой она сидела после очередного танца вместе с сестрой и капитаном.

Похохатывая от смущения, я представился и стал объяснять, что я тот самый школьник, с которым она и ее сестра учились два года тому назад во второй школе, ну, той самой, что между стадионом и церковью, хотя каждая из них никак не могла забыть школу, где мы учились, уже по той простой причине, что они еще продолжали там учиться (это нас перевели в другую школу).

Кроме того, я не забыл упомянуть, что в то время, когда мы учились в одном классе, у нас фамилии и имена начинались с одной буквы.

Пока я говорил, она то подымала голову, и личико ее вспыхивало и гасло, а глаза умоляли не делать скандала, то оборачивалась к своему капитану, нежно прикасаясь пальцами к его груди, успокаивая его этой небольшой лаской и одновременно слегка отстраняя от наших воспоминаний.

Я забыл упомянуть, что во время своего монолога, встречаясь с ней глазами, я старался как можно красноречивей показать взглядом, что никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах никто, особенно он (следовал роман-

тический выворот глаз в его сторону), не узнает о существовании того великого письма. Да и сам мой сумбурный монолог с подробным объяснением расположения нашей школы имел сверхзадачу внушить капитану, что с тех давних времен между нами никогда не было не только письменной, но даже устной связи.

Надо сказать, что капитан после первых моих слов, уяснив, что я не какой-то там приставала, отнесся ко мне благодушно.

— Костя, — сказал он просто, когда она нас познакомила, и крепко, по-товарищески пожал мне руку.

Через некоторое время он даже ушел танцевать с ее сестрой, и в течение двух-трех танцев их не было с нами.

Какое это было блаженство — опуститься на скамейку рядом с ней, видеть в этой сказочной близости ее миловидный профиль, с привздернутым носом, длинной шейкой и вдыхать, вдыхать аромат ее духов, тем более пьянящий, что я тогда и потом еще долгое время принимал его за натуральный запах ее собственной цветущей юности.

Трое моих друзей несколько раз демонстративно прошли мимо нас. На их замкнутых лицах было написано, что они оскорблены моим счастьем. Встретившись с ними глазами, я посылая им улыбки, какие мог бы посылать на землю человек, внезапно воспаривший в прекрасную, но крайне неустойчивую высь. На эти улыбки они взглядами мне отвечали и взглядами же предлагали слезть с этой дурацкой выси и вместе с ними обсудить случившееся. По-видимому, уго-

варивая меня подойти к ней, они ожидали более комического эффекта.

Наконец, один из них, тот самый, что подтолкнул меня к этой скамейке и, видимо, поэтому чувствовавший наибольшую ответственность за мое поведение, подошел к нам и, несколько чопорно извинившись перед моей девушкой, отвел меня в сторону.

Он был эвакуированным ленинградцем, и мы считали, а он это охотно подтверждал, что в нем сохранился холодный светский лоск потомственного петербуржца. Мы отошли шагов на десять.

— Должен тебе сказать, что ты выглядишь как идиот, — сказал он, строго оглядев меня.

Я вспомнил, что именно он подвел меня к ней и все так просто и хорошо получилось, и вдруг, неожиданно для себя и, уж конечно, для него, обнял моего друга. Он с негодованием отстранился и отошел к ребятам. Я смотрел ему вслед. Высокий и худой, он удалялся четким шагом парламентаря. Мне и в голову не могло прийти шантажировать ее этим письмом, но я считал необходимым теперь, когда мы остались одни, намекнуть, что послание дошло до цели, что великий акт соединения душ произошел во всей красоте и бескорыстии.

— Ой, порвите его! — сказала она, услышав про письмо, и нежно притронулась пальцами к моей рубашке. — Я была тогда такая глупая...

— Никогда! — пылко соврал я, вкладывая в это слово всю правду своего состояния.

Я хотел сказать, что чувство, вызванное ее письмом, вечно и теперь уже ничего нельзя изменить, потому этот обман оказался наиболее наглядной формой правды. Она вздохнула и убрала руку.

Я почему-то победно посмотрел на капитана, который сейчас возвращался к скамейке, держа под руку ее сестру, чего я еще, кстати говоря, не умел.

С этого дня мы довольно часто встречались и вместе проводили вечера. Почему-то всегда четвером.

Я прекрасно знал, что капитан этот ухаживает за ней, а не за ее сестричкой, но никакой ревности, никакого чувства соперничества не испытывал. Это было невозможно, как невозможно ревновать человека, который присел у костра, где ты сидишь, и протянул к огню руки. А точнее, если уж продолжать сравнение, ты сам пришел из промозглой ночи к этому костру, у которого он уже сидел и даже успел поставить на огонь свой выдавший виды котелок старого вояки, в котором, помешивая ложкой, готовил свою нехитрую любовную похлебку. Так что это он, а не ты подвинулся, давая тебе место у костра, правда, при этом не переставая помешивать ложкой в котелке. И что с того, что ты раньше его заметил этот костер и даже, вернее, он сам тебя заметил и даже подмигнул тебе издали язычками своего пламени, — сейчас вы оба греетесьazole него, и ничего в этом плохого нет.

Так думал я, принимая временное равновесие сил за гармонию. Рано или поздно соперничество или нечто в этом роде должно было возникнуть. И оно возникло.

Как-то само собой получилось, что во время наших совместных прогулок все легкие дорожные траты, как-то: выпить воды, съесть мороженое, пройти в парк, а иногда и в кино — правда, это было очень редко, — капитан сразу же взял на себя.

В первое время, когда я в таких случаях вынимал свой редкий рубль, он и она с такой настойчивостью всучивали мне его назад, что вскоре я перестал обращать на это внимание, ибо ни к чему так быстро не привыкает человек, как к дармовому угощению.

Однажды, когда он угощал нашу общую возлюбленную виноградным соком, а мы с ее сестрой скромно стояли рядом, он кивнул в нашу сторону и сказал:

— Налетайте, Чарли угощает.

Это прозвучало как-то хамовато. Теперь-то я уверен, что он не хотел этой своей шуткой оскорбить или унижить меня, но тогда я почувствовал жгучий стыд и впервые враждебность к этому славному парню.

Самое главное, что я никак не мог отказаться, предчувствуя неумные и громоздкие последствия своего отказа, тем более что сок уже был разлит по стаканам и, что особенно удивительно, выпить его мне все-таки хотелось, и даже как бы еще сильнее.

А хуже всего было то, что, когда он произнес эту свою шутку богатого гуляки, я заметил, что она улыбнулась в уже пригубленный стакан, и улыбнулась довольно язвительно. Это очень неприятно кольнуло меня, и потом я много раз

вспоминал эту улыбку, пока в конце концов однажды не решил, что, в сущности, никакой улыбки не было, а был эффект прохождения света сквозь стекло и жидкость, придавший ее губам этот предательский излом.

Но самое ужасное, пожалуй, заключалось в том, что мы уже договорились идти в кино, а денег у меня, как назло, не было. Теперь, в создавшихся условиях, идти в кино за его счет я никак не мог. Но и прямо отказаться было как-то неловко, беспричинно, потому что, отказавшись, надо было их покинуть, чего мне не хотелось.

Разумеется, и до этого мне иногда приходило в голову, что не стоит пользоваться его денежными услугами, хотя, повторяю, услуги эти были достаточно ничтожны. Но в том легком состоянии эфирного опьянения, в котором я беспрестанно находился с тех пор, как подошел к ним и мы стали встречаться, я как-то привык воспринимать все это как мужское одолжение, мол, сегодня ты угощаешь, а завтра я, хотя это завтра все время откладывалось на непредвиденные времена.

Кроме того, приходил и другой оттенок оценки положения, я его нарочно не додумывал до конца, чувствуя, что он не слишком благородного свойства. Но такая оценка иногда легким контуром вставала перед моим осмысленным взором, и умолчать о ней я теперь не вправе. Суть ее состоит в том, что мне казалось, а возможно, начало казаться с некоторых пор, что мы с ней в известной мере делаем одолжение, допуская его в наше общество, за что он расплачивается мелкими материальными услугами.

Конечно, если уж еще дальше продолжать это сравнение с костром, я, разумеется, не ревновал за то, что он присел к моему костру. Но, черт подери, я же знал, что горит-то он все-таки для меня, что то самое замечательное письмо, может, и написано было пылающим прутиком, выхваченным из этого костра?!

В том, что такого письма и вообще любовного письма она не могла написать другому, я не только не сомневался, но и вообще был уверен, что, раз в жизни написав такое письмо, человек всю остальную жизнь только и делает, что служит этому письму, хватило бы только сил удержаться на его уровне, а о чем другом и думать немислимо.

И вдруг эта небрежная фраза насчет Чарли, который всех угощает. По дороге между киоском и летним кинотеатром, куда мы шли, я только и думал, как с достоинством увернуться от его новой благотворительности, и никак ничего не мог сообразить.

В те годы в наших кинотеатрах крутили почти все время трофейные фильмы. Как правило, это были оперы или пасторальные истории с бесконечными песенками или неуклюжие ревю с цветущими «герлс», широкобедрыми и мясистыми, как голландские коровы, разумеется, если голландские коровы именно такие.

Много лет спустя я пришел к убеждению, что эти трофейные фильмы ничего, кроме вкуса руководителей рейха, не выражали.

Как раз один из таких фильмов нам предстояло посмотреть. Назывался он «Не забывай меня» с жирным и сладко-

гласым Джиллы в главной роли. Как и всякий житель провинциального города, я хотя еще и не видел этой картины, но уже из рассказов знал о ее содержании. Надо признаться, что голос Джиллы мне нравился, особенно если слушать его, не слишком обращая внимания на экран.

Мы приближались к кинотеатру, и я с ужасом чувствовал, что через десять минут на меня обрушится еще одно унижение, которого я не в силах вынести, и стал ругать фильм. Все-таки это было искусство жирных, и мне, чтобы ругать это искусство, да еще в таких условиях, ни пафоса, ни аргументов не надо было занимать.

От этой картины я перешел ко всем трофейным немецким картинам с их слащавой сентиментальностью.

Чем больше я ругал картину, тем упрямей надувались губы моей возлюбленной. Тогда я еще не знал, что останавливать женщину на пути к зрелищу не менее опасно, чем древнеримского люмпена по дороге к Колизею.

Когда я от картины «Не забывай меня» перешел ко всем трофейным немецким фильмам, она вдруг спросила у меня:

— Ты, кажется, изучаешь немецкий?

— Да, а что? — вздрогнул я.

Мне показалось, что она увидела противоречие между моей критикой немецких фильмов и занятиями немецким языком. Но вопрос ее означал совсем другое.

— Поговори с Костей, — предложила она, не подозревая, какого джина выпустила из бутылки, — он два года жил в Германии.

— Шпрехен зи дойч? — взвился я радостно, как если бы был чистокровным немцем и после многолетнего плена у полинезийцев вдруг встретил земляка.

— Натурлих, — как-то уныло подтвердил он, несколько робов перед моим напором.

Тут меня понесло. В те годы мне легко давались языки, отчего я до сих пор толком ни одного не знаю. Немецкий я уже изучал два года, уже кое-как болтал с военнопленными, которые хвалили мое произношение, по-видимому, в обмен на сигареты, которые я им дарил.

Во время изучения языка наступает бредовое состояние, когда во сне начинаешь быстро-быстро лопотать на чужом языке, хотя наяву все еще спотыкаешься, когда, глядя на окружающие предметы, видишь, как они раздваиваются двойниками чужеродных обозначений, — словом, наступает тот период, когда твой воспаленный мозг преодолевает некий барьер несовместимости двух языков. Именно в таком состоянии я тогда находился.

К этому времени я был нафарширован немецкими пословицами, светскими фразами из дореволюционных самоучителей, антифашистскими изречениями, афоризмами Маркса и Гёте, сжатыми текстами, призванными развивать у изучающих язык бдительность против возможных немецких шпионов (получалось, что шпионы, по-видимому нервничая, начинают разговаривать с местными жителями на немецком языке). Кроме того, я знал наизусть несколько русских патриотических песен, направленных против окку-

пантов и переведенных на немецкий язык, а также немецкие классические стихи.

Все это выплеснулось из меня в этот горестный час с угрожающим напором.

— Вы говорите по-немецки? — спросил я и, обернувшись к нему, продолжал, даже не пытаясь укоротить шаги перед приближающимся в начале следующего квартала летним кинотеатром. — Вундербар! — продолжал я. — Вы изучали его самостоятельно или в высшем учебном заведении? О, понимаю, вы изучали его, находясь в Германии в качестве офицера союзнической армии. Я надеюсь, не в качестве военнопленного? Нет, нет, это, конечно, шутка. Карл Маркс говорил, что лучшим признаком знания языка является понимание юмора на данном языке, а знание иностранных языков есть оружие в борьбе за жизнь.

Я глядел на Костю и чувствовал, что он почти ничего не понимает. Временами лицо его озарялось догадкой, и он как бы пытался ухватиться за знакомое слово, но сзади набегала толпа новых слов и уносила его куда-то.

Я чувствовал себя победителем. Кинотеатр был совсем рядом. Из-за кустов и деревьев сквера доносился глухой плеск толпы, стали попадаться покупатели случайных билетов. Увидев первого из них, я чуть не подпрыгнул от радости.

Возлюбленная моя закусила губу. Из радиолы над входом в кинотеатр лилась легкая мелодия «Сказок Венского леса».

— Закаты на Рейне, — сказал я, повернувшись к капитану, — так же прекрасны, как восходы в Швейцарских Аль-

пах... Эти фазаны из нашего фамильного леса. Пробирен зи, битте! Мой егерь большой чудак.

В этом месте я сделал жест, указав на крону одного из камфорных деревьев, под которыми мы проходили. Спутники мои удивленно подняли головы...

— Знаете ль вы край, где лимоны цветут? — спросил я у капитана, как всегда, не зная меры и не умея вовремя остановиться.

Капитан молчал.

— Костя, ну что ж ты ему не отвечаешь? — в отчаянье встала наша возлюбленная, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. Она была оскорблена за него.

— А чего перебивать, — мирно заметил Костя. — Мне бы так на экзаменах...

Осенью Костя собирался поступать в одну из ленинградских военных академий. Мы подошли к кинотеатру. Костя обошел толпу, все-таки надеясь что-нибудь достать, но все было напрасно. Я ликовал, но, кажется слишком рано, а главное, слишком откровенно.

Через полчаса мы были в парке на танцплощадке. Они, как обычно, пошли танцевать, а мы с ее сестрой остались сидеть на скамейке.

В те времена, как и во все последующие, я танцевал плохо. Танцевальные ритмы застревали у меня где-то в туловище и до ног доходили в виде смутных, запоздалых толчков. Так что сестра ее, естественно, не стремилась со мной танцевать. Она просто сидела рядом, и мы о чем-нибудь говорили или,

что было еще приятней, молчали. Изредка ее кто-нибудь догадывался пригласить, изредка потому, что обычно посетители танцплощадки принимали ее за мою девушку.

Так мы сидели и в этот вечер, ни о чем не подозревая. Но вот проходит один, второй, третий танец, а наших все нет.

— Куда они делись? — говорю я, заглядывая в глаза сестре.

— А я знаю? — отвечает она и, пожав плечами, смотрит на меня своими сонными под нежными веками глазами.

— Давай обойдем, — киваю я на танцплощадку.

— Мне что, давай, — говорит она и, пожав плечами, встает со скамейки.

Мы обходим бурлящий круг танцплощадки, я стараюсь высмотреть все танцующие пары и вижу, что их нигде нет. Я чувствую, как тошнотное уныние охватывает меня.

— Может, они в тир зашли? — говорю я неуверенно.

Она пожимает плечами, и мы направляемся в тир.

Тир пуст. Заведующий, опершись спиной о стойку и глядя в зеркальце, шлепает в мишень из воздушного ружья пулю за пулей. Вот уже четвертая в десятке.

— Иду на интерес, — говорит он, не оборачиваясь и заряжая ружье пятой пулей, — я одной рукой без упора, а ты двумя с упором?

— Нет, — говорю я и смотрю, как он и пятую пулю всаживает в десятку.

Мы подходим к павильону прохладительных напитков, но их и там нет. Мне приходит в голову, что, пока мы их ищем, они вернулись на наше место и ждут нас. Я тороплю ее,

мы возвращаемся на свое привычное место, но их нет. Я решил немного подождать их здесь. Но они не подходят. Вдруг на меня находит волна подозрительности, мне кажется, все они в сговоре против меня. Я начинаю всматриваться в лицо своей спутницы, стараясь угадать в нем выражение тайной насмешки, но, кажется, ничего такого нет — сонное чистое лицо с красивыми глазами под тяжелыми веками. Я даже не могу понять, беспокоит или нет ее то, что они исчезли.

— А может, они где-нибудь там? — киваю я в глубину парка.

Она молча пожимает плечами, и мы начинаем обходить парк, заглядывая в каждый уединенный уголок, на каждую скамейку. Мы даже зашли за памятник Сталину, думая, может, они сидят за ним на верхней ступеньке пьедестала, уютно опершись спиной о полы его гранитной шинели. Но и тут их не было.

Наконец мы оказались в самой уединенной части парка, куда доносилась притихшая музыка, уже процеженная от своей навязчивой пошлости листвой и хвоей деревьев. Мы подошли к скамейке, стоявшей под кустом самшитового дерева, хотя уже издали было видно, что на скамейке никого нет. Но почему-то вдруг захотелось подойти к этой затемненной скамейке, окончательно убедиться, что ли... Подошли, постояли. Рядом со скамейкой рос большой куст пампасской травы. Я почему-то приподнял и откинул его нависающую гриву. Заглянул под нее, как если бы они могли неожиданно упасть со скамейки и закатиться под этот куст.

— Нету, — сказал я и бросил странно шелестнувший куст.

Я посмотрел на свою спутницу. Она пожала плечами. И вдруг я ощутил как-то слитно и эту уединенную часть парка, и эту приглушенную музыку, и эту взрослую свежую девушку с тяжелыми веками и яркими губами, что-то покачнулось в моих глазах, я положил руки ей на плечи и в этот самый миг почувствовал, как тень какой-то большой и печальной мысли пронеслась надо мной и скрылась.

— Где же они могут быть? — спросил я, стараясь вернуть себе то странное состояние, которое было у меня за миг до этого. Но, видно, и она почувствовала, что во мне что-то изменилось.

— А я знаю? — сказала она, пожав плечами, и это можно было понять как слабую попытку освободиться.

Я опустил руки.

Мысль, которая открылась мне в это мгновение, так меня поразила, что я весь остаток вечера промолчал и где-то возле двенадцати часов, проводив до дому свою подругу, продолжал над ней думать.

Когда я положил руки на плечи этой девушки, и увидел близко ее прекрасные сонные глаза под тяжелыми веками, и почувствовал, что сейчас смогу ее поцеловать, мне неожиданно открылось, что в этот миг моя великая единственная любовь, покинув продуманное русло, почти безболезненно устремится в какой-то неожиданный боковой рукав. И тогда я почувствовал и даже как бы воочию увидел множественность самой жизни и, следовательно, моей жизни и моей любви.

И одновременно с этим у меня возникло ощущение, похожее на грустное предчувствие, что жизнь в самые свои высокие мгновения будет приоткрываться мне в своей множественности и что я никогда не смогу воспользоваться одним из ее многочисленных ответвлений, а буду идти по намеченной стезе... Потому что нам эта ветвистость ни к чему, нам подавай единственное, неповторимое, главное. Ради такого нам не жаль голову разможить и душу расквасить, а вариантность нам ни к чему, нам скучно с этой самой вариантностью, да ради нее мы и ухом не поведем и пальцем о палец не ударим!

Хотя я эту мысль сейчас как бы слегка развиваю, все-таки предстала она передо мной именно в тот милый и злополучный вечер.

Не помню, как они объяснили свое исчезновение, и потому не хочу ничего придумывать; видно, как-то объяснили, и я поверил, потому что хотел поверить. Во всяком случае, время от времени мы продолжали встречаться. Иногда я впадал в отчаянье, но прирожденный оптимизм и память о том забываемом письме в конце концов брали верх.

А сколько было горьких минут, когда казалось, что все погибло, что никакого письма не было, что все это мне просто приснилось.

Так однажды при мне, разговаривая с сестрой и вспоминая времена нашего совместного обучения, она вдруг сказала: — Помнишь, какой он был тогда и какой теперь... Она это сказала с каким-то тихим сожалением. Я похолодел от обиды,

но промолчал. Ведь не станешь доказывать, что ты сегодня лучше, чем вчера, а завтра будешь лучше, чем сегодня, хотя доказывать это очень хотелось. В тот вечер, придя домой, я долго и безнадежно смотрел в зеркало на свое желтое, высосанное малярией лицо.

И все-таки чаша весов постепенно стала склоняться в мою сторону. С каждой встречей я стал благодарно замечать тайные знаки ее внимания. Бедняга капитан совсем стушевался. В последнюю неделю мы гуляли втроем, он исчез, по-видимому, почувствовав, что начинает делаться смешным. Из сообщения высшего такта я не спрашивал о нем и даже делал вид, что не замечаю своей победы.

И наконец единственный, неповторимый вечер — мы вдвоем. Я ликовал. Честно говоря, я был уверен, что этот вечер рано или поздно должен наступить. Это было торжество стройной теории над голой практикой капитана, в сущности, хорошего парня.

Но ничего не поделаешь, раз уж ты не получал такого письма, лучше не суйся. Не суйся, милый капитан, не швыряйся деньгами, не смей человека, который, прежде чем пузаться в это бурное плаванье, получил по почте кое-что, дьявольски похожее на лоцманскую карту.

Вечер. Мы стоим у калитки ее дома. Она в чудесном голубом платье с искорками, струящемся по ее гибкой фигуре. Из окон ее дома до нас доходит слабый свет, озелененный виноградными листьями беседки. Вместе со светом слышится неразборчивый говор, смех. Временами еле за-

метным дуновением доносится аромат созревающего винограда.

Я стою перед ней и чувствую, как в полутьме зреет первый поцелуй. С какой-то астрономической медлительностью и такой же неизбежностью лицо мое приближается к ее белеющему в полутьме лицу. Она смотрит на меня исподлобья милым, глубоким, испытывающим и просто любопытствующим, а это тоже чувствую, взглядом.

Я страшно взволнован не только ожиданием предстоящего чуда, но и опасениями его скандальных последствий. Я никак не могу сообразить, понимает ли она, что зреет в эти мгновения.

Она только смотрит на меня исподлобья, а я чувствую, как во мне приливают и отливают волны отваги и робости.

— У тебя лицо все время меняется, — удивленно шепчет она.

— Не знаю, — шепчу я в ответ, хотя чувствую, что оно и в самом деле все время меняется, но я не думал, что это может быть заметно для нее.

Мне приятно, что она замечает силу моей взволнованности. Я успеваю сообразить, что, если она ужаснется от стыда или отвращения, когда я ее поцелую, я постараюсь объяснить это своим неменяемым состоянием.

И вот уже близко светлое пятно ее лица. Страшный миг вхождения в теплое облачко.

— Не надо, — слышу я провоцирующий шепот и погружаю губы в сотрясающий (может, каким-то детским или допотопным воспоминанием?) молочный, млечный запах ее щеки.

Проходит головокружительная вечность, и я чувствую, как постепенно благоухающая облачность первых прикосновений рассеивается и ощущение делается все суше, все слаще, пожалуй, слишком...

Но вот она выскальзывает, вбегает в калитку и исчезает в темноте, только слышен глухой стук каблуков по тропинке к дому, потом щелкающий на ступеньках крыльца, и вдруг она появляется на освещенном крыльечке, стучит в дверь, чтоб открыли, и, быстро наклонившись, так что я вижу, как падает на глаза прядь волос, заглядывает в дырочку почтового ящика.

Я смотрю на нее, пьяный случившимся и в то же время удивленный трезвостью ее движений: какого еще письма можно ждать после того, что она мне послала, а главное, после того, что сейчас случилось? Несколько секунд она ждет, пока ей откроют дверь, а я смотрю на нее и вдруг чувствую в себе такую необыкновенную силу, что вот сейчас захочу, чтоб она обернулась в мою сторону, и она обернется.

Несколько секунд я восторженно издали смотрю на нее, стараясь внушить ей свое желание, уверенный, что оно обязательно дойдет до нее. Но вот открывается дверь, она проскользывает в нее, так и не обернувшись.

Нисколько не смущенный этим, я возвращаюсь домой вдоль тихих окраинных улиц, застроенных маленькими частными домами с небольшими земельными участками. Возле каждой усадьбы с той стороны забора меня встречает собака и с яростным лаем провожает до конца участка, где уже, под-

вывая от нетерпения, дожидается меня очередной страж. Псы передают меня как эстафету.

Я не обращаю на них внимания. Мной владеет самоуверенность мужчины, или скорее алхимика, которому после долгих провалов удалось провести первый опыт волшебства. Мне кажется, я всеильный.

Я останавливаюсь возле штакетника, за которым особенно неистовствует какой-то пес. Захлебываясь лаем, он одновременно роет и отбрасывает землю задними лапами.

Неожиданно я сажусь на корточки и смотрю сквозь штакетник в его налитые бессмысленной злобой глаза и вслух говорю ему, что любовь и добро всеильны, что вот захочу — и ты мгновенно перестанешь лаять и будешь радостно визжать и лизаться, потому что я сейчас даже тебя люблю, глупая ты, глупая псина. Видимо, собака и в самом деле глупая, потому что слова мои до нее не доходят и она продолжает неистовствовать.

На следующий день я гулял по берегу моря, все еще находясь под впечатлением свидания, вспоминая его волнующие подробности, и, главное, чувствуя себя на голову выше, чем до него.

Следующая встреча должна была произойти через день. И хотя вчера я ее упрашивал встретиться сегодня же, а она никак не соглашалась, ссылаясь на домашние дела, теперь мне казалось, что передохнуть один день даже не помешает.

Мысленно перебирая несметные богатства вчерашнего свидания, я гулял по берегу моря. День был солнечный и еще не очень жаркий. Неожиданно на берегу я встретил Костю.

Он тоже гулял один. Мы поздоровались, и я крепче обычного пожал ему руку, стараясь внушить при этом благородное сочувствие и пожелание мужественно справиться с неудачей. Я почувствовал, что и он крепче обычного пожал мне руку, и вдруг я понял, что он каким-то образом догадался о случившемся и теперь молча поздравляет меня с честной победой. Такое благородство восхитило меня, и я еще сильнее пожал ему руку. Наверное, он у нее был и она ему все сказала, решил я.

— Ты был у нее? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — я только что приехал с учений и сегодня же уезжаю.

— Куда?

— В Ленинград, — сказал он и сам с любопытством заглянул мне в глаза. — А разве она тебе не говорила?

— Наверное, забыла, — ответил я, кажется выдержав его взгляд.

Это известие было как гром в ясном небе. Кажется, мне усилием воли удалось остановить часть крови, хлынувшей в лицо.

— Сегодня она меня провожает, — добавил он как-то чересчур буднично.

Мы продолжали идти вдоль набережной. Кажется, он предложил мне где-нибудь посидеть на прощанье, но я ничего не слышал и ничего не понимал и в первое же удобное мгновение расстался с ним.

Так вот, оказывается, какой ценой досталась мне эта победа! Значит, я просто занял временно опустевшее место! Я

стал заново прокручивать день за днем все наши последние встречи и понял, что потепление в наших отношениях, тайные знаки внимания и, наконец, это венчающее все свидание объяснялись тем, что он уезжает.

Я, конечно, знал, что он собирается поехать учиться в академию, но почему-то думал, что это будет не скоро, в самом конце августа, а во-вторых, ни разу даже в мыслях не связывал свою победу с таким механическим устранением соперника. Все это показалось мне теперь нестерпимо гнусным.

В субботу вечером, гуляя по портовой улице, я увидел ее с сестрой в толпе подружек. По установившемуся обычаю я должен был подойти.

Она была все в том же голубом с искорками платье, но теперь оно мне показалось каким-то змеистым. Мы кивнули друг другу, но я не подошел. Мы продолжали гулять в разных компаниях, я со своими друзьями, она со своими.

Видимо, она решила, что я стесняюсь ее подружек, и вместе с сестрой приотстала от остальных. Но я и тут не подошел. С язвительным наслаждением я заметил в ее лице некоторые признаки растерянности или паники, как мне тогда показалось. Сестра ее, словно наконец-таки проснувшись, оглядывала меня с уважительным любопытством.

Товарищи мои, которые теперь обо всем знали, глядели на меня подобревшими глазами, как на человека, который роздал нищим привалившее ему суетное богатство и вернулся к бедным, но честным друзьям.

Наконец меня подозвала ее сестра. Сама она стояла у парапета, ограждающего берег. Она стояла лицом к морю. Когда я подошел, она слегка повернулась ко мне.

— Что случилось? — спросила она, осторожно заглянув мне в глаза.

— Костя уехал? — спросил я, ожидая, что она сейчас растеряется.

Но она почему-то не растерялась.

— Да, — сказала она, — просил передать тебе привет.

— Спасибо, — проговорил я с театральным достоинством и добавил: — Но украденные у него свиданья мне не нужны.

Это была тщательно подготовленная и, как мне казалось, убийственная фраза.

— Вон ты как... — прошептала она одними губами, словно внезапно осознав свою непоправимую оплошность.

В следующее мгновение она повернулась и, склонив свою жалкую и милую головку, стала уходить от меня, все убыстряя и убыстряя шаги, как и все женщины, стараясь опередить набегающие слезы.

Мне ужасно захотелось кинуться за нею, но я сдержался. В городе стало тоскливо и пусто, и я ушел домой.

В тот же вечер я заболел ангиной, а через неделю, когда выздоровел, острота разрыва смягчилась, отошла.

К слову сказать, один из моих друзей, как выяснилось впоследствии, каждый раз, влюбившись в какую-нибудь девушку, обязательно заболел. Причем степень заболевания

прямо соответствовала силе увлечения и имела довольно широкую амплитуду от лихорадки до гриппа.

Но с той, которая прислала мне прекраснейшее письмо, мы больше не виделись. Кажется, в тот же год родители ее продали свой домик и переехали в другой город.

Еще во времена нашего знакомства мне иногда приходила в голову мысль, что сама она не смогла бы написать такого огненного послания. Может быть, думал я, она переписала его из какого-нибудь старинного романа, только вставила кое-что от себя. Такое предположение меня нисколько не оскорбляло. Я считал, что она передала мне знак, точный иероглиф своего состояния. А кто выдумал сам иероглиф, в конце концов было не так уж важно.

Но с другой стороны, кто его знает, может быть, чувство озарило ее вдохновением, которого хватило только на это письмо? Так или иначе, теперь это тайна, разгадывать которую сам я не намерен и тем более не намерен выслушивать любые предположения со стороны, причем не только проницательные, но даже и льстящие самолюбию рассказчика.

моя милиция меня бережет

Получив вторую половину денег за свою книжку, я почувствовал неотвратимое стремление потратить их в Москве, а не где-нибудь в другом месте.

Первая половина улетучилась в процессе выхода книжки, она как бы ушла на самообслуживание самого издания, я ее недостаточно четко прочувствовал.

День выезда я приурочил ко дню рождения моего друга. Обычно мой друг отмечал эту дату с широтой и блеском, впрочем, оправданным твердым решением сразу же после праздника начинать новую жизнь.

Дома моя поездка в Москву проходила под общим названием «Покупка Зимнего Пальто в Москве». К этому времени мое легкомысленное черноморское пальто порядочно поистерлось, и мне в самом деле было нужно новое.

Мама, как всегда, пыталась приостановить мою поездку, на этот раз ссылаясь на то, что в Москве, как сообщало радио, стояли сильные морозы, и я в своем ветхом пальто мог простудиться еще до того, как успею купить новое пальто. Мне удалось доказать ей, что покупка нового пальто в такой мороз будет его лучшим испытанием, наиболее полноценной обкаткой, которую нельзя получить в условиях нашей двусмысленной колхидской зимы.

Против этого она ничего не могла возразить, а только предложила мне подшить карман с аккредитивами, с тем чтобы я в Москве вспорол его в гостинице перед самой покупкой пальто, разумеется, в условиях полного одиночества.

Но и эту попытку я отверг на том основании, что я уже больше не студент, а даже как бы писатель; во всяком случае, новенький членский билет лежал у меня в кармане.

— Но не все же об этом знают, — сказала она довольно резонно и предложила хотя бы булавками подколоть карман с аккредитивами.

— Нет, — сказал я и уложил их в чемодан вместе с десятком экземпляров своей книжки.

В день вылета я вместе с другими пассажирами дождался летной погоды на сухумском аэровокзале. Наш самолет отменили, но нам сказали, что шансы на вылет остаются, только надо терпеливо ждать.

Прождав часа два, я отправился в буфет, где встретил нескольких знакомых летчиков, свободных от полета. Примерно через час они меня таинственно провели сквозь какие-то служебные проходы и посадили в какой-то полутранспортный самолет с жесткими, как мне кажется, алюминиевыми сиденьями. Таинственность оказалась излишней, потому что через некоторое время в этот же самолет вошли все пассажиры, которые вместе со мной ждали погоды.

Чемоданы складывались напротив дверцы. Дальше хвостовое отделение было забито неизвестным мне грузом в мешках и ящиках. Впрочем, ящиков, возможно, и не было. Может быть, даже и мешков не было, но у меня осталось такое впечатление, что в самолете было навалом мешков и ящиков.

Мы взлетели, и минут через двадцать я убедился, что погода и в самом деле нелетная. Было такое ощущение, что мы находимся внутри огромной врубовой машины, которая

ввинчивается в меловые горы, а они, время от времени, подточенные ею, обрушиваются сверху на самолет.

Примерно через час после вылета на пути из туалета к своему месту я заметил, что мой чемодан, который я оставил в вертикальном положении, лежит в лежку, словно он уже заболел морской болезнью. Я его приподнял, встряхнул для бодрости и поставил рядом с другими наиболее устойчивыми чемоданами. Тут я заметил, что в этом лежбище чемоданов немало экземпляров, не отличимых от моего. Мне подумалось, что такое сходство к добру не приведет. В кармане у меня оказался химический карандаш, я пригнулся над моим чемоданом и густо закрасил его верхнюю плоскость возле ручки. Получилось довольно симпатичное пятно с голубовато-зеленым отливом, напоминающее абстрактный рисунок.

Когда я вложил карандаш в карман и разогнулся, взгляд мой встретился со взглядом пассажира, который сурово и терпеливо следил за моими действиями. Я сделал неопределенный жест в том смысле, что мои действия совершенно безвредны как для чемодана, так и для нашего полета в целом.

Пассажир этот мой миролюбивый жест почему-то не принял, а продолжал сурово следить за мной, только еще выше приподняв голову, как бы расширяя кругозор бдительности. Так дирижер приподымает голову, неодобрительно прислушиваясь к звучанию самых дальних инструментов.

Я снова вынул из кармана карандаш и, фальшиво подбирая его на ладони, отправился на свое место. Мне показав-

лось, что он его не разглядел или принял за какой-то другой инструмент, может быть, портативную отмычку.

Как только я сел на свое место, он встал и поспешно пошел в хвост самолета. Выйдя из туалета, он остановился и, заложив руку за спину, наклонился над чемоданами, не притрагиваясь ни к одному из них. Возможно, он демонстрировал универсальную форму проверки состояния багажа, принятую на всех международных авиалиниях.

Мне кажется, он обнаружил радужное пятно на моем чемодане и особенно долго присматривался к нему. Вероятно, он его принял за тайный шифр или некий варфоломеевский знак. В какое-то мгновение он низко наклонился над ним, продолжая держать руки за спиной и повернув к нему ухо, из чего я заключил, что он старается расслышать тиканье часов адской машины, вложенной мной в чемодан. При этом вся его фигура, безупречно склоненная над чемоданами, как бы говорила — даже при таких чрезвычайных обстоятельствах, как видишь, я не даю воли рукам, а только смотрю и слушаю.

Наконец он сел. Лицо его продолжало оставаться суровым и замкнутым. Теперь я вспомнил, что перед самым вылетом, когда кто-то из экипажа задрал дверь, он подходил к нему помогать, но тот его, по-моему, прогнал. Это был человек лет сорока, с лицом, как бы застывшем в недоумении, со слегка приподнятыми бровями, с большим выпуклым лбом, который, кстати, в провинции все еще принимают за признак ума или большой интеллигентности. Такого рода люди с неудо-

ленным общественным честолюбием встречаются на всех дорогах России.

Действия их в ограниченном смысле могут быть полезны, если их не выпускать из-под контроля. Так, например, если вы в обществе такого человека собираетесь большой компанией в туристскую поездку, он откуда-то достает самую подробную карту местности и составляет тщательный список необходимых вещей. Если энергию его тут же не ограничить, он обязательно добьется решения всем отъезжающим встретиться не в поезде, а за час до отхода поезда где-нибудь у памятника на привокзальной площади или в метро. Если вы вышли к реке, он складывает руки трубой и кричит:

— Эй, на пароме! — Хотя никакого парома на реке может и не быть.

За границей он изводит гида бесконечными расспросами и даже поправками, хотя иногда принимает общественные здания за публичные дома, мимоходом напоминает сотоварищам о возможности провокации или, переходя от полного скептицизма в жеребчий восторг, заставляя в ресторане после обеда всей компанией хором кричать: «Спаси-бо!», отчего хозяин ресторана бледнеет, возможно думая, что русские именно так начинают революцию.

Самолет все еще бросало из стороны в сторону. Тревога за судьбу самолета заставила меня забыть про блящего пассажира. После некоторых раздумий я решил, что, если самолет будет падать, главное — не потерять самообладания и за мгно-

венье до того, как он прикоснется к земле, подпрыгнуть как можно выше. Таким образом, сделав обманный прыжок, ты приземлишься после того, как корпус самолета примет на себя основной удар. Придумав этот способ, я успокоился и оглядел пассажиров. Некоторые из них уже находились в состоянии подозрительной задумчивости. Я вспомнил про своего добровольного стражника и повернулся к нему. По выражению его лица я понял, что он страдает морской болезнью, но, и страдая, продолжает следить за мной.

Раздумывая о том, как бы его успокоить, я заснул. Мне приснилось, что я лечу в самолете в нелетную погоду, что нас болтает и болтает в воздухе, а за мной следит и следит какой-то назойливый пассажир. Во сне же я понял, что сон теряет всякий смысл, если тебе снится то же самое, что ты видишь наяву, и проснулся. Проснувшись, я немедленно оглянулся на своего пассажира. Он лежал, откинувшись на своем сиденье в позе распятого пожилого Христа. Взгляд его сквозь коровью поволоку подступающей тошноты продолжал следить за мной. Мне стало жалко его.

Я постарался взглядом внушить ему, чтобы он сделал хотя бы временную передышку, что в этот промежуток я сам себя буду конвоировать. Мне показалось, что он в ответ едва заметно покачал головой в том смысле, что гвардия умирает, но не сдается.

В это мгновенье самолет наш качнулся вниз, коровья поволока в его взгляде настолько сгустилась, что смотреть на него стало просто неприлично, и я отвернулся.

Удрученный всем этим, я еще раз заснул и уже спал до самой Москвы, время от времени просыпаясь и оглядываясь на своего конвоира. Он продолжал следить за мной, и взгляд его, особенно если он совпадал с приступами тошноты, делался просто сентиментальным.

Самолет благополучно приземлился на Внуковском аэродроме. Пассажир мой быстро пришел в себя и, первым покинув свое место, незаметно, но твердо стал возле наших чемоданов.

Нас выпустили не сразу. Сначала выгрузили чемоданы, отвезли их на порядочное расстояние от самолета, а потом уже пустили пассажиров.

Сейчас, когда чемоданы можно спокойно получить на аэровокзале, где они двигаются к тебе по эскалатору, как пассажиры метро, все это может показаться неправдоподобным. Но тогда так оно и было. Правда, следует помнить, что и самолет наш был не совсем обычный, полугрузовой, что ли.

Кстати, мой тайный страж, когда стало ясно, что чемоданы уйдут отдельно от нас, несколько растерялся. Он почувствовал, что теперь не сможет одновременно следить за мной и нашими чемоданами. Он даже умолял меня взглядом выскочить нам обоим вслед за уходящим багажом, но я сделал вид, что ничего не понимаю. В конце концов он протиснулся к дверце, чтобы самым первым выйти. Оттуда, от дверцы, поверх голов он посылал мне многозначительные взгляды, чтобы я стал рядом с ним. Но я в ответ на его взгляд поежился,

давая знать, что от дверцы слишком дует, и как бы слегка встряхнулся, показывая неуместную легкость своего пальто.

Стали выпускать. Как только я дошел до трапа, страшный мороз рухнул на меня мраморной плитой. Аэродром клубился вулканическими ключьями морозного дыма. Сквозь ключья морозного дыма вдруг открывались неуклюже бегущие по земле самолеты, и движение их напоминало смешноватую пробежку орлов за вольером зоосада. Справа вдалеке дьявольским фиолетовым светом светилось небо Москвы.

Я побежал вслед за пассажирами к месту раздачи чемоданов. Они стояли у аэровокзала прямо под открытым небом. Я протиснулся к ним и стал их жадно оглядывать. Я заметил, что ни на одном из них не видно моего знака. Все-таки я надеялся, что он обнаружится, как только разгребут всю кучу. Куча быстро уменьшалась, а моего чемодана все не было. Я не учел, что мой опознавательный знак хорошо различим только при определенном боковом освещении.

Пассажиры быстро расхватывали свои чемоданы. Удача каждого из них отдавалась во мне азартом паники, и, наконец, когда осталось всего пять-шесть чемоданов, а моего все не было видно, я схватил какой-то похожий чемодан, чтобы и мне хоть что-нибудь досталось.

— Не ваш, не ваш! — закричал человек, и изо рта у него вырвались два маленьких вулканических облачка. Это был мой страж.

— А где же мой? — спросил я в предчувствии полного краха.

— Вот он! Вот он! — закричал он, голосом перекрывая действия мороза и грохот самолетов.

Я приподнял указанный им чемодан и повернул его верхней плоскостью в сторону аэровокзальных огней. Мой карандашный знак просиял радужным пятном. Я схватил чемодан за ручку и бросился со всех ног.

— Подождите, выясним! — донеслось до меня, но я не остановился.

Я выскочил на привокзальную площадь, чувствуя себя голым. Мороз оголил меня. Метрах в десяти от меня стояло одинокое такси голубого цвета. Это была какая-то новая машина неизвестной мне марки. Я заметил, что из окон такси призывно и как бы раздраженно на мое опоздание мне машет по крайней мере полдюжины рук.

Все это показалось мне довольно странным, и я остановился. Но тут шофер выскочил из такси и закричал:

— Давай, давай!

Я подбежал к машине, шофер распахнул багажник, сунул мой чемодан, мы обежали машину и почти одновременно уселись в нее.

Я сел рядом с шофером. Шофер рванул с места.

— Мне до гостиницы «Москва», — сказал я шоферу, отдаленно намекая задним пассажирам на неприкосновенность своей личности, как бы на ее государственную принадлежность.

Всю дорогу я молчал, стараясь не шевелиться, чтобы не тревожить струи ледяного воздуха, застрявшие в складках моей одежды.

У гостиницы «Москва» шофер стал, я расплатился с ним, после чего мы, одновременно выстрелив захлопнутыми дверцами, помчались к багажнику.

— Давай, давай! — прокричал он, распахнув багажник, и я, выхватив свой чемодан, ринулся в гостиницу.

Следует сказать, что в те времена в гостиницу «Москва» писателей почему-то пускали. Позже нас стали направлять в гостиницу возле Сельхозвыставки. Видимо, это делалось из педагогических целей: чтобы писатели без особого труда могли посещать выставку, знакомиться с достижениями народного хозяйства и тем самым лучше узнавать жизнь.

Я подошел к барьеру администраторши и протянул ей свой билет.

— Хорошо, покажите паспорт, — сказала она задумчиво, возвращая мне его.

Я почувствовал, что на ее весах мой билет с трудом дотянул до необходимого уровня.

Паспорт у меня лежал в чемодане, я полез за ним. Руки мои, все еще деревянные от холода, плохо слушались. Потом мне показалось, что заело замки на чемодане, и вдруг, покрываясь испариной, я догадался, что чемодан мой закрыт на ключ, которого у меня никогда не было.

Я приподнял чемодан и стал рассматривать его верхнюю плоскость под разными углами, но карандашное пятно исчезло.

— Украли, — выдохнул я и поставил чемодан на пол.

— Что украли? — спросила администраторша, оживляясь.

— Чемодан, — сказал я, — заманили в такси и обменяли.

— А что было в чемодане? — спросила она, волнуясь от любопытства.

— Деньги, — сказал я. — Книжки, — сказал я и, бросив чемодан, устремился к выходу.

— Сколько? — услышал я вдогонку, пробегая по вестибюлю.

Швейцар, заметив, что я бегу, рефлекторно попытался меня остановить, но я уже проскочил его и вылетел в клубящуюся морозом улицу.

Неисправимый провинциал, я решил, что их еще можно догнать. Прошло не больше пяти-семи минут с тех пор, как я вышел из машины. Это была голубая машина новой марки.

Мне повезло. Как раз кто-то выходил из такси.

— Прямо! — крикнул я шоферу, рухнув на сиденье рядом с ним.

— Куда прямо? — спросил он испуганно.

— Прямо! — повторил я, и он молча подчинился.

На площади Дзержинского мы нагнали голубую машину.

— Держать за ней! — крикнул я, наглая от горя.

Шофер молча и послушно вел машину. Возможно, он меня принял за кого-то другого.

Кажется, на площади Ногина наша машина остановилась перед светофором в потоке других машин. Голубая машина, которую мы преследовали, неожиданно оказалась в третьем ряду. До этого она была в первом.

— Замечает следы, — сказал я, вглядываясь в поток, и вдруг заметил еще одну, а потом еще одну голубую машину.

той же марки. Это были новые «Волги», еще не виданные на периферии.

— Завернем в гостиницу, — сказал я шоферу, уже стыдясь за себя и делая вид, что придумал другой, более остроумный маневр.

Возле конторки администраторши вокруг моего чемодана стояла небольшая толпа. Швейцар представлял.

— Надо открыть чемодан, — сказал я, — я уверен, что там лежат камни или тряпки.

— Не имеем права, — ответила администраторша, — я уже звонила в милицию...

— Ну и что?

— Вот адрес, — она протянула мне листок, — они вам помогут.

Я взял чемодан и вышел на улицу. Не помню, как дошел до милиции. В помещении, прохаживая излишек энергии, топтались бригадмилыцы. Выслушав мой рассказ, дежурный лейтенант провел меня в отдельную комнату.

— Этот способ нам хорошо известен, — кивнул лейтенант, — сейчас вскроем — и все будет ясно.

— Вскрывают, — сказал я.

— Без понятых не имеем права, — заметил он и вышел из комнаты.

Через минуту он вошел с двумя бригадмилыцами. На лицах этих славных ребят было написано скромное желание бороться с беспорядками и вообще бороться. Лейтенант дал одному из них лист бумаги, ручку, и тот сел за стол.

Лейтенант поставил чемодан на стол и через мгновение вскрыл его. Он откинул крышку, вытащил из чемодана бутылку с какой-то жидкостью. Внутри жидкости плавало существо, которое сначала мне показалось заспиртованным зародышем, но потом, когда жидкость перестала колыхаться, в нем обнаружили черты водоплавающей птицы.

— Бутылка с лебедем, — продиктовал лейтенант, — предмет украшения.

Парень записал. Лейтенант отставил бутылку в сторону. Теперь он вытащил кулек и, осторожно приоткрыв его, понюхал содержимое.

— Рыба вобла, — провозгласил лейтенант и положил кулек возле бутылки.

Парень записал и про воблу.

С видом опытного хирурга лейтенант осторожно вынимал из чемодана его внутренние органы, сжато поясняя свои действия.

Между сушеной хурмой и пижамой лейтенант заявил:

— Я уверен, что мы имеем дело с честным человеком.

— Но как мы узнаем его адрес? — спросил я.

— Судя по содержимому, это чемодан семейного курортника, — сказал лейтенант, немного подумав. — А семейный человек не может не получать писем, потому что жена напоминает о себе, тем более когда муж на курорте.

— Понятно, — сказал я, хотя и не слишком разделял уверенность лейтенанта.

К счастью, анализ лейтенанта подтвердился. На дне чемодана оказалось несколько писем. Лейтенант пробежал одно из них и торжественно провозгласил:

— Письма жены с обратным адресом.

На этом опись имущества была закончена, и лейтенант аккуратно вложил все вещи в чемодан, сверяя по записи обратный порядок. Владелец чемодана жил в одном из пригородов Москвы. Я уже собирался бежать, но лейтенант остановил меня. Он набрал номер и позвонил в милицию того района. Сжато рассказав о происшествии с чемоданом, он попросил узнать, нет ли телефона в квартире владельца чемодана, чтобы предупредить хозяев о моем приезде.

Через минуту выяснилось, что телефона в квартире нет. Лейтенант на прощание вручил мне телефон районного отделения милиции.

— В случае чего — звоните им, но я думаю, все обойдется хорошо, — сказал он.

— Можно, мы с вами поедем, — предложил один из бригадильцев, и лица обоих скромно засветились желанием бороться за справедливость.

— Что вы, спасибо, — сказал я и, благодарно пожав руку лейтенанту, ринулся к дверям.

— Помните, — остановил меня в дверях дежурный лейтенант, — контрольные талоны аккредитива надо хранить отдельно.

Я еще раз поблагодарил его и бросился на улицу. Минут через сорок я остановил такси у предполагаемого дома. Я по-

просил шофера подождать и вышел на улицу. Дом стоял в глубине сквера, так что от улицы до него надо было пройти метров пятьдесят. Был тихий морозный вечер. Над домами стояли окаменевшие столбы дыма.

Похрустывая смерзшимся снегом, я пошел к дому. Метрах в пятнадцати от него меня остановила странная картина. Рядом с подъездом, прижавшись к стене и распластав руки, стоял человек. Казалось, он старается вжаться в стену, чтобы быть незамеченным. Но кем? С минуту я простоял в раздумье, но делать было нечего, и я стал приближаться к подъезду, стараясь не скрипеть снегом. В тусклом свечении звездной ночи он продолжал неподвижно стоять, прижавшись к стене на расстоянии прыжка от подъезда.

От первого удара буду защищаться чемоданом, — решил я и потихоньку подошел к подъезду. Человек тихо стоял, закрыв глаза и держась за стену растопыренными руками. Я заметил, что пальцы руки, обращенной в мою сторону, слегка шевелятся, как у слепого, ощупывающего предмет. Мне вдруг показалось, что человек, стараясь сохранить равновесие, прислушивается к движению земного шара в ледяном пространстве морозной ночи. Откуда-то сверху, из дома доносилась тихая, приглушенная музыка. В какое-то мгновение она соединилась с этим человеком — я понял, что он оттуда и что он пьян.

Я вошел в подъезд, поднялся на второй этаж и позвонил. Почти сразу мне открыла какая-то женщина. Я назвал фамилию владельца чемодана.

— Да, они дома, — сказала женщина, пропуская меня в коридор коммунальной квартиры. По глазам ее было видно, что она что-то знает, но хочет знать все.

Я постучал в дверь. Мне открыла юная девушка с распущенными волосами.

— Пожалуйста, — сказала она, широко улыбаясь.

Я вошел, и вот что открылось моему взору. Мать и отец девушки, стоя на корточках перед раскрытым чемоданом, очарованно рассматривали мои аккредитивы. Мои ценные бумаги, высовываясь из чемоданного кармашка, разливали в этой небогатой комнате милый и пошловатый свет нечаянного счастья. Помню, к моей радости примешалось некоторое разочарование. Мне кажется, я в глубине души надеялся застать хозяев за чтением моей книжки в семейном кругу.

Но ведь они еще не знают о содержании книги, подумал я и ринулся обнимать слегка погрустневших хозяев.

...Оказывается, мой спаситель последним сходил с такси и поэтому не знал, с кем из остальных обменялся чемоданом.

А примерно с полчаса тому назад приходил милиционер и предупредил, что я приеду.

Вот где забота о человеке, подумал я, мысленно утирая слезы умиления. Но больше я им не дал говорить. Я заговорил сам.

Я говорил, как размороженная труба барона Мюнхгаузена. Продолжая говорить, я выхватил из чемодана одну из своих книг, достал из кармана все тот же химический карандаш

и, не замолкая ни на секунду, сделал им длинное посвящение, полное намеков на всемирное братство.

Пока я говорил, хозяйка закрыла мой чемодан, и радужное пятно на его плоскости заиграло всеми своими нефтяными переливами.

Постукивая ногтем по обложке, как бы давая знать, что истинные сокровища здесь, а не в бранных аккредитивах, я всучил растерянному хозяину свою книжку.

После этого я страстно пожал поочередно руки своим хозяевам и подошел к девушке. Почему-то я решил, что правильной будет ее поцеловать в сияющее личико. Что я и сделал. Она мне показалась ослепительно прекрасной. Позже я прочел в одной книжке, что голод освежает и обостряет зрение. Наверное, так оно и есть — я был голоден и взволнован. Но, конечно, было бы ошибочным делать из этого наблюдения вывод, что художников надо держать в голоде, чтобы они всегда были в форме.

Уже уходя из комнаты, я вдруг почувствовал, что хозяин повис на моей шее.

— Что? — спросил я, обернувшись. Мне показалось, что мы достаточно тепло попрощались.

— Чемодан, — проговорил он в предобморочном состоянии.

Оказывается, уходя, я снова прихватил его чемодан. Мне сунули мой чемодан и вывели из комнаты. Женщина, открывавшая мне дверь, высоко подняв голову, прошелестела из коридора в кухню. Я счел своим долгом остановиться и побла-

годарить ее за услугу. Почти не глядя, она сухо кивнула мне в ответ, из чего я понял, что она еще не охвачена идеей всемирного братства.

Пьяного у подъезда уже не было. Из плотно закупоренного дома откуда-то сверху просачивалась тихая музыка и нарастающая путаница человеческих голосов. Боясь потерять причитающуюся мне долю веселья, я побежал к такси.

...Часа через два я вошел в гостеприимную московскую квартиру, полную друзей и доброжелательных незнакомцев. Я успел вовремя. Еще не тронутый городок закусок стоял на столе в ожидании нашествия. Сияли женские лица и апельсины. Столичная водка сверкала в бутылках строгим блеском Кастаньольского ключа. Стоит ли говорить, что в эту славную ночь я выдышал весь холод этого беспокойного дня. Тем не менее новое теплое пальто я все-таки купил в один из ближайших дней.

лов форели в верховьях кодора

Рано утром я проснулся и вспомнил, что еще с вечера собирался половить форель. Наверное, от этого и проснулся.

Я приподнял голову и огляделся. Ребята спали в самых странных позах, словно, неожиданно застигнутые сном, не успели закончить каких-то движений. В окно струился сиреневый свет. Было еще очень рано. Голые бревенчатые стены помещения слегка золотились, от них пахло свежей смолой.

Целую неделю мы бродили в горах по местам боев за оборону Кавказа. Поход этот давно был задуман студентами географического факультета во главе с моим другом, преподавателем физкультуры Автандилом Цикридзе. Он-то мне и предложил выехать с ним в горы. Я охотно согласился.

В последний день, подгоняемые нехваткой продуктов — не учли аппетит студентов, — мы сделали самый длинный переход и к вечеру дошли до села.

К счастью, палатки разбивать не пришлось, потому что начальник местной милиции гостеприимно предоставил нам помещение, не то бывший склад, не то будущий клуб, где мы и расположились на ночлег. Он появился с удочкой в руке, когда мы, скинув с себя рюкзаки, блаженно вытянув ноги, лежали на полянке у речной излучины.

Спустившись по очень крутому обрывистому склону, он стал деловито забрасывать удочку, видимо, в хорошо известные ему бочажки. Забросит, поковыряет немного удочкой и вытащит форель. Снова несколько шагов, снова забросил, слегка подергал, поковырял — и снова форель. Издали было похоже, что он просто натыкал форель на длинную тонкую иглу лески. В полчаса наловив дюжину отличных форелей, он неожиданно, без всякой видимой причины, словно выполнив ежедневную норму отлова, смотал удочку и подошел к нам.

В тот же вечер, пересилив усталость, мы с одним студентом вырезали удилища из лесного ореха и смастерили себе удочки. Звали его Люсик. В некоторых абхазских деревнях

называют детей русскими именами, а то и просто русским словом. Как правило, это звучное, часто повторяемое по радио слово. Так, я знал одного парня по имени Война. Может быть, слегка встревоженный своим именем, он обычно держался подчеркнуто миролюбиво.

Люсик тоже, словно зачарованный своим женским именем, был застенчив и отличался от остальных ребят никогда не переходящей в подобострастие точной почтительностью. Складный и крепкий, как маленький ослик, он своей необыкновенной выносливостью сумел посрамить самых сильных участников похода, среди которых было два культуриста.

...Я вынул из вещмешка большой складной нож, две спичечные коробки — одну с икрой, а другую с запасными крючками — и задвинул его к стене.

Коробку с икрой мне дал один человек, который приходил к нашему костру, когда мы стояли лагерем у подножья Маруха.

Он прилетел на вертолете геологов, которые еще до нас расположились и работали в этих местах. Это был полнеющий блондин лет тридцати с небольшим, в новеньких шортах, в тяжелых, тоже новеньких, ботинках скалолаза и с альпенштоком в руке. Часа два он просидел с нами у костра, неназойливо интересуясь нами и нашим походом. Он назвал себя, но я тут же забыл его имя. Кто-то из ребят, когда это пришлось к месту, спросил у него, где он работает.

— В одном высоком учреждении, — сказал он, добродушно улыбнувшись, как бы намекая на относительность

служебных высот по сравнению с той высотой, на которой все мы теперь находимся. Каламбур так и остался непроявленным, да нам и не очень было интересно узнавать, где он там работает.

На следующее утро, когда мы уходили, он принес этот спичечный коробок с икрой. Вечером он слышал, как я жаловался на то, что местная форель не берет на кузнечиков, а черви здесь почему-то не попадают.

— По-видимому, земля, как и всякий продукт, червивеет в более теплых местах, — сказал я неожиданно для себя.

Он понимающе кивнул головой, хотя я и сам не слишком понимал смысл этого шизофренического образа. И вот на следующее утро он приносит икру.

Такая внимательность тронула меня, и я пожалел, что забыл его имя, но теперь переспрашивать было неудобно. По крайней мере, я старался сделать вид, что поверил в его работу в одном высоком учреждении, хотя, возможно, он этого и не заметил. То есть не заметил моего старания.

Когда мы уходили гуськом со своими вещмешками, он стоял поблизости от вертолета в своих новеньких шортах с альпенштоком в одной руке и сванской, тоже новенькой, шапочкой в другой, помахивая нам этой шапочкой, и я окончательно простил ему этот невинный альпийский маскарад. Тем более, что все это вместе, он и вертолет на зеленой лужайке в окружении суровых гор, выглядело чрезвычайно красиво и могло быть использовано в качестве рекламы авиатуризма.

...Я застегнул карманы вещмешка, ощупал себя, стараясь вспомнить, не забыл ли чего, и встал. Люсика я решил не будить. Проснется — сам придет, подумал я. Может, человек передумал, и вообще рыбачить лучше одному.

На столе, румянясь коркой, лежало несколько буханок белого хлеба. Вечером начальник милиции сходил к продавцу, и тот, открыв магазин, выдал нам хлеб, масло, сахар и макароны. Видеть хлеб в таком количестве было приятно.

Я подошел к столу, достал нож и отрезал себе большую горбушку. Хлеб скрипел и пружинил, пока я его резал. Один из мальчиков, не просыпаясь, чмокнул губами, как мне показалось — на звук разрезаемого хлеба.

Тут же стоял котелок, наполненный сливочным маслом. Я густо намазал горбушку, надкусил и невольно оглянулся на чмокнувшего губами. На этот раз он ничего не почувствовал.

Я вышел на веранду и, пристукнув черенок ножа о перила, закрыл нож. Иначе он почему-то не закрывался.

Тут только я заметил, что внизу у крыльца возле удочек, прислонившись к стене, стоял Люсик.

— Давно встал? — спросил я, жуя.

— Нет, — поспешно ответил он, вскинув на меня большие ясные глаза птицы феникс. Видно было, что он боится, как бы я не почувствовал неловкости за то, что он ждал меня.

— Поди отрежь себе, — сказал я и протянул ему нож.

— Не хочу, — замотал головой Люсик.

— Иди, говорю, — повторил я, надкусывая свой бутерброд.

— Клянусь мамой, я так рано не люблю, — сказал Люсик и, сморщив коротенький носик, приподнял брови почти до самой своей школьной челки.

— Тогда пошли копать червей, — сказал я и спустился с крыльца.

Люсик взял обе удочки и пошел за мной.

Мы шли по деревенской улице. Налево от нас выселись общественные здания: правление колхоза, столовая, золотящийся стругаными бревнами амбар. Строения эти стояли у самого обрыва. Внизу, под обрывом, шумела невидимая отсюда река. Справа шло кукурузное поле. Кукуруза уже дозревала, на крепких плодах усохшие косички стояли торчком. Улица была пустой. Три свиньи местной породы, черные и длинные, как снаряды, медленно перешли улицу.

Небо было бледно-зеленое, нежное. Впереди на южной стороне небосвода сияла огромная мохнатая звезда. Больше на небе не было ни одной звезды, и эта единственная, казалось, просто зазевалась. И пока мы шли по дороге, я все любовался этой мокрой, как бы стыдящейся своей огромности звездой.

Горы, еще не озаренные солнцем, были темно-синими и мрачными. И только скалистая вершина самой высокой горы золотым пятнышком — она уже дотянулась до солнца.

Справа за кукурузником открылся школьный дворик с маленькой, очень домашней школкой. Двери одного из классов были открыты. Все классы выходили на длинную ве-

ранду с крылечком. В конце веранды стояли парты, нагроможденные одна на другую.

Мимо школьного дворика на улицу выходила дорога, занесенная галькой и крупными камнями — следами ливневых потоков.

Здесь мы решили попробовать. Я еще доедал свой бутерброд, а Люсик, прислонив к забору удочки, начал выворачивать камни.

— Есть? — спросил я, когда он, приподняв первый камень и все еще держа его на весу, заглядывал под него. Словно, не оказавшись под камнем червей, он хотел поставить его на то же место.

— Есть, — сказал Люсик и отбросил камень.

Доев последний кусок, я почувствовал, что очень хочется курить. Но я знал, что у меня в верхнем кармане ковбойки только три сигареты, и решил перетерпеть. Я только вытащил оттуда спичечный коробок, высыпал из него спички и приготовил пустой коробок для червей. Люсик уже собирал их в железную коробку.

Выворачивая камни, мы потихоньку подымались вверх. Червей все-таки попадалось мало. Под некоторыми камнями совсем ничего не было. Маленький Люсик порой выворачивал огромные камни. Чувствовалось, что руки его привыкли к работе, что вся его упорная фигурка привыкла одолевать сопротивление тяжести.

Потихоньку подымаясь, мы поравнялись с помещением школы. Внезапно, подняв голову, я заметил на веранде женщину. Она выжимала в ведро мокрую тряпку. Я очень уди-

вился, что не заметил ее прихода. Еще больше я удивился, разглядев, что это светловолосая русская женщина. Было странно ее здесь видеть.

— Здравствуйте, — сказал я, когда она повернула голову.

— Здравствуйте, — ответила она приветливо, но без всякого любопытства.

Из открытого класса вышла девочка-подросток с венником в руке. Она сунула его в то же ведро, стряхивая, несколько раз хрястнула им о крыльцо и, молча посмотрев на нас, вошла в помещение. Она была очень хороша и, когда уходила, прямо и неподвижно держала спину, чувствовала, что на нее смотрят. Очарование ее личика заключалось, пожалуй, в каком-то редком сочетании восточной яркости и славянской мягкости черт.

Я посмотрел на Люсика. Удивленно приоткрыв рот, он лупал своими наивными глазами птицы феникс.

— А эта откуда взялась? — спросил он у меня по-абхазски.

— Приезжай годика через три, — сказал я.

Люсик вздохнул и взялся за очередной камень. Я тоже наклонился.

Было слышно, как на веранде женщина шваркает тряпкой и гонит воду по полу. Наверное, думал я, послевоенная голодуха занесла ее невесть как в это горное село. А потом родила от какого-то свана девочку, так и осталась здесь, решил я, сам удивляясь своей проникательности.

— Как спуститься к реке? — спросил я. Она разогнулась и слегка поводила запрокинутой головой, чтоб отпустило затекшую шею.

— А вон, — вытянула она голую, мокрую по локоть руку, — дойдете до дома и сразу вниз.

— Я знаю, — сказал Люсик. Снова вышла девушка с венником.

— Дочка? — спросил я.

— Старшая, — подтвердила она с тихой гордостью.

— А что, еще есть? — спросил я.

— Шестеро, — улыбнулась она.

Этого я никак не ожидал. Для женщины, родившей шестерых, она была слишком моложава.

— Ого, — сказал я, — а муж что, в школе работает?

— Председатель колхоза, — поправила она и добавила, снова кивнув на дом через дорогу: — Так это ж наш дом.

Дом едва виднелся сквозь фруктовые деревья, но все же было видно, что этот ладный просторный дом вполне может быть председательским.

— Я работаю на метеостанции, — пояснила она, — а здесь я так, прирабатываю...

Девушка, которая все это время прислушивалась к разговору, теперь отряхнула веник о крыльцо и, строго посмотрев на мать, вошла в класс, все так же прямо и неподвижно держа спину.

— Не трудно? — спросил я, стараясь вместить в вопрос и хозяйство, и детей, и, главное, жизнь среди чужого народа.

— Ничего, — сказала она, — дочка помогает...

Больше мы ни о чем не говорили. Набрав червей, мы взяли свои удочки и пошли. Я оглянулся, чтобы попро-

щаться, но они в это время вносили в помещение парты и нас не заметили.

Проходя мимо дома напротив школы, я увидел четырех светлоголовых и темноглазых малышей. Ухватившись руками за новенький штaketник, они смотрели на улицу.

— Кто твой папа? — спросил я у самого старшего мальчика лет шести.

— Прэдсэдатель, — проклокотал он, и я заметил, как пальцы его вжались в штaketник.

Мы свернули с дороги и стали спускаться по очень крутой тропинке. Мелкие камушки скатывались из-под ног. Иногда, чтобы притормаживать, я опирался на удочку. С обеих сторон нависали кусты дикого ореха, бузины, ежевики. Одна ежевичная ветка была так густо облеплена черными пыльными ягодами, что я не удержался.

Я поставил удочку и, придерживая ее подбородком, чтоб не скатилась с плеча, осторожно притянул ветку и другой рукой набрал полную горсть ягод. Сдунув пушинки, я высыпал в рот холодные сладкие ягоды. На ветке было еще много ягод, но я решил больше не отвлекаться и прошел дальше. Шум реки становился все слышней, хотелось поскорее выйти к берегу.

Люси ждал меня внизу. Как только я вышел на берег, лицо обдало прохладой. Река гнала над собой поток холодного воздуха.

Близость воды еще сильнее возбудила нас, и мы, хрустя галькой пересохших рукавов, двинулись к ней. Метров за де-

сять до воды я сделал Люсику знак, чтобы он не разговаривал, и, уже стараясь не хрустеть галькой, мы подкрались к самой воде. Так учил меня один хороший рыбак. Мне было смешно смотреть, как он почти ползком подходит к воде, словно подкрадывается к дичи, но, когда он наловил десятка два форелей, а я взял за целый день всего две невзрачные форелинки, пришлось поверить в преимущество опыта.

Люсик знаком показал мне на что-то. Я посмотрел вниз по течению и увидел метрах в пятидесяти от нас парня с удочкой. Я его сразу узнал: это был студент из нашей группы.

Было неприятно, что он опередил нас. Мы даже не знали, что он собирается рыбачить. Словно почувствовав, что мы смотрим на него, он оглянулся. Я знаком спросил у него: мол, как? Он вяло отмахнулся: мол, ничего. На лице его угадывалась гримаса разочарования. Он отвернулся к удочке и застыл.

Раз так, подумал я, можно считать, что он пришел с нами и мы одновременно начали рыбачить. Ведь рыба не знает, что он раньше пришел... Я знаками велел Люсику отойти по ниже. Он отошел.

Я вынул из штормовки спичечный коробок, вытащил толстого червя и насадил на крючок, оставив шевелящийся хвостик.

В этом месте река раздваивалась, образуя длинный, поросший травой и мелким ольшаником остров. Основной рукав был по ту сторону. Этот начинался с небольшого переката, возле которого я заметил маленькую глубокую за-

воду. Я подкрался к ней и, придерживая одной рукой леску за грузило, другой оттянул удочку так, чтобы чувствовать необходимый размах и чтобы заброс получился точнее. Я слегка взмахнул удочкой и отпустил леску. Грузило шлепнулось в заводь.

Главное, не запутаться, не зацепиться, думал я, стараясь не давать слабины, чтобы крючок не отнесло за какой-нибудь подводный камень или корягу. Что-то ударило по леске, и рука моя невольно сделала подсечку. На крючке ничего не было. После нескольких таких ударов я понял, что это не клев, а удар подводных струй, и все-таки кисть моей руки, сжимавшей удилище, дергалась, как от электрического разряда. Сознание каждый раз на какую-то долю секунды отставало от рефлекса.

Тук! — услышал я неожиданно и усилием воли остановил руку.

Все еще сидя на корточках и очень волнуясь, я стал ждать нового клева, стараясь подготовить себя к мысли не дергать рукой, когда его почувствую.

Сейчас ударит, говорил я себе, надо перетерпеть. В самом деле, рыба снова притронулась к наживке, и рука моя почти не дрогнула. На этот раз рыба была еще осторожней. Вот и хорошо, думал я, вот так несколько раз перетерпеть, пока не почувствую, что она цапнула добычу.

Удар рыбы, подсечка — и в следующий миг мокрая, сверкающая форель трепыхалась в воздухе. Я перегнул отяжелевшее удилище в сторону берега, и перед моими

глазами закачалась леска с трепещущей тяжелой рыбой. От волнения я не сразу поймал ее. Наконец ухватился за нее одной рукой, плотно зажал, чувствуя живой холод ее тела, осторожно положил удилице и, еще крепче сжимая рыбину, другой рукой вытащил крючок из ее беззвучно икающего рта...

Такую крупную я никогда не ловил. Она была величиной с кукурузный початок. Спина ее была усеяна красными пятнами. Я осторожно расстегнул клапан штормовки и вывалил ее туда. Снова застегнул. В кармане она затрепыхалась с новой силой. Там же у меня лежал нож. Я решил, что она побьется о черенок, и, снова открыв карман, осторожно, чувствуя холод рыбы тыльной стороной ладони, вытащил нож, переложил его в другой карман и снова застегнул карман с рыбой.

Я разогнулся, чувствуя, что надо слегка развеяться от слишком большой и потому несколько тошнотворной доли счастья. Я глубоко вздохнул и огляделся. Вода заметно посветлела, а поток воздуха, несшийся над ней, потеплел. Горы на той стороне реки все еще сумеречно синели. Но те, что были за спиной, золотились всеми вершинами.

Ниже по течению недалеко от меня стоял Люсик. Я понял, что он ничего не заметил, а то бы сейчас смотрел в мою сторону. Люсик раньше никогда не рыбачил. Только здесь, в горах, он два раза пробовал со мной половить форель. Но рыбалки не получалось, и потому он еще не испытал настоящего азарта.

Вообще среди абхазцев редко встретишь рыбака. Для народа, испокон веков жившего у моря, это странная особенность. Я думаю, так было не всегда. Мне кажется, несчастное переселение в Турцию в прошлом веке захватило прежде всего жителей приморья и речных долин. Вместе с ними, наверное, и оборвался для абхазцев рыбный промысел.

Если в народной памяти, подумалось мне, могут быть провалы, забвенье таких зримых промыслов, то как же надо беречь более хрупкие ценности, чтобы они не исчезли, не улетучились...

Студент, который пришел раньше нас, переменял место.

Как-то он сказал, что у них с отцом моторная лодка и они часто рыбачат в море. Я спросил у него, не продают ли они рыбу, потому что на моторке почти всегда можно найти косяк, а уж если попался хороший косяк, то вдвоем на самодурах можно наловить очень много рыбы.

Он твердо посмотрел мне в глаза и сказал, что они с отцом никогда не продают рыбу. Я почувствовал, что он обиделся. А ведь я его не хотел обидеть.

Я снова наживил крючок и забросил леску. Теперь я удил стоя. Я чувствовал, что рыбалка не может не получиться. Не знаю почему, но я в этом был уверен.

Через некоторое время я снова почувствовал клев и старался не шевелить кистью. Несколько слабых ударов, а потом все смолкло, но я очень долго ждал, стараясь ее перехитрить. Однако ничего не получалось, и я вытащил леску. Оказалось,

что наживки на крючке нет. Видно, рыба ухитрилась ее склевать, а я все ждал, когда она схватит голый крючок.

Я снова наживил крючок и осторожно забросил леску. Леска плавно кружилась в маленьком водовороте заводи, а если выходила из нее, я легким толчком удилица возвращал ее на место. Так как все еще не клевало, я решил давать леске немного уйти по течению вниз, а потом подымал против течения, стараясь соблазнить большое количество смельчаков.

Пойманная форель шлепала меня по животу, и каждый раз, когда я ее чувствовал, я снова набирался терпения.

Наконец я вытащил небольшую форель и положил ее в карман. Замершая было первая форель затрепыхалась вместе со второй. Я подумал, что она обрадовалась появлению второй форели, возможно, та возбудила в ней какие-то надежды. Но потом я решил, что вторая форель своими мокрыми кислородными боками оживила первую. Я сел на корточки, раскрыл карман штормовки и влил в него несколько пригоршней свежей воды.

Теперь форели шлепали в воде и временами почти благодарно толкали меня в живот, вызывая во мне странное ощущение глуповатой радости.

Больше мне на этом месте ничего не попадалось, и я решил сменить его. Я вытащил леску, обвил ее вокруг удилица и всадил крючок в его мягкую свежую древесину.

Можно было пойти вверх по течению, но недалеко отсюда река накатывала на крутой, обрывистый берег, который отсюда никак нельзя было пройти. Чуть подальше берег был го-

раздо доступней, но отсюда пройти туда было никак невозможно. Я пошел вниз по течению.

Солнце уже сияло вовсю и приятно пригревало. Из-за горы осторожно выползал туман. Вода на мелководье была прозрачной, и каждый камушек радостно сиял, отбрасывая на песчаное дно дрожащую тень. Временами на дне без всякой видимой причины вспыхивали и гасли маленькие песчаные смерчи.

Я подошел к Люсику. Он стоял по пояс в воде и, наклонившись, рылся в ней руками, к чему-то прислушиваясь своими большими глазами птицы феникс. Одежда его, прилежно сложенная, лежала на берегу.

— Зацеп? — спросил я, подходя.

— Никак не могу достать, — неожиданно сказал он голосом старичка. Бедняжка от холода осип.

— Выходи, — сказал я и поднял его удилице.

— Крючок пропадет, — просипел Люсик голосом бережливого старичка и неохотно вышел из воды. От холода он весь потемнел.

Я натянул леску и осторожно дернул, стараясь, чтобы поводок оторвался у самого крючка. Леска ослабла, и я вытащил ее на берег.

Я вынул коробку с крючками и, достав крючок, привязал его к поводку. Придерживая одной рукой крючок, я взял зубами конец поводка, затянул его изо всех сил и даже перекусил кончик, что мне обычно не удавалось.

— Вот и все, — сказал я, выплевывая кончик поводка.

— А вы что-нибудь поймали? — спросил Люсик, не попадая зубом на зуб.

— Две, — сказал я и открыл карман штормовки. Люсик сунул туда руку и вытащил большую форель. Она все еще была живой.

— Какая здоровая, — просипел Люсик, подрагивая, — у меня трогает, но не берет.

— А ты не спеши подсекать, — сказал я и, когда он положил назад рыбу, подошел к воде и снова налил в карман несколько пригоршней свежей воды.

— Разве мы не уходим? — спросил Люсик.

— Что ты, — сказал я и пошел дальше.

— Тогда я немного половлю и пойду, а то ребята ждут, — крикнул мне вслед Люсик. Голос у него немножко прорезался.

Не оглядываясь, я кивнул ему и пошел дальше. Далеко впереди маячила фигура того студента. Он снова сменил место. Он часто менял место — верный признак неудачи.

Мне захотелось остаться совсем одному, и я решил, нигде не пробуя, обойти студента и начать ловить ниже по реке. Я был уверен, что тут он везде перепугал рыбу и ловить не стоит, хотя попадались очень хорошие места.

Все-таки у одного бочажка я не удержался и попробовал. Почти сразу клюнуло, но потом клев прекратился, и я, жалея время и в то же время пытаясь его оправдать, упорно ждал.

Тук-тук! — клюнуло дуплетом. Я подсек и вытащил форель. Молодец, подумал я о себе, вот хватило терпения и пожалуйста — форель.

Только я ее хотел взять в руку, как она дернулась с крючка и упала на берег. Я бросил удилище и попытался прихлопнуть ее, но она с каким-то отчаянным проворством уползла в воду. Казалось, от ужаса у нее на брюхе выросли лапки и она, перебирая ими, плюхнулась в воду.

Проклиная себя за остановку, я кое-как свернул леску и почти бегом отправился дальше.

Студент стоял по колено в воде и удил на мелководье. Здесь река сильно шумела на множестве маленьких порожков, и он не заметил, как я к нему подошел. Вся его фигура говорила, что он не верит в затею, но так забавляется, от нечего делать.

— Как дела? — крикнул я. Обернувшись, он покачал головой.

— А ты? — спросил он.

Река заглушала голоса, и я пальцами показал, что поймал две рыбы. Я вытащил из кармана большую форель и показал ему.

Я пошел дальше и решил не останавливаться до тех пор, пока не найду самого прекрасного места.

Это был огромный розовато-сиреневый валун. Между ним и берегом проходила узкая кромка воды, и по эту сторону от валуна виднелась глубокая заводь, и я знал, что по ту сторону от валуна тоже должно быть глубокое, тихое место.

Я снова почувствовал волнение и стал прокрадываться к валуну, стараясь не шуметь галькой. Я неслышно подошел

к самой кромке воды, прислонил удилище к валуну и вспрыгнул на него.

Валун был холодный и скользкий. С этой стороны он еще не просох от росы. Я втянул удилище и, стараясь не поскользнуться, пробрался на вершину валуна. Она была сухая. По обе стороны от валуна зеленели глубокие, тихие заводи.

Достойному месту — достойную наживку, решил я и, стараясь не высовываться из-за валуна, достал из кармана коробок с икрой. Я надавил пальцем и открыл туго поддающийся коробок. Это была необыкновенная икра. Я такую никогда не видел, даже на Командорских островах, где за икрой ходят с ведрами и лукошками, как по ягоды. Огромные, янтарные, почти со смородину каждое, слипшиеся крепкой гроздью, лежали зерна икры.

Видно, и в самом деле, подумал я, этот товарищ работает в каком-то высоком учреждении... Интересно, какая рыба мечет такую икру? Вот бы спросить у него.

Солнце приятно пригревало спину. Река тихо шумела. Глубокая заводь заманчиво зеленела. Икринки благородно просвечивали в солнечных лучах. Я насадил на крючок две икринки одну за другой, слегка примял их, чтоб они слиплись, и бросил леску вниз, все еще стараясь не высовываться.

Несколько мгновений красное пятнышко икры мерцало в зеленой глыбе воды, а потом исчезло. Я почувствовал, что грузило стукнулось о дно, слегка натянул леску и замер. Через некоторое время я приподнял удилище, несколько раз поводил его, слегка поворачивая сначала в одну сторону, по-

том в другую, а потом снова опустил грузило на дно. Я старался создать под водой образ играющего соблазна, такой прелестной и легкомысленной царевны-икринки.

Торк! — вдруг почувствовал я на ходу. Замер, ожидая второго удара. Форель медлила. Казалось, она сама не может поверить, что ей привалило такое счастье. Я слегка двинул удилищем, и снова форель притронулась к наживке. Я решил снова двинуть леской, но сделать движение более широким и не останавливаться после первой поклевки, а двигать дальше, создавая образ не только движущегося, но и уходящего соблазна, чтобы разжечь ее на более решительные действия.

Торк, торк, торк, торк! Я подсек. Она сильно дернулась в глубину, но я уже взмахнул удилищем, и форель тяжело задрыгалась в воздухе. Сначала, когда она дернулась вглубь, и потом, когда выходила из реки, она мне показалась огромной сквозь толщу воды, но она была не такой большой, как первая. Но все равно она была большой.

Как только я впустил ее в карман, все три рыбы ожили и зашлепали остатками воды. Казалось, новый заключенный своим появлением оживлял обессиленных узников.

Я посмотрел вниз, на другую сторону валуна. Эта сторона была освещена солнцем, и вода была более светлой. Все же солнце не могло просветить ее до дна. Вода была очень глубокой. Теперь я решил половить с этой стороны и равномерно вылавливать рыбу по обе стороны от валуна.

Я снова наживил крючок двумя икринками, уселся поудобней, чтобы не налегать на карман с рыбами, и забро-

сил леску. Теперь не надо было спешить. Солнце приятно пригревало валун. От камня исходил бодрый, кремнистый запах здоровой старости. Я вынул сигарету из ковбойки и закурил.

Я с наслаждением выкурил сигарету, немного удивляясь, что нет никакого клева. Чуть ниже валуна река опять разделилась на два рукава, образуя низенький песчаный остров, кое-где покрытый кустиками травки, с одиноким, искривленным в сторону течения каштановым деревцем. Хорошо бы на этом островке поваляться, позагорать, подумал я. В жару можно было бы прятаться в тени этого деревца. Видно было, что островок заливают не только весной, но и после каждого ливня в горах.

Я бросил окурок и еще немного подождал, удивляясь, что нет никакого клева. Может быть, подумал я, в этой высветленной солнцем воде они видят леску и боятся?

Я перешел на другую сторону валуна и почти сразу взял огромную форель, как мне показалось после долгой неудачи на той стороне. Она была и в самом деле большая. Она была больше предыдущей, хотя, конечно, и меньше самой первой. Да не лосось ли, вдруг подумал я о первой форели? И вообще, где граница между крупной форелью и маленьким лососем?

Время от времени возле меня стало раздаваться какое-то шелканье, но я не обратил внимания. А потом мне снова попалась довольно приличная форель.

Я забросил леску и вдруг снова услышал какое-то шелканье. «Что за черт?» — подумал я и посмотрел вокруг.

Я поднял голову и увидел наверху, прямо над обрывистым склоном, дюжину ребятишек. Некоторые держали в руках портфели. Поняв, что я их заметил, они обрадовались, и те, что были без портфелей, разом взмахнули руками. Через мгновение несколько маленьких яростных камушков защелкали и зацокали вокруг моего валуна.

Я погрозил кулаком, чем привел эту маленькую банду в неистовую радость. Они весело запрыгали, залопотали, а те, что все еще держали портфели, побросали их, и через мгновение десяток камушков посыпался вниз. Ни один из них до валуна не долетел, но некоторые, отскакивая от прибрежной гальки, самыми неожиданными дурацкими рикошетами шелкали по валуну и булькали в воду.

Я страшно разозлился и, поднявшись, погрозил на этот раз обоими кулаками, чем доставил им, судя по дружному воплю, неслыханное наслаждение. Снова посыпался град камней.

Тогда я решил сделать вид, что не обращаю на них внимания. Они покричали мне несколько раз, но я сделал вид, что поглощен ловлей. Хотя какой уж там лов. Я сидел, послеживая за берегом, куда теперь равномерно, чтоб я не забывался, они швыряли маленькие злые камушки.

Я решил, что надо менять место. Мне захотелось перейти оба рукава и выйти на тот берег. Этот берег почти везде проглядывался с дороги, и я почувствовал, что здесь они меня не оставят в покое.

Как только я слез с валуна и пошел вниз по течению, что маленькими негодяями правильно было расценено как бегст-

во с поля боя, я услышал за своей спиной свист и победное гиканье.

Я нашел мелководье и, вступив в жгучую, ледяную воду, перешел рукав. Местами вода была почти по пояс и сильно толкала меня вперед. Я старался не поскользнуться. Мокрые кеды делаются очень неустойчивыми. Рыбы в кармане, почувствовав близость родной стихии, подняли переполох.

Уже на отмели островка я услышал за спиной далекий школьный звонок. Я оглянулся и увидел наверху на дороге бегущие фигурки маленьких разбойников. Тьфу ты, подумал я и неожиданно рассмеялся. Вода охладила мою ярость. Но теперь возвращаться назад не хотелось, и я пошел дальше. Перешел второй рукав и вышел на узкий зеленый берег. Почти вплотную к нему подходил буковый и кедровый лес. Выше по течению огромный бук низко, почти горизонтально накренился над водой. Ветви дерева уютно зеленели над несущимися струями.

Так как хорошего места поблизости не было видно, я решил попробовать ловить на самой стремнине. Теперь это было нестрашно, потому что я и так был весь мокрый. Я наживил крючок, выбрал глазами место поглубже и подошел к нему, насколько мог.

Клева не было. Я уже хотел было выйти на берег, как вдруг почувствовал, что леска за что-то зацепилась. Я решил не жалеть крючка и потянул за удилище. Леска туго натянулась, лопнула и сразу же всплыла. Оказывается, зацепился не крючок, а грузило.

Еле передвигая окоченевшие ноги, я вышел из воды. Запасного грузила у меня не было. Я нашел продолговатый, сужающийся к середине камушек и привязал его к леске. Конечно, это была неважная замена, но хоть что-нибудь. Я решил попробовать удить с поваленного бука и направился к нему. После скользкого каменистого дна ступать по траве было приятно. В кедах почмокивала вода, иногда выплескиваясь сквозь дырочки шнуровки. Ноги мои быстро отходили, набирались тепла, а тело, наоборот, начинало познабливать. Струйки холода все чаще и чаще подымались по спине.

Я взобрался на толстый, местами замшелый ствол дерева и прошел по нему до самой середины потока. Глубокая, зеленая вода, мягко всплескивая на ветвях, погруженных в нее, проносила́сь подо мной. Ветви, омываемые водой, зеленели как ни в чем не бывало.

Глубокая, зеленая вода, тихо журча, проносила́сь вниз. Тени веток слабо колыхались на ее поверхности. Какая-то птичка, не заметив меня, села на ветку совсем рядом со мной. Вероятно, это была трясогузка. Во всяком случае, быстро озираясь, она непрерывно трясла своим длиннохвостым задиком. Заметив меня, вернее, осознав, что я живое существо, она упорхнула, хлестко чиркнув листиками бука.

Я закурил. Клева все не было. Я почувствовал, что здесь и так слишком хорошо, чтобы еще и рыба хорошо ловилась. Пожалуй, мне даже не хотелось ловить форель. Я почувствовал, что насытился рыбалкой. Я приподнял удилище

и сдернул камушек, намотал леску и положил удочку между двумя ветками.

Уходить не хотелось. Оттянув на бок тяжелый карман с рыбами, я лег животом на теплый, прогретый солнцем ствол. Он слегка покачивался под напором воды, толкавшей погруженные в воду ветви. Близость глубокой, быстро бегущей воды усиливала ощущение покоя, неподвижности. От нагретого ствола подымался винный запах. Солнечные лучи сквозь мокрые брюки горячо притрагивались к ногам. Мох щекотал щеку, ствол покачивался, я погружался в сладкую дрему. Муравей медленно пробирался по моей шее.

Сквозь дрему я подумал, что давно не испытывал такого покоя. Может быть, и никогда не испытывал. Я подумал, что даже с любимой такого полного покоя никогда не было. Может быть, потому, что там всегда остается опасность, что она заговорит и все испортит. Но даже если не заговорит, ты краем сознания чувствуешь, что может заговорить, и тогда вообще не известно, чем все это кончится. И потому такого полного блаженства, как здесь, там не получается. А здесь получается, потому что дерево никак не может заговорить, это уж точно...

Сквозь дрему я услышал далекий свист с того берега. Как из другой жизни. Продолжая дремать, я удивился, как он мог долететь с такого расстояния. Свист повторялся несколько раз, и, продолжая дремать, я каждый раз удивлялся, что слышу его.

Потом я услышал скандирующий голос, но разобрать слова было невозможно. Потом снова свист. Опять скандирующий голос. Потом я понял, что скандирующий голос и свист идут от какого-то одного настойчивого источника. Я догадался, что свист, как и скандирующий голос, издается несколькими людьми одновременно.

«Ма-ши-на!» — скорее почувствовал я, чем расслышал. Внезапная тревога пронзила меня. Я понял, что там, наверху, уже пришла машина, которая должна нас забрать, и сейчас вся группа ждет меня одного. Я схватил удочку и сбежал со ствола.

Солнце стояло довольно высоко. Наверное, уже было часов одиннадцать. Я как-то совсем забыл о времени, и сейчас мне было неловко, что столько людей меня дожидается. Кроме того, я боялся, что они уедут, не дождавшись меня, а у меня и денег не оставалось на обратную дорогу, да и попутной машины когда дождешься...

Не всматриваясь в брод, я бросился в воду и почти бегом перешел рукав. Перебежав островок, я снова влез в воду. Здесь река была широкая и мелководная. Я бежал изо всех сил по мелководью, стараясь не поскользнуться и не ушибить ногу. Все-таки несколько раз я чуть не упал, но каждый раз успевал опереться на удилище.

Уже совсем близко от берега я вдруг почувствовал, что вода делается все глубже и глубже. Удержаться на ногах становилось все труднее. «Что за черт!» — подумал я и остановился.



Вода была чуть ниже пояса, но течение било с такой силой, что только удилище помогало удержаться. Я пожалел, что не спустился пониже, где тогда довольно легко перешел брод. В то же время трудно было поверить, что я не смогу выбраться в пяти метрах от берега. Я сделал шаг, стараясь изо всех сил налегать на удилище. Главное, не доверять ступающей ноге, не переносить на нее тяжесть, пока она не укрепилась на новом месте. Некоторые камни на дне, как только я становился на них, опрокидывались и смывались потоком. Вода все враждебней шумела вокруг меня. И вдруг я почувствовал, что уже не могу сделать ни шагу, потому что все силы уходят на то, чтобы удержаться на месте.

Я ощутил, как страх с какой-то пугающей быстротой начинает захлестывать и размывать сознание. И уже больше всего пугаясь этого страха, чтобы как-нибудь действием опередить его, я наклонился, насколько мог, против течения и быстро шагнул дальше. Мгновенно поток подхватил меня и потащил вниз. Тело мое погрузилось в холодную ледяную муть, и я сразу же нахлебался воды.

Я успел вынырнуть, нащупать ногами дно, но меня снова повалило и потащило дальше, а я из какого-то упрямства продолжал сжимать удилище. Я снова нахлебался, но на этот раз, вынырнув, сразу же отбросил удилище и поплыл изо всех сил. Меня продолжало сносить со страшной быстротой, и с такой же быстротой, я чувствовал, убывают силы. Все же я приблизился к берегу и успел ухватиться за какой-то камень, чувствуя, что подтянуться сил уже не хватает. Надо

было удержаться, чтобы передохнуть, восстановить сбитое дыхание.

Но тут вдруг я увидел протянутую руку, вцепился в нее, и мы вдвоем выволокли на берег мое тело.

Это был Люсик. Голова кружилась, поташнивало. Все еще сидя на прибрежной гальке, я медленно приходил в себя.

— Я вам кричал, — сказал Люсик, — разве вы не слышали?

— Нет, — сказал я. Может, он ничего не заметил, подумал я. Просто подал руку, и все. Мне хотелось, чтоб он не знал обо всем этом.

— Мы давно позавтракали, машина ждет, — терпеливо напомнил Люсик.

— Сейчас, — сказал я и с трудом встал.

Все еще поташнивало от слабости. Я раскрыл карман штормовки и стал вытаскивать и бросать на песок форели. Они еще были живые. Когда меня уносило течением, они как-то злорадно притихли. А может, мне это просто показалось.

Странное ощущение испытал я, когда меня поволокло течение. Ну и черт, подумал я, еще раз чувствуя злобное усердие, с каким меня тащила вода.

Очень захотелось закурить. Я сунулся было в кармашек, но сигарета оказалась обмякшей. Тогда я высыпал из карманов все лишнее, разделся, выжал трусы и майку и снова оделся.

Нанизав на прутик форели, Люсик терпеливо ждал. Сейчас я к ним был совсем равнодушен.

Мы пошли. Люсик шел впереди. В руке у него покачивалась тяжелая гроздь свежей форели. Красные пятнышки

на спинах рыб все еще ярко горели. Когда мы стали подыматься по тропе, мне захотелось самому нести эту гроздь. Я с трудом успевал за Люсиком.

— Давай, — сказал я, когда он остановился, поджидая меня на повороте тропы.

— Ничего, я понесу, — ответил Люстик.

Все же я отобрал у него кукан. Я чувствовал, что правильной будет, если я сам появлюсь со своим уловом в руке, хотя и так понятно, что это мой улов.

Когда мы вышли на улицу, все ребята уже сидели в грузовике. Увидев нас, они радостно загалдели и стали протягивать руки из кузова. Студент, который вышел на лов раньше нас, тускло оглядел кукан, показывая, что рыбой его не удивишь.

— Еще одну упустил, — напомнил я, протягивая кому-то улов.

Гроздь пошла по рукам. Всем очень понравились красивые форели. Но потом, когда она снова возвратилась ко мне, кто-то сказал, что до города ехать четыре часа и она испортится за это время.

— Вот бы к завтраку на уху, — добавил он.

— На жаруху лучше, — поправил другой.

— На жаруху всем не хватило бы, — сказал первый, — а вот уха...

В самом деле, подумал я, слишком долгая предстоит дорога, да еще в жару. Не то чтобы она совсем испортилась, но было неприятно привезти в город эту прекрасную гроздь в жалком виде.

Словно чувствуя мои колебания, ко мне подошла длинная черная свинья. Она остановилась, с притворным смирением ожидая, что я буду делать с уловом.

— Отдай в столовку, — предложил кто-то.

Я оглянулся. Дверь в столовую была открыта, и оттуда доносились громкие голоса. Я пнул свинью и пошел в столовую. Столовая была пустая, только за одним из столиков сидели три свана и пили белое вино, закусывая помидорами и сулугуни. Чувствовалось, что они уже порядочно выпили. Буфетчик ругался с одним из них.

Я протянул ему кукан. Не замечая меня, он взял улов, отнес его в кухню и вышел оттуда, продолжая ругать одного из застольцев. Меня он так и не заметил. Я вышел из столовой и взобрался на грузовик.

Машина тронулась. От мокрой одежды познабливало, и я, раздевшись, остался в одних трусах. Мне подали мой вещмешок, большую горбушку хлеба и котелок с похлебкой. Я подобней уселся на вещмешок и стал завтракать. Котелок был еще горячий, потому что его держали, завернув в спальный мешок. Я откусывал хлеб и, держа котелок обеими руками, отхлебывал из него, стараясь соразмерить каждый глоток с движением машины, чтоб не обжечься и не пролить вкусное хлебово с макаронами и фасолью. Я опорожнил котелок и почувствовал, что согрелся. Кто-то дал мне сигарету, и я закурил. Сейчас у всех было полно сигарет.

Ребята пытались петь, но ни одной песни не допевали до конца, потому что не знали слов. А те песни, которые они

знали до конца, успели надоесть за время похода. Но все равно получалось весело.

Машина мчалась вниз, длинно сигналив и тормозя на поворотах. Горы медленно разворачивались, и слева под глубоким обрывом сверкала река, сужаясь и вновь растекаясь, раздваиваясь и снова стекаясь. В конце концов она надоела.

Внезапно машина окунулась в теплый влажный воздух Колхиды.

Мы продолжали спускаться, и все время чувствовалась близость моря, хотя самого моря еще долго не было видно.

англичанин с женой и ребенком

В кофейне я узнал, что к нам в город приехал англичанин. Мне сказали, что он сейчас на берегу моря возле гостиницы беседует с представителями местной интеллигенции и, если я поспешу, пожалуй, успею познакомиться с ним. До этого я никогда не был знаком с англичанами, даже не видел живого англичанина, поэтому охотно согласился. К тому же меня предупредили, что он профессор, крупнейший социолог левого толка и дружелюбно к нам настроен. Я допил кофе и пошел посмотреть на англичанина.

Я вышел на улицу, прошел до берега, завернул в сторону гостиницы и увидел их. Был яркий летний день. Англичанин с женой и ребенком стояли посреди улицы в центре небольшой, но почтительной группы.

Я сразу узнал его, хотя до этого никогда не видел ни одного англичанина. Почему-то к нам они редко заезжают. Я его сразу узнал, хотя, в сущности, он даже не был похож на англичанина, вернее, на того англичанина, облик которого я представлял себе по книгам и кинофильмам.

Но, с другой стороны, не узнать его было невозможно, просто потому, что кто-то из них должен был быть англичанином, а так как всех остальных я знал (наши ребята), я так и решил: вот этот и есть англичанин. Если б вокруг него стояли не наши ребята, а какие-нибудь незнакомые люди, я бы скорее подумал на кого-нибудь из них, до того он был не похож на англичанина.

Это был крепыш небольшого роста с круглой золотистой головой и мужественным профилем скандинавского викинга или, в крайнем случае, эллинского воина. Такую голову почему-то хотелось представить в шлеме, мне даже показалось, что я ее уже где-то видел в тяжелом рыцарском шлеме.

Сначала я немного огорчился, что англичанин оказался недостаточно типичным, тем более что и жена его, хотя и красивая женщина, никак не походила на англичанку. Скорее, она была похожа на египтянку. Она была похожа на красивую египтянку, но сравнивать ее с Нефертити было бы натяжкой, тем застольным преувеличением, к которому так склонны мои любимые земляки.

Кстати, потом выяснилось, что она и в самом деле египтянка. Из чего, конечно, не следует, что англичанин тоже ока-

зался скандинавом или, тем более, греком. Англичанин оказался настоящим англичанином, хотя внешность его меня сначала несколько разочаровала.

Я думаю, что, кроме книжного представления, тут еще сыграло роль то, что мне сказали о нем, — профессор, крупнейший социолог левого толка. А тут тебе такой крепыш, в рубашке навыпуск, в босоножках на голую ногу, с мощной шеей, как бы переразвитой от долгого ношения тяжелого рыцарского шлема. Нет, наши профессора выглядят куда солидней.

Когда я подходил к ним, экскурсовод что-то рассказывал. Англичанин внимательно слушал, время от времени делая какие-то записи в своем блокноте.

Экскурсовод наш местный парень. Зовут его Анзор. Я его знаю с детства. Когда я вспоминаю, каким он был вратарем сначала в юношеской, а потом во взрослой команде, мне почему-то делается грустно.

Казалось бы, он неплохо в жизни устроен, а стоит мне вспомнить, каким он был замечательным вратарем, как у меня портится настроение.

Однажды он взял такой невероятный мяч, что об этом у нас помнили несколько лет.

Тогда он играл в юношеской команде. Вот как это было. Из свалки на штрафной площадке кто-то сильно пробил в правый нижний угол. Анзор в прыжке отбил мяч. И еще он лежал на земле, когда один из защитников противника с разгону врезал мяч в тот же, но теперь верхний угол.

Казалось, неминуемый гол. Но Анзор, словно подброшенный, отделился от земли. Я до сих пор отчетливо помню его скошенное к правому углу, как бы висящее в воздухе тело. Помню то замечательное мгновение, когда он усилием воли, уже исчерпав инерцию прыжка, все же дотянулся до мяча. Так, бывало, в детстве дотягиваешься до самого верхнего яблока, рискуя обломать трепещущую ветку и обрушиться вместе с нею вниз.

Именно тогда знаменитый тренер местной команды «Динамо», проходя вдоль поля, вдруг остановился и сказал своему помощнику.

— Мальчика надо попробовать...

Через пять минут о его словах уже знал весь стадион и даже сам Анзор. И вот теперь, когда я вспоминаю все это, у меня почему-то портится настроение. Может быть, дело в том, что сейчас Анзор похож на вратаря, который уже взял свой лучший мяч. Сам-то он наверняка об этом не догадывается, но со стороны видно...

Обычно он возится с нашими туристами, но иногда ему поручают иностранцев. Однажды, когда он показывал обезьяний питомник одной иностранной делегации, кто-то из туристов спросил, кивнув на вольер с одиноким орангутангом:

— Как зовут эту обезьяну?

Анзор мгновенно повернулся к орангутангу и спросил:

— Обезьяна, как тебя зовут?

Члены делегации оценили юмор экскурсовода, хотя задавший вопрос почему-то обиделся. Эта бестактная шутка, если

ее можно назвать бестактной, никак не повлияла на его карьеру экскурсовода, и он продолжал заниматься с туристами.

Кажется, кроме этого внезапного юмора, от его когда-то знаменитой взрывной реакции на мяч ничего не осталось. Анзор живет один с больной матерью, так что надолго отлучаться или выезжать из города он никак не может. Потому-то даже в местной команде он по-настоящему не смог играть. Вечно он ищет какие-то редкие лекарства для своей больной матери. Иногда ему присылают их из Москвы туристы, с которыми ему случалось подружиться.

В прошлом году ему здорово не повезло, так что он имел шанс лишиться даже своего внезапного юмора. Дело в том, что его обвинили в изнасиловании.

Недалеко от города, возле развалин крепости Баграта, какие-то два негодяя соблазнили двух девушек из турбазы. Говорят, они им угрожали, одновременно давая ложные обещания жениться. Во всяком случае, девушки пожаловались в милицию. Через несколько дней Анзора схватили, потому что одна из них указала на него. Возможно, он был похож на одного из тех парней. Но, с другой стороны, для многих россиянок все кавказцы похожи друг на друга, как китайцы, точно так же, как для китайцев, вероятно, все россияне похожи друг на друга.

Я думаю, что девушка сначала и в самом деле решила, что он один из тех парней. Но потом на очной ставке не могла не сообразить, что ошиблась, если, конечно, она не абсолютная кретинка, что тоже не исключается. Все же, скорее

всего, она догадалась о своей ошибке, но, испугавшись собственного обвинения, продолжала стоять на своем.

Тогда, помнится, всполошился весь город. Все понимали, что Анзор никак не мог оказаться таким подлецом, к тому же настолько непоследовательным, чтобы днем показывать туристкам достопримечательности города, а ночью насиловать их на тех же исторических развалинах, таким образом сводя на нет не только свои дневные труды, но и бросая тень на патриотический смысл памятников старины.

Наши ребята тогда сделали все, что могли. Они оградили мать Анзора от слухов о его аресте. Ей сказали, что он внезапно уехал с одной очень важной делегацией, которую не могли поручить никому другому. Старушка охотно поверила, тем более что ребята помогали ей по дому, ходили на базар, а главное, оберегали ее от горестной правды.

Закон, как и следует, стоит на стороне пострадавших, так что даже общественное мнение не могло Анзору помочь. Он был до того потрясен случившимся — я думаю, больше всего он терзался мыслью о судьбе матери, — что ничего не мог придумать в свое оправдание, а только твердил, что все это ошибка и он ни в чем не виноват.

И тут опять пришли на помощь друзья. Оказалось, что именно в тот роковой вечер он сидел на теплоходе с друзьями и пил пиво. У наших ребят есть такой обычай заходить на теплоходы, пока они стоят на пристани, с тем чтобы посидеть там в ресторане, пройтись по палубам, постоять у поручней, глядя на пристань и на город с некоторым выра-

жением транзитного превосходства, а потом сойти по трапу и разойтись по домам.

Это как-то встряхивает, облагораживает душу, не дает закиснуть в однообразии (что скрывать!) провинциальной жизни нашего города. Окунувшись в этот плавучий праздник, ты как бы возбуждаешь увядающие рефлексy жизнестойкости и жизнерадостности, черт бы их подрал.

Короче говоря, товарищи Анзора и он сам, после того как ему напомнили, твердо заявили, что они в тот вечер были на теплоходе. Казалось бы, все прекрасно, стоит подтвердить кому-нибудь из работников ресторана, что они там были, как обвинение отпадет.

Но тут последовал новый удар — оказывается, именно этот теплоход снят с рейсов и поставлен в Одессе на ремонт. Прокуратура заподозрила некий сговор, желание при помощи лжесвидетельства спасти своего товарища. Но друзья Анзора опять не растерялись. Кто-то из них неожиданно вспомнил, что, уходя из ресторана в некотором подпитии, они оставили в книге жалоб благодарность за хорошее обслуживание и при этом все расписались.

Прокуратура связалась с пароходством, и примерно дней через десять оттуда пришла эта самая книга жалоб или фотокопия их благодарности.

Анзора, конечно, освободили. С тех пор он каждую субботу, теперь уже регулярно, ходит на теплоходы, почему-то моется там в душе, а потом пьет в баре пиво и рассказывает историю своего спасения, если в баре находится хоть один

слушатель. А в баре всегда полным-полно хороших слушателей, потому что хороший слушатель сам надеется рассказать что-нибудь свое.

И вот он, Анзор, долговязый, худой, как я думаю, от излишней нервности, стоит перед англичанами и что-то рассказывает. Чтобы не прерывать его, я остановился на тротуаре в некоторой ненавязчивой близости, но достаточно заметно, чтобы в нужный момент присоединиться к ним.

Только я остановился, как Анзор повернулся в мою сторону и уже было раскрыл рот, чтобы перейти к новому объекту, он даже успел сказать:

— А это...

Возможно, он хотел сказать: «А это Черное море», потому что других объектов здесь не было. Разве что ресторан на сваях, устремленный в море с целью возбуждать в клиентах романтический азарт, желание посоперничать широтой натуры с широко распахнутым морским кругозором и, в конце концов, довести их до состояния джентльменской раскованности в обращении с собственными бутылками.

Во всяком случае, Анзор сказал:

— А это...— и тут, увидев меня, на самое молниеносное мгновенье запнулся и договорил не меняя голоса: — типичный абориген...

Наши ребята, — кстати, такие же аборигены, — посмотрели на меня с тупым любопытством, словно теперь-то им и раскрылся истинный смысл моей персоны. Из какой-то

непонятной угодливости я замер в позе этнографического чучела.

Англичанин взглянул на меня, потом взялся было за блокнот, потом, видимо, почувствовав, что здесь что-то не то, приподнял свои выгоревшие брови и что-то спросил у жены.

Жена его сверкнула улыбкой в мою сторону и что-то ответила мужу. Англичанин захохотал. Продолжая смеяться, он сунул блокнот в карман и так хлопнул Анзора по плечу, что тот слегка осел. Сила удара выражала степень восхищения.

Я подошел, и мы познакомились. Через минуту Анзор продолжал свой исторический экскурс, а англичанин взялся за блокнот. Было видно, что жена его довольно хорошо знает русский язык, да и он ориентируется, только иногда просит у нее кое-что уточнить.

Анзор рассказывал о затонувшей в бухте части нашего города. У нас любят рассказывать про затонувшую, — кажется, в начале нашей эры, — часть города. При этом получается так, что, хотя наш город и в самом деле красив, все же красивейшая часть его находится под водой.

Говорят, иногда в очень тихую погоду рыбаки видят на дне бухты развалины древних строений.

Кстати, я лично, хотя у меня и есть лодка, никогда ничего подобного не видел. Правда, иногда и меня подмывает рассказать, что я видел затонувшую часть города, но пока я сдерживаюсь. Насколько я знаю, и рыбакам никогда не приходит в голову посмотреть на затонувшую часть города.

Просто это стало легендой, хорошей, облагораживающей традицией говорить про затонувшую часть города. И, насколько я помню, все гости, которым при мне рассказывали о ней, слушали солидно, с оттенком некоторой исторической скорби, впрочем, смягченной временем.

И, насколько я помню, никому не приходило в голову усомниться в ее существовании или тем более просить, чтобы ее показали. Это было бы даже несколько неприлично. Но только не для англичанина. Вот чего мы не учили. Вернее, не учел Анзор. Во всяком случае, англичанин не только не проявил приличествующую моменту скорбь, но, наоборот, его голубые глаза полыхнули, и он энергично толкнул себя в грудь:

— Наблюдайт город!

— Это возможно только в хорошую погоду, — сказал Анзор отчетливо, стараясь выставить перед его сознанием барьер, впрочем, стихийного происхождения.

— Теперь, теперь! — заревел англичанин, не то чтобы перешагивая барьер, а просто-напросто сметая его.

— Но у нас нет лодки, — растерялся Анзор.

— Мой нанимайт! — твердо сказал англичанин.

— У меня есть лодка, — вставился я зачем-то.

— О! — воскликнул англичанин и хлопнул меня по плечу.

— Все равно ничего не увидите, — попытался возразить Анзор, — вода мутная!

— Я имейт акваланг! — радостно взорвался англичанин, кивком головы показывая, что ответственность за состояние воды берет на себя.

— Но это опасно, — обратился Анзор к жене англичанина, — подождите, я позвоню на водную станцию, и нам дадут специалиста.

— Но, но! — закричал англичанин. — Я есть специалист: Красный море, Адриатик, Бискай!

Жена его улыбкой подтвердила, что не боится за него. Потом она взглянула на мальчика и что-то быстро сказала. Англичанин огляделся и подошел к ларьку.

— Ребенку надо поесть, — объяснила англичанка.

Через минуту англичанин возвратился с пачкой печенья и бутылкой лимонада. Спартанская непритязательность такого завтрака меня приятно удивила. Я подумал, что жена нашего профессора при подобных обстоятельствах навряд ли ограничилась бы таким завтраком для своего ребенка, даже учитывая, что это второй завтрак и притом в чужой стране. Жена англичанина положила бутылку лимонада и пачку с печеньем к себе в сумку. Англичанин неожиданно попросил у Анзора карту подводного города. Анзор сказал, что у него такой карты нет. Тогда англичанин спросил, у кого можно достать такую карту. Мы с Анзором переглянулись. Анзор признался, что такой карты, скорее всего, не существует; во всяком случае, он о ней не слышал. Англичанин высоко приподнял свои выгоревшие брови, удивляясь, но не меняя решения увидеть подводную часть города.

Мы вышли на причал. К тому времени наши ребята незаметно рассосались: поиски подводного города местных жителей никогда не привлекали.

Я сказал своим спутникам, чтобы они меня дожидались на причале, а сам пошел к речке, где стояла лодка. Я слегка тревожился, что пограничник заметит, что в море я вышел один, а потом оказался с не отмеченными при выходе пассажирами, тем более иностранцами.

Обычно он стоит под грибком у выхода в море. Подобрал мгновенье, когда он смотрел в сторону моря, я прошел мимо него, стараясь грести быстро и бесшумно. Кажется, он меня не заметил.

Я вышел в море и стал грести к причалу. Я оглянулся на причал и увидел жену англичанина, ребенка и Анзора. Рядом с высокой стройной женой англичанина фигура Анзора возвышалась несколько уныло, во всяком случае недостаточно празднично. Англичанина не было видно. Я понял, что он пошел в гостиницу за аквалангом. Мальчик, заметив меня, стал махать панамкой, чтобы я по ошибке не проплыл мимо.

Пока я подходил к причалу, англичанин вернулся. Теперь в руке у него была огромная сумка.

Я обогнал лодку с музыкой. Она тоже шла в сторону причала, но держалась поближе к берегу. На корме, развалившись, почему-то в пиджаке, сидел гармонист и лениво играл на гармошке. На второй банке сидела молодая женщина лицом к гармонисту и пела частушки. Спутники ее время от вре-

мени нестройно подхватывали припев, и тогда женщина привставала, поводя полными белыми руками, как бы пытаясь сплясать, но тут же шлепалась на сиденье.

*Милые родители,
Поители, кормители,
А наши воздыхатели
Дороже отца-матери!*

Воздыхатели, всего их в лодке было четыре человека, улыбочиво озирались, радуясь за береговое население, которому они доставляли удовольствие. Один из них, тот, что сидел на носу, держал в руках транзисторный приемник, по-видимому на случай, если у гармониста иссякнут силы.

Я развернул лодку и осторожно, кормой подошел к причалу. Анзор, наклонившись, придержал лодку за корму. Я бросил весла и подошел к корме, чтобы помочь мальчику спуститься в лодку. Но мальчик сам прыгнул и, перебежав по банкам, уселся на носу, бегло лопоча по-английски, как вундеркинд.

Жена англичанина подала мне сумку. Я поставил сумку и помог ей спуститься. Она ступила на лодку с той недоверчивой осторожностью, с которой умные животные и женщины ступают на зыбкую, неустойчивую поверхность. Она была большая и гибкая, как танцовщица, и помогать ей было приятно. Мы вежливо разминулись, и она уселась рядом с мальчиком.

В это время лодка с музыкой подошла к причалу и стала неуклюже разворачиваться возле нас. Гармонист продолжал играть, а женщина пела еще более старательно, учитывая не посредственную близость слушателей.

Пляжники, ожидавшие катера на верхнем ярусе причала, столпились у барьера, чтобы послушать эту водную капеллу. Теперь лодка медленно двигалась вдоль причала, чтобы обслужить своим весельем всех, кто находился на причале. Компания пела, приподняв головы и доверчиво глядя на своих слушателей. Видно было, что они слегка подвыпили. Скорее всего, взяли выпивку с собой в лодку, потому что навряд ли их в таком виде выпустили бы на прокатной станции.

Когда они немного отошли, англичанин неожиданно сказал:

— Плохой спортсмен.

— Кто? — спросил я.

— Эти люди, — он кивнул в сторону лодки.

Это был довольно странный вывод, учитывая, что поющие рассчитывали на артистический, а не на спортивный успех. Англичанин поставил свою сумку и руками показал, как плохо и неравномерно греб парень, что сидел на веслах.

— У вас мало спортсмен, — сказал он несколько удивленно.

— У нас много спортсменов, — ответил я на всякий случай.

— Я ваш санаторий наблюдайт — мало спортсмен, — повторил он, удивляясь, что мы не используем своих широких спортивных возможностей.

— Ты ему скажи, какой я мяч взял, — вполголоса подсказал Анзор. Он сидел на корточках, все еще придерживая лодку.

Но тут жена англичанина что-то сказала мужу. Мне кажется, она обратила его внимание на Анзора. Англичанин поднял свою тяжелую сумку и неожиданно, без всякого предупреждения прыгнул вместе с нею в лодку. Удар был такой сильный, что мне показалось — лодка разваливается. Каким-то чудом моя довольно-таки ветхая лодка все-таки выдержала, сильно покачнулась и, вырвавшись из рук Анзора, отошла от причала. Мне показалось, что в этом прыжке проявилась вся англосаксонская решительность. Я поймал весла и выравнивал лодку.

— Смотри, чтоб не утонули, — сказал Анзор.

— Теперь не бойся, — ответил я и сел на весла.

— В-15 не знаешь, где достать? — спросил он. Анзор любил задавать неожиданные вопросы.

— А что это? — спросил я.

— Редкий витамин, — сказал он и, немного подумав, добавил: — Схожу в аптекоуправление, часа через два буду здесь...

Я кивнул ему и стал грести к ближайшему ставнику. Я решил, что мы с него начнем, потому что не знал, с чего начинать, а во всяком деле хочется иметь какую-то точку, с которой можно было бы вести отсчет.

Берег в розовой пене цветущих олеандров уходил все дальше и дальше. От прогретого моря подымался густой телесный запах.

Вода была тихая и прозрачная, но не настолько, чтобы увидеть затонувшую часть города. Мне все-таки кажется, что она никогда не бывает настолько прозрачной. Англичанин разделся и остался в одних плавках. Тело у него было мощным и молодым. Теперь еще трудней было представить, что он знаменитый профессор, социолог левого толка. На вид ему никак не больше сорока. На его круглой золотистой голове все еще хотелось представить шлем, теперь уже хотя бы тропический.

Сейчас он молча возился в своей сумке, вытаскивая оттуда боевые принадлежности подводника. Жена его и мальчик тоже разделись.

Жена англичанина вытащила из сумки пачку с печеньем, вскрыла ее и протянула сыну. Мальчик ел и упорно смотрел на воду. Наверное, он хотел первым увидеть подводный город. Жена англичанина теперь еще больше была похожа на танцовщицу в своем купальном костюме в черно-белую полоску. Вернее, на бывшую танцовщицу, вырванную благородным англичанином из какого-нибудь восточного вертепа. Это было бы в духе египетских фильмов, хотя навряд ли в современном египетском фильме найдется роль для благородного англичанина. Но такой фильм лет десять-пятнадцать тому назад могла бы поставить какая-нибудь смешанная англо-египетская компания.

Мальчик начал крошить печенье стайкам мальков, проносившимся у поверхности воды. Когда он наклонился над водой, я заметил на его ноге повыше колена большое

красное пятно, похожее на ожог или лишай или еще что-нибудь в этом роде. Мне показалось странным, что рана не перевязана, а родители на нее не обращают внимания. Я подумал, что они, пожалуй, злоупотребляют спартанским воспитанием. Мысленно я вынужден был приписать очко в пользу жены нашего профессора, даже учитывая, что в подобных обстоятельствах она могла проявить немало вздорной суетливости.

Становилось жарко. Я медленно подгробал к ставнику. Солнце играло на поверхности воды и на широких плечах англичанина, осыпанных редкими иностранными веснушками.

Жена англичанина вытащила из сумки бутылку с лимонадом и подала мужу. Тот достал из мешка тяжелый тесак и, поддев жестяную пробку, попытался сдернуть ее. Но не тут-то было — пробка не поддавалась.

Это замечательное, я бы сказал, фирменное свойство наших жестяных пробок, по-видимому, призвано вызывать дополнительную жажду в процессе самого раскупоривания, с тем чтобы с большей полнотой оценить вкус прохладительного напитка.

Однажды у себя дома (дома, а не где-нибудь в гостинице), пытаясь открыть бутылку с боржомом, я снес спинку от стула, до того упорной оказалась пробка.

Вот почему теперь я с интересом следил за единоборством англичанина с жестяной пробкой.

После того как пробка не поддавалась, англичанин сердито засопел и снова поддел ее своим тяжелым тесаком. Поднату-

жившись, он рванул ее с такой целенаправленной энергией, словно подавляя самую идею сопротивления, маленький заговор, неожиданно открывшийся под колпачком бутылки. Пробка вылетела и, описав серебряный полукруг, нырнула в воду.

Я не ожидал, что расправа будет столь короткой. Англичанин проследил за нею глазами и, убедившись, что она пошла на дно, приподнял бутылку и сделал несколько победных глотков. После этого он передал бутылку мальчику и занялся своим снаряжением. Теперь мальчик ел печенье, время от времени запивая его лимонадом.

Метрах в пятидесяти от ставника я бросил весла. К этому времени англичанин облачился в свой подводный костюм, со свинцовым поясом и кислородным или еще каким-то там баллоном за плечами. Тесак в железных ножнах теперь висел у него на поясе.

Англичанин натянул маску, подышал, потом, освободив свой рот от дыхательной трубки, стал осторожно с кормы спускаться за борт. Почти без всплеска, на мускулах он вошел в воду и, держа одной рукой за борт, другой поправил маску, вставил в рот дыхательную трубку и несколько раз погрузил голову в воду, проверяя, не протекает ли маска и хорошо ли работает баллон.

Потом он оттолкнулся от лодки и пошел на дно. Я посмотрел за борт и увидел, как тело его бесформенной массой уходит в глубину, тускнея и исчезая.

Я тоже разделся и сел на весла, время от времени подгребая к тому месту, где он нырнул, потому что течение слегка относило нас в сторону.

Потом, когда стали появляться пузыри, отмечая его путь по дну, я тихонько подгробал за ним. Жена англичанина наде- ла темные очки и замерла, чтобы не мешать солнцу покрыв- ать ее тело ровным загаром. Мальчик, свесив ноги за борт, болтал ими в воде.

Минут через десять англичанин вынырнул рядом с нами. Я подгроб к нему, он сдернул маску с лица и несколько раз тя- жело вздохнул.

— Ну что? — спросил я.

Он повертел ладонью возле глаз, показывая, что види- мость ужасная.

— Черное море, — напомнил я ему и пожал плечами в том смысле, что никаких ложных обещаний и не было. Англичанин немного поговорил с женой, потом сполоснул горло морской во- дой, как боксер перед гонгом, и, натянув маску, снова нырнул.

Я снова сел на весла и, послеживая за пузырьками, подгре- бал. Мы постепенно подходили к пляжу военного санатория. Сквозь зелень парка были видны ослепительно белые строе- ния санатория, стилизованные под грузинскую архитектуру. За ними громоздились горы, темно-зеленые у подножья, с пятнистыми от снега вершинами.

На пляже было полно народу. Веселый разноголосый гул иногда прорезался счастливым женским визгом. Возле флаж- ков медленно проплывала спасательная лодка, лениво охра- няя жизнь отдыхающих. Спасатель иногда подходил к за- плывшим за флажок, отгоняя их к берегу, а чаще в рупор пе- реругивался с ними.

— У вас очень красиво, — сказала англичанка, стараясь не шевелиться, чтобы не прервать небесную косметику.

— Что вы, — ответил я, — у вас не хуже.

— Нет, у вас сказочно красиво, — добавила она и замерла в удобной для солнца позе.

Говоря, что у них не хуже, я имел в виду и Англию и Египет и готов был поддержать эту тему в любом ее ответвлении, особенно в египетском. Мне хотелось узнать, как она стала женой англичанина и откуда она так хорошо знает русский язык. У меня брезжила догадка, что она дочь какого-то русского эмигранта, который в свое время нашел приют в ее далекой стране и женился на египтянке.

— Не правда ли, эта гора напоминает пирамиду, — не выдержал я и кивнул на один из отрогов Кавказского хребта. Сходство было весьма относительным, но сравнение могло быть оправдано традициями гостеприимства.

— Да, — рассеянно согласилась она, не заметив моего египетского уклона.

Недалеко от нас показался прогулочный катер. Я повернул к нему лодку носом, чтобы нас не опрокинуло волной. Борт, обращенный в нашу сторону, был облеплен разноцветной толпой пассажиров. Внезапно на катере выключили мотор, и, когда он бесшумно проходил мимо, до нас отчетливо донеслась немецкая речь.

Жена англичанина восторгалась.

— К вам приезжают немцы? — спросила она, снимая свои черные очки, чтобы ничего не мешало слушать мой ответ.

— Да, а что? — в свою очередь удивился я.

— Но ведь они столько горя вам принесли?

— Что поделаешь, — сказал я, — ведь с тех пор столько времени прошло.

— И часто они приезжают? — спросила она, отклоняя мою ссылку на время.

— Довольно часто, — сказал я.

Когда волна от катера закачала лодку, она придержала мальчика за плечи, чтобы он не вывалился в море, и таким взглядом проводила катер, что мне показалось, я вижу над водой бурунчик от мины, догоняющей его.

...Я вспомнил, как во время войны пленные немцы, жившие у нас в городе, однажды устроили у себя в лагере концерт с губными гармошками и пением. Прохожие столпились у проволочной изгороди и слушали. А потом прошел немец со странной корзинкой, подозрительно напоминавшей инвентарь Красной Шапочки, и, подставляя ее поближе к проволочной изгороди, повторял страстным голосом проповедника: «Гитлер капут, дойч ист кайн капут!»

В корзину сыпалось не слишком густо, но все же сыпались папиросы, фрукты, куски хлеба. Немец на корзину не обращал внимания, а только страстно повторял: «Гитлер капут, дойч ист кайн капут!»

Часовой со стороны ворот медленно приближался, правильно рассчитав, что к его приходу немец успеет обойти всех. И в самом деле, когда часовой подошел к изгороди

и прогнал пленного, тот уже успел обойти всех и в последний раз, сверкая глазами, крикнул:

— Гитлер капут, дойч ист кайн капут!

— Запрещается, разойдись! — кричал часовой громко, силой голоса прикрывая отсутствие страсти.

Я помню: ни в толпе, которая медленно расходилась, ни в часовом не чувствовалось никакой вражды к этим немцам. Правда, они были пленные, а их соотечественники уже драпали на всех фронтах, но все еще шла война, и у каждого кто-то из близких был убит или еще мог быть убитым...

— Вы, наверное, кого-нибудь потеряли в войну, — сказал я.

— Нет, — ответила она, — но они бесчеловечны, что они сделали с Лондоном...

— А муж ваш воевал? — спросил я почему-то.

— Да, — сказала она и вдруг улыбнулась какому-то далекому воспоминанию, — он был танкистом.

Я про себя подумал, что ощущение рыцарского шлема на голове англичанина было в какой-то мере оправдано, раз он был танкистом.

Может быть осмелев от своей пронизательности, я спросил, не объясняется ли ее хороший русский язык хотя бы отчасти ее происхождением. Она благодарно улыбнулась и сказала, что она чистокровная египтянка, а русский язык выучила после войны, в Лондоне. Одно время она даже преподавала его, но теперь она целиком занимается семьей и только помогает мужу, собирая ему русские источники по вопросам социологии. По ее голосу можно было понять,

что труд этот не слишком обременителен. Оказывается, у нее еще двое детей, они сейчас отдыхают на Средиземном море.

— Папи, папи! — неожиданно гневно закричал мальчик, показывая рукой в сторону от лодки. Мне показалось, что в голосе его прозвенела затаенная ревность. В самом деле, за разговорами мы об англичанине слегка подзабыли. Он вынырнул метрах в пятнадцати от лодки, и видно было, с каким трудом он держится на воде. Как только я подгрёб, он ухватился одной рукой за лодку, а другой осторожно передал мне тяжелую глыбину с приросшими к ней кусками цемента, мелкими ракушками и водорослями. Она была величиной с голову мальчика. Я даже не знаю, как он удержался на воде в своем тяжелом снаряжении да еще с такой глыбой.

Он сорвал маску и, не говоря ни слова, минуты две дышал. Жена ему стала что-то говорить, видно, она его звала в лодку отдохнуть, но он замотал головой, а потом, натягивая маску, сказал:

— Стэн, — и снова нырнул.

К тому времени мы совсем близко подошли к берегу, правда, несколько в стороне от пляжа, но все еще во владениях санатория.

Человек, неожиданно вынырнувший с аквалангом, да еще что-то передавший в лодку, вызвал немедленно любопытство отдыхающих. Время от времени они подплывали и спрашивали, что мы здесь ищем. Я пытался погасить их интерес научным характером наших изысканий, но это не помогало.

— А что он положил? — спрашивал каждый, ухватившись за борт и заглядывая в лодку.

Некоторые после этого теряли интерес к нашей находке, зато, разглядев мою спутницу, начинали из воды ухаживать за нею, бесполезно пытаясь выманить ее в море или на берег.

У других, наоборот, находка англичанина разожгла любопытство. Во всяком случае, они стали нырять возле лодки, чтобы подсмотреть, что он там делает под водой. Здесь уже было довольно мелко, так что донырнуть до англичанина было нетрудно.

Вдруг я заметил, что вся эта подозрительная возня возле нашей лодки привлекла внимание пограничника, про которого я совсем забыл.

Он все еще стоял под своим грибком, теперь в метрах пятидесяти, и почти в упор рассматривал нас из бинокля. Я старался сделать беззаботное лицо, чтобы производить в бинокле хорошее впечатление. Возможно, мне это удалось, потому что через некоторое время, взглянув в его сторону, я заметил, что он уже за нами не следит.

На этот раз англичанин вынырнул у самой лодки и, ухватившись одной рукой за борт, другой осторожно вбросил тесак. Потом он сдернул с головы маску и знаками объяснил, что работать с тесаком опасно ввиду того, что многие ныряют вокруг. Немного отдохнув за бортом, он влез в лодку и снял с себя тяжелое снаряжение.

Мне было неудобно за его бесплодные поиски, но оказалось, что он доволен результатами.

— Стэн так шел, — показал он рукой в сторону моря. Потом он подержал в руке свой трофей, оглядывая его с разных сторон и пытаясь тесаком выколупать из него куски цемента. Цемент не поддавался. Англичанин весело злился.

— Старинный работ, великий работ, — сказал он удовлетворенно и вложил тесак в ножны.

— Яичная кладка, — пояснил я небрежно, сразу же исчерпав все свои познания по этому поводу.

Англичанин радостно закивал. Разумеется, я не был уверен, что здесь именно яичная кладка, но я знал, что в таких случаях принято так говорить, и, видно, попал в точку.

Мальчик что-то стал канючить, и по тону его я понял, что он просится в воду. Наконец англичанин разрешил ему, и мальчик как сидел, свесив ноги за борт, так и плюхнулся в море.

Англичанин порылся в своей неисчерпаемой сумке и вынул оттуда ржавый железный ящичек. Было похоже, что он его когда-то нашел на морском дне. Ящичек напоминал небольшую адскую машину времен первой мировой войны.

Англичанин мне объяснил, что это фотоаппарат для подводных съемок. Я вежливо кивнул, после чего он попросил меня сфотографировать его под водой. Я ему дал знать, что у меня нет никакого опыта подводных съемок. О том, что я и на суше никогда не фотографировал, я ему не стал говорить.

Англичанин махнул рукой и показал, что надо делать. Он отвинтил несколько колпачков от железного ящичка и пока-

зал мне на кнопку, которую надо нажимать, как только он, англичанин, появится на экране видеискателя, что ли. Как только он появится — ни раньше, ни позже.

Я надел его маску, чтобы лучше было видно под водой, и спустился за борт. Англичанин подал мне свой аппарат. Я осторожно поставил его на грудь и, придерживая его правой рукой, немного отошел от лодки. Только теперь я почувствовал, насколько это неудобное занятие. Аппарат был довольно увесистым, и я не представлял, как я его буду наводить на ныряющего англичанина и гнаться за ним под водой.

Англичанин спрыгнул за борт и стал подплывать ко мне, знаками показывая, чтобы я нырял, как только он уйдет под воду.

Я приготовился. Как только он открыл рот, чтобы набрать воздух, я нырнул ему навстречу. Хотя тело мое под тяжестью аппарата охотно погружалось в воду, я понял, что управлять им с перемещенным центром тяжести, да еще одной рукой, мне не под силу.

Все же несколько раз мы пытались с ним встретиться под водой. Но он уходил из поля моего зрения прежде, чем я успевал поднести к глазам этот проклятый аппарат, тяжелый, как утюг.

Один раз мы довольно близко сошлись под водой, и он даже успел мне сделать руками некий поощрительный знак, как бы означавший:

— Плыви ко мне, рыбка.

Я сделал еще один рывок к нему навстречу, но как только приспособил аппарат к глазам, почувствовал, что еще одно

мгновенье, и снимок мой можно будет считать посмертным или даже потусторонним.

Я рванулся вверх, едва подавив искушение бросить аппарат. Через несколько секунд после того, как я вынырнул и все еще никак не мог отдышаться, на воде появился неутомимый англичанин.

Отфыркиваясь, он сделал удивленную гримасу, теперь означавшую:

— Почему ко мне рыбка не приплыла?

У меня появилось неудержимое желание швырнуть этот аппарат в его голову, хотя бы для того, чтобы убедиться, насколько хорошо защищает ее этот рыцарский шлем.

Разумеется, я сдержал себя и только ограничился тем, что мысленно скинул с его головы золотистый, под цвет волос, великолепный рыцарский шлем. Во всяком случае, больше он мне не мерещился.

Я решил умереть, но добиться успеха. Я все-таки не забывал, что сверху за нами следит жена англичанина, а главное, я помнил его несправедливый упрек насчет спорта.

После моего первого неудачного ныряния у меня было мелькнула мысль тихо влезть в лодку и уже на обратном пути незаметно рассеять его спортивные впечатления дружеским рассказом о том, какой труднейший мяч взял когда-то Анзор.

Но теперь, после его дважды повторенного жеста («Плыви ко мне, рыбка!» и «Почему рыбка не приплыла?») я не мог перенести наш спор в область школьных воспоминаний.

Как только я твердо решил, что без подводного снимка английского социолога я сегодня не выйду из воды, мне в голову пришла довольно здравая мысль. Я решил не нырять ему навстречу с аппаратом, как он мне предлагал, а просто вертикально погружаться в воду, постепенно выдыхая воздух. Тут аппарат не только не мешал, а, наоборот, облегчал погружение. Я даже удивился, как ему самому такая простая мысль не пришла в голову. Во всяком случае, он сразу же со мной согласился.

Я набрал воздуха и стал погружаться в воду, постепенно выдыхая и стараясь не шевелиться. Теперь руки мои были заняты только аппаратом и я не тратил силы на ныряние. Через несколько секунд я заметил впереди себя в зеленой толще воды серебристую туманность. Стараясь не перевернуться, я осторожно поднес к глазам аппарат и, поймав на экране эту туманность, стал держать ее на прицеле. Через несколько мгновений из серебристых пузырьков туманности показалось лицо англичанина. Секунду он прямо смотрел на меня выпуклыми глазами Посейдона. Я успел нажать кнопку. Через миг экранец опустел, и я вынырнул.

Мы почти одновременно вынырнули. Отдышавшись, англичанин взглянул на меня и, видимо почувствовав удачу, спросил:

— Хорошо?

— Ол райт, — сказал я бодро.

После этого мы еще несколько раз ныряли, и почти каждый раз мне удавалось заснять его. В последний раз, когда он

проныривал надо мной, распластав руки, мне удалось заснять его в позе, напоминающей парящего орла.

Наконец мы влезли в лодку. Англичанин затащил своего сына. Мальчик, хотя и слегка посинел от холода, все еще не хотел вылезать. Я до того устал, что еле вскарабкался на лодку. Все-таки я был доволен, что справился с этим делом и в какой-то мере защитил наш спортивный престиж. Я даже решил, что, пожалуй, можно и не рассказывать англичанину, какой красивый мяч взял когда-то Анзор.

Жена англичанина протерла сына полотенцем и, укутав его этим же полотенцем, посадила рядом с собой. Другое полотенце она протянула мужу. Он предложил его мне, но я отказался. Англичанин тщательно и добросовестно протер себя полотенцем, как хорошо поработавшую, принадлежащую ему машину. Полотенце было мохнатым, узорчатым и ярким. Может быть, поэтому, чтобы красота полотенца не пропадала даром, он подпоясался им и стал складывать в сумку свое снаряжение аквалангиста.

Я заметил, что мальчик, все еще сидевший рядом с матерью на корме, украдкой посматривает на свою рану и слегка морщится.

— Что у него с ногой? — спросил я у матери.

— Не знаем, чесал, чесал, — проговорила она и, наклонившись к мальчику, выпростала ему ногу из полотенца.

— Надо показать доктору, — сказал я.

— Да, приедем — покажем, — согласилась она.

— Давайте покажем сейчас, — сказал я и кивнул в сторону санатория.

Жена англичанина поговорила с мужем, после чего он спросил у меня осторожно:

— Сколько деньги?

— Деньги не надо, — сказал я, обернувшись к нему.

— Не надо — это хорошо, — заметил он, как мне показалось, не вполне уверенно. Он уложил в сумку свой акваланг и теперь, стянув ее сверху ремешком, застегивал.

Мы еще шли вдоль территории военного санатория. Здесь уже редко кто купался. Метрах в двадцати от берега, за высокой оградой из проволочной сетки отдыхающие играли в волейбол. Я повернул лодку, и через пять минут она врезалась в береговой песок.

Англичанин помог мне вытащить лодку, я убрал весла и оделся. Мы договорились оставить жену у лодки, а сами втроем отправились к врачу. Я думал, что и он оденется, но он спокойно, взяв мальчика за руку, ждал, пока я оденусь. Мне хотелось сказать, чтобы и он оделся, но было как-то неудобно навязывать ему наш образ жизни или наши представления о приличии. Я знал, что, хотя санаторий расположен у самого берега, ходить здесь в таком виде не разрешается.

Я боялся, что по дороге нас задержит комендант или кто-нибудь из обслуживающего персонала. Пожалуй, даже было бы лучше, если б он был просто в плавках, а так могли подумать черт знает что, не зная, что он англичанин, и мохнатое полотенце вокруг его бедер в какой-то мере может сойти за шотландскую юбку.

Когда мы проходили мимо ограды из проволочной сетки, где играли волейболисты, я снова почувствовал некоторую тревогу. Дело в том, что в такое время здесь играют самые никудышные игроки. Настоящие игроки приходят позже, и тогда эти им уступают место. Но пока их нет, они резвятся на площадке самым безобразным образом.

Англичанин задумчиво посмотрел на волейболистов, но ничего не сказал. Я решил, что, пожалуй, все-таки стоит рассказать ему, какой мяч взял когда-то Анзор, но не навязывать ему этот рассказ, а так, вставить при случае.

— Деньги не берет? — снова неожиданно спросил англичанин, выходя из глубокой задумчивости. Мы уже благополучно миновали волейбольную площадку и окунулись в прохладу парка.

— Нот мани, — сказал я и небрежно махнул рукой в том смысле, что деньги для нас не имеют большого значения.

Я не думаю, что он, как крупнейший социолог левого толка, не слышал, что у нас лечение бесплатно. Вероятно, он хотел установить, распространяется ли право на бесплатное лечение на иностранных туристов, а может быть, он практически не мог представить, что такое бесплатное лечение, и, если оно есть, не пытается ли население симулировать болезни с тем, чтобы лишний раз попользоваться бесплатным лечением.

— Это хорошо, — кивнул он головой на мои слова и остановился, чтобы лучше их усвоить.

Я слегка сдвинул его с места, и мы снова пошли. Он все еще не выходил из глубокой задумчивости. Вид

у него был особенно комичен оттого, что сам он не испытывал ни малейшего стеснения по поводу своей шотландской юбки.

Мы обогнули клумбу с каннами, горящими, как кровавые факелы. Почему-то хотелось сорвать один из этих цветов и вручить ему, как олимпийский факел. Обогнув клумбу с каннами, мы вошли в бамбуковую аллею, и тут англичанин неожиданно стал похож на магараджу, возвращающегося в свой дворец после омовения в священных водах. Особенно он был похож на магараджу со спины.

Бамбуковая аллея выходила прямо к главному корпусу, где находилась медицинская служба. Заросли бамбука у самого здания настолько редели, что аллея легко просматривалась с обеих сторон. Поэтому мне хотелось, чтобы мы как можно быстрее прошли это место. Но именно здесь англичанин остановился и с некоторой тревогой спросил:

— Вояж доктор считаешь?

— Что? — переспросил я, не понимая, о чем он говорит.

Главное, он останавливался после каждого вопроса. Мы уже были в каких-нибудь двадцати шагах от главного корпуса.

— Мой платил вояж Советский Союз, — начал англичанин, глядя мне в глаза и терпеливо помигивая выцветшими ресницами.

— Да, — сказал я, стараясь понять его и украдкой наблюдая, нет ли поблизости коменданта или кого-нибудь из его помощников, что было бы еще хуже.

— Мой платил вояж, море, коттедж, — перечислял он и вдруг с силой логической догадки (лекторский прием) добавил: — И доктор!

Тут я догадался, что он имеет в виду. Он хотел сказать, что наш случайный поход к врачу входит в стоимость его путешествия в Советский Союз. Разумеется, такое толкование закона о бесплатном лечении я не мог оставить без уточнения, даже рискуя подвергнуть опасности само практическое применение этого закона.

— Биг дог, папи! — внезапно прервал нас звонкий голос мальчика. Он прозвучал, как голос юнги, первым заметившего вражескую бригантину.

Мальчик гордо приподнял голову, выпятил грудь и воинственно уставился на дорогу. Мне показалось, что в его храбром голосенке прозвучала англосаксонская готовность оказать сопротивление насилию в любой точке земного шара. Впрочем, одной рукой он крепко держался за руку отца.

Здоровенная санаторская овчарка, пес, давно заласканный и закармливаемый отдыхающими, ленивой трусцой прошел мимо нас, по-видимому даже не почуяв иностранного происхождения моих спутников. Мальчик проводил его взглядом и успокоился.

— Доктор не входит в стоимость вояжа, — сказал я несколько поникшим голосом, возвращаясь к нашей беседе, и сделал попытку сдвинуться с места.

— Зачем не входит? — строго спросил англичанин, отстраняя мою попытку.

— У нас доктор без денег, доктор нот мани, — добавил я для большей ясности. — Мне доктор без денег, вам доктор без денег, ему доктор без денег, — показал я на мальчика и сделал широкий жест рукой, как бы присоединяя к нам пляж, санаторий и всю страну.

— Коммунизмус! — радостно догадался англичанин.

— Да, — подтвердил я, но почему-то не успокаиваясь на достигнутом понимании. — Вир бауен моторен! Вир бауен турбинен! Вир бауен машинен! — в ритме марша добавил я неожиданно для себя.

По-видимому, в результате умственного перенапряжения в голове у меня произошел какой-то сдвиг и на поверхность всплыл этот обрывок стишка, когда-то наспех проглоченный на уроке немецкого языка и с тех пор бесцельно блуждавший в мутных глубинах памяти.

— Я, я! — по-немецки же прервал меня англичанин с некоторым раздражением, но не к самой индустриальной программе, как я понял, а к тавтологической длине списка.

После этого нам удалось сделать несколько шагов, но тут раздался карающий голос:

— Голые, куда прете, голые!

Я оглянулся. Пожилая женщина в хозяйственном халате вышла позади нас прямо из бамбуковой рощи.

Я решил этой горластой хозяйственнице не давать возможности приблизиться к нам и сам пошел ей навстречу. Я шел, глядя на нее и делая тайные знаки в том смысле, чтобы

она замолкла, что это совсем особый случай, где не нужно кричать, что сейчас я к ней подойду и все будет ясно.

— Голыми куда прете! — еще громче повторила она, показывая, что ее гримасами не возьмешь.

— Сейчас, сейчас, — взмолился я, убыстряя шаги и делая руками жесты наподобие дирижера, который умоляет оркестр перейти на пианиссимо.

— Вы с какого заезда, вы что, не знаете правила, а еще москвичи, голые прете по территории!

— Во-первых, я не голый, а во-вторых, он англичанин, — начал я, пытаюсь настроить эту камнедробилку на более академический лад.

— Так вы не наши! — взорвалась она и ринулась вперед в сторону англичанина так решительно, словно собиралась сдернуть с него полотенце.

Но нет, приблизившись к англичанину, она сначала девственно отвела голову в сторону, а потом и сама повернула направо к поредевшим зарослям бамбука, чтобы сократить путь к административной конторке. Халат ее развевался на ходу, цепляясь за мелкие поросли бамбука. Она его гневно одергивала руками, не давая снизить праведную скорость своего движения.

Когда я подошел к своим спутникам, она уже прошумела сквозь заросли и крикнула с той стороны:

— Стойте на этом месте, никуда не уходите!

— Мадам кричайт? — спросил англичанин, приподняв свои выгоревшие брови.

Я махал рукой возле головы, как бы ссылаясь на некоторое умственное расстройство этой женщины.

— Солнце, — догадался англичанин и кивнул на небо.

— Да, — сказал я, увлекая своих спутников как можно быстрее вперед.

— Голый англичанин! — услышал я издали, когда мы заворачивали за угол главного корпуса.

Нам нужно было войти в первую же дверь. У входа за столиком сидела девушка-дежурная.

— Кабинет кожника? — быстро спросил я, не давая ей опомниться.

— Второй этаж, первый направо, — по-военному отрапортовала она, стараясь не удивляться.

Я повернулся к англичанину и жестом устремил его в сторону лестницы, стараясь хотя бы с тыла прикрывать его наготу.

Англичанин был совершенно спокоен. Продолжая держать мальчика за руку, он с достоинством поднимался по лестнице, устланной ковром. Узор на ковре каким-то образом гармонировал с узорами на его набедренной повязке, и теперь он еще больше был похож на магараджу.

К счастью, больных, ждущих очереди, не оказалось, и я постучал в дверь.

— Войдите, — раздался спокойный женский голос. Я открыл дверь и вошел. За столом сидела миловидная женщина в халате, источавшем свет милосердия.

— Простите, — сказал я и в двух словах объяснил, в чем дело, не забыв отметить не вполне обычный костюм англичанина.

Доктор внимательно слушала меня, кивая головой и глядя на меня тем ясным профессиональным взглядом, цель которого не столько понимать пациента, сколько успокаивать его.

— Ничего страшного, — заключила она нашу короткую беседу, — зовите своих англичан.

Я сделал слегка замаскированный прыжок в сторону двери и открыл ее. Англичанин с ребенком вошли, и я быстро прикрыл за ними дверь. Теперь я был уверен, что комендант, даже если при нем и окажется достаточная подмога, не осмелится устраивать свалку в кабинете врача. Все же я считал: чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. Доктор, минуя обычные формальности, сразу взялась за ребенка. Она пододвинула мальчика, повернула его к окну и наклонилась над раной. При этом ее ангельский халат издал хруст надкушенной вафли.

— Ничего особенного, — сказала она и, взяв со стола пузырек с зеленкой, стала смазывать рану.

Мальчик мужественно молчал, время от времени слегка сжимая губы. Доктор смазала рану какой-то мазью, а потом перевязала ее бинтом таким же белоснежным, как ее халат.

Вдруг зазвонил телефон. Доктор сняла трубку. С того конца провода доносилось тревожное бормотанье. Я понял, что речь идет о нас, хотя ответы доктора были предельно односложны, а взгляд сохранял профессиональную ясность. И взгляд и ответы действовали успокаивающе. Во всяком случае, тревожное бормотанье на том конце провода постепенно теряло силу и наконец погасло.

Закончив сеанс телефонной психотерапии, доктор положила трубку и сказала:

— Мальчику не стоит купаться дней шесть, и все пройдет.

— Спасибо, доктор, — сказал я и пожал ей руку.

— Спасибо, доктор, — повторил англичанин и пожал ей руку.

— Не за что, — сказала доктор и вручила англичанину баночку с мазью.

— Смазывайте на ночь, и все пройдет, — сказала она.

Мы попрощались с доктором, она нас провела до двери и, прощаясь, потрепала мальчика по голове.

Англичанин с некоторой преувеличенной бережностью держал в мощной руке баночку, как бы перенося на этот маленький подарок ту почтительность, которую он испытывал к доктору. Бинт на ноге мальчика белел, как знак небесного прикосновения.

До лодки мы добрались без всяких приключений. Англичанин вручил жене баночку с мазью, как мне показалось, с тайным облегчением, перекладывая на нее бремя почтительности.

— Смазывать на ночь и дней шесть не купаться в море, — сказал я.

— Хорошо, — кивнула она, выслушав, и сунула баночку в один из кармашков своей сумочки. Она подошла к мальчику и, тронув рукой повязку на его ноге, что-то спросила.

Мальчик отрицательно мотнул головой, после чего мать поцеловала его в щеку. Мальчик тут же плечом стер символический след поцелуя.

Мы с англичанином столкнули лодку в воду. Я вставил весла в уключины, усадил гостей и, оттолкнувшись от берега, влез в лодку. Я в последний раз посмотрел на волейбольную площадку, но там все еще трудились дилетанты. Я налег на весла, но не успел отгрести и десяти метров, как мальчик закричал, показывая рукой на берег:

— Биг дог, папи!

Я посмотрел на берег и увидел возле ограды перед волейбольной площадкой ту самую женщину, что остановила нас в бамбуковой аллее. Она из-под руки смотрела в нашу сторону. У ног ее сидела та самая овчарка.

— Мадам кричайт, — нежно вспомнил англичанин.

Я повернул лодку в сторону причала и налег на весла. Я чувствовал, что мы слишком задержались. Англичанин и его жена стали одеваться.

Через некоторое время, оглянувшись, я заметил на причале долговязую фигуру Анзора. По его позе было заметно, что он уже давно нас ждет.

— Ну как? — спросил он, когда лодка слегка ударилась о деревянную стойку причала и стала отходить. Анзор ухватился за цепь, прикрепленную к бушприту, и подтянул лодку.

— Все хорошо, — сказал я.

— Надо делать карт! — крикнул англичанин и, приподняв со дна лодки обломок подводной стены, показал Анзору.

— Надо спешить, мы опаздываем в питомник, — сказал Анзор, уныло любуясь трофеем англичанина.

— Достал витамин? — спросил я у него, когда спутники мои вышли на причал.

— У них нет, но один человек обещал достать в военном санатории, — кивнул он в сторону моря.

— Стэн так идет, — сказал англичанин и тоже показал рукой в сторону моря.

— Очень интересно, — сказал Анзор.

Не выходя из лодки, я за руку попрощался с ними. Англичанин долго тряс мою руку, благодаря за нашу морскую прогулку. Потом он что-то быстро сказал жене. Порывшись в сумке, она достала визитную карточку и протянула мне.

— Будете в Лондоне, обязательно заходите, — сказала она, приветливо улыбаясь.

Это было так неожиданно, что я слегка растерялся.

— Мой дом — мир дружба! — радостно закивал головой англичанин в том смысле, чтоб я не стеснялся, а запросто, по-свойски зашел бы к ним, как только представится случай.

— Он такой, он обязательно зайдет, — сказал Анзор.

— Это хорошо! Пускай, пускай! — быстро замотал головой англичанин: дескать, так и надо, по-дружески, без церемоний.

— Спасибо, — сказал я и, осторожно вложив визитную карточку в карман, сел на весла.

Анзор оттолкнул лодку, я развернулся и стал грести к речке.

Я все еще видел, как они шли по причалу. Впереди англичанин с тяжелой сумкой в одной руке и подводным трофеем

в другой. Он держал его, прижав к груди, с той праздничной торжественностью, с какой отец семейства несет с базара первый арбуз сезона. Когда они поднялись на берег, мальчик оглянулся, и я ему махнул рукой, но он меня, кажется, не заметил.

Отойдя на порядочное расстояние от причала, я вынул из кармана визитную карточку, немного полюбовался ею и выбросил в море. Дело в том, что в ближайшие годы я не собирался ехать в Англию, а коллекционировать визитные карточки, как и любые вещи, у меня нет ни малейшей склонности. Тем не менее, у меня остались самые приятные воспоминания об этой забавной встрече.

Кстати, мои воспоминания чуть было не омрачило одно происшествие. К счастью, оно окончилось благополучно, и я не вижу причин не рассказать о нем.

Оказывается, дней через десять после нашей встречи, какой-то вор пробрался на территорию дома отдыха, где жил англичанин с женой и ребенком. Вор ограбил их коттедж, в котором оставался только мальчик, потому что сами они ушли куда-то в гости.

Вор вложил их вещи в их же чемоданы и, уже уходя, прихватил драгоценное кольцо, лежавшее на столике у зеркала. Жена англичанина собиралась его надеть перед тем, как идти в гости, но потом передумала и оставила его у зеркала.

Все это видел мальчик, который из своей кровати украдкой следил за вором. Когда вор стал уходить, мальчик

мужественно пытался его остановить, но тот сделал вид, пользуясь незнанием английского языка, что он его не понимает. К счастью, мальчика он не тронул, только пригрозил ему, чтобы он лежал тихо. Вор забрал почти все, что у них было, кроме акваланга и обломка подводной стены.

Это была очень неприятная история, и я подумал, как бы она не отразилась на их добром и даже отчасти восторженном отношении к нам. Говорят, жена англичанина была безутешна от потери фамильного кольца, а про остальные вещи даже не вспоминала.

Но тут я должен воздать хвалу нашим ребятам из уголовного розыска и других соответствующих учреждений. Они сделали все, что могли, и через три дня вор был пойман.

В одном из прибрежных городков, а именно в Гудаутах, вор обменял кольцо у местной продавщицы на бутылку дагестанского коньяка. Вечером продавщица пришла в этом колье на танцплощадку, где и была задержана. В ту же ночь вор был пойман у себя дома, и почти все вещи, за исключением каких-то пустяков, были возвращены хозяевам.

Через неделю, срочно отремонтировав помещение суда, вора судили. Англичанин с женой, приглашенные как пострадавшие, слушали дело. Говорят, она очень удивилась, увидев, что судья женщина. Оказывается, в Англии женщина не может быть судьей. Выходит, у них мужчина может судить женщину, а женщина мужчину не может. Вот тебе и походы Кромвеля!

Говорят, англичанам так понравилось безупречное ведение суда, что они даже пытались воздействовать на приговор в смысле его смягчения. Но тут женщина-судья, говорят, объяснила им, что, хотя вор обокрал англичан, судить его мы можем только по нашим законам, поэтому, при всем уважении к нашим гостям, она никак не может пойти на незаконное смягчение приговора.

Говорят, такая твердость законов, а также твердость женщины-судьи тоже понравились англичанам, и они больше не стали настаивать на своем, а продолжали отдых уже без всяких приключений.

Позже я несколько раз читал в наших центральных газетах перепечатки статей моего знакомого англичанина. В этих статьях он довольно удачно высмеивал лейбористов за их неумелое управление государством, при этом у него как-то само собой получалось, что консерваторы отнюдь не лучше, хотя о них он и не писал.

Говорят, в этом году он снова приезжал отдыхать к нам на Черное море, но я его больше не видел, потому что теперь он отдыхал в Крыму.

Анзор по-прежнему работает экскурсоводом.

Недавно недалеко от причала я встретил его с большой группой наших туристов. Он им рассказывал про затонувшую часть города, не забыв упомянуть, что в прошлом году в нашей бухте нырял с целью ее исследования знаменитый английский социолог. Туристы, как всегда, покорно слушали, хотя по их лицам я не заметил желания последовать примеру знаменитого англичанина.

летним днем

В жаркий летний день я сидел у лодочного причала и ел мороженое с толченым орехом. Такое уж тут мороженое продают. Сначала накладывают тебе в металлическую чашечку твердые кругляки мороженого, а потом посыпают сверху толченым орехом. Наверное, можно было попросить не посыпать его толченым арахисом (если уж быть точным), но никто не просил, поэтому не решился и я.

Юная продавщица в белоснежном халате, на вид прохладная и потому приятная, работает молча, мягко, равномерно. Никому не хочется менять этого налаженного равновесия. Жарко, лень.

Цветущие олеандры бросают негустую тень на столики открытого кафе. Сквозь их жидковатые кусты с моря задувает спасительный ветерок. От истомленных розовых цветов потягивает сладковатый гнилостный запах. Сквозь ветви олеандров виднеется море и лодочный причал.

Вдоль берега время от времени медленно проходят лодки рыбаков-любителей. За каждой лодкой по дну волочится самодельный трал — кошелка на железном обруче.

Сегодня суббота. Рыбаки ловят креветок, готовятся к завтрашной рыбалке. Иногда лодка останавливается, сидящий на корме подтягивает канат и вволакивает в лодку тяжелую от ила и мокрого песка кошелку. Склонившись, долго выбирают из нее креветок, выбрасывая за борт шлепающие при-

горшни ила. Освободив кошелку, они ополаскивают ее в воде и забрасывают за корму, стараясь держаться подальше от тра-ла, чтобы близость лодки не пугала креветок. Они проходят очень близко от берега, потому что в такую погоду креветки выбирают к самой кромке воды.

На верхнем ярусе причала пляжники ожидают катера. Из воды доносятся азартно перебивающие друг друга голоса мальчишек. Они просят, пожалуй, скорее требуют, чтобы пляжники бросали в воду монеты. Туговато поддаваясь на эти уговоры, пляжники время от времени швыряют в воду монеты. Судя по их липам, склоненным над барьером причала, большого веселья от этого занятия они не испытывают. Один из пацанов все время отплывает подальше от причала и требует, чтобы бросали в глубину. Блеснув на солнце, монета иногда летит в его сторону. Здесь достать ее трудней, зато нет соперников, и он спокойно работает один.

Некоторые пацаны прыгают за монетами прямо с пристани. Звук шлепающегося в воду тела, детские голоса обдают свежестью. Когда катер с пляжниками отходит от причала, те из пацанов, которым удалось поймать несколько монет, прибегают наверх и покупают мороженое. Мокрые, дрожащие от холода, громко звякая ложками, они поедают свою порцию и снова бегут на причал.

— Здесь свободно? — услышал я над собой мужской голос.

Возле моего столика стоял человек с чашечкой мороженого и свернутой газетой в руке.

— Да, — сказал я.

Он кивнул головой, отодвинул стул и сел. Занятый морем, я не заметил, как он подошел к моему столику. По выговору, по едва заметной растяжке слов я догадался, что он немец. Это был загорелый человек лет пятидесяти пяти, с коротким энергичным ежиком светлых волос, с чуть асимметричным лицом и яркими глазами.

Сейчас в руке он держал одну из черноморских русских газет. Некоторое время он просматривал ее, потом усмехнулся и, отложив газету, принялся за мороженое. Усмешка усилила асимметрию его лица, и я подумал, что привычка усмехаться таким образом, может быть, слегка стянула в сторону нижнюю часть его в остальном правильного лица.

Мне захотелось узнать, чему это он там усмехнулся, и я попытался незаметно заглянуть в газету.

— Хотите прочесть? — спросил он живо, заметив мою не слишком ловкую попытку и протягивая газету.

— Нет, — сказал я и, по тону почувствовав, что душа его жаждет общения, добавил: — Вы очень хорошо говорите по-русски.

— Да, — согласился он, и его яркие глаза блеснули еще ярче, — это моя гордость, я с юношеских лет изучаю русский язык.

— Да ну? — удивился я.

— Да, — повторил он энергично и добавил с неожиданным лукавством: — Догадайтесь, почему?

— Не знаю, — сказал я, слегка притормаживая выражение общительности, если, конечно, оно было у меня на лице. — Чтобы читать Достоевского?

— Точно, — кивнул он и отодвинул пустую чашечку. Все это время он энергично орудовал над ней, в то же время не выпуская меня из поля зрения своих ярких глаз. Так что для совмещения этих двух дел ему приходилось смотреть на меня почти все время исподлобья.

— Как вам здесь нравится? — спросил я у моего собеседника.

— Хорошо, — кивнул он головой. — Вот приехал с женой и дочкой, хотя у вас это очень дорого стоит...

— А где они? — спросил я.

— Вот жду их с пляжа, — сказал он и посмотрел на часы, — я решил сегодня погулять по городу один.

— Слушайте, — сказал я, стараясь сдерживать воодушевление, — что, если мы разопьем бутылку шампанского?

— Готов, — сказал он добродушно и развел руками. Я встал и подошел к буфету.

Из голубого пластика и стекла, сверкая обтекаемыми изгибами, буфет напоминал по своим очертаниям скорее летательный аппарат, чем торговую точку.

Внутри этого пластика и стекла сидел буфетчик и с буколическим благодушием ел мамалыгу с сыром. Рядом с ним возвышалась жена, а внизу, запустив руку в ящик с конфетами и задумчиво роясь в нем, стоял ребенок.

— Шампанское и кило яблок, — сказал я, оглядев витрины.

Единственная официантка, опершись спиной о стойку буфета, стояла рядом со мной и ела мороженое. Буфетчик вы-

тер руки тряпкой и, почмокивая языком, полез в бочку со льдом. Официантка и ухом не повела на мой заказ.

— Иностранец, — кивнул я головой в сторону моего столика.

Буфетчик ответил мне понимающим кивком, и я почувствовал, как рука его, похрустывая сдавленными льдинками, глубже зарылась в бочку. Официантка спокойно продолжала есть мороженое.

— Скажи детям, чтоб тише сидели, — услышал я за спиной голос буфетчика.

Рядом с нами за освободившийся столик уселись ловцы монет. Локти пацанов непрерывно двигались по столу. Один из них то и дело мотал головой, чтобы вытряхнуть воду из уха, что вызывало у остальных приступы неудержимого смеха. Мокрые, загорелые, в гусиной коже от холода, дети выглядели крепышами, и на них было приятно смотреть.

Официантка принесла вазу с яблоками и бутылку шампанского. Поставив вазу на стол, она стала снимать с горлышка бутылки фольговую обертку. Пацаны за соседним столом замерли, ожидая, когда хлопнет пробка. Тут я заметил, что она еще не принесла бокалов, и остановил ее. Она нисколько не обиделась на это, но и не смущаясь промахом, отправилась за бокалами. В ней угадывалось повышенное чувство независимости. Кроме того, скрытая прония по отношению ко всем клиентам. Особенно это угадывалось, когда она удалялась, покачивая широкими бедрами, но в меру, для собственного удовольствия, а не для кого-то там.

Через минуту она вернулась с двумя длинными узкими бокалами. Пробку она открыла, постепенно выпуская газ, так что мальчишки, замершие было снова в ожидании выстрела, были разочарованы. Мы выпили за встречу по полному бокалу.

— Божественный напиток, — сказал немец и твердо поставил пустой бокал. Лоб у него покрылся мелкими капельками пота. Шампанское и в самом деле было очень хорошим.

— Во времена нацизма вы жили в Германии? — спросил я у него, когда разговор зашел о фильме Ромма «Обыкновенный фашизм», который он очень хвалил. Оказывается, он его смотрел еще у себя в Западной Германии.

— Да, — сказал он, — с первого дня до разгрома.

— Дело прошлое, — спросил я, — как вы думаете, Гитлер был по-своему человеком умным или талантливым?

— Умным он никогда не был, — качнул головой мой собеседник, слегка оттянув в сторону губу, — но он обладал, по моему, своего рода гипнотическим даром...

— Как это понять?

— Речи его возбуждали толпу, внушали ей своеобразный политико-половой психоз...

— Ну, а «Майн кампф»? — спросил я. — Что это?

— По форме это типичный поток сознания... Только, в отличие от Джойса, это поток глупого сознания...

— Меня интересует не форма, — пояснил я свой вопрос, — меня интересует, каким образом он доказывал в этой книге, ну, скажем, необходимость уничтожения славян?

— В «Майн кампф» все это подавалось в очень туманной упаковке, прямо обо всем этом они начали говорить только после прихода к власти, а эта книга написана в двадцать четвертом году. Вообще ничтожная полуграмотная книжка, — добавил он презрительно. Чувствовалось, что ему скучно о ней говорить.

— Это вы сейчас так думаете или и тогда она вам казалась такой? — спросил я.

— Я и тогда так думал, — несколько надменно, как мне показалось, ответил он и вдруг добавил: — За что чуть не поплатился...

Он остановился, словно вспоминая что-то, а может, раздумывая, стоит ли рассказывать?

— Мои вопросы вам не надоели? — спросил я, разливая шампанское.

— Нет, нет, — живо возразил он и, отпив несколько глотков из бокала, твердо поставил его на столик. По-видимому, устойчивость этого бокала не внушала ему доверия.

— Это была мальчишеская затея, — сказал он, улыбнувшись. — Мы с двумя товарищами однажды ночью пробрались в здание нашего университета и разбросали там листовки. В них приводилось несколько явно неграмотных цитат из «Майн кампф» и говорилось о том, что человек, плохо знающий немецкий язык, не может претендовать на роль вождя немецкого народа.

— Ну и что было? — спросил я, стараясь не слишком обнажать свое любопытство.

— Нас спасла схематичность полицейского мышления, — сказал он и, допив шампанское из бокала, встал, услышав гудок подходящего катера. — Сейчас приду, — кивнул он и быстро направился к причалу, легко перебирая мускулистыми ногами.

Только сейчас я заметил, что он в шортах.

За столиком, где до этого сидели мальчишки, сейчас сидел местный пенсионер. Это был небольшой розовый старик в чистом чесучовом кителе. На столике у него стояла бутылка боржома и маленький граненый стаканчик, из которого он время от времени попивал боржом двумя-тремя глоточками. Отопьет, пожует губами и, перебирая четки, глядит на окружающих с праздным любопытством.

Всем своим видом он как бы говорил: вот я в жизни хорошо поработал, а теперь пользуюсь заслуженным отдыхом. Захочу — пью боржом, захочу — четки перебираю, а захочу — просто так сижу и смотрю на вас. И вам никто не мешает хорошо поработать, чтобы потом, в свое время, пользоваться, как я сейчас пользуюсь, заслуженным отдыхом.

Сначала он сидел один, но потом за его столик присела с чашечкой мороженого крупная, как-то неряшливо окрашенная женщина с деревянными бусами на шее. Сейчас они оживленно беседовали, и в голосе пенсионера все время чувствовался холодок интеллектуального превосходства, который собеседница безуспешно пыталась растопить, отчего в ее собственный голос проскальзывали нотки тайной обиды

и даже упрека. Но старик, не обращая на них ни малейшего внимания, упрямо держался взятого тона.

Я стал прислушиваться.

— ...Япония сейчас считается великой страной, — сказал пенсионер, перебрасывая несколько бусинок на четках, — и, между прочим, у них очень красивые женщины встречаются.

— Зато мужчины некрасивые, — радостно подхватила женщина, — в сорок пятом году у нас в Иркутске я видела много пленных японцев, среди них ни одного красивого не было...

— Пленные никогда красивыми не бывают, — перебил ее пенсионер наставительно, как бы вскрывая за ее этнографическим наблюдением более глубокий, психологический смысл и тем самым сводя на нет даже скромную ценность самого наблюдения.

— Но почему же... — запротестовала было женщина, но Chesuchovyy поднял палец, и она замолкла.

— В то же время Япония в будущем — крупный источник агрессии, — сказал он, — потому что связана с Америкой через банковский капитал.

— По-моему, в Америке, кроме десяти процентов, все остальные негодяи, — сказала женщина и, посмотрев на руки старика, сейчас снова перебирающие четки, зачем-то притронулась к своим бусам.

— Богатейшая страна, — сказал пенсионер задумчиво и поставил локти на столик — сквозь широкие чесучовые рукава два острых независимых локотка.

— ...Дочь Дюпона, — начал он что-то рассказывать, но остановился, вспомнив об уровне аудитории. — Дюпон кто такой, знаете?

— Ну этот самый, — растерялась женщина.

— Дюпон — миллиардер, — жестко уточнил старик и добавил: — А против миллиардера миллионер считается нищим.

— Господи, — вздохнула женщина.

— Так вот, — продолжал пенсионер, — дочь Дюпона пришла на один банкет с бриллиантами на десять миллионов долларов. А теперь спрашивайте, почему ее никто не ограбил?

Старик слегка откинулся, как бы давая время и простор для любых догадок.

— Почему? — спросила женщина, все еще подавленная богатством миллиардерши.

— Потому что ее сопровождали пятьдесят переодетых сыщиков в виде знатных иностранцев, — торжественно заключил пенсионер и отпил боржом из своего маленького стаканчика.

— Они интимную переписку адмирала Нельсона предали огласке, — вспомнила женщина, — мало ли что мужчина может писать женщине...

— Знаю, — строго перебил ее старик, — но это англичане.

— Все равно это подлость, — сказала женщина.

— Вивьен Ли, — продолжал пенсионер, — пыталась спасти честь адмирала, но у нее ничего не получилось.

— Я знаю, — кивнула женщина, — но она, кажется, умерла...

— Да, — подтвердил старик, — она умерла от туберкулеза, потому что ей нельзя было жить половой жизнью... Вообще при туберкулезе и при раке, — придерживая одной рукой четки, он на другой загнул два пальца, — половая жизнь категорически запрещается...

Это прозвучало как сдержанное предупреждение. Старик слегка покосился на женщину, стараясь почувствовать ее личное отношение к вопросу.

— Я знаю, — сказала женщина, не давая ничего почувствовать.

— Виссарион Белинский тоже умер от ТБЦ, — неожиданно вспомнил пенсионер.

— Толстой — мой самый любимый писатель, — ответила ему на это женщина.

— Смотря какой Толстой, — поправил старик, — всего их было три.

— Ну, конечно, Лев Толстой, — сказала женщина.

— «Анна Каренина», — заметил пенсионер, — самый великий семейный роман всех времен и народов.

— Но почему, почему она так ревновала Вронского?! — с давней горечью заметила женщина. — Это ужасно, этого никто не может перенести...

Толпа пляжников поднялась на берег и лениво разбрелась по улице. Иностранки в коротких купальных халатах казались особенно длинноногими. Несколько лет тому назад им

не разрешали в таком виде появляться в городе, но теперь, видимо, примирились.

Появился мой собеседник.

— Что-то сильно запаздывают, — сказал он без особого сожаления и присел за столик. Я разлил шампанское.

— Вот вам и немецкая аккуратность, — сказал я.

— Немецкая аккуратность сильно преувеличена, — ответил он.

Мы выпили. Он взял из вазы яблоко и крепко откусил его.

— Значит, вас спасла схематичность полицейского мышления? — напомнил я, дав ему проглотить откушенный кусок.

— Да, — кивнул он головой и продолжил: — Гестапо поставило вверх дном философский факультет, но нас почему-то не тронули. Решили, что это дело рук студентов, которые по роду своих занятий могли Гегеля сравнить с Гитлером. В один день на всех курсах философского факультета у студентов отобрали конспекты, хотя мы писали эти листовки измененным почерком и печатными буквами. Двое отказались отдавать конспекты, и их прямо из университета забрали в гестапо...

— Что с ними сделали? — спросил я.

— Ничего, — ответил он, усмехнувшись своей асимметричной усмешкой, — на следующий день их выпустили с большими извинениями. У смельчаков оказались высокопоставленные родственники. У одного из них дядя работал чуть ли не в канцелярии самого Геббельса. Правда, пока это

выяснилось, ему успели под глазом оставить... — Он сделал красноречивый жест кулаком.

— Синяк, — подсказал я.

— Да, синяк, — с удовольствием повторил он, по-видимому, выпавшее из памяти слово, — и он этот синяк целую неделю с гордостью носил. Вообще для рейха было характерно возвращение назад, к простейшим родовым связям.

— Это делалось сознательно или вытекало из логики режима? — спросил я.

— Думаю, и то и другое, — сказал он, помедлив, — функционеры рейха старались подбирать людей не только по родственным, но и по земляческим признакам. Общность происхождения, общность воспоминаний о родном крае и тому подобное давало им эрзац того, что у культурных людей называется духовной близостью. Ну и, конечно, система незримого заложничества. Например, над нашей семьей все время висел страх из-за маминого брата. Он был социал-демократом. В тридцать четвертом году его арестовали. Переписка длилась несколько лет, а потом наши письма стали приходиться обратно со штампом «адресат унбекант», то есть адресат выбыл. Маме мы говорили, что его перевели в другой лагерь без права переписки, но мы с отцом подозревали, что его убили. Так оно и оказалось после войны...

— Скажите, — спросил я, — это вам не мешало в учебе или в работе?

— Прямо не мешало, — сказал он, подумав, — но все время было ощущение какой-то неуверенности или даже вины.. Это

ощущение трудно передать словами, его надо пережить... Оно временами ослабевало, потом опять усиливалось.. Но полностью никогда не исчезало... Комплекс государственной неполноценности — вот как я определил бы это состояние.

— Вы очень ясно выразились, — сказал я и разлил остатки шампанского. Возможно, под влиянием напитка или точного определения, но я очень ясно представил описанное им состояние.

— Чтобы вы еще лучше могли представить это, я вам расскажу такой случай из своей жизни, — сказал он и, щелкнув губами, поставил на столик пустой бокал. Видно было, что шампанское ему очень нравится.

— Выпьем еще бутылку? — спросил я.

— Идет, — согласился он, — только теперь за мой счет...

— У нас это не положено, — сказал я, чувствуя некоторый прилив великодушной спеси.

Я приподнял пустую бутылку и показал ее официантке. Она наблюдала за рабочим, присевшим на корточки возле бочки, в которую был погружен бак с мороженым, — рабочий расколачивал обухом топорика брусок льда, обернутый мокрой мешковиной. Официантка кивнула и неохотно подошла к буфету. Мой собеседник закурил и угостил меня.

Пенсионер все еще разговаривал со своей собеседницей. Я снова прислушался.

— Черчилль, — сказал он важно, — кроме армянского коньяка и грузинского боржома, никаких напитков не признавал.

— А он не боялся, что ему отомстят? — сказала женщина, кивнув на бутылку с боржомом.

— Нет, — ответил пенсионер миролюбиво. — Сталин ему дал слово. А слово Сталина — знаете, что это такое?

— Конечно, — сказала женщина.

— Интересно, — заметил немец, — какое из местных вин у вас популярно?

— Я читал переписку Сталина с Черчиллем, — сказал пенсионер, — редкая книга.

— Сейчас, — сказал я, невольно прислушиваясь к разговору за соседним столиком, — популярно вино «изабелла».

— Вы не могли бы мне дать ее почитать? — попросила женщина.

— Не слышал, — сказал мой собеседник, подумав.

— Эту не могу, дорогая, — смягчая интонацией отказ, проговорил пенсионер, — но другую редкую книгу пожалуйста. С тех пор как я на пенсии, я собираю все редкие книги.

— Это местное крестьянское вино, — сказал я, — сейчас оно модно. — Немец кивнул.

— А «Женщина в белом» у вас есть?

— Конечно, — кивнул пенсионер, — у меня есть все редкие книги.

— Дайте мне ее почитать, я быстро читаю, — сказала она.

— «Женщину в белом» не могу, но другие редкие книги пожалуйста.

— Но почему «Женщину в белом» вы не можете дать? — с обидой сказала она.

— Не потому, что не доверяю, а потому, что она сейчас на руках у одного человека, — сказал старик.

— Мода — удивительная вещь, — вдруг произнес мой собеседник, гася окурок о пепельницу, — в двадцатые годы в Германии был популярен киноактер, который играл в маске Гитлера.

— Каким образом? — не понял я.

— Он почувствовал или предугадал тот внешний облик, который должен полюбиться широкой мешанской публике... А через несколько лет его актерский образ оказался натуральной внешностью Гитлера.

— Это очень интересно, — сказал я.

Подошла официантка со свежей бутылкой шампанского. Я не дал ей открыть ее, а сам взял в руки мокрую холодную бутылку. Официантка убрала пустые чашечки из-под мороженого.

Я содрал обертку с горлышка бутылки и, придерживая одной рукой белую полиэтиленовую пробку, другой стал раскручивать проволоку, скрепляющую ее с бутылкой. По мере того как я раскручивал проволоку, пробка все сильнее и сильнее давила на ладонь моей руки и подымалась, как сильное одушевленное существо. Я дал постепенно выйти газу и разлил шампанское. Когда я наклонил бутылку, оттуда выпорхнула струйка пара.

Мы выпили по полному бокалу. Свежая бутылка была еще холодней, и пить из нее было еще приятней.

— После университета, — сказал он, все так же твердо ставя бокал, — я был принят в институт знаменитого про-

фессора Гарца. Я считался тогда молодым, так сказать, подающим надежды физиком и был зачислен в группу теоретиков. Научные работники нашего института жили довольно замкнутой жизнью, стараясь отгородиться, насколько это было возможно, от окружающей жизни. Но отгородиться становилось все трудней хотя бы потому, что каждый день можно было погибнуть от бомбежки американской авиации. В сорок третьем году у нас в городе были разрушены многие кварталы, и даже любителям патриотического средневековья уже было невозможно придать им вид живописных развалин. Все больше и больше инвалидов с Восточного фронта появлялось на улицах города, все больше измученных женских и детских лиц, а пропаганда Геббельса продолжала трубить о победе, в которую — в нашей среде во всяком случае — уже никто не верил.

Однажды воскресным днем, когда я сидел у себя в комнате и читал одного из наших догитлеровских романистов, я услышал из соседней комнаты голоса жены и незнакомого мужчины. Голос жены мне показался тревожным. Она приоткрыла дверь, и я увидел ее взволнованное лицо.

«К тебе», — сказала она и пропустила в дверь мужчину. Это был незнакомый мне человек.

«Вас вызывают в институт, — сказал он, поздоровавшись, — срочное совещание».

«Почему же мне не позвонили?» — спросил я, взглядываясь в него. По-видимому, решил я, какой-то новенький из администрации.

«Сами понимаете», — сказал он многозначительно.

«Но почему в воскресенье?» — спросила жена.

«Начальство приказывает, мы не рассуждаем», — ответил он, пожимая плечами.

Мы уже давно привыкли к полицейской игре в бдительность вокруг нашего института, и с этим ничего нельзя было поделаться. Стоило позвонить из одной комнаты в другую и начать разговор с кем-нибудь из коллег по той или иной конкретной проблеме, как телефон мгновенно выключался. Считалось, что так они нас оберегают от утечки информации. Теперь надумали сообщать об особо секретных совещаниях через своих штатских ординарцев.

«Хорошо, сейчас», — сказал я и стал переодеваться.

«Может, вам сделать кофе?» — спросила жена. Я по голо-су ее чувствовал, что она все еще тревожится.

«Хорошо», — сказал я и кивнул ей, чтобы она успокоилась.

«Спасибо», — сказал человек и сел в кресло, искоса оглядывая книжные полки. Жена вышла из комнаты.

«Я из гестапо», — сказал он, прислушиваясь, как за женой захлопнулась дверь в другой комнате. Он это сказал тихим, бесцветным голосом, как бы стараясь сдержаться, насколько это возможно, взрывную силу своей информации.

Я почувствовал, как мои пальцы мгновенно одеревенели и никак не могут свести пуговицу с петлей на рубашке. Огромным усилием воли я заставил себя негнушимися пальцами провести пуговицу в петлю и затянуть галстук. Помню

до сих пор эти несколько мгновений удушающей тишины, гроыхание накрахмаленной рубашки и какое-то раздражение на жену за то, что она всегда мне чуть-чуть перекрахмаливала рубашки, и — удивительное дело! — ощущение какого-то неудобства, что я так непочтительно переодеваюсь на глазах этого человека, и сквозь все эти ощущения — напряженно пульсирующую тревожную мысль: не спеши, ничем не выдавай тревоги...

«Чем могу служить?» — повернулся я к нему наконец.

«Я уверен, что какой-то пустяк», — сказал он безо всякого выражения, кажется, все еще прислушиваясь к другой комнате. Дверь в той комнате отворилась, жена несла кофе.

Мы посмотрели друг на друга. Он сразу понял мой молчаливый вопрос.

«Не стоит тревожить», — сказал он и выразительно посмотрел на меня.

Я кивнул как можно бодрей. Надо было показывать, что я ничего не боюсь и верю в свое быстрое возвращение. Я вложил в книгу закладку и, захлопнув ее, оставил на столе. Если он следил за моим поведением, этот жест он должен был оценить как уверенность в том, что я сегодня еще собираюсь вернуться к своей книжке.

«Вы знаете, мы решили идти», — сказал он, вставая, когда жена остановилась в дверях с дымящимся подносом.

«Ничего, — сказал я, — успеем».

Я взял чашку и стоя, обжигаясь, выпил ее в несколько глотков. Он тоже пригубил. Жена все еще что-то чувствовала

ла, она догадывалась, что, пока ее здесь не было, я должен был узнать что-то более определенное, и сейчас заглядывала мне в глаза. Я никак не отвечал на ее взгляды. Она смотрела на него, он тем более оставался непроницаемым. Она чувствовала в его облике какую-то неуловимую странность, но никак не могла ее определить. Пожалуй, это была странность страхового агента. Темно-синий макинтош придавал ему мрачноватую элегантность.

«Но ты придешь к обеду?» — спросила она, когда я поставил чашку на поднос. До обеда оставалось еще часа четыре.

«Конечно», — сказал я и посмотрел на него.

Он кивнул, не то подтверждая мое предположение, не то одобряя меня за то, что я включился в игру.

Когда мы вышли на улицу и немного отошли от дома, он остановился и сказал:

«Я пойду вперед, а вы идите за мной».

«На каком расстоянии?» — спросил я и сам удивился своему вопросу. Я уже старался жить по их инструкции.

«Шагов двадцать, — сказал он, — у входа я вас подожду».

«Хорошо», — сказал я, и он пошел вперед.

Два уязвимых пункта были в моей биографии. Это судьба дяди и листовки. Я понимал, что о дяде они знают все. Но что они знают о листовках? С тех пор прошло шесть лет. Но для них нет срока давности, и они ничего не прощают. Неужели кто-то из остальных проговорился? Я об этом рассказывал только одному человеку, моему давнему школьному товарищу. В нем я был уверен, как в самом себе.

Но, может, кто-то из остальных доверился, так же как и я, близкому человеку, а тот его предал? Но если они что-то знают, почему они меня не возьмут прямо? Думая обо всем этом, я шел за своим посыльным. Он не слишком торопился. В мягкой шляпе и темно-синем макинтоше сейчас он был похож скорее на праздного гуляку, чем на работника гестапо.

Гестапо было расположено в старинном особняке, окруженном большими платанами. С одной стороны особняк выходил на зеленую лужайку, где сейчас школьники играли в футбол. Несколько велосипедов, сверкая никелем, лежало в траве. Было странно видеть этих мальчишек, слышать их возбужденные голоса рядом с этим мрачным зданием, назначение которого все в городе знали. Тротуар на этой стороне квартала был почти пуст, люди предпочитали ходить по той стороне. Вслед за своим провожатым я вошел в коридор, освещенный довольно тусклой электрической лампочкой. Часового в дверях не было. Наклонившись к окошечку дежурного, мой провожатый дожидался меня. Увидев меня, он кивнул дежурному в мою сторону. Тот говорил по телефону. Дежурный мельком посмотрел на меня и положил трубку.

На столе у него стоял чай с обтрепанным ломтиком лимона. Он помешал его ложкой и отхлебнул. Мы двинулись по коридору, в глубине которого виднелась железная клетка лифта. Мы вошли в лифт, он захлопнул железную дверь и нажал кнопку. Лифт остановился на третьем этаже.

Мы вышли из лифта и пошли по длинному коридору, освещенному тусклым электрическим светом. Свернули в какой-то боковой коридор, оттуда в другой, и наконец, когда мне показалось, что коридоры никогда не кончатся, мы остановились у двери, обитой черной кожей или каким-то материалом под черную кожу.

Мой провожатый кивком предложил мне подождать и, сняв шляпу, слегка приоткрыл дверь. Но еще до того, как он ее приоткрыл, он как-то неожиданно всем своим темно-синим макинтошем растворился в черном силуэте дверей. Этот коридор, как и все остальные, был плохо освещен.

Минут через пять дверь опять приоткрылась, и я увидел бледное пятно лица моего провожатого на черном фоне дверей. Пятно кивнуло, и я вошел в кабинет.

Это была большая светлая комната с окнами на зеленую лужайку, где мальчики по-прежнему играли в футбол. Я никак не ожидал, что мы на этой стороне здания, я был уверен, что кабинет этот расположен совсем с другой стороны. Может, это случайность, но тогда мне показалось, что они нарочно сбили меня с пространственного ориентира. За большим голым столом — кроме чернильного прибора, раскрытой папки и стопки чистой бумаги, на нем ничего не было, — так вот, за этим столом сидел человек лет тридцати с узким, тщательно выбритым лицом. Мы поздоровались, и он через стол протянул мне руку.

«Садитесь», — сказал он и кивнул на кресло. Я сел. С минуты он довольно небрежно перелистывал папку, лежавшую

перед ним. Стол был очень широкий, и прочесть то, что он листал, было никак невозможно. Но я был уверен, что это моя папка.

«Вы давно в институте?» — спросил он, продолжая вяло перелистывать папку.

Я коротко ответил, уверенный, что он гораздо подробней, чем спрашивает, знает обо мне. Он опять пролистал несколько страниц.

«В каком отделе?» — спросил он.

Я назвал отдел, и он кивнул головой, все еще глядя в папку, как бы найдя в ней подтверждение моим словам.

«Как в институте относятся к войне с Россией?» — спросил он, на этот раз подняв голову.

«Как и весь немецкий народ», — сказал я.

В его темных миндальных глазах появилось едва заметное выражение скуки.

«А если более конкретно?» — спросил он.

«Вы знаете, — сказал я, — ученые мало интересуются политикой».

«К сожалению, — кивнул он важно и вдруг добавил, приосаниваясь: — А вы знаете, что работами вашего института находит время интересоваться сам фюрер?»

Взгляд его на мгновение остекленел, и во всем его облике появилось отдаленное сходство с Гитлером.

«Да», — сказал я.

Администрация института доверительно говорила нам об этом много раз, давая знать, что в ответ на этот исключи-

тельный интерес фюрера мы должны проявлять исключительное рвение в работе.

«Но не только фюрер интересуется вашими работами, — продолжил он после щедрой паузы, как бы дав мне насладиться приятной стороной дела, — ими интересуются также и враги рейха».

Взгляд его на мгновение снова остекленел, и он опять стал похож на фюрера, на этот раз своим сходством выражая беспощадность к врагам рейха.

Я пожал плечами. У меня отлегло от сердца. Я понял, что случай в университете ему не известен. Он снова стал листать папку и вдруг на одной странице остановился и стал читать ее, удивленно приподняв брови. Внутри у меня что-то сжалось. «Знает», — подумал я.

«У вас, кажется, дядюшка социал-демократ?» — спросил он, как бы случайно обнаружив в моей душе небольшую червоточинку.

Он так и сказал — дядюшка, а не дядя, может быть выражая этим скорее презрение, чем ненависть к социал-демократам.

«Да», — сказал я.

«Где он сейчас?» — спросил он, и не стараясь скрыть фальши в своем голосе.

Я ему сказал все, что он знал и без меня.

«Вот видите», — кивнул он головой, как бы интонацией показывая, к чему приводят безнадежно устаревшие патриархальные убеждения.

Но я ошибся. Интонация его означала совсем другое.

«Вот видите, — повторил он, — мы вам доверяем, а вы?»

«Я вам тоже доверяю», — сказал я как можно тверже.

«Да, — сказал он, кивнув головой, — я знаю, что вы патриот, несмотря на то, что у вас дядюшка был социал-демократом».

«Был?» — невольно повторил я, почувствовав, как что-то кольнуло в груди. Все-таки у нас оставалась какая-то надежда. Кажется, на этот раз гестаповец сказал лишнее. А может, сделал вид, что сказал лишнее.

«Был и остается, — поправился он, но это прозвучало еще безнадежней. — Я знаю, что вы патриот, — повторил он снова, — но пора это доказать делом».

«Что вы имеете в виду?» — спросил я.

Рука его, листавшая папку, поглаживала следующую, еще не раскрытую страницу. Казалось, он едва сдерживает удовольствие раскрыть ее. У меня снова возникло подозрение, что он что-то знает о тех листовках.

«Помогать нам в работе», — сказал он просто и посмотрел мне в глаза.

Этого я никак не ожидал. Видно, лицо мое выразило испуг или отвращение.

«Вам незачем будет сюда приходить, — быстро добавил он, — с вами будет встречаться наш человек примерно раз в месяц, и вы ему будете рассказывать...»

«Что?» — прервал я его.

«О настроениях ученых, о случаях враждебных или нелояльных высказываний, — сказал он ровным голосом и доба-

вил: — Нам нужна разумная информация, а не слежка. Вы же знаете, какое значение придается вашему институту».

В голосе его звучала интонация врача, уговаривающего больного правильно принимать предписанные лекарства.

Он смотрел на меня темными миндальными глазами. Кожа на его гладко выбритом, синеватом лице была так туго натянута, что, казалось, любая гримаса, любое частное выражение на его лице доставляют ему боль, защемляют и без того слишком туго стянутую кожу, и потому он старался держать свое лицо неподвижно, с выражением общего направления службы.

«В случае враждебных высказываний, — сказал я, невольно согласуя свой голос и лицо с выражением общего направления службы, — я считаю своим долгом и без того довести до вашего сведения...»

Как только я это начал говорить, в его глазах опять появилось едва заметное выражение скуки, и я вдруг понял, что все это — давно знакомая ему форма отказа.

«Учитывая военное время», — добавил я для правдоподобия. Мне сразу как-то стало легче. «Значит, они не первый раз слышат отказ», — подумалось мне.

«Да, конечно», — сказал он без выражения и потянулся к зазвонившему телефону.

«Да», — сказал он.

Голос в трубке слегка дребезжал.

«Да», — повторял он время от времени, слушая голос в трубке.

Его односложные ответы звучали солидно, и я почувствовал, что он передо мной поигрывает в государственность.

«Он финтит, — вдруг сказал он в трубку, и я невольно вздрогнул. — У меня, — добавил он, — зайди».

Мне вдруг показалось, что все это время он по телефону говорил обо мне. Ловец моей души встал и, вынув из кармана связку ключей, подошел к несгораемому шкафу. В это время в кабинет вошел человек. Я почувствовал, что это тот, с которым хозяин кабинета только что говорил. Он посмотрел на меня мельком, с каким-то посторонним любопытством, и я догадался, что говорили они не обо мне.

Хозяин кабинета открыл несгораемый шкаф и наклонил голову, вглядываясь внутрь. Я увидел несколько рядов папок мышиного цвета корешками наружу. Они были очень плотно прижаты друг к другу. Он ухватил одну из них двумя пальцами и туго вытянул ее оттуда. Словно сопротивляясь, папка с трудом вытягивалась и в последнее мгновение издала какой-то свистящий звук, напоминающий писк прихлопнутого животного.

Папки были так плотно сложены, что ряд сразу замкнулся, словно там и не было этой папки. Человек взял папку и бесшумно вышел из комнаты.

«Значит, вы не хотите с нами сотрудничать?» — сказал он, усаживаясь. Рука его снова скользнула к нераскрытой странице и принялась поглаживать ее.

«Не в этом дело», — сказал я, невольно следя за вздрагивающей под его рукой верхней страницей.

«Или принципы дядюшки не позволяют?» — спросил он.

Я почувствовал, как в нем начинает закручиваться пружина раздражения. И вдруг я понял, что сейчас самое главное не показать ему, что обыкновенная человеческая порядочность не позволяет мне связываться с ними.

«Принципы тут ни при чем, — сказал я, — но каждое дело требует призвания».

«А вы попробуйте, может, оно у вас есть», — сказал он. Пружина слегка расслабилась.

«Нет, — сказал я, немного подумав, — я не умею скрывать своих мыслей, к тому же я слишком болтлив».

«Наследственный недостаток?»

«Нет, — сказал я, — это личное качество».

«Кстати, что это за случай был у вас в университете?» — вдруг спросил он, подняв голову. Я не заметил, как он перевернул страницу.

«Какой случай?» — спросил я, чувствуя, что горло у меня пересыхает.

«Может, напомнить?» — спросил он и рукой показал на страницу.

«Никакого случая я не помню», — сказал я, собрав все свои силы.

Несколько долгих мгновений мы смотрели друг на друга. «Если он знает, — думал я, — то мне нечего терять, а если не знает, то только так».

«Хорошо, — вдруг сказал он и, вынув из стопки чистый лист, положил передо мной, — пишите».

«Что?»

«Как что? Пишите, что вы отказываетесь помогать рейху», — сказал он.

«Не знает, — подумал я, чувствуя, как в меня вливаются силы. — Знает, что во время моей учебы там был такой случай, а больше ничего не знает», — уточнил я про себя, тихо ликуя.

«Я не отказываюсь», — сказал я, слегка отодвигая лист.

«Значит, согласны?»

«Я готов выполнять свой патриотический долг, только без этих формальностей», — сказал я, стараясь выбрать выражения помягче.

Сейчас, когда угроза с листовками как будто миновала, я боялся, как бы разговор снова туда не вернулся. И хотя в момент прямого вопроса я почти уверился, что он точно ничего не знает, сейчас, когда опасность как будто миновала, мне было страшней, чем раньше, возвращаться к этому темному все-таки месту. Я инстинктивно пытался уйти от него подальше, и я чувствовал, что это можно сделать только ценой уступки. «Только за счет возможности прорваться в другом месте, — подумал я, — он уйдет от этого места».

«Нет, — сказал он, и в голосе его появилась сентиментальная нотка, — лучше вы честно напишите, что отказываетесь выполнять свой патриотический долг».

«Я подумую», — сказал я.

«Конечно, подумайте, — сказал он дружелюбно и, открыв ящик стола, вытащил сигарету и, щелкнув зажигалкой, закурил. — Закурите?» — предложил он.

«Да», — сказал я.

Он вытащил из ящика раскрытую пачку и протянул мне. Я взял сигарету и вдруг заметил, что сам он закурил из другой пачки, более дорогие сигареты. Я чуть не усмехнулся. Он щелкнул зажигалкой, я закурил. Даже в этом ему надо было, видимо, чувствовать превосходство.

Я молчал. Он тоже. Считалось, что я раздумываю. Молчание мне было выгодно.

«Учтите, — вдруг вспомнил он, — наша служба не отрицает материальной заинтересованности».

«А что?» — спросил я. Эту тему я готов был развивать. Надо было как можно убедительней дать ему почувствовать, что я склоняюсь.

«Мы неплохо платим», — сказал он.

«Сколько?» — спросил я, наглей. Надо было и дальше показывать, что ему удалось подавить во мне то, что они называют интеллигентским предрассудком порядочности. В его глазах появилась как бы некоторая обида за фирму. Кажется, я перехватил.

«Это зависит от плодотворности вашей работы», — сказал он. Он так и сказал — плодотворности.

«Нет, — сказал я с некоторым сожалением, как бы прикинув свой бюджет, — мне неплохо платят в институте».

«Но мы вам можем дать со временем хорошую квартиру», — сказал он с некоторой тревогой. Мы уже торговались.

«У меня хорошая квартира», — сказал я.

«Мы вам дадим квартиру в районе с самым надежным бомбоубежищем, — заметил он и посмотрел в окно, — американские воздушные гангстеры не щадят ни женщин, ни детей... В этих условиях мы должны заботиться о кадрах...»

Это была типичная логика национал-социалистов. Американцы бомбят женщин и детей, поэтому надо заботиться о жизни гестаповцев. Около трех часов длилась эта опасная игра, где я должен был показывать готовность пойти к ним, но делать вид, что в последнее мгновение меня останавливает обывательская осторожность или какое-то другое, далекое от обычной человеческой чистоплотности, соображение. Однажды он чуть не прижал меня к стене, довольно логично доказывая, что, в сущности, я и так работаю на национал-социализм и моя попытка увильнуть от прямого долга не что иное, как боязнь смотреть правде в лицо. Я уклонился от дискуссии. Этот трагический вопрос нередко обсуждался в нашей среде, разумеется, всегда в узком, доверенном кругу. История не предоставила нашему поколению права выбора, и требовать от нас большего, чем обыкновенная порядочность, было бы нереалистично...

Мой собеседник остановился, о чем-то задумавшись. Я разлил шампанское, и мы снова выпили.

— Вы отрицаете героизм? — спросил я невольно.

— Нет, — живо отозвался он, — героизм я сравнил бы с гениальностью, с нравственной гениальностью...

— Ну и что? — спросил я.

— Я считаю, что героизм всегда содержит в себе высшую рациональность, практическое действие, а ученый, отказыва-

ющийся работать на Гитлера, будет услышан не дальше ближайшего отделения гестапо.

— Но не обязательно отказывать прямо, — сказал я.

— Тогда отказ теряет всякий смысл, — заметил он, — смысл такого жеста никто не поймет, а образовавшийся с его уходом вакуум, если таковой образуется, более или менее быстро будет заполнен другими.

— Пусть будет так, — сказал я, — пусть его уход не будет никем замечен, для себя, для своей совести он это может сделать?

— Не знаю, — сказал он и как-то странно посмотрел мне в глаза, — я о таких случаях не слыхал... Это слишком умозрительный максимализм, карамазовщина... Впрочем, я знаю, что у вас и на героизм смотрят по-другому..

— У нас считается, что героизм можно воспитывать, — ответил я с некоторым облегчением, возвращаясь к более ясной теме. В последнюю минуту я чувствовал, что он меня не понимает.

— Не думаю, — покачал он головой, — в наших условиях, в условиях фашизма, требовать от человека, в частности от ученого, героического сопротивления режиму было бы неправильно и даже вредно. Ведь если вопрос стоит так — или героическое сопротивление фашизму, или ты сливаешься с ним, — то, как заметил еще тогда один мой друг, это морально обезоруживает человека. Были и такие ученые, которые сначала проклинали наше примиренчество, а потом махнули рукой и стали делать карьеру. Нет, порядочность — великая вещь.

— Но ведь она, порядочность, не могла победить режим?

— Конечно, нет.

— Тогда где же выход?

— В данном случае в Красной Армии оказался выход, — сказал он, улынувшись своей асимметричной улыбкой.

— Но если бы Гитлер оказался достаточно осторожным и не напал на нас?

— Он мог избрать другие сроки, но не в этом дело. Дело в том, что сами его лихорадочные победы были следствием гниения режима, которое без Красной Армии могло бы продлиться еще одно или два поколения. Но как раз в этом случае то, что я называю порядочностью, приобретало бы еще больший смысл как средство сохранить нравственные мускулы нации для более или менее подходящего исторического момента.

— Но мы отвлеклись, — сказал я, — что же было дальше?

— Одним словом, — начал он, снова закуривая, — около трех часов длилась охота за моей душой. За это время он несколько раз выходил и снова заходил в кабинет. В конце концов мы оба устали, и он вдруг повел меня, как я понял, к своему начальнику. Мы вошли в огромную приемную, где за столом, уставленным множеством телефонов, сидела немолодая женщина, довольно полная брюнетка. В приемной стояли еще три человека, в одном из них я узнал того, кто заходил за папкой. Женщина говорила по телефону. Она разговаривала с дочерью. По-видимому, дочь возвратилась с какого-то загородного пикника и сейчас, задыхаясь, рас-

сказывала о своих впечатлениях. Это чувствовалось даже на расстоянии от трубки. Было странно все это слышать здесь. На столе зазвенел звонок.

«Ну ладно, хватит», — сказала женщина и положила трубку.

Она встала и быстро прошла в кабинет. Четверо гестаповцев приосанились. Через пару минут она вышла.

«Пройдите», — сказала она и, проходя к столу, бросила на меня взгляд, от которого мне стало не по себе. Видимо, так может смотреть только женщина. Я хочу сказать — так подло. В ее взгляде не было ни ненависти, ни презрения, которого в любой момент можно было ожидать от этих четверых. В ее взгляде было жгучее кошащее любопытство к моим потрохам и уверенность в хозяине. Может быть, сказалась усталость, но я тогда вдруг почувствовал, что еще какое-то мгновение — и эти самые потроха полезут горлом.

Мы вошли. Это был еще более роскошный кабинет с еще более огромным столом, уставленным разноцветными телефонами и чернильным прибором в виде развалин старинного замка. За столом сидел крупный мужчина, чем-то напоминающий директора процветающего ресторана. Это был брюнет в песочном костюме и ярком галстуке.

Никому из нас он не предложил сесть, и мы стояли возле дверей. Те трое поближе к столу, а я со своим пастырем подальше.

«Так это он колеблется? — громовым голосом спросил хозяин кабинета, вытаращив на меня недоуменные глаза. — Мо-

лудой ученый, подающий надежды, отказывается с нами работать? Не верю!» — вдруг воскликнул он и встал во весь свой внушительный рост.

Он смотрел на меня недоумевающими глазами, как бы умоляя меня тут же опровергнуть эту ложную, а может, даже и злоумышленную информацию своих помощников. Как только он заговорил, я понял, что он подражает Герингу. В те годы у функционеров рейха это было модно, каждый избирал себе маску кого-нибудь из вождей.

«В то время как орды азиатов рвутся к священным землям Германии, в то время как воздушные гангстеры бомбят ни в чем не повинных детей!»

Он протянул руку в сторону окна, где на той же лужайке все еще бегали дети с футбольным мячом. Наверное, уже другие, но тогда мне показалось, что и эта лужайка, и эти дети специально выращены гестапо для наглядного примера.

«Я не отказываюсь...» — начал было я, но он меня перебил.

«Я же говорил, вы слышите!» — воскликнул он.

Мне показалось, что сейчас он вскочит на стол, подхваченный силой пафоса. Но он его вовремя переключил, обращаясь к остальным слушателям:

«Значит, не сумели объяснить ему его долг, не нашли тот единственный ключ, на который закрыта до поры каждая германская душа...»

Он смотрел на меня своими коровьими глазами, и по взгляду его я понял, что он как бы просит моего согла-

сия, и даже не столько для того, чтобы я с ними работал, сколько для поддержания его педагогического авторитета. Давай вместе осраим этих бездельников, как бы предлагал он мне.

«Кровавый шут», — мелькнуло у меня в голове.

«Видите ли...» — начал я, чувствуя, что этот педагогический урок мне дорого обойдется.

Но в это мгновение, к моему счастью, приоткрылась дверь. Он посмотрел на дверь взглядом бешеной коровы. В дверях стояла секретарша.

«Берлин», — тихо сказала она, кивнув на телефон.

Он схватил трубку, и сразу же стало ясно, что мы исчезли с лица земли и даже сам он, склонившись над трубкой, как-то соответственно уменьшился.

Все бесшумно вышли в приемную, а из приемной в коридор. Секретарша уже не замечала нас.

Мы с ловцом моей души вернулись в его кабинет. Я почувствовал, что я ему смертельно надоел. Кроме того, мне показалось, что он, как и другие его коллеги, где-то в глубине души доволен, что у начальника сорвался этот педагогический урок. Во всяком случае, больше он со мной не говорил.

Он подписал мне пропуск, вывел на листке бумаги номер телефона и сказал:

«Если решите, позвоните по этому телефону».

«Хорошо», — согласился я и вышел из кабинета.

Не помню, как я нашел обратную дорогу. Я шел по улицам и чувствовал во всем теле необыкновенную слабость

и удовольствие, какое бывает, когда после долгой болезни впервые ступаешь по земле. Убедившись, что за мной никто не следит, я изорвал бумажку с телефоном и выбросил в урну. Правда, почему-то я все же постарался запомнить номер телефона.

На следующий день я, конечно, не позвонил. Теперь каждый день я жил в каком-то тревожном ожидании. Однажды, когда я пришел с работы, жена мне сказала, что звонил телефон, но, когда она подошла, трубку повесили. Через несколько дней я сам поднял трубку на звонок и опять ничего не услышал, вернее, услышал, что на том конце кто-то осторожно положил трубку. Или мне показалось?

Я сам не знал, что подумать. Мне стало казаться, что на улицах и в автобусах я иногда ловлю на себе взгляд сыщика. В проходной института я нервничал, когда дежурный охранник как-то слишком многозначительно и долго просматривал мой пропуск.

Прошло два-три месяца. Как-то мне позвонил мой давний школьный товарищ. Сейчас он был известным адвокатом по уголовным делам, жил в Берлине. Как обычно, мы договорились с ним погулять по городу, а потом прийти ко мне домой и пообедать. Жена очень обрадовалась его звонку. Он всегда действовал на меня благотворно, а сейчас мне особенно надо было встряхнуться.

Он был остроумным собеседником, немного легкомысленным, но всегда хорошим товарищем. В каждый свой приезд из Берлина он привозил кучу анекдотов, лучше

всякой информации дающих представление о положении в рейхе.

«Хайль Гитлер, благодарю за внимание», — сказал он и повесил трубку. Так обычно он кончал телефонный разговор, имея в виду, что все гостиничные телефоны подслушиваются. Кажется, впервые за все это время я искренне улыбнулся. Теперь-то я и сам верил, что телефон мой находится под слежкой.

Обо всем происходящем в Германии мы с моим другом думали одинаково. Кстати, он был как раз тем единственным человеком, которому я рассказал о нашей студенческой проделке.

«В тысячелетний рейх я не верю, но на наше поколение его хватит», — говорил он обычно, когда об этом заходила речь. Как и все люди, склонные к юмору, он был пессимистом. В последний год, судя по Восточному фронту, получалось, что он переоценил возможности рейха. Когда в предыдущий его приезд я ему сказал об этом, он возразил.

«Наоборот, — сказал он, — недооценил безумие Гитлера».

Мы встретились в вестибюле гостиницы. Как только вышли на улицу и отошли на безопасное расстояние, я ему сказал:

«Ну начинай. Гитлер входит в бомбоубежище, а там...»

«Мой Бог! — воскликнул он. — Сейчас анекдоты про бомбоубежище рассказывают только вахтеры. Сейчас в моде анекдоты из цикла "Ковроед"».

«Это еще что такое?» — спросил я.

«Слушай», — сказал он и стал выкладывать один за другим анекдоты этого цикла.

Суть их состояла в том, что Гитлер, прослушав донесения о новых поражениях на Восточном фронте, как будто бросался на пол своего кабинета и начинал грызть ковер. Мы прошли несколько кварталов, а он все рассказывал анекдоты из этого теперь уже поистине неисчерпаемого цикла. Навсегда запомнился последний анекдот, хотя он был далеко не лучшим.

Так вот. Гитлер входит в магазин и покупает новый ковер.

«Вам завернуть или здесь будете грызть?» — спрашивает продавец.

Только это он произнес, как из-за угла вышел нам навстречу мой гестаповец. Я растерялся, не зная, здороваться с ним или нет. В следующее мгновение сообразил, что этого делать не надо, и вдруг замечаю, что мой товарищ и он кивнули друг другу.

Мы прошли. У меня потемнело в глазах. Он продолжал что-то говорить, но я ни одного слова не понимал. Голос его доносился откуда-то издалека... Лихорадочные мысли пробежали у меня в голове. Он работает в гестапо... Они вызвали его как свидетеля... Меня расстреляют...

И все-таки у меня была последняя надежда, что гестаповец оказался его случайным знакомым. Может быть, он с ним встречался по какому-то судебному делу. Недаром он мне говорил, что они вмешиваются не только в политические, но и в уголовные дела...

Но как это проверить? И вдруг мелькнула догадка. Очень просто! Надо прямо спросить у него, и все. Если он с ним знаком случайно, он мне скажет, кто он такой, а если он с ним знаком профессионально, он, конечно, что-нибудь придумает.

«Кстати, с кем это ты поздоровался?» — спросил я у него через несколько минут. Господи, как я ждал его ответа, как я обнял бы его, если бы он мне сказал всю правду!

«Да так один», — ответил он с деланной небрежностью.

Я почувствовал, как он на мгновение замялся. Дальше все шло как в тумане. Объявили воздушную тревогу. Мы побежали. Возле одного разрушенного дома мы увидели старое, осевшее с одной стороны бомбоубежище.

Он втолкнул меня в дыру и сам скатился за мной по бетонным ступеням. Наверху залаяли зенитки. Где-то не очень близко упала бомба, и я почувствовал, как страшно покачнулась под нами земля. Постепенно огонь зениток переместился в другую часть города, и оттуда глухо доносились разрывы бомб.

Как ни страшно, думал я, погибнуть от бомбежки, все-таки неизмеримо страшней погибнуть от руки гестапо. И дело не в пытках. В этом есть что-то мистическое. Это так же страшно, как быть задушенным привидением.

Может быть, дело в том, что тебя отделяют от всех и наказывают от имени целой страны.

Что я, в сущности, сделал? Я написал о том, что каждый грамотный человек знал и так. Разве я придумал законы

немецкого языка? И почему то, что видит каждый в отдельности, нельзя увидеть вместе? Но главное, откуда это чувство вины? Значит, я когда-то молча, незаметно для себя принял условия этой игры. Иначе откуда взяться этому чувству?

Мы все еще сидели на холодном бетонном полу, усеянном обломками кирпича. В полутьме казалось, что пол заляпан лужицами крови.

«Ну и черт! — сказал он и начал отряхиваться. — К этому, видно, нельзя привыкнуть».

Он порылся в пальто и вынул пачку сигарет.

«Закуришь?»

«Нет», — сказал я.

Он несколько раз щелкнул зажигалкой. Закурил. И вдруг в полутьме рядом со мной озарилась светом сигареты его круглая голова. Отчетливо обведенный огнем силуэт головы. Как мишень, неожиданно подумал я, и голова погасла. Я сам не отдавал отчета в своем решении. Еще три раза озарится его голова, решил я, и я это сделаю. И все-таки после третьего раза я решил спросить у него опять.

«Слушай, Эмиль, — сказал я, — кто с тобой здоровался на улице?»

Видно, он что-то почувствовал в моем голосе. Я сам вдруг почувствовал мокрую кровавую тишину бомбоубежища. В этот миг с потолка между бревнами стала осыпаться струйка земли. Было слышно, как песчинки, цокая, ударяются о пол.

«Ну, гестаповец, если хочешь знать, а что?» — спросил он.

Тело мое обмякло.

«Откуда ты его знаешь?» — спросил я.

«Мы с ним учились. На последнем курсе ему предложили, и он нашел возможным посоветоваться со мной...»

«И ты ему посоветовал?»

«Ты что, с ума сошел! — вдруг закричал он. — Если человек советуется, идти ли ему в гестапо, значит, он про себя уже решил. Надо быть сумасшедшим, чтобы отговаривать его... Но в чем дело?»

«Дай закурить», — сказал я.

Он протянул в темноте пачку. И тут я обнаружил, что моя правая рука опирается на зажатый в ней обломок кирпича. Я отдернул руку от его скользкой, холодной поверхности. Кажется, Эмиль ничего не заметил. Я рассказал ему обо всем.

«И ты мог поверить?» — воскликнул он с обидой.

«А почему ты сразу мне не сказал?» — ответил я вопросом на вопрос.

Я чувствовал, как в темноте он напряженно вглядывается в меня.

«Как-то неприятно было объяснять, что я знаком с гестаповцем», — сказал он, немного подумав.

Я почувствовал, что между нами пробежал какой-то холодок. Наверное, и он это же почувствовал.

С потолка продолжали осыпаться песчинки.

«Кажется, стихло, — сказал он, вставая, — пойдем отсюда, пока этот пирог на нас не обвалился».

И вдруг на меня напал хохот. То ли это была истерика, то ли разряд облегченья. Я вспомнил про надежное бомбоубежище, обещанное гестаповцем. Я как-то разом представил все, что они обещали Германии и что они продолжают обещать теперь, и мне вся наша немецкая история последнего десятилетия показалась чудовищной по своей смехотворности.

«Не знаю, чему ты смеялся, — сказал Эмиль, когда мы вышли наверх, — ты видишь, что они сделали с нами...»

«Да, вижу», — сказал я тогда, кажется, не вполне понимая все, что означали его слова. А означали они, кроме всего, что нашей давней дружбе пришел конец. Он постыдился сказать, что знаком с гестаповцем, а я на этом основании не постыдился подумать, что он может меня предать. Кажется, мало для конца дружбы? На самом деле даже слишком много. Дружба не любит, чтобы ее пытали, это ее унижает и обесценивает. Если дружба требует испытаний, то есть материальных гарантий, то это не что иное, как духовный товарообмен. Нет, дружба — это не доверие, купленное ценой испытаний, а доверчивость до всяких испытаний, вместе с тем это наслаждение, счастье от самой полноты душевной отдачи близкому человеку.

Я дружу с этим человеком, — значит, я ему полно и безгранично доверяю, потому что в моем чувстве затаена догадка о великом братском предназначении человека. А испытания,

что ж... Если судьба их пошлет, они будут только подтверждением догадки, а не солидной рекомендацией добропорядочности партнера. Но я, кажется, заговорился...

— Выпьем, чтоб этого не повторилось, — сказал я, воспользовавшись неожиданной паузой. Мне показалось, что воспоминания как-то слишком его разгорячили, на нас начали обращать внимание.

— Выпьем, — согласился он, кажется несколько смущенный своим долгим рассказом.

Мы выпили. Шампанское было уже теплым, и тост мой мне самому показался неубедительным.

Мой собеседник явно устал от своего рассказа и даже как-то слегка осоловел. Чтобы взбодрить его, я сказал, что прошлой осенью был в Западной Германии, где меня больше всего поразило дружелюбное отношение простых немцев к нашей делегации. Он согласно кивнул головой. Кажется, ему это понравилось. И тут он, пожалуй, блеснул еще раз, если в том, что он говорил до этого, был какой-нибудь блеск.

— Мы, немцы, — сказал он, едва сдерживая улыбку, которая на этот раз показалась мне не такой уж, а то и вовсе не асимметричной, — мы, немцы, надолго сохраняем почтительность к палке.

Тут мы оба расхохотались, и, может быть, наш смех продлился бы до бесконечности, если б я не заметил, что с пристани наверх поднимаются люди. Оказывается, катер уже пошел.

— Ойу! — как-то жалобно и горделиво воскликнул он и побежал к причалу.

Из этого непонятного мне восклицания, идущего из самой глубины его немецкой души, я почувствовал, что он по горло насытился русским языком и решил закружиться.

Часть пляжников еще тянулась по пристани, когда он туда выскочил. Он увидел своих. Было слышно, как они громко, издали приветствуют друг друга и издали же начинают друг с другом разговаривать. Мы так же громко встречали друг друга, когда были в Германии. Когда привыкаешь, что вокруг тебя не понимают языка, забываешь, что тебя все-таки слышат...

Пенсионер все еще сидел за столиком со своей рыхлой дамой. Я вспомнил о нем, почувствовал на себе его взгляд.

— Значит, он немец? — спросил он удивленно.

— Да, — сказал я, — а что?

— Так я же думал, что он эстонец, — заметил он несколько раздраженно, словно, узнай он об этом вовремя, можно было бы принять какие-то меры.

— Из ГДР или из ФРГ? — спросил он через мгновение, интонацией показывая, что, конечно, исправить положение уже нельзя, но хотя бы можно узнать глубину допущенной ошибки.

— Из ФРГ, — сказал я.

— Про Кизингера что говорит? — неожиданно спросил он, слегка наклонившись ко мне с некоторым коммунальным любопытством.

— Ничего, — сказал я.

— Э-э-э, — протянул пенсионер с лукавым торжеством и покачал розовой головой.

Я рассмеялся. Очень уж он был забавным, этот пенсионер. Он тоже рассмеялся беззвучным торжествующим смехом.

— А что он может сказать, — обратился он сквозь смех к своей собеседнице, — мы и так через газеты все знаем...

Немец, улыбаясь, подошел к столику вместе с женой и дочкой. Он познакомил меня с ними, и я уже чисто риторически предложил выпить еще одну бутылку. Жена его замотала головой и показала на часы, приподняв смуглую молодую руку. Как и все они, она была в очень открытом платье, спортивна и моложава. Все-таки было странно видеть женщину, которая пережила целую эпоху своего народа да еще при этом была хоть куда. Мне показалось, что девушка с удовольствием выпила бы шампанского, если бы родители согласились. Мы с отцом ее крепко пожали друг другу руки, и они ушли в сторону гостиницы.

— Мы победили, а они гуляют, — сказал пенсионер, глядя им вслед и добродушно посмеиваясь. Я ничего не ответил.

— Если хотите, — уже гораздо строже обратился он к своей собеседнице, — я вам завтра принесу книгу французского академика Моруа «Жизнь и приключения Жорж Занд».

— Да, хочу, — согласилась она.

— Тоже редкая книга, — сказал пенсионер, — там описаны все ее любовники, как-то: Фредерик Шопен, Проспер Мери-ме, Альфред де Мюссе...

Он задумался, вспоминая остальных любовников Жорж Занд.

— Мопассан, — неуверенно подсказала женщина.

— Во-первых, надо говорить не Мопассан, а Ги де Мопассан, — строго поправил пенсионер, — а во-вторых, он не входит, но ряд других европейских величин входит...

— Я вам буду очень благодарна, — сказала женщина, мягко обходя дискуссию.

— Еще бы, это редкая книга, — заметил пенсионер и бросил в карман кителя свои четки, — ждите меня завтра на этом же месте в это же время.

— Я вас обязательно буду ждать, — почтительно сказала женщина.

— Ждите, — твердо повторил пенсионер и, кивнув розовой головой, достойно засеменил через бульвар.

Женщина посмотрела ему вслед и спросила у меня с некоторой тревогой:

— Как вы думаете, придет?

— Конечно, — сказал я, — куда он денется...

— Знаете, всякие бывают, — вздохнула женщина. Она неподвижно сидела за столиком и сейчас казалась очень грузной и одинокой.

Я расплатился с официанткой и пошел в кофейню пить кофе. Солнце уже довольно низко склонилось над морем. Ка-тер, который привез жену и дочь немецкого физика, почти пустой отошел к пляжу. Когда я вошел в открытую кофейню, пенсионер уже сидел за столиком с ватагой других стариков.

Среди их высушенных кофейных лиц лицо его выделялось розовой независимостью.

ПОПУТЧИКИ

Поздней осенью в полупустом вагоне я ехал с Кавказа в Москву. По причинам, которые сейчас скучно было бы размусоливать, я чувствовал себя забытым и ненужным самым близким людям и поэтому бесполезным для самого себя.

Одним словом, было то самое настроение, когда ты с деловитой нежностью оглядываешь достаточно высоко вбитые в стену крюки, пожарные лестницы, устремленные в чердачный люк, или внезапно задумываешься, взглянув на женственный изгиб водопроводной трубы над бачком коммунального туалета.

Небольшая вентиляционная решетка, впрочем, на вид достаточно прочная, тускло сверкала с потолка моего купе. В купе я был один. Я подумывал, что, если я это сделаю здесь, дух мой мгновенно вылетит в вентиляционную трубу, подобно летчику, который, катапультируясь, покидает горящий самолет.

Я подумал, что сделать это будет удобно, встав на столик. При этом у меня в голове мелькнула мысль, мелькнула и тихо притаилась где-то на краю сознания, что если это мне не понравится, то в последнее мгновение можно будет как-нибудь зацепиться ногами за столик.

Но тут я вспомнил о проводнице, и мне стало не по себе. Я подумал, что мой вероломный поступок доставит ей массу

неприятностей, не говоря о проклятиях, которые падут на мою голову, и понял, что решение мое бесчеловечно. Чем больше я думал о проводнице, тем яснее становилось мне это. Я почувствовал некоторое облегчение.

Если это, рассуждал я про себя, может доставить служебные неприятности проводнице, значит, не полностью нарушена связь с людьми, значит, я кому-то нужен, хотя бы в виде живого пассажира, и в этом виде приношу пользу уже тем, что не приношу вреда.

Размышляя о том, что я спас проводницу от крупных неприятностей, я вышел из купе и прошел в конец вагона. Возможно, я это сделал в неосознанном стремлении получить заслуженную долю благодарности.

Поезд часто останавливался на маленьких черноморских станциях. Местные жители выносили к вагонам груши, орехи, первые мандарины, вареную кукурузу, чачу и молодое вино мачарку, сладость которого следует принимать как следствие его незрелости.

Проводница выходила на каждой станции и о чем-то переговаривалась с какими-то людьми, которые изо всех сил старались выглядеть подозрительно. Видимо, подозрительность их была недостаточно солидной, потому что она, ни о чем не договорившись, возвращалась в вагон и снова выходила на следующей станции.

Сонный вид проводницы придавал ей некоторую загадочность. Хотя я все время торчал в тамбуре, на меня она не обращала внимания. В конце концов я не выдержал и сам вы-

шел на платформу. Я купил у мальчика хорошую рюмку розовой чачи и початок еще теплой кукурузы и съел его, обмазав аджикой.

Несколько взбодрившись, я огляделся. У проводницы тоже дело пошло веселей. Во всяком случае, она приняла мешок у одного из тех людей, что подходили к поезду. Этот особенно удачно старался выглядеть подозрительным. Не переставая стараться выглядеть подозрительным, он помог проводнице занести мешок в вагон. Видимо, с этой же целью, выходя из вагона, он несколько мгновений смотрел на меня смертельно оскорбленным взглядом, всем своим видом показывая, что только неудобства короткой стоянки, а не экстерриториальность платформы заставляют его сдерживать себя. Возможно, ему показалось, что я не так смотрел на проводницу.

Поезд снова тронулся. Проводница вошла в свое купе, кинула на стол флажок, как детскую игрушку, и снова взялась за дело. Я попытался с ней заговорить, но она по-прежнему меня не замечала. Раздумывая, куда бы поставить мешок, она рассеянно посмотрела на меня, достала шахматы, книгу и молча сунула мне то и другое. После этого она снова занялась своим мешком. Все это было похоже на сон, и я, может быть, поверил бы, что все это происходит во сне, если бы мешок ее при каждом прикосновении не издавал сочный звук хорошо утрамбованных лавровых листьев.

Словно боясь нарушить этот навязанный мне ритм, я почему-то взял и книгу, и шахматы, хотя уже по обложке понял, какая это скучная книга, а в шахматы мне играть не с кем.

До этого я в вагоне заметил несколько офицеров с женами и детьми, но знакомиться было как-то неудобно, да и вообще я не любитель шахмат.

Рядом с моим купе стоял маленький старичок в кепке с длинным козырьком и, глядя в окно, задумчиво курил. Я подумал, что старичок похож на старого жокея, хотя никогда жокеев вблизи не видел, особенно старых.

Услышав постукивание фигур внутри шахматной коробки, он обернулся в мою сторону и взглядом предложил сыграть. Я кивнул, и мы вошли в дверь моего купе, вернее, я его пропустил вперед, а потом сам вошел. Старичок был такой маленький, что, когда он проходил мимо меня, я имел возможность сверху посмотреть на его кепку. Ее обширная поверхность, порядочно выгоревшая на солнце, все-таки хранила коричнево-белые следы шахматной клетки.

Все это довольно странно, подумал я, почему именно этот старик должен был мне предложить сыграть в шахматы?

Мы сели друг против друга и стали раскладывать фигуры. Старик взялся за белые. Я ничего против не имел, потому что мое шахматное мастерство нечувствительно к таким незначительным преимуществам.

Как только мы расставили фигуры, старик взял с доски черную и белую пешки, завел руки за спину и стал их там перебирать, опустив глаза и слегка шевеля губами. Иногда он подымал глаза — очень живые, светлые, на бронзовом, хорошо загорелом лице.

Наконец, он осторожно поставил кулаки на стол, стараясь твердо смотреть мне в глаза. Кулаки у старика были большие, коричневые. Один из них слегка выдвинут в мою сторону. Я выбрал тот, что был подальше. Старик неохотно открыл кулак, в нем лежала белая пешка. Старик встал, чтобы уступить мне свое место, но я повернул доску, и он снова сел.

— Сами откуда будете? — спросил он после нескольких первых ходов и посмотрел мне в глаза. Я сказал, что сам из Сухуми, хотя теперь живу в Москве.

— Сухум хорошо, но Москва тоже хорошо, — кивнул старик примирительно и неожиданно снял кепку, словно сокращая официальную часть своего визита в пользу более интимной.

Он легко вскочил и повесил кепку на крючок у дверей. На мгновение он остановился у дверного зеркала и слегка откинувшись, горделиво пощупал кадык.

Старик сел, и мы стали продолжать игру. Коротко остриженные седые курчавые волосы старика очень шли к его светлым глазам и бронзовому лицу. Я подумал, что без кепки он выглядит гораздо лучше и напрасно он так к ней привязан. Только я так подумал, как старик с любопытством посмотрел на свою кепку, словно хотел убедиться, достаточно ли спокойно она ведет себя в незнакомых условиях. Кепка со своими отчетливыми клетками висела на стене как эмблема маленького клуба жокеев — любителей шахмат.

Старик был одет в чистую светлую рубашку и в старый просторный пиджак. Казалось, пиджак служил ему так давно, что сам старик с тех пор успел уменьшиться.

Во время нашей довольно-таки бессмысленной игры я заметил, что старик замирает и вслушивается, когда кто-нибудь хлопает дверью в конце вагона, и не успокаивается до тех пор, пока шаги в коридоре не затихают с другой стороны.

— Немножко волнение имею, — объяснил он, застенчиво улыбаясь, почувствовав, что я заметил его тревогу.

— Почему? — спросил я.

— Немножко груш везу, — сказал он просто.

Разговорились. Оказывается, старичок — бывший учитель географии неполной средней школы. Сейчас он на пенсии и в этом году решил заняться торговлей. Он спросил у меня, сколько в этом году стоят груши в Москве. Я сказал, что примерно копеек восемьдесят. Старичок задумался. Я спросил, сколько у него груш.

— Двести кило будет, — сказал он твердо.

— Груши свои? — спросил я.

— В селенье покупал, — ответил он.

Я подсчитал дорогу, примерное время на продажу груш (можно было предполагать, что навряд ли он связан с оптовыми фирмами), и у меня получилось, что никакой выгоды от этого предприятия он не будет иметь. Пожалуй, рублей пятьдесят, шестьдесят — не больше. Когда я ему сказал об этом, старичок покорно кивнул головой и улыбнулся своими светлыми глазами.

— Тогда зачем? — спросил я.

— Коммерсия, — сказал он и пожал плечами. Немного подумав, добавил: — Женщинам — кофты-мофты, туфли-муфли.

Даже если он бывший сельский учитель (они иногда выдают себя за городских в местах, где их не могут узнать), все равно, подумал я, поход его слишком ничтожен.

Вдруг старик что-то вспомнил и стал яростно рыться в своих карманах, вытаскивая оттуда платки, рецепты, перочинный ножик, четки, футляр от очков и кошелек для мелочи.

В конце концов он нашел нужную бумагу и протянул мне. Это был адрес — какой-то переулок недалеко от Колхозной площади.

— Знаешь место? — спросил он, немного подождав, чтобы я вникнул в смысл написанного.

— Знаю, — сказал я, — недалеко, на такси доедете.

Старик кивнул головой и стал рассовывать по карманам вынутые вещи. Но тут он вспомнил, как долго искал бумажку с адресом, и вынул ее из кармана. Стараясь не слишком распахиваться, он залез во внутренний, по-видимому Главный Карман пиджака, осторожно расстегнул там булавку, сунул туда свою бумажку с адресом и стал застегивать булавку, стараясь не шелестеть деньгами или, по крайней мере, придать этому шелесту незначительный смысл. Наконец, он заколол булавку и снова взялся за шахматы. Через минуту старик поднял голову и спросил:

— Сколько возьмет такси?

— Меньше рубля, — сказал я.

— Меньше, — повторил старик и кивнул головой в знак согласия.

Мы снова углубились в шахматы. Старик долго обдумывал очередной ход, сделал его и, подняв голову, снова спросил:

— Восемьдесят копеек?

— Да, — сказал я.

Играли мы оба примерно на одном уровне. К концу партии, когда ряды фигур на шахматной доске достаточно поредели, мы вдруг оба заметили, что моя ладья уже давно стоит под боем, хотя ее почему-то никто не берет. Был его ход, когда мы оба это заметили.

Я почувствовал, что старик заволновался, он то поглядывал на доску, то пожимал плечами, стараясь разгадать мой замысел. Иногда он протягивал руку к моей ладье, но потом останавливал себя и подымал на меня свои светлые глаза, стараясь угадать, прозевал я фигуру или это следствие далеко идущего замысла. Я молчал, стараясь быть непроницаемым.

Наконец он не выдержал и, постукав желтым, прокуренным ногтем по башне моей ладьи, вопросительно посмотрел на меня. Я развел руками в том смысле, что ничего не поделаешь, проморгал.

Старик весь просветлел, заулыбался и закивал головой в том смысле, что ничего страшного, что со всяким бывает, что мы свои люди, слава Богу, не звери. Я попытался возразить, но старик был непреклонен.

— Не могу, — сказал он и поспешно сдвинул своего слона с угрожающей диагонали.

Ход старика хоть и придал игре благородство, но не мог сбить ее с вялого темпа. Через некоторое время старик спросил у меня, один ли я еду в купе, хотя и так было видно, что я еду один. Я сказал, что в купе больше никого нет. Старик немало помолчал, а потом спросил, нельзя ли ему один чемодан перенести в мое купе.

— Зачем? — спросил я.

— Инспекция, проверка, — сказал он, виновато улыбаясь, — три чемодана имею. Два поверят, что везу родственнику, но три никак не поверят.

— А если у меня спросят? — сказал я.

— Ничего. Коммерсия, риск, — развел он руками, показывая, что в Большой Игре и такая возможность допускается.

— Давайте, — сказал я почему-то сурово.

Старик живо вскочил, открыл дверь, посмотрел по сторонам и юркнул в свое купе. Через несколько минут он появился в дверях. У ног его стоял огромный чемодан сундучного типа. Я помог ему, и мы с трудом уложили его под моим сиденьем.

Мы снова сели за шахматы, но теперь играли не только вяло, но и настолько вежливо, что ничейный исход был предрешиен. Я предложил ему сыграть вторую партию, но старик неожиданно быстро перевернул ладью, как переворачивают стакан, когда хотят показать, что напились чаю. При этом не без гримасы отвращения он замотал головой. Видно было, что ему все это смертельно надоело, а может быть, он просто устал.

Через минуту сонная проводница открыла дверь и молча остановилась с дымящимся чаем на подносе. Старичок властно поманил ее и взял с подноса четыре стакана. Я попытался расплатиться, но он, сделав страшные глаза, пресек мою попытку. Старичок порылся в своем кошелечке и, вынув оттуда полтинник, важно, как золотой, положил на поднос.

— Сдач не надо, — сказал он и жестом маленького шаха отослал ее прочь, как бы оберегая свой слух от утомительного потока благодарностей.

Мы пили чай и говорили о погоде и видах на урожай в нашей республике.

По нашим наблюдениям, в этом году было очень дождливое лето, из-за чего пострадал виноград, зато чай, именно благодаря бесконечным дождям, дал неслыханный урожай. Немного поговорив о диалектических превращениях погоды, мы наконец расстались с моим милым земляком. Пожелав мне хороших снов, он встал, символическим взглядом окинул сиденье, под которым стоял его чемодан, надел кепку и вышел.

Уже улегшись в постель, я снова увидел вентиляционную решетку и подумал, что теперь это было бы совсем невозможно, потому что я мог подвести не только проводницу, но и этого старичка с его чемоданом и шахматной кепкой. К тому же настроение у меня значительно улучшилось, хотя и не пришло в полную норму. Я погасил свет и заснул.

Весь следующий день старичок возился с военными детьми. Стоя возле коридорного окна, как возле витрины с наглядными пособиями, он им подолгу что-то рассказывал.

Увидев меня, он замолкал и отдаленно из-под длинного козырька взглядывал мне в глаза, напоминая мне о нашей общей тайне и стараясь издали определить, не изменил ли я к ней отношение.

Сначала я, грешным делом, подумал, что вся эта возня с детьми военного объясняется тайной попыткой привлечь на свою сторону, так сказать, армию в случае осложнения с инспекцией. Но потом я понял, что это бескорыстная страсть старого учителя неполной средней школы. Да и дети такие вещи быстро чувствуют, а эти слушали его, по-моему, с обожанием.

Как он ни замолкал при моем появлении, все-таки разок мне удалось незамеченным остановиться у соседнего окна и услышать о чем он говорит.

Старичок разъяснял детям разницу между кучевыми и перистыми облаками. Я прислушался, но так и не понял, в чем разница.

За окном проносились голые, скучные поля, голые мокрые деревья, на которых сидели мокрые сороки со свернутыми на бок от ветра хвостами.

Я еще немного постоял у окна, мне стало скучно, и я пошел в ресторан обедать.

Ресторан оказался переполненным. Некоторое время я постоял в проходе между столиками, выискивая себе место

и вдыхая неопределимый запах кухонной кислотности. Наконец в сумерках табачного дыма я нашел полупустой столик и пробрался к нему.

За столиком сидело два человека. Я присел, взял в руки меню и только поднял голову, как увидел, что за соседним столиком официантка принимает заказ.

Наши взгляды встретились, и по тому, как она поспешно опустила глаза, я понял, что это наша официантка.

— Наша? — все-таки спросил я взглядом у человека, сидевшего напротив.

Он внезапно покосился в сторону моего кивка и, не выдавая себя, одними глазами, как хороший детектив, дал подтверждающий знак.

Я прошелестел бумажкой меню, чтобы обратить на себя внимание. Звук, издаваемый папиросной бумагой меню, показался мне ненадежным. Все же официантка кинула настроженный взгляд. Это был очень важный момент, надо было его не упустить.

Я замер, глядя на нее, заранее признающим свою вину извечным взглядом российского клиента.

— Раз еще не смотрели в меню, нечего шелестеть, — взглядом ответила она мне, взглянув на листок меню, малокровно обвисший у меня в руке.

Тут она решительно сунула свою книжечку в карманчик фартука и было двинулась, но я встрепенулся и не дал ей окончательно уйти. Я отбросил меню, как бы с некоторым пренебрежением к самой идее выбора блюд, как бы добро-

вольно полагаясь на ее вкус и тем самым намекая на общепризнанную надежность этого вкуса.

— Все это глупости, — ответила она мне взглядом, — мне ваша добровольность и общепризнанность вовсе ни к чему...

Официантка гневно удалилась словно самой своей походкой отвергая невысказанные эротические намеки окружающих. Сосед по столику, тот, что давал мне подтверждающий знак, теперь смотрел на меня с некоторой укоризной, словно я когда-то не принял его полезный совет (может быть, взорвать вагон-ресторан?) и вот теперь сам расплачиваюсь за это.

Я пожал плечами, давая знать, что сожалею о своем промахе, и уставился в меню. Мне не хотелось с ним связываться, потому что было видно, что он уже выпил и хочет выпить еще. Товарищ его, флегматичный верзила, сидевший рядом со мной, слегка поклевывал носом. Этот же, напротив, был полон алкогольной энергии и время от времени покалывал меня своими острыми глазками, провоцируя на беседу. Между ними стоял графин, на самом дне которого плескалась недопитая водка, как мне кажется, сознательно оставленная в качестве эстетической приманки.

Время шло томительно медленно. Официантка дважды появлялась поблизости от меня, но на меня она уже не обращала внимания.

Кстати, с самого начала, когда я вошел в вагон-ресторан, я почувствовал какую-то неустойчивость во всем его облике,

какую-то неприятную опасность, заключенную в самом его воздухе.

Такое чувство бывает, когда в темноте идешь сквозь кустарник — вот-вот ветка хлестнет по глазам или, скажем, кто-то при тебе долго и неумело открывает бутылку шампанского — сейчас, дуралей, хлопнет пробкой и обольет пеной.

Теперь я понял причину своей тревоги, она оказалась простой. Неподалеку от нашего столика я заметил свисающий с потолка горшочек с каким-то растением, сползающим по краю посуды курчавой пенкой зелени. Горшочек висел на шпагате, крепость которого не внушала ни малейшего доверия. Он шатался и неистово раскачивался по ходу поезда, как некое вегетарианское паникадило.

Я старался не смотреть на него, но глаза боковым зрением улавливали его бестолковое раскачивание, невольно вызывая эгоистическое желание определить траекторию его будущего падения. Я оглядел потолок и увидел еще полдюжины горшочков, танцующих в воздухе, лихо заломив на бок курчавые шапочки зелени. Я понял, что этот висячий садок Семирамиды грозит не мне одному, и немного успокоился.

Официантка снова появилась рядом с нашим столиком, но теперь я решил ждать, пока она сама не подойдет. Неожиданно она вступила в перебранку с одним из клиентов за соседним столиком, и это помогло мне ускорить заказ.

Из перебранки выяснилось, что она вместо заказанного коньяка принесла триста граммов вина, правда, коньячного цвета.

Любитель коньяка, сначала введенный в обман коньячным цветом вина, выпил рюмку, но, тут же догадавшись об ошибке, стал требовать свой законный коньяк. Официантка продолжала утверждать, что он заказал именно вино.

Но любитель коньяка вывернулся, доказав ей, что он заказал именно коньяк, а не вино, на основании того, что в ресторан он пришел с дамой и кроме коньяка заказал еще шампанское. Тут последовал жест через столик: женщина, сидевшая напротив, поспешно кивнула головой, подтверждая, что речь идет именно о ней. А так как официантка не может отрицать того, что он заказал шампанское, выходит, что он никак не мог к шампанскому заказать вино, а мог заказать именно коньяк.

Любитель коньяка ссылаясь на несовместимость вина с шампанским и отвергал его, как лжеотцовство, неподтвержденное анализом группы крови.

Официантка запуталась и сдалась. Тут-то мне и удалось всучить ей свой заказ, потому что вести два процесса подряд она не могла.

Я заказал полпорции солянки, шашлык, боржом и кофе. Она молча приняла у меня заказ, хотя потом в виде маленькой мести принесла вместо боржом смирновскую воду. Я сделал вид, что не заметил ее мнимой ошибки, тем самым обесмыслив ее месть.

Делая заказ, я заметил, вернее, почувствовал, что человек, сидевший напротив, как-то весь подобрался от внимания или напряжения, но не придал этому значения. Когда официант-

ка отошла от меня, я посмотрел на него и вдруг понял, что осложнил свое существование за столиком, не заказав ничего спиртного. Теперь он просто-напросто перестал меня замечать, что почему-то было обидно.

После солянки, несколько размякнув в ожидании шашлыка, я стал прислушиваться к разговору за столиком, чтобы в нужном месте влиться в беседу и каким-то образом реабилитировать себя за свой оскорбительный обед. Во всяком случае, смутное чувство вины я испытывал.

Говорил, конечно, тот, что сидел напротив. Его негромкий, но настойчивый голос иногда терялся в шуме вагона-ресторана и в грохоте встречных поездов. Я прислушивался.

Все больше и больше раздражаясь, он говорил, что Ташкент строят не так и не там, и хотя сам он, по его словам, прописан в Армавире, ему все-таки это неприятно. Из его слов следовало, что Ташкент надо было строить в ста километрах от города, а не поблизости, как его строят теперь.

Рассказчик, несмотря на свою армавирскую прописку, вкладывал в свои слова какое-то личное раздражение, словно кто-то один за другим отверг все его разумные проекты строительства нового города. Мало того, что отвергли его разумные проекты, но отвергли и заключение японских специалистов, а они-то уж в землетрясениях как-нибудь разбираются.

— А наши что? — сонно спрашивал его флегматичный собеседник.

— А наши говорят, что наше землетрясение, и мы будем строить по-своему, — пояснил он и неожиданно добавил: — Местный волюнтаризм...

— А японцы что?

— А японцы говорят: ваше землетрясение — это ваше внутреннее дело, но ежели вы будете строить на этом месте, мы вам фактически такой расписки дать не можем.

— А наши что?

— А наши говорят: хорошо. Вы нам расписки не давайте, но дайте рикиминдацию, потому что мы все равно фактически будем строить по-своему.

— А японцы что?

— А японцы...

— А наши что?

— А наши...

Тут я неожиданно вступил в разговор. Я сказал, что сам был в Ташкенте и все видел своими глазами. Я сказал, что город выглядит не так плохо, как это кажется со стороны, и даже совсем неплохо. В самом деле так оно и было. Армавирец слушал меня, многозначительно прищурившись, как бы заранее зная все, что я скажу, ибо все это ему уже неоднократно говорилось и все это он уже неоднократно опровергал.

Может быть, из-за этого его выражения лица я вдруг свернул с рассказа об общем впечатлении от города и сказал, что при мне был толчок в шесть с половиной баллов, но я его даже не почувствовал. Это было грубой ошибкой. Армавирец заметно повеселел.

Особенно противно было то, что я это сказал не только для того, чтобы объяснить, что не всякий толчок опасен, но и безусловно хвастаясь своей бесчувственностью, которая должна была рассматриваться как застенчивый псевдоним храбрости.

Ведь в самом деле так оно и было. В тот день я возвращался в Москву с группой консультантов по экспериментальному строительству. Я познакомился с ними в гостинице, где я жил в качестве командировочного. И так как за две недели одинокой командировки я порядочно соскучился по руководству, то, естественно, я с удовольствием примкнул к этим ребятам.

Целую неделю мы вместе ездили по новостройкам, палаточным городам и детским лагерям. И всюду мы давали полезные советы, как руководителям строительства, так и рядовым строителям. Если рядовых строителей не удавалось собрать, то руководитель группы не терялся, а тут же начинал давать советы по радио, потому что на таких новостройках всегда есть местное радиовещание. Однажды во время одной из таких передач, разгуливая у новостроек, я видел, как один парень, сидя у своей палатки, слушал радиоконсультацию, одновременно играя на балайке.

По утрам мы всей компанией шатались по старому базару, пробовали всевозможные фрукты, поедали гроздья карликовых шашлыков, пили зеленый чай и другие тонизирующие напитки.

Вся группа состояла из милых, свойских ребят и, не слишком скрытничая, любила своего руководителя, любовно называя его Глав. Эксом и человеком немалого гражданского мужества. Это был небольшого роста, широкоплечий крепыш, обычно к концу дня развивавший невероятную энергию.

И вот мы в последний день на аэровокзале, нас провожают активисты из горкома комсомола, тоже, по-моему, славные ребята. Все это время они старались, чтобы мы чувствовали себя в городе весело и уютно, насколько уютно может быть в городе, который время от времени потряхивают подземные силы.

И вот, значит, мы на аэровокзале, а наши хозяева все так же гостеприимно провожают нас, задаривают охапками исключительно ярких цветов да еще вдобавок каждому вручают по тибетейке. Мне бы ее спрятать, эту тибетейку, но я уже, возможно бессознательно, подражал Глав. Эксу, который ее тут же надел на голову.

И вот провожающие, оставив нам юного комсомольца в качестве последнего распорядителя, уезжают в город. Мы подходим к кассе, где у нас были заказаны билеты, и обнаруживаем, что нам запасли билеты не на тот рейс. Этот самолет вылетал на Москву несколькими часами позже и летел более длинным путем, что меня лично нисколько не волновало.

Но почему-то Глав. Экс, которого я уже успел полюбить как человека немалого гражданского мужества, пришел

в неистовое раздражение и тут же набросился на юного комсомольца, которому в свое время было поручено заказать билеты. Он утверждал, что, опаздывая на несколько часов, он срывает свой доклад перед членами государственной комиссии, и в сардонической форме спрашивал у юного комсомольца, что он после такого опоздания должен сказать членам комиссии. Юный комсомолец, понятно, не знал, что он должен сказать членам комиссии, что еще больше раздражало Глав. Экса.

Все это выглядело довольно нелепо и постыдно, особенно учитывая, что несколькими минутами раньше мы прощались с нашими друзьями, обменивались адресами, зазывали в Москву, в том числе и юного комсомольца, конечно.

А самое главное — эти разнесчастные тюбетейки.

По-моему, позорно, приняв в подарок тюбетейки и даже отчасти надев их на головы, тут же набрасываться с руганью на человека, так или иначе причастного к дарителям тюбетеек.

То ли тут сказывается мое горское, в известной мере, воспитание, то ли это в самом деле постыдно, но мне тогда было очень не по себе.

Я думаю, одно из двух — или ты, общаясь с людьми, не доводишь дело до того, чтобы тебе дарили тюбетейку, и тем самым оставляешь в чистом виде свое право на скандал, или же ты берешь подаренную тюбетейку и тем самым добровольно отказываешься от права на скандал, особенно если ты эту подаренную тюбетейку тут же напяливаешь на голову.

А иначе получается смещение понятий, безумная и бесполезная путаница моральных представлений.

Так оно и получилось. Юный распорядитель слушал эту непристойную ругань, время от времени останавливая блуждающий взгляд на его тубетейке, и, видимо, никак не мог соединить в единую гармонию ярость Глав. Экса с миролюбивым шатром тубетейки на его голове.

В конце концов наш распорядитель куда-то исчез, с тем чтобы обменять наши билеты, а мы расположились в тени у здания аэровокзала. Как только он ушел, я на всякий случай незаметно снял тубетейку и сунул ее в карман.

В дальнейшем наш распорядитель, морально поврежденный Глав. Эксом, действовал сбивчиво и странно.

Через некоторое время он прибежал к нам восторженный и, довольно небрежно выхватив у кого-то букет, сказал, что хочет подарить его какой-то женщине, которая все устроит. С этими словами он снова побежал в здание аэровокзала. Мы все, конечно, обрадовались, а Глав. Экс даже немного смутился и что-то пробормотал, косясь на небо, как бы отчасти объясняя свое нервное состояние удручающей жарой. Я до того умилялся его смущением, что даже не заметил, как снова надел тубетейку. Но вот проходит полчаса, час, а юного распорядителя все нет.

Глав. Экс мрачнеет и не спускает ненавидящих глаз с входа в аэровокзал. Только я успел снять тубетейку и незаметно сунуть ее в карман, как раздался голос Глав. Экса:

— Стойте здесь, а я пойду поищу этого сукиного сына, — прорычал он грозно в нашу сторону, словно почувствовал,



что бактерия разложения уже проникает и в нас. С этими словами он ринулся к двери аэровокзала.

Одним словом, все кончилось еще более грандиозным скандалом. Оказывается, наш юный распорядитель, пользуясь отсутствием депутатов, сидел в их помещении с какой-то совершенно транзитной девушкой, не имевшей никакого отношения к администрации аэровокзала, и что-то ворковал ей, тогда как она улыбалась ему, нагло прижимая к груди наши цветы. В таком виде и застал их наш Глав. Экс.

— Мы его ждем, а он сидит с красивой девушкой! — повторял он то и дело с побелевшими от гнева глазами.

И вдруг мне почему-то стало его жалко, потому что я понял, до чего ему самому хочется посидеть с красивой девушкой в прохладном помещении для отлетающих депутатов, и если при этом не забывать, что он человек немало гражданского мужества, все становится человеческим и объяснимым. А если к сказанному добавить, что Глав. Экс вез в Москву большую корзину божественных персиков, нежных и желтых, как свежесорванные цыплята, все становится еще более понятным и человеческим.

Одним словом, во время всей этой суматохи и случился толчок, которого никто из нас не заметил. Но зачем сейчас, в вагоне-ресторане, перед неумолимым взором армавирского скептика, было об этом вспоминать? Зачем?

— Что, не верите? — спросил я у повеселевшего армавирика, чтобы услышать от него хотя бы возражение и как-нибудь выкарабкаться из этого тупика, куда я сам себя загнал.

— Зачем спорить, — ответил он примирительно, не давая мне выкарабкаться, — мы разговариваем со своей компанией, вы — со своей, каждый говорит, что думает...

Я молча уткнулся в свой шашлык, который наконец принесла официантка. Армавирец продолжал витийствовать, время от времени повышая голос, как учитель, который таким образом, не прерывая занятия со всеми учениками, дает знать отдельному шалуну, что он его видит и осуждает.

Я постарался скорее расплатиться и уйти. Когда я уходил, армавирец говорил, что в Ташкенте в результате землетрясения пятьдесят тысяч сумасшедших. Хотя я не оглядывался, я был уверен, что он при этом смотрел мне в спину.

Мой идиотский разговор о Ташкенте ухудшил мое настроение и довел его до того уровня, с которого я начинал дорогу. Моя бессильная злость требовала какого-то выхода, и я решил выйти на ближайшей станции и выпить пива.

Может, я так решил еще и потому, что это был вокзал одного среднерусского города, где я когда-то работал и часто во время командировок, а иногда и независимо от них захаживал в вокзальный буфет.

Я узнал, сколько времени стоит наш поезд, и, когда мы подошли к станции, выскочил на перрон. Под морозящим дождем я добежал до вокзала и прошел в буфет. У буфета стояла большая очередь за пивом. Я пристроился в хвост и стал ждать, прислушиваясь к сообщениям вокзального диктора.

Через минуту в буфете стали появляться пассажиры с нашего поезда. Некоторые из них вглядывались в меня, тускло узнавая, и, узнав, сердито отворачивались, недовольные излишеством этих умственных усилий, когда и так мало времени.

Одни из них садились за накрытые столы, а другие прямо проходили к стойке буфета. Я удивился, что очередь не выражает возмущения, и уже готов был сам возмутиться, но тут заметил на стойке небольшую вывеску, гласящую, что пассажиры с поездов обслуживаются вне очереди.

Бормоча какие-то слова, я вышел из очереди и присоединился к своим попутчикам. Некоторые представители большой очереди враждебно взглянули на меня, как бы изобличая в двуличии.

Когда подошла моя очередь, буфетчица посмотрела на меня и покачала головой.

— Я с поезда, — сказал я, чувствуя какую-то неуверенность.

— Ну конечно, — улыбнулась она, — первый раз вижу.

— Правда, — сказал я, чувствуя, что все пропало, — я теперь здесь не живу, я с поезда.

— Он сюда приезжает пиво пить, — сказал кто-то из большой очереди.

— Мне что, — протянула буфетчица, улыбаясь и подмигивая, — как скажет очередь.

— Ничего, ничего, — согласился я и, быстро повернувшись, вышел из буфета.

Я выскочил на перрон. От раздражения этой маленькой неудачей кровь ударила мне в голову и разлилась теплотой. Я почувствовал, что тело мое теряет вес, вернее, наполняется легким, грузоподъемным веществом веселья. Слегка оттолкнувшись от земли, я влетел в тамбур нашего вагона. Я понял, что раз буфетчица вспомнила меня через несколько лет и даже не заметила промежутка между моим последним приходом и этим, значит, не так уж плохи мои дела и не так бесследны наши отношения с людьми, как нам иногда кажется. И когда, друзья мои, вам кажется, что весь мир отвернулся от вас, вы должны помнить, что в нем всегда найдется буфетчица, которая, презрев пространство и время, вечно держит вас в незримом списке своих клиентов.

В некотором восторженном возбуждении я с полчаса простоял в тамбуре и с удовольствием курил, обсасывая эту не слишком богатую, но приятную мысль.

Когда радость, исходящая от нее, стала во мне слабеть, я вспомнил про моего старичка и решил рассказать ему об этом случае и таким образом, путем агитации другого, поддержать в себе уверенность в важности своего вывода.

Я вошел в вагон. В коридоре его не было. Я приоткрыл дверь его купе.

Старичок сидел в своей шахматной кепке за столиком и обедал. Он ел хлеб, запивая его кефиром прямо из бутылки.

Когда я приоткрыл дверь, он, запрокинув голову, пил из горлышка. Сейчас он был похож на маленького звездочета,

сквозь бутылку, как сквозь самодельный телескоп, рассматривающего небесные тела.

Увидев меня, старичок страшно смутился и, быстро поставив бутылку на столик, отряхнул руки, подчеркивая случайный характер своих занятий, в известной мере даже баловство, никакого отношения не имеющее к истинной трапезе, и как бы приглашая меня тут же вместе с ним забыть об этой неловкости.

Я обнял его и прижал к груди, так что козырек его кепки больно уперся в мою ключицу. Смущение старика сменилось испугом, он яростно затрепыхался и, вырвавшись из моих объятий, радостно догадался:

— Водка пил? Ничего! Спи, спи!

Он с шутливой настойчивостью вытолкнул меня из своего купе и втолкнул в мое.

— Спи, спи, ничего! — повторил он, озираясь и знаками показывая, что никто, кроме него, об этом не узнает. Старичок прикрыл дверь и, стоя с той стороны, даже слегка запел, может быть чтобы рассеять подозрения окружающих.

Утром я проснулся от настойчивого прикосновения.

Я повернулся и открыл глаза. Надо мной стоял мой старичок. Теперь он был в кепке и плаще, который сидел на нем еще более широко, чем пиджак.

— Груш, — тихо, как пароль, напомнил он мне. Я вскочил и посмотрел в окно. Поезд подходил к Москве. Я помог старику выволочить сундучный чемодан, попрощался с ним и, схватив полотенце, побежал в туалет. За ночь в вагон на-

бралось довольно много пассажиров, и теперь почти все они стояли в проходе с чемоданами и узлами.

Когда я возвращался к себе, диктор поезда торжественным голосом сообщил, что поезд приближается к столице нашей Родины Москве. И хотя все, безусловно, знали, что поезд приближается именно к Москве, напоминание диктора было приятно; во всяком случае, оно никому не показалось лишним.

Возможно, оно всеми нами воспринималось как символ исполнения мечтаний, совпадения планов с действительностью: вот захотелось приехать в Москву — и приехали, захочется еще чего-нибудь сделать — сделаем еще чего-нибудь.

Поезд мягко, как бы извиняясь, проплыл мимо встречающих, которые, узнавая своих близких и друзей, махали руками, радостно улыбались и, не слишком отставая, бежали за нужным вагоном.

Носильщики, отталкивая встречающих, как потенциальных штрейкбрехеров, первыми врывались в вагоны.

С трудом защитив свой чемодан, я вылез на перрон. Через несколько минут, уже в тоннеле подземного перехода, я увидел, как мимо меня промелькнула шахматная кепка старичка. Впереди него с сокрушительной бодростью вышагивал грузчик с двумя сундучными чемоданами, перетянутыми ремнем и перекинутыми через плечо. Сам старичок волочил третий чемодан. Безумными глазами он следил за спиной грузчика, стараясь не потерять ее в толпе.

Рукой, свободной от чемодана, он крепко, как охранную грамоту, держал листок с адресом.

«Коммерсия...» — вспомнил я и, потеряв его в толпе, привычно погрузился в собственные заботы.

бедный демагог

Жаркий летний полдень.

У кенгурийского вокзала пассажиры в ожидании электрички расположились в чахлам сквере, кто на скамейках, кто прямо на утопанной траве. Некоторые ушли в глубину сквера, где трава посвежее и тени погуще, зато оттуда гораздо дальше до платформы, и они, боясь пропустить электричку, послеживают за теми, что расположились поближе к выходу.

Перед сквером ларек, где продают прохладительные напитки. Сейчас продают лимонад и пиво. Потная очередь тянется к пиву. Берут сразу по одной, по две, по три бутылки.

Одни уходят с пивом в сквер, другие пьют прямо у ларька из горлышка, третьи дожидаются пивных кружек и стаканов. Но это не так просто, потому что стаканов и кружек не хватает: потребности жажды превосходят возможности мойки.

Пьющие из кружек и стаканов, чувствуя нетерпеливые взгляды ожидающих, явно тянут удовольствие, боясь прогадать. Те, что ожидают своей очереди за кружками, дождавшись, тоже стараются не упустить свое.

Из очереди выходит чумазый человек, одетый в грязную сатиновую рубашку и бумажные китайские брюки, тоже весьма замызганные. Он держит в каждой руке по бутылке пива. На лице выражение смертельной алкогольной усталости.

Он выходит в сквер и тяжело усаживается на землю под стволом молоденького эвкалипта. В пяти шагах от него под таким же молоденьким стволом эвкалипта (сквер начинается эвкалиптовой рощицей) сидит так же плохо одетый человек почти с таким же выражением алкогольного утомления на лице.

Глядя со стороны, нетрудно определить по следам угольной пыли, ввевшейся в их лица, а также по цвету замызганной одежды, что это люди одной профессии, скорее всего кочегары, работающие в каком-нибудь из местных предприятий.

Как только первый кочегар усаживается под деревом, второй оживает. Он смотрит на собрата. Выражение алкогольной усталости на лице его сменяется выражением доброжелательности и готовности помочь, может быть, даже бескорыстно, на первых порах.

Тот, что пришел, усевшись, ставит одну бутылку между ног и, взяв обеими руками вторую, рассматривает ее и медленно озирается. В сознание его пробивается мысль, что бутылку надо чем-то открыть, а открыть вроде бы нечем.

Во время этого озирания он встречается глазами со вторым кочегаром, и тут на его тусклом лице появляется выражение неприязни.

Он почти инстинктивно освобождает одну руку и опускает ее на вторую бутылку, стоящую у него между ног, словно чувствуя, что близость собрата угрожает именно этой, второй бутылке. Он даже делает едва заметное движение всем телом, словно собираясь встать и уйти от опасности, но все-таки остается — жарко, лень...

Второй кочегар из всех этих многообразных, хотя и несложных душевных порывов заметил только то, что его брату нечем открыть бутылку.

Совершенно взбодрившись, он стал лихорадочно рыться в карманах, по-видимому в поисках ножа, и, еще не найдя его, кивал головой второму кочегару: дескать, одну секунду, и все будет в порядке. Впрочем, кивание это цели не достигло, потому что первый кочегар уже отвернулся от него и, зацепив металлическую крышку одной бутылки металлической крышкой другой перевернутой бутылки, пытается ее открыть. Несколько раз дернул перевернутой бутылкой, но она оба раза соскользнула, не зацепившись за край крышки другой бутылки.

Второй кочегар наконец достал из заднего кармана дешевенький перочинный ножик с одним лезвием, поспешно раскрыл его и просто предложил первому:

— Давай, Сашок, открою!

Первый кочегар, не подымая головы, продолжал возить со своими бутылками, и глазомер его был настолько зыбок, что ему стоило немалых трудов свести обе бутылки голловками.

Второй кочегар ничуть не смутился невниманием своего собрата. Он деловито обернулся к стволу эвкалипта, на который опиралась его спина, и несколько раз провел лезвием ножа по его гладкой телесной поверхности, словно правил бритву.

Трудно было сказать, чем вызвано это его действие: то ли он просто демонстрировал свой нож, то ли показывал, что привел его в гигиеническую безупречность, но так или иначе действие его было связано с желанием усилить притягательность своего инструмента.

— Давай, давай, не бойся! — снова прозвучал его голос. С некоторой игривостью подчеркивая последнее слово, он как бы намекал на смехотворность предположения о какой-либо корысти.

Первый кочегар, не обращая внимания на это повторное предложение, продолжал возиться с бутылками и наконец слегка сдвинул крышку одной из бутылок, из которой начала выпузыриваться пена.

— Мое дело предложить, — сказал второй кочегар, глядя на пузырьки пены, выбрызгивающиеся из-под крышки. — Если ты не доверяешь товарищу, на, открывай сам!

Он осторожно взмахнул рукой с ножом, этим замедленным взмахом давая знак своему собрату, что сейчас рядом с ним упадет достаточно острый предмет и тот должен иметь время, чтобы принять его с достаточной степенью безопасности для своего тела. Первый кочегар и теперь не обратил внимания на своего собрата и даже, приподняв бутылку, стал отсасывать пену из-под крышки.

Второй кочегар, видя такое, не решился бросить нож, а положил его рядом с собой, что могло означать — вооружился терпением.

Отсосав излишки пены, первый более энергично приступил к открыванию бутылки. После нескольких новых попыток он содрал металлическую пробку и, ртом поймав горлышко бутылки, откинулся на ствол эвкалипта, запрокинул голову и блаженно засосал. Второй кочегар замер, и горло его время от времени делало судорожные глотательные движения.

— Ну и бедолага, — сказал сидевший напротив старый абхазец своим спутникам, — чего только он не натерпелся, открывая ее.

— Чего только не сделал этот его товарищ, чтобы всучить ему нож, — сказал один из спутников старика, — но этот не дался...

— Решил, что, если возьмет нож, придется отдать одну бутылку, — сказал второй спутник старика.

— Видать, оба бедолагы, — сказал старик и, сняв с головы войлочную шапку, ударил ею по руке, на которую села муха.

Все трое сидели под эвкалиптом. Старик сидел опершись спиной на ствол, покойно опустив руки на колени. Рядом лежала его палка.

У старика была коротко остриженная маленькая седая головка с хорошо продубленным каштановым лицом и светлыми, спокойными, первобытнообщинными глазами.

Оба его спутника сидели рядом с ним, но не так, чтобы дышать в лицо, а примерно на расстоянии вытянутой палки. Из почтительности они сидели к нему боком, как бы скрывая свою плотскую сущность. Так по-женски сидят в седле. Головы их вместе с корпусом, слегка развернутые в сторону старика, выражали внимание и сдержанность.

Судя по черной шелковой рубашке, которая была на старике, и черным атласным рубашкам на его более молодых, то есть пожилых, спутниках, можно было понять, что все они едут на похороны или сорокадненье.

Еще можно было понять, что если это похороны, то очень дальнего родственника или просто знакомого человека, потому что между ними, пока они сидели и дожидались электрички, ни разу не возникло разговора о предстоящей печальной церемонии.

Старик все это время рассказывал случай из своей жизни. Суть этого случая заключалась в том, что его буйволицу, которая давала такое молоко, что его после заквашивания можно было резать, украл один негодяй из соседнего села.

Когда вор перегонял его буйволицу через котловину Сабида, на него наткнулся односельчанин этого старика, но остановить вора не осмелился, потому что дух его, по словам старика, был расшатан малярией, и он побоялся, что не справится с воров. Но так или иначе он поднялся в деревню, этот ослабленный духом земляк и рассказал хозяину о том, что он видел.

Старик, который тогда, естественно, был молодым, спустился в котловину Сабида и отправился за вором, то теряя эти следы, то снова их находя. К вечеру он вышел к дому вора и увидел на крыше его кухни еще мокрую, но уже распяленную на распялках шкуру своей буйволицы. По бодрым голосам, доносящимся из кухни, он понял, что мясо его буйволицы варится в пиршеском котле, а дом полон родственников, которых вор созвал угощать его буйволятиной.

Хотя, по словам старика, дух его в те времена был силен и сам он был как кремень, а все же по голосам понял, что многовато там родственников, ожидающих мяса, и сейчас затевать с ними свару слишком опасно. Он решил отомстить вору через государство и тихонько, по его словам, вернулся домой.

Так началось это дело, сказал старик. На следующий день он поехал в Кенгур и рассказал о своем деле писарю полицейского участка, которого он хорошо знал. Писарь этот, по его словам, был до того грамотный, что мог писать прошения не только рукой, но и ногой. Некоторые этому не верили, шли на спор, после чего писарь разувался, привязывал ручку между пальцами ноги и писал любое прошение.

Так вот этому писарю он все рассказал, передав ему привезенные с собой два мешка орехов и две индюшки, которые тот должен был разделить с начальником полиции.

Писарь обещал ему все сделать и сказал: езжай, мол, домой, а когда надо будет, мы тебя позовем. Покамест он ждал

разрешения своего дела, царская власть, по его словам, обрушилась, начальник полиции куда-то исчез, а на его месте появился новый начальник, меньшевик.

Из старых людей остался только этот удивительный писарь, который, по словам знающих людей, ногой писал даже еще грамотней, чем рукой, хотя ему, хозяину буйволицы, от этого никакой пользы не могло быть, потому как его бедные индюшки затерялись между двумя властями, ну и орехи, конечно, то же самое.

...На этом старик прервал свой рассказ сердобольным замечанием в адрес кочегара, с таким трудом открывшего свою бутылку.

Первый кочегар продолжал посасывать пиво из бутылки, а второй кочегар замер, глядя на него и время от времени делая глотательное движение.

— Свежее хоть? — спросил наконец второй, перестав делать глотательное движение, словно осознав его бесплодность. Голос его прозвучал одиноко.

Первый кочегар ему ничего не ответил. Он продолжал сосать из бутылки, время от времени поглядывая на окружающий мир самоуглубленным взглядом младенца, сосущего грудь матери.

— Вот змий, — проворчал второй кочегар, — не оторвешь... Хоть бы перед людьми постеснялся из горла жрать... Хочешь, кружку принесу, вон освободились?

В самом деле, двое, пивших пиво сбоку ларька, поставили свои кружки и ушли, не замеченные очередью. Но сейчас, ко-

гда эти двое вышли из-за боковой стены ларька, а может, сам кочегар своим жестом в сторону ларька подсказал одному человеку из очереди, что там есть свободные кружки, тот вышел из очереди и зашел за ларек.

Не успел он подойти к кружкам, как второй кочегар остановил его окликом.

— Гражданин, — закричал он, — я очень извиняюсь, но эти кружки я занял раньше вас!

Гражданин удивленно оглянулся и заметил второго кочегара, кивающего ему головой, дескать, именно я занял эти кружки, а для чего, это уже не твое дело.

Возможно, бродячий вид и решительные жесты второго кочегара могли означать и нечто более определенное, чем то, что он сказал. Во всяком случае, гражданин из очереди, нерешительно потоптавшись, отошел к очереди и там уже, чувствуя солидарность всех, кому не хватает кружек, стал воинственно жестикулировать в сторону второго кочегара.

— Так принести?! — спросил второй у первого. — Ведь расхватывают?

Первый кочегар, отпив половину бутылки, отрывает ее ото рта и блаженно озирается. Черты лица его несколько оживают. Второй кочегар смотрит на него с мучительным раздражением, которое он, однако, старается скрыть.

— Кружки, говорю, ослобонились, принести?! — говорит он ему, еле сдерживаясь. — Что же из бутылки жрать? Все-таки рабочий класс, а не босяк какой-нибудь!

— Отвали, — наконец бубнит первый кочегар и снова запрокидывает бутылку. Второй некоторое время оцепенело смотрит на него, и горло его делает судорожные глотательные движения.

Между тем из очереди выходят два человека, тот, что подходил за кружками, и еще один. По-видимому, они делегированы очередью, потому что действуют решительно, как и все люди, действующие не от своего имени. Тот, что и раньше подходил, берет кружки, а второй, обернувшись в сторону эвкалиптовой рощицы, пытается произнести, по-видимому, обличительную речь против людей, терроризирующих пивные кружки. Но произносить не приходится, потому что второй кочегар мановением руки показывает, что он без боя отдает эти кружки.

— Бери, бери, — говорит он, — тут из горла жрут, извините за выражение, как некоторые животные...

Но он напрасно извиняется, потому что слова его до ларька никак не доходят, доходит только жест человека, уступающего место боя. Оба делегата возвращаются с кружками, явно довольные маленькой победой коллективных усилий над самодурством.

Нельзя сказать, что намек второго кочегара остался совершенно не замеченным первым. Он на мгновение даже отрывается от бутылки и смотрит на него обиженными глазами. Но, словно взвесив обиду и силу похмельной жажды и почувствовав, что похмельная жажда перевешивает, снова молча прильнул к бутылке.

— Работничек называется, — говорит с усмешкой второй кочегар, теперь явно обращаясь к абхазскому старику. Старик ловит его взгляд и уважительно прислушивается. Спутники старика тоже поворачивают головы в сторону второго кочегара, раз уж старший среди них обратил на него внимание.

Видимо, это еще больше вдохновляет второго кочегара.

— Работничек называется, — повторяет он с выражением праведного гнева, — через два часа приступать к смене, а он лыка не вяжет... Значит, другие вкалывай, а ты будешь хрёмать? Так, товарищ дорогой, не пойдет! До парткома, до дирекции дойдем, если надо будет! Правильно, папаша?

— Чего это он мне? — спрашивает старик у своих спутников, продолжая глядеть на кочегара кроткими первобытными глазами.

Как бы передразнивая кочегара, он повторяет по-русски это явно единственное понятное слово:

— Папаша...

— Он говорит, — разъясняет ему один из абхазцев, — что тому, что с бутылками, на работу пора... А он пьет, не стыдясь ни своего директора, ни того, что ты, старый человек, рядом...

Старику понравилось, что второй кочегар уважил его, включив в список людей, которых пьющий кочегар должен был постыдиться.

— Какая уж там работа, — примирительно говорит он, кивая на небо, — вон солнце где...

— У них все по-чуждому, — вставляет третий абхазец, — они и работают не так и пьют не по-нашенски... Да ты лучше дальше рассказывай...

— Что же дальше, — продолжает старик, — значит, снова гружу лошадь орехами, подвязываю к седлу пару индюшек и приезжаю сюда в полицию. Писарь мой взбесился! Ты что, говорит, не видишь, мир перевернулся! Тут, говорит, новая власть пришла, тут, говорит, свобода! Тут, говорит, царя Николая, что выел у нас печенку, скинули! А ты со своим буйволом! Да тебя, говорит, за это в тюрьме сгноить можно!

Ну я ему спокойно отвечаю. Если свобода будет, говорю, хорошо. А чем мой буйвол свободе мешает? Покричал, покричал мой писарь, потом посмотрел на лошадь, и вижу, индюшки ему понравились, а орехи не очень.

— Ладно, — говорит, — разгружай лошадь и жди... Введу тебя к начальнику...

Снимаю с лошади мешки, снимаю индюшек и несу в кладовку, куда и раньше носил свои орехи и индюшек.

Жду час, жду два, наконец вводит меня писарь. Вижу, сидит эндурец, весь кованый, в ремнях и бляхах.

Так, мол, и так, говорю. При Николае увели у меня буйвола и до сих пор не вернули. И свидетель, говорю, жив еще, хоть малярия его поедом ест, и сам я, говорю, видел шкуру моего буйвола на крыше его кухни, на распялках сушилась. Одним словом, все, как есть, рассказал, а он все выслушал и там, где нужно, головой кивал, значит, давал знать, что согласен помочь.

— Хорошо, — говорит, — пусть он все запишет, а потом мы тебя вызовем вместе со свидетелем.

Уезжаю к себе и жду. Жду месяц, жду другой. Жду лето, жду осень. И главное, боюсь, что этого несчастного малярия заест, умрет человек без всякой пользы для себя и моего дела...

Первый кочегар приступил ко второй бутылке. Теперь он стал краем горлышка открытой бутылки подцеплять крышку закрытой. Но подцепить опять никак не удавалось, хотя он, с одной стороны, вроде бы стал бодрей, но, с другой стороны, гладкое стекло горлышка бутылки никак не подцепляло крышку, все время соскальзывало.

— Возьми нож, дуралей, — миролюбиво предложил второй кочегар, — не срамись перед этими...

— Отвали, — выдохнул первый кочегар, упорно пытаясь приладить горлышко открытой бутылки под металлическую крышку закрытой. На лбу у него выступили крупные капли пота. Наконец он все-таки немного ослабил крышку, и из-под нее с шипением стала выпузыриваться пена. Он отложил пустую бутылку и, приложившись к этой, стал отсасывать пену, чтобы не пропадала.

Второй с мучительным презрением следил за первым, пока тот, время от времени отрываясь, чтобы посмотреть, можно ли продолжать открывать бутылку без потерь пены, высасывал ее излишки. Воспользовавшись паузой между двумя отсосами, он снова взял в руки нож и попытался кинуть ему.

— Не мучься, болван, на!

Никакого внимания. Но вот первый кочегар сумел выколупать пробку и, запрокинув голову и воткнув в рот горлышко бутылки, стал вливать в себя пиво.

Второй молчал долгую минуту.

— Свежее хоть? — все-таки не выдержал он, и горло у него вздрогнуло. Голос прозвучал очень одиноко.

Первый оторвался от бутылки и в блаженном изнеможении откинулся на ствол эвкалипта. Рука его слегка поглаживала бутылку, отпитуя наполовину и поставленную между ног с легким, для безопасности, наклоном к бедру. Он слабой рукой поглаживал бутылку, как женщину после близости, когда первый необузданный порыв страсти утолен, а еще осталось и на второй и на третий, но теперь спешить некуда, можно передохнуть.

— Хоть свежее? — теперь уже с покорным миролюбием спросил второй. — А то иногда кутаисское привозят, прокисшее... И куда только смотрят органы...

Первый медленно повернул к нему голову.

— Ну свежее, ну сочинское, — сказал он голосом, слабым от блаженства, — ну отвали, я же тебе сказал...

— А тут говорит мне охотник Тендел, — продолжал старик, краем глаза послеживая за кочегарами, — что живет в Цебельде одна женщина, которая готовит лекарство от малярии, хотя по национальности сама русская. Повези, говорит, ей пару индюшек, раз уж ты решил известить эту птицу у себя во дворе. А орехов, говорит, ей не надо, потому что они в Це-

бельде сами живут по колено в орехах. Что делать? Поймал я двух индюшек под крики жены, взял трехлитровую бутылку и поехал к этой русской.

Одним словом, что говорить... Взял я у нее лекарство, сел на свою лошадь и в ту же ночь вернулся в Чегем. Дал лекарство больному, объяснил, как пить, вернулся домой и уснул как убитый.

На другое утро еще в постели слышу резкий голос Тендела.

«Чудо, чудо! — кричит он с верхнечегемской дороги. — В долине, — кричит, — власти сменились. Меньшевики, — кричит, — бросили свои места и сбежали. Большевики, — кричит, — пришли и сели на их места».

Тут сердце у меня упало. Вот тебе, думаю, и чудо!

«И начальник кенгурской полиции, — кричу ему, — сбежал?»

«Первым, — кричит, — сбежал!»

Опять дело мое испортилось. Промаялся я дня три-четыре и чувствую, надо собираться в дорогу, потому что, думаю, или вор меня опередит, писаря моего перекупит, или мой страдалец умрет, до суда не дотянет.

Опять грузу на лошадь два мешка орехов, ловлю двух индюшек, а они уже, как увидят меня, так по всему двору разбегаются, а жена кричит и позорит меня на весь Чегем. Чтобы, говорит, оставшихся индюшек на твоих поминках съели, чтоб, говорит, не успел ты вернуться домой, как власти опять сменились. Помет, говорит, от моих индюшек на насесте

крепче держится, чем твои власти. Позорит меня, но что делать, сажусь на лошадь и снова еду в Кенгур.

Приезжаю в Кенгур, въезжаю во двор милиции, привязываю лошадь. Вижу, ко мне писарь подбегает.

«Как мое дело?» — спрашиваю.

«Да ты что, — кричит он на меня, — тут мир перевернулся! Эти негодяи-меньшевики сбежали в Эндурию! Сейчас здесь большевики сидят! Они, говорит, в поход собрались на весь мир, а ты, говорит, своего буйвола к ним пристегиваешь».

Ну я слушаю его одним ухом, а сам лошадь развьючиваю. Но он, вижу, на мои орехи совсем смотреть не может, но вынужден, потому что индюшек терять не хочет, очень уж у нас в ту пору индюшки были хороши. А писарь еще сильнее злится на меня.

«Чтоб, говорит, в Чегеме молния повыжигала все ваши орехи! Куда ты мешки разгружаешь? Думаешь, это тебе эндурские голодранцы? Эти совсем бешеные! Эти приношений не берут! У них, говорит, совсем другой марафет!»

«Что же они кушают, говорю, турки их кормят, что ли?»

«У тебя не попросят, говорит, надо будет, сами возьмут, потому что у них марафет такой».

«Что ж, говорю, везти назад, раз у них марафет такой?»

«Ладно, говорит, оставляй все у родственника. Попробую уговорить... Жди меня ночью».

Уехал я к родственнику и стал дожидаться. Пришел он поздно ночью, одним словом, взял.

«Приходи, говорит, завтра введу».

И в самом деле, на следующий день ввел. Вижу, сидит мо­ложавый, весь в ремнях, а блях на нем не видать... Так, мол, и так, говорю. Дело мое чистое. Буйвола у меня увел такой-то, видел его такой-то, но, как болящий малярией и ослаблен­ный духом, остановить не мог. И про шкуру рассказал, и про все. Две власти не могли помочь, говорю, да и сами обруши­лись, кое-что из моего имущества подпортив, намеком гово­рю. Нарочно так говорю, хочу узнать, получил он что-нибудь от писаря или нет. Но по лицу его ничего не видно. Если и вас, говорю, сверзят, придется мне мстить самому, потому что свидетель мой малярией замучен — умрет, доказать ниче­го не смогу.

«Не бойся, — смеется новый начальник, — мы крепко си­дим. Езжай — вызовем, когда надо».

Поехал домой и стал ждать. И в самом деле вызвали. Пар­ня этого посадили, родственники его дали мне корову и тел­ку вместо буйволицы, и власть, как видишь, до сих пор стоит, и сносу ей не видать.

— Не говори, — подтвердил один из его спутников, — на вид-то они простецкие, а на самом деле свой расчет имеют...

— Они совсем по-особому устроены, — сказал старик и, осторожно сняв шапку, хлопнул ею муху, севшую ему на руку, — никто в мире еще не открыл их марафет.

Он сбросил муху с кисти руки и снова надел шапку.

Первый кочегар, всласть передохнув, снова поднял бутыл­ку и, запрокинув голову, ловко воткнул горлышко бутылки

в свои мягко разошедшиеся губы. Снова заработало его горло, и снова горло второго кочегара судорожно задвигалось, отвечая ему мучительным эхом. Внезапно он вздрогнул и, словно стряхивая с себя наваждение, мотнул головой. Горло его перестало двигаться. Он взял свой перочинный ножичек, закрыл его и положил в карман. Очередь у ларька двигалась к своему неотвратимому концу, как пиво в запрокинутой бутылке первого кочегара.

— Кому нужны стаканы и кружки, — крикнула продавщица, высунувшись из ларька, — подходите!

— А зачем нам стаканы и кружки, — сказал второй кочегар, криво усмехаясь, — мы как свиньи прямо хлебаем...

Первый кочегар, не отрывая рта от горлышка бутылки, скосил на него свои обиженные глаза. Но, видимо, опять соразмерив похмельную жажду с обидой и снова не в силах совладать с собой, продолжал посасывать бесшумно клокочущее и уходящее из бутылки пиво.

— А в прошлом году совсем убег, — сказал второй кочегар, обращаясь к абхазцам, — бросил производство и мотнул на Север. За длинным рублем погнался... Что же это будет, если каждый будет бросать трудовую вахту? Наш паровоз, как говорится, задний ход даст? А кому это на руку?!

Он остановился и, растопырив руки, замер в недоуменной позе, как бы спрашивая об этом у старого абхаза.

— Чего это он мне набубнил? — спросил старик у своих спутников.

— Ерунду говорит, — махнул рукой один из спутников старика, — говорит, поезд останавливаться не будет, а так — зад покажет и проедет...

— Прочь от этого дурня! — неожиданно рассердился старик и, опершись на палку, стал подыматься. — Как это поезд не остановится?! Вон и люди пошли. Как это он может зад показать и проехать, что мы, скотины какие-то, что ли?!

Они пошли в сторону платформы, куда постепенно вышли почти все люди, пившие пиво и укрававшиеся в тени сквера.

— Сегодня в Мурманск, — бормотал второй кочегар, — а завтра куда, я спрашиваю! А где твоя рабочая честь?

— Пашка! — крикнула продавщица, выглянув из ларька и увидев второго кочегара, сидевшего под деревом. — Вытащи мне бутылки, вымой их под краном и сложи в ящики. Пару пива с меня!

— Я мигом! — вскочил второй кочегар и быстро направился к ларьку.

Через пять минут он быстрым шагом вышел из ларька с ящиком, наполненным пустыми бутылками. За ларьком в двадцати шагах от него возле дряблой баррикады ящиков стояла колонка. Возле этой колонки он выгрузил первый свой ящик, потом второй, третий, четвертый.

С грохотом налетела электричка и, забрав всех пассажиров, покинула станцию.

Первый кочегар, допив вторую бутылку, отдышался, встал и, подойдя к стойке, поставил обе бутылки на прилавок. Он

получил за них мелочь, купил на нее сигареты «Прима» и, закурив, ушел слабой, но независимой походкой человека, пьющего на свои деньги.

Второй кочегар, стоя у колонки, широко расставив ноги с закатанными штанами, усердно мыл бутылки и складывал их в ящики.

— Лен, а Лен, а винные куда? — спросил он, оборачиваясь на заднюю дверь ларька, где сейчас сидела продавщица. Она сидела в открытых дверях ларька и, обмахиваясь журналом «Огонек», отдыхала. Это была женщина лет тридцати в халате, голоногая, полная, грубо накрашенная.

— Винные пока не трожь! Лимонадные и пивные складывай! — крикнула она ему, не переставая обмахиваться.

— Ясно! — ответил ей второй кочегар и, отложив винную бутылку, которую держал в руках, снова взялся за мытье. Наполнив ящик вымытыми бутылками, он немного оттащивает его в сторону, берет из нагроможденной кучи другой ящик и, поставив его возле колонки, снова берется за дело.

Мимо ларька, толкая впереди себя тяжелую тачку, груженную брусками льда, продвигается коротконогий, с могучим потным торсом тачечник Бичико. Он блудливо косится на заднюю дверь ларька, где сидит продавщица, но ему не видно ее из-за полуоткрытой в его сторону двери. Бичико явно старается проехать незамеченным, не подозревая, как гремит его тачка на неровностях незамощенной дороги. Бичико глухонемой, хотя десяток слов может понять и произнести.

Продавщица его давно заметила и теперь, наливаясь гневом, ждет, когда он подъедет поближе.

— Чтоб я этот лед тебе на гроб положила! — кричит она, встав со стула, на котором она сидела, и одной рукой до конца распахивая створку двери. — Опять мимо проезжаешь!

— Тё-тё-тё-тё! — страстно лопочет Бичико, взмахами одной руки показывая, что вопрос о снабжении льдом той или иной торговой точки решается не им, а в гораздо более высоких сферах.

— ...Шени кубо, кубо! (Твой гроб, твой гроб!) — гремит продавщица по-грузински, словно через родной его язык пытаясь прорвать его глухоту. — Мало я тебе платила, да?!

Бичико нет и тридцати, а у него уже пятеро детей, на которых он работает с утра до вечера. Отерев рукой кудлатое и потное лицо вавилонского раба, он налегает на тачку и движется дальше, сердито лопоча:

— Тё-тё! Тё-тё!

Бичико ее, конечно, не слышит. Он заворачивает на привокзальную улочку, и тачка его, перейдя на асфальт, мгновенно замолкает. Сейчас он едет к вокзальному ресторану. Летом здесь не хватает льда, и более мелкие торговые точки не могут конкурировать с более мощными торговыми предприятиями, умеющими найти общий язык и с тачечником и с теми, кто его снабжает льдом.

Возле ларька тихо. В тишине слышно, как льется струя воды на бутылки из-под пива и лимонада. Продавщица

раскладывает на ящике свой обед на скорую руку: хлеб, колбаса, зелень, бутылка кефира и слобная булка из собственной витрины.

— А что, Ленок, тебе этот летун больше не помогает? — спрашивает он у продавщицы.

— Я эту заразу больше на порог не пушу, — отвечает она, усаживаясь возле накрытого для предстоящей трапезы ящика, — оказывается, он у меня поворовывал!

— А я ему, Ленок, никогда не доверял, — продолжая ополаскивать бутылки, добродетельно говорит кочегар, — летун... летун... А спрашивается, какой он летун? Токарем работал на авиазаводе, а здесь летуном заделался... И что ты в ём нашла...

— Не твое собачье дело, — отвечает продавщица и вонзается зубами в мякоть огромного помидора. — Шевелись, — продолжает она, проглатывая сочную мякоть, — чтоб у меня к электричке все чисто было, а то повернуться негде...

Она показывает ногой на бутылки, стоящие на полу.

— Я, Ленчик, мигом! — обещает ей кочегар и ускоряет ход своей нехитрой работы: подставил бутылку под струю, тряхнул, перевернул — в ящик. Снова под струю, тряхнул, перевернул — в ящик.

Ландыши, ландыши, Светлого мая, ля-ля-ля... — поет он, явно предвосхищая две заработанные бутылки свежего сочинского пива.

— Эй, Пашка! — зовет продавщица, но тот вовсе распелся, полный волнующего предвосхищения, и ничего не слышит.

Внезапно замолкает сам, оборачивается и смотрит в открытую заднюю дверь ларька, где продавщица сейчас ест сдобную булку, запивая ее кефиром прямо из бутылки.

— Ты меня звала, Ленок? — спрашивает он.

— «Звала, Ленок?»! — передразнивает она его. — Да я изоралась, пока ты блеял... Кончишь, возьмешь корзину и поищешь бутылок... Получишь за каждую вторую...

Она кивает в сторону опустелого сквера.

— Обязательно, Ленок, — говорит кочегар и, не в силах остановить подступивший приступ похмельной нежности, чмокает губами, словно целует продавщицу на расстоянии, — ты мой брильянтик!

— Обойдешься, — осаживает она его, взглянув на него с оттенком отдаленного любопытства, как бы мимоходом прикидывая, стоит ли игра свеч, если попробовать привести его в состояние сексуальной съедобности.

Через пятнадцать минут кочегар Паша пьет у стойки свое пиво. Первую бутылку он выпивает в один прием, слив ее в пивную кружку. Вторую пьет медленно, капризно подсаливая, обмениваясь ленивыми замечаниями с еще редкими пассажирами следующей электрички.

Все больше людей подходят к ларьку, и уже у стойки образуется маленький водоворот новой очереди. Некоторые, получив свое пиво или лимонад, спешат укрыться в тени деревьев сквера.

Между деревьями с палочкой в одной руке и корзиной в другой похаживает кочегар Паша. В поисках бутылок он

раздвигает чахлые кусты пампасской травы, оглядывает подножья эвкалиптов, платанов, магнолий, не брезгает заглянуть и в урны.

Эта корзина, эта суховатая бодрость походки, а главное — опрятное выражение отрешенности от плотских страстей придают ему комическое сходство с грибником более северных широт, откуда он, скорее всего, родом.

Но где прохладные широты, где грибные леса — кругом тяжелый влажный зной, летний полдень, Колхида.

ремзик

В тот вечер они сидели на теплых ступеньках крыльца, и Ремзик рассказывал про подвиги своего дяди, военного летчика, ночного бомбардировщика.

Дом, на крылечке которого они сидели, принадлежал директору кондитерской фабрики. Из распахнутых окон, оклеенных крест-накрест бумажными полосами, доносились звуки патефонной музыки. Девочки, подружки директорской дочки Вики, учились танцевать. Они приглашали и мальчиков, но Ремзик отказался за всех, и мальчики остались на крыльце.

Им всем было по двенадцать лет, и Ремзик считал, что им рано учиться танцевать. И вообще, сейчас не время, сейчас идет война. Кроме того, на нем была обувь из расслоенных старых покрывок, которую многие теперь носили и называли

ее «мухус-сочи», имея в виду, что ей нет сносу. Ноги в этих резиновых башмаках прели, и это чувствовалось в помещении, и от этого Ремзик испытывал некоторую неловкость.

Время от времени директорская дочка высовывала голову из окна и смотрела на крыльцо, где сидели ребята, с рассеянной бесплодностью стараясь заинтересоваться рассказом Ремзика.

Несмотря на то, что на улицах и в домах не было света из-за светомаскировки, лицо девочки было хорошо видно — на небе стояла большая, яркая луна. В лунном свете лицо девочки казалось более взрослым.

Лицо ее Ремзику было приятно, но он никогда в жизни ни ей, ни кому другому не признался бы в этом. Он считал, что ему, двенадцатилетнему мальчику, девочка вообще не должна нравиться, тем более сейчас, когда идет война.

Не сумев заинтересоваться рассказом Ремзика, девочка уходила в глубину дома, в другую комнату, где горел свет и играла музыка, постыдной сладостью обволакивавшая душу мальчика. Ремзик знал все эти пластинки, потому что все они и многие другие были у тети Люси, жены дяди, которую он привез из Москвы.

Да, дядя Баграгт ничего на свете не боялся. С самого начала войны он летал в тыл врага, и его ни разу не сбили. Один раз ранили в ногу осколком зенитки, но сбить ни разу не сбили. И тогда ему удалось дотащить самолет до аэродрома. Мало того, что он был замечательным летчиком, он еще был и везунок.

Он летал на «ПО-2» с хвостовым номером 13. Ни один летчик даже близко не хотел подходить к самолету с таким невезучим номером. А он летал, и хоть бы что! Правда, в самолет попадало множество осколков, и он был весь в латках, но мотор ни разу не был задет.

Вообще ему всегда во всем везло! Ну, хотя бы такой случай! Мальчик задумался, стоит ли рассказывать такой случай, потому что его навряд ли можно было назвать подвигом, но случай этот полностью оправдывал его прозвище везунка. Кстати, он уже про все подвиги дяди рассказал, а ему хотелось и про этот случай вспомнить.

...Это был такой случай, когда они с фронтовым другом приехали в Москву на кратковременный отдых. У них у обоих были полные, ну, представляете, полные-преполные планшеты денег. И они на радостях так крепко выпили в ресторане, что обо всем забыли. Просто ничего не помнили.

А у них были полные-преполные планшеты денег. Они в ресторане угощали не только музыкантов, но и просто кого попало, потому что денег у них было полным-полно. У них просто планшеты лопались от денег, потому что они целый год не были в отпуске, а на фронте деньги тратить негде, да и к тому же он еще был холостой.

А утром они проснулись в гардеробе у швейцара. Оказывается, они там проспали всю ночь, подложив под голову планшеты. И никто у них не вытащил планшеты из-под головы, а ведь кругом жулики — война! Просто смешно! И они для смеха пересчитали деньги в своих планшетах,

и оказалось, что никто ничего не взял, кроме того, что они потратили в ресторане каких-нибудь (для них, конечно) две тысячи...

— Мальчики, может, вы все-таки зайдете? — сказала Вика, опять через некоторое время выглядывая в окно и бесплодно пытаясь заинтересоваться рассказом Ремзика.

— Охота была в жару в комнате сидеть, — за всех сказал Ремзик и посмотрел на нее своими большими глазами. Девочка снова исчезла в окне.

— А то зайдём, может, угостят? — сказал Чик и искоса посмотрел на Ремзика.

— Сейчас все на карточки живут, — рассудительно отрезал Ремзик.

— Много ты знаешь, — возразил Чик, — у них бывают бракованные пончики и конфеты, еще вкуснее, чем небракованные...

— Чик правду говорит, — сказал Лёсик. Он жил с Чиком в одном дворе и всегда его поддерживал.

Из окон донеслась веселая музыка «Кукарачи», которую так любила жена дяди, тетя Люся.

— Или взять, как он женился, — продолжал Ремзик, нежно улыбаясь чудачествам дяди, — опять приехал в Москву на три дня, уже с другим товарищем... Вдруг увидел на главной улице Москвы красивую девушку с тяжелой сумкой. И вот он говорит товарищу: «Я сейчас помогу этой девушке, и она будет моей женой...» И что же? Он догнал эту девушку, помог ей донести сумку до дому, и она стала его женой.

— Ух ты! — удивился Лёсик. — Только из-за этой сумки согласилась?

— Может, у него опять был полный планшет денег? — с некоторым ехидством заметил Чик.

Ремзик не заметил этого ехидства, он только заметил глупость такого предположения.

— Не в этом дело, — сказал он, — в тот раз у него не было планшета с деньгами. Просто она всю жизнь мечтала встретиться с таким боевым летчиком. А ему повезло, потому что она мечтала, а он ее именно заметил.

— Пацаны, — кивнул Чик на окна, — может, угостят... Они однажды угощали горелыми конфетами... Еще мирнее, чем настоящие...

— Кто тебя угостит, если все на карточки живут, — снова заметил Ремзик, — другое дело, если родственники из деревни привозят что-нибудь... Но у них нет в деревне родственников...

— Ну, тогда расскажи что-нибудь интересное, — сказал Чик, — а то — напился, женился... Скучота...

— Ты сначала узнай, с кем напился, а потом говори, — отметил Ремзик, обидевшись за дядю. — Он напился, — продолжал Ремзик, оживляясь оттого, что вспомнил еще один нерассказанный случай, — с тем летчиком, которому спас жизнь. Это был замечательный случай. Летчика этого подбили над Брянскими лесами, и он успел передать по радио, что недотягивает до линии фронта. Видно было, что он пошел на вынужденную посадку, но больше о нем ничего не было известно. Два дня летчики аэродрома его искали.

Вдруг Ремзик ощутил, что в густой тени дома на противоположной стороне улицы стоит человек. Неосознанное омерзение и страх пронзили мальчика. Так бывает во сне, когда видишь человека, добродушно разговаривающего с тобой и улыбающегося тебе, но ты знаешь, что он хочет тебя убить.

В первое мгновение он подумал, что это шпион какой-то, а потом понял, вернее, угадал, что это тот доктор из госпиталя, где работает тетя Люся. Он иногда к ним заходил. Он заходил даже тогда, когда дядя прилетал на два-три дня с попутным транспортным самолетом.

Человек почти полностью сливался с чернотой тени каменного дома, у которого он стоял. И все-таки, если приглядеться, силуэт его слегка обозначался, словно оживший и страшный кусок этой черноты. Чуть бледнеющая полотняная кепка увенчивала его страшный силуэт.

Он стоял неподвижно в густой черной тени и чего-то ждал. Но чего? Омерзение догадки пронзило мальчика: «Он ждет, когда мы разойдемся! Так, значит, мама была права!»

— Ну, а потом? — донесся до него голос Чика. — Ты что, оглох?

— Его искали все летчики, — сказал Ремзик, напрягая волю, чтобы никто ничего не заметил, — но нашел его мой дядя. Он верил в него и потому правильно искал... Он верил...

— Да, знаем, что верил, — перебил его Чик, — но почему именно он нашел его?

— Потому что он верил, — упрямо повторил Ремзик, — что его друг такой же опытный летчик, как и он сам. К тому вре-

мени уже мало оставалось опытных летчиков. На том аэродроме только их двое, и потому он верил в него. В лесах бывают тысячи всяких полян. Но дядя верил в него и искал его по своему. Он снижался над теми полянами, на которых он сам мог бы приземлиться. А над другими полянами он не снижался, потому что друг его был такой же опытный летчик, как и он сам... И учтите, — продолжал он, — дядя рисковал жизнью, потому что немцы могли найти самолет его друга и устроить там засаду. И потому он спешил, чтобы опередить немцев.

— Но ведь товарищ его мог бы махнуть рукой, — сказал Лёсик, — тогда было бы ясно, что там немцев нет...

— «Махнуть рукой!» — с горечью повторил Ремзик и украдкой взглянул в тень, где продолжало стоять что-то темное, зловещее...

— По-твоему, он сел в тылу врага и зажил в самолете, как в кибитке? Нет, он спрятался в лесу и только по гулу мотора догадался, что это наш самолет кружится над поляной. Он выбежал на поляну, дядя посадил его в свой самолет и прилетел на аэродром. Он был отчаянный храбрец, он даже предложил командованию сейчас же лететь туда с механиками, починить повреждение и забрать самолет...

— Но почему был, Ремзик, — спросил Абу, — он ведь жив?

— Конечно, жив, — сказал Ремзик с мстительной силой и снова нащупал глазами ненавистную тень в полотняной кепке.

Он подумал: «Он ждет, чтобы мы все разошлись, а потом он войдет через парадную дверь и ляжет в комнате, в которой дядя жил со своей женой. Там даже нет второй кровати».

— Пацаны, тише, кажется, «мессершмитт» летит! — сказал Чик.

Ребята замерли, прислушиваясь, но в этот миг в доме заиграла пластинка под названием «Брызги шампанского», и вдруг, словно пластинка сама вдребезги разлетелась, на Чернявской горе с каким-то запоздалым бешенством залаляли зенитки.

Девочки в доме завизжали и выключили патефон. Мальчики вскочили на ноги и, подняв головы, искали в небе одувачики разрывов. Но их не было видно. Только было слышно, как высоко в небе раздаются еле слышные звуки разрывов, похожие на тот звук, который издают губы человека, когда он пускает изо рта кольца табачного дыма: пуф, пуф, пуф.

Снова загремели зенитки. По небу зашарахались прожекторные лучи. К зениткам на Чернявке присоединились зенитки с Маяка. Прожекторные лучи шарахались по небу, то скрещиваясь, то разбегаясь, но самолета не было видно, и только было слышно, как позвякивают оклеенные окна домов, отражая залпы зениток.

В промежутках между залпами высоко в небе продолжал зудеть «мессершмитт». Потом залпы совсем замолкли, а по небу все еще бегали прожекторные лучи, словно чувствуя свою вину за то, что не смогли остановить или вовремя заметить немецкого летчика.

— Опять ушел, — сказал Чик и сердито сплюнул.

— На Чернявке девчонки-зенитчицы, кого они могут сбить? — сказал Абу презрительно.

— Я и то раньше услышал, — сказал Чик.

— Настоящие зенитчики на фронте, — сказал Ремзик, — кто их будет держать в тылу...

Он очень боялся, что кто-нибудь из мальчиков заметит его волнение. Кажется, никто ничего не заметил.

Он снова взгляделся в тень дома на противоположной стороне тротуара, но там сейчас никого не было. «Может, мне тогда показалось», — подумал он. Вернее, попытался подумать. Но он знал, что ему ничего не показалось.

Человек этот стоял в тени дома, расположенного рядом с их домом. Если бы он оттуда ушел направо, ему пришлось бы проходить мимо школьного забора, где очень короткая тень, и его было бы видно. Если бы он, пройдя дом Ремзика, пошел бы дальше, то его было бы видно в промежутке между их домом и домом Чика, там тоже короткая тень, от забора. Значит, он вошел в их дом через парадный вход, который открывали, только когда приезжал дядя, и раньше, когда еще был папа...

Давняя боль пронзила Ремзика, словно новая боль сорвала кожу со старой раны: «Па, я больше никогда, никогда не сдрейфлю! Ведь я все-таки был тогда маленький! Ты же помнишь?! Мне же было тогда восемь лет!»

...Он подумал: наверное, когда мы выходили со двора Чика, он как раз подходил к нашему дому и, заметив нас, остановился в тени. А мы, как назло, сели на крылечке директорского дома, и он не смог сдвинуться с места, потому что боялся, что я его замечу.

Девочки в доме снова завели патефон. И снова музыка сладостной болью обволокла его душу. Эта пластинка называлась «Риорита».

— Ну, я пошел, — сказал Ремзик и встал с крыльца.

— А как же самолет? — спросил Чик.

— Какой самолет?

— Ну, тот, который сел в Брянском лесу, — напомнил Чик.

— Ах, тот, — вспомнил Ремзик, чувствуя, что потерял вкус к рассказу, — им не разрешили спасти его...

— Ремзик, ты уходишь? — спросила Вика, появляясь в окне.

— Да, — сказал он сухо, — мне завтра рано вставать.

— Спокойной ночи, Ремзик, — сказала она, как бы растворяя сухость его ответа своей доброжелательностью.

— Спокойной ночи, — ответил Ремзик.

— А на море когда? — спросил Чик.

— Часиков в одиннадцать, — ответил Ремзик, не оборачиваясь, — я тебе крикну.

Он подошел к калитке, просунул руку сквозь штакетник и скинул крючок. Калитка, скрипнув, отворилась. Но почему-то собака его не кинулась ему навстречу. Обычно она лежала у крыльца под огромным стволом магнолии, где между толстыми, уходящими в землю корнями она нашла себе уютное место.

С начала войны, когда в городе с продуктами стало очень трудно, мама вместе с тремя детьми, из которых Ремзик был самым старшим, переехала в родную деревню Анхару, где работала в больнице и жила в доме дедушки.

После того как ее младший брат женился и привез из Москвы свою жену, Ремзика решили оставить в городе, чтобы он ей помогал и ей не было страшно одной.

С тех пор они жили здесь, и Ремзик ходил на базар, получал по карточкам продукты и присматривал за садом. Вообще с тетей Люсей ему жилось хорошо. Она была добрая, щедрая, красивая, Ремзик это знал точно. На нее посматривали мужчины. Один парень, живший на их улице и приехавший домой после госпиталя, однажды увидев их вместе, крикнул Ремзику:

— Ремзик, родственника не хочешь?

— Ты что, — ответил ему Ремзик, удивившись его неосведомленности, — тетя Люся жена дяди Баграта!

— Ну и везет же некоторым! — сказал этот парень и посмотрел на свою вытянутую раненую ногу.

Тетя Люся улыбнулась ему, всем своим видом показывая, что она ценит признание фронтовика.

Да, Ремзику нравилась жена дяди, ее красота казалась ему заслуженным подарком для дяди. Единственное, что огорчало его, — это то, что мама явно ее не любила. Это его сильно огорчало, но он успокаивал себя тем, что мама сама очень любит своего младшего брата и ревнует его к ней. Он знал, что это с женщинами бывает.

Веранда была освещена электрической лампочкой, потому что отсюда свет не был виден на улице. Стол был накрыт. На нем стоял чайник, укрытый полотенцем, хлебница с четырьмя кусками хлеба, банка с джемом и бутылка с сиропом.

Не останавливаясь на веранде, он прошел в прихожую, прошел мимо своей комнаты и вошел в столовую. Он увидел тетю Люсю и ее подругу Клаву. Тетя Клава стояла на четвереньках и, неприятно выпятив зад, шарила веником под кушеткой, пытаясь оттуда выгнать собаку. Но Барс в ответ только рычал. Он почему-то не хотел вылезать из-под кушетки.

Тетя Люся, держа в одной руке керосиновую лампу и низко склонившись над тахтой, что-то искала на ней. Ремзик понял, что она ищет клещей, которые бывали на собаке, хотя он часто купал ее в море.

Тетя Люся была очень брезгливая и не любила кошек и собак. Ремзика всегда удивляла и огорчала эта ее черта. Во всем остальном она была очень добрая. Вернее, до сегодняшнего вечера казалась такой.

Сейчас она была в ночной рубашке с большим вырезом на груди. Тяжелый пучок золотистых волос был приподнят на затылке. Ладонью одной руки прикрывая свет от окна и низко склонившись над тахтой, она внимательно осматривала каждый кусок ковра, озаренный пятном света. Ладонь, прикрывавшая лампу, просвечивала розовой кровью.

Обе женщины были так увлечены, что не заметили, как он вошел в комнату. Дверь в спальне была слегка приоткрыта. И в этой приоткрытой двери он увидел заднюю ножку кровати, простыню, свисавшую с края расстеленной постели, и на одном из двух шаров, увенчивающих спинку кровати, нахлобученную полотняную кепку. Спальня была освещена светом луны, падавшим из невидимого отсюда окна.

Мальчик сделал еще один шаг, так, чтобы в приоткрытую дверь ничего не было видно. Сейчас он был услышан, и тетя Люся осторожно, чтобы не опрокинуть лампу, повернула к нему голову... Теперь ее нежное лицо, озаренное лампой, светилось розовой кровью, так же, как и ладонь.

— Помоги нам выгнать Барса, — сказала она, — меня мутит от его блох.

— На нем клещи бывают, — ответил Ремзик, — блохастым он никогда не бывал.

— Тем хуже, — сказала она, нахмурившись, и опять склонилась над кушеткой, — я, по-моему, видела эту мерзость... но никак не могу найти.

Ремзику показалось, что она нахмурилась из-за того, что дверь в спальню была приоткрыта и он мог что-нибудь увидеть.

— Барс, ко мне, — сказал Ремзик, и собака, не выходя из-под кушетки, радостно застучала по полу хвостом.

Тетя Клава продолжала стоять на четвереньках, неприятно выпятив зад.

— Барс, ко мне, говорят!

И собака вылезла из-под кушетки и, виновато виляя хвостом, подошла к мальчику.

— Ужин на столе, — сказала тетя Люся, — можешь весь хлеб съесть...

Когда он вместе с собакой вышел в переднюю, он услышал из столовой голос тети Люси, угадал значение слов, произнесенных тихим раздраженным голосом:

— Дверь прикрой...

Ремзик вышел на веранду и остановился, не зная, что делать. Он посмотрел на Барса, собака тоже посмотрела на него, словно спрашивая: «Ну, что теперь будем делать?»

И эта полотняная кепка, нахлобученная на шар и увиденная в приоткрытую дверь, и эти упорные поиски клеща на кушетке, и эта розовеющая кровь в свете лампы, и этот оттопыренный зад тети Клавы, и эти попытки выгнать упирающегося Барса — все это слилось в его душе в картину невыносимой гнусности.

Все-таки он вспомнил, что с обеда голоден, и сел к столу. Он налил себе теплого кипятка, закрасил его сиропом и, доставая ложкой из банки мандариновый джем, мазал его на хлеб и ел, запивая теплым чаем. Джем был, как всегда, прогорклый, и он третий кусок хлеба ел без джема, хотя в банке его еще было много. Последний кусок хлеба он бросил собаке.

Выпив чаю, он продолжал сидеть за столом, не зная, что делать. По возне в столовой он чувствовал, что они продолжают искать клещей. Он подумал: они ищут клещей, а этот притаился в спальне и ждет, когда она придет к нему и ляжет вместе с ним.

Временами с моря доносился ночной ветерок, и листья виноградных плетей, вьющихся под карнизом веранды, тихо лопотали. Гроздья недозрелой «изабеллы» темнели в зеленых гирляндах листвы. Он дотянулся рукой до ближайшей грозди и машинально отщипнул несколько ягод. Кислая мякоть

скользнула в горло. Он сплюнул шкурки на пол. Барс тотчас же слизнул их.

Он подумал: «Оказывается, она предательница, а я ей еще магнолии рвал». Примерно в неделю раз он влезал на дерево и срывал тяжелую, пахучую чашу цветка.

— Божественно, — говорила она, окуная лицо в белоснежные лепестки. Может, она для этого украшала цветами магнолии свою спальню? Он подумал и честно откинул такую возможность. Она Этого еще не знала, она еще даже не работала, когда просила сорвать ей цветок магнолии. А ведь первый раз сорвал ей этот цветок дядя, когда они впервые вместе приехали из Москвы.

Он с грустью вспомнил тогдашнюю радость. Сколько было праздничного народа в доме, сколько стояло на полу ее небрежно полураскрытых чемоданов, откуда, как ему казалось, вываливались несметные сокровища ее одежд, какой она была радостной хохотушкой, как она бесконечно чмокала дядю, как она с Ремзиком бегала по саду, удивляясь южной пышности цветов, фруктовым деревьям и даже всяким сорнякам, которые здесь, оказывается, вымахивают до размеров, неслыханных в Москве! Как он тогда любовался ими обоими, как он с тайной щедростью позволял ей любить его!

На следующий день после приезда дяди в доме было много гостей, все радовались его приезду и женитьбе, и все крепко выпили, а потом, когда гости вышли на веранду, тетя Люся показала на огромный цветок магнолии на вершине дерева, и дядя полез сорвать его, а гости, стоя на веранде и на лестни-

це, сами крепко выпившие, смеялись его чудачеству и подзадоривали его. И только мама, побледнев, стояла на крыльце, повторяя одно и то же:

— Баграт, ты же выпивший... Баграт, ты же выпивший...

— Чтоб ночной бомбардировщик рухнул с какой-то паршивой магнолии, — рычал он, карабкаясь с ветки на ветку, и, наконец, дотянулся до цветка, обломал его и стал спускаться вниз.

Ремзик навсегда запомнил, как он висел на последней ветке с огромным белым цветком, зажатым в зубах, слегка покачиваясь и косясь на землю, чтобы спрыгнуть, переложив тяжесть на здоровую ногу, и наконец под смех и гром рукоплесканий спрыгнул и, не удержавшись на здоровой ноге, упал на землю, но тут же сделал вид, что он нарочно повалился, а она вместе с Барсом подбежала к нему, целуя его и подымая с земли. Гости продолжали смеяться и хлопать в ладоши, и только мама, скрывая радость, сказала:

— Людей постыдитесь...

...Громко разговаривая, по улице прошли мальчики, с которыми он сидел на ступеньках крыльца.

— Я же говорил, угостят, — сказал Чик.

— Ты всегда угадываешь, — восхитился Лёсик.

— У меня нюх, — сказал Чик.

— Но ты же не знал, что будет арбуз, — заметил Абу.

— Я знал, что что-нибудь будет, — это главное, — сказал Чик.

— Пацаны, значит, завтра на море? — раздался голос Абу уже издали, и было ясно, что Чик и Лёсик свернули

к своему дому, а Абу пошел дальше к своему и уже оттуда крикнул.

— Да, — ответил Чик, — ко мне Ремзик зайдет, и мы тебе крикнем.

— Собак возьмете?

— Там видно будет, — важно сказал Чик, и он услышал, как хлопнула калитка в соседнем доме.

Грустная зависть к их беззаботности охватила Ремзика. «Неужели и я до сегодняшнего дня был такой же, как они?» — подумал он. Он почувствовал, что больше никогда, никогда не сможет быть таким.

Дверь из прихожей отворилась, и тетя Люся вышла на веранду.

— Ты еще не спишь? — спросила она, поеживаясь от ночной прохлады, скреживая и с любовью поглаживая свои тонкие, голые руки. — Клава остается у нас...

— Знаю, — с невольной прозорливостью ответил он.

— Знаешь? — переспросила она и посмотрела ему прямо в глаза. Он не выдержал ее взгляда и опустил свой. У него были огромные наивные глазки, из-за которых дядя шутил называл его «Птица Феникс».

— Ну да, — сама ответила она за него, — уже ведь поздно... Ложись и ты...

— Мне неохота, — сказал он и неожиданно для себя добавил: — Я буду спать здесь...

Это было неосознанным желанием отделиться от них. Он подумал: тетя Клава остается здесь, потому что Этот остается

здесь. Он подумал: так они решили на случай, если приедет кто-нибудь из родственников или дядя.

За этот год дядя трижды прилетал с попутным транспортным самолетом, и всегда ночью. Ремзика всегда будили, и устраивался замечательный ужин с жареными бататами, с американской свиной тушенкой, с каким-то чудесным, белым как снег, хлебом. Консервы и хлеб всегда привозил дядя. Однажды он приехал с тем самым летчиком, которого он спас. Оба они были чем-то похожи друг на друга. Оба коренастые, небольшого роста, и у обоих грудь, как в панцире, в медалях и орденах. Какое счастье было прогуливаться с ними по набережной и видеть, как девушки так и чиркают их глазами, а пацаны с уважительной завистью смотрят на Ремзика.

В такие минуты Ремзик в глубине души надеялся, а иногда даже был уверен, что за ними тайно наблюдает кто-нибудь из тех людей, которые должны разобраться в деле отца с этой распроклятой ртутью. Он подумал, что этот тайный наблюдатель призадумается, глядя на дядю, и скажет себе: не может быть, чтобы в одной и той же семье был и вредитель и такой бравый летчик, весь в орденах. Надо как следует изучить историю с этой ртутью, найденной в горах, может, отец Ремзика и в самом деле ни в чем не виноват...

К сожалению, дядя во время этих неожиданных прилетов бывал дома не больше двух-трех дней, а в последний раз сказал, что теперь не скоро прилетит, потому что фронт ушел вперед и аэродром перебазировался.

...Она снова вышла на веранду, держа в руках две простыни и подушку.

— Что это ты киснешь, Птица Феникс? — спросила она, взметнув простыню и постелив ее на топчане. — Сейчас я тебе взобью подушку...

Все это она делала и говорила, как ему сейчас казалось, с невыносимой фальшью. Особенно фальшивым ему казалось, что она осмелилась его называть так, как его называл дядя. Она и раньше иногда его так называла, но сейчас это было невыносимо.

— Ложись, — сказала она.

Он не сдвинулся с места. Он подумал: она хочет, чтобы все в доме успокоилось и она спокойно ушла к Этому.

— Мне еще ноги надо вымыть, — все же добавил он, смягчая свое упрямство. Она в это время стояла у раковины и долго мыла зубы, потом так же долго мыла с мылом лицо и руки, а потом так же невыносимо долго вытирала их полотенцем. Он подумал: она так старательно моется, чтобы лучше погрязнуть с ним.

Она пожелала ему спокойной ночи, выключила свет и вошла в дом, закрыв изнутри дверь на цепочку. Он слушал ее шаги. Вот она вошла в столовую, что-то сказала тете Клаве, которую она почему-то фальшиво называла компаньонкой (раньше казалось смешно), потом вошла в спальню и прикрыла за собой дверь.

Мерзость! Мерзость! Мерзость!

Он встал со стула, снова зажег свет и, сняв свои «мухосочи», вымыл их под краном и вынес на лестницу сушить. Потом он вымыл ноги и сел на постель, дожидаясь, чтобы они

высохли. Ноги приятно холодели после обуви, горячащей и саднящей ступни.

«Оказывается, я был дураком, — подумал он, — оказывается, мама была права». После первого отъезда дяди тетя Люся устроилась работать в бухгалтерию военного госпиталя. У нее было неполное высшее образование, и мать Ремзика, которая там раньше работала, помогла ей устроиться.

В этом госпитале был кружок, которым руководил этот доктор и в котором сам он пел. Этот кружок посещала тетя Люся, и там они познакомились. Ремзик несколько раз провожал ее туда и слышал, как они поют. И вот что удивительно: тогда же Ремзику показалось, что тетя Люся очень плохо поет, а этот доктор ее всю расхваливает. Он тогда подумал, что, наверное, он, Ремзик, ничего не понимает в этом деле или этот доктор слишком добрый.

Вернее, в глубине души он был уверен, что она и в самом деле плохо поет, хотя во всем остальном прекрасна. В конце концов, он решил: или этот доктор слишком добрый, или его кружок слишком плохо посещают другие сотрудники госпиталя. Он знал по школе, что такие вещи случаются. Теперь он понял, как он был прав! Оказывается, этот доктор подхалимничал перед ней, чтобы склонить ее к предательству.

* * *

Жена Баграта любила своего мужа так, как она могла любить, и так, как, по ее разумению, любили и другие молодые

женщины в ее окружении. Она заранее не думала, что изменит своему мужу, но соблазн, существующий для всех людей, а для красивой женщины в особенности, не был огражден той силой нравственного воображения, которая задолго до реальной опасности подает сигналы тревоги и заставляет женщину достаточно тонкого душевного склада мучиться угрызениями совести так, как будто уже все случилось, и тем удерживает ее от соблазна.

И когда все случилось, она сначала погрустнела, а потом решила, что во всем виновата война да и он, Баграт, писавший ей, чтобы она не скучала, а развлекалась и веселилась как могла.

* * *

«Да, — думал Ремзик, вспоминая этот кружок пения, — я был прав, но больше всех была права мама».

Мама в месяц раз или два приезжала в город и привозила из деревни фрукты, зелень, кукурузную муку, иногда курицу.

Первая стычка мамы с тетей Люсей произошла из-за тети Клавы. Тетя Клава работала в том же госпитале фельдшерницей. Она там работала еще тогда, когда госпиталь был обыкновенной больницей и мама тоже там работала. Поэтому она ее знала.

Мама сказала про тетю Клаву, что она нечистоплотная женщина. И Ремзик тогда решил, что мама неправа, а права тетя Люся, которая говорила, что ей скучно одной и ей нужна компаньонка.

Ну ладно, думал он, пусть это и глуповатое слово, но при чем же здесь чистоплотность? Правда, она у них часто бывала и иногда даже готовила, но никакой особой нечистоплотности он за ней не заметил. Очень даже вкусно она готовила, особенно пирожки, когда собирались гости.

Теперь он понял, что взрослые это слово могут употреблять совсем в другом смысле. Оказывается, это слово может означать предательство женщиной мужчины или мужчиной женщины. Но ведь тетя Клава незамужем, подумал он, кого же она предала? Наверное, у нее был жених, решил он, и она его предала.

Он вспомнил последний приезд матери и неприятности, связанные с этим приездом. Тетя Люся была на работе, и Ремзик был дома один.

Мать обошла все комнаты и, вернувшись на веранду, грустно уселась на топчане. Она некоторое время молчала, а потом посмотрела на Ремзика, сидевшего напротив за столом. Он ел вареную кукурузу, привезенную матерью из деревни, намазывая ее аджикой.

— Ремзик, — сказала она, — по-моему, этот доктор ухаживает за Люсей.

— Какая глупость, — ответил ей Ремзик, продолжая жевать кукурузу. — У него есть жена.

— Ты ничего не понимаешь, — вздохнула мать и с неприятной задумчивостью уставилась в какую-то точку. Ремзик страшно не любил, когда она вот так устает в одну точку и словно проваливается куда-то. Ему всегда было жалко ее

в такие минуты, но не сейчас. Это было оскорбительно, что она подозревает в предательстве жену дяди.

— Я же лучше знаю, — сказал он раздраженно, — у него есть жена и двое детей... Они живут в военном городке...

Он заметил, что она его не слушает. Она устала в пространстве и думала о своем.

— Господи, — сказала она, — какой доверчивый дурак... Жениться на девушке, встреченной на улице...

Мама заплакала, а он продолжал есть кукурузу, хотя есть ее уже не хотелось. Ему было и жалко маму, и неловко за то, что она оскорбляет тетю Люсю, и он чувствовал раздражение за ее какую-то несовременность. Ведь это раньше когда-то было, что если муж уходит на войну, жена только и делает, что нянчит детей и смотрит на дорогу. Сейчас совсем другое время, сейчас ничего плохого нет, если муж на войне, а жена иногда повеселится. Дядя сам ей в письмах писал, чтобы она не скучала.

— И что это за сборища, — продолжала мать сквозь слезы, — такая ужасная война... Здесь не так заметно, а в деревне каждый день оплакивают кого-нибудь. А они только и знают, что крутят патефон...

Ему совсем расхотелось есть кукурузу, но жалко было выбрасывать наполовину съеденный початок. Он гуще намазал аджикой оставшуюся часть початка, чтобы легче шло.

По субботам и воскресеньям в их доме собирались молодые женщины и мужчины, среди которых всегда был и доктор. Ему было лет сорок, и Ремзик считал его пожилым человеком. Он

даже не понимал, почему они его терпят. Но потом он сообразил, что мужчин и так всегда меньше, чем женщин, так что приходится пользоваться и пожилым доктором. К тому же он частенько пел и приносил спирт из госпиталя, который мужчины пили, разбавляя водой, а женщины — водой с сиропом.

Ремзик любил эти вечеринки потому, что на них бывало сытно и весело. На столе стояли американская тушенка, масло, галеты и жареные бататы, которые в те времена стали разводить на Кавказе. Играл патефон, и можно было есть что хочешь, а не этот мандариновый джем, от которого у него всегда бывала изжога.

Мама посмотрела на часы и стала как-то быстро и суетливо вытирать платком лицо. Он подумал: скоро должна прийти тетя Люся, и она не хочет, чтобы тетя Люся увидела ее такой. Ему стало очень жалко ее.

— Что бы ни случилось, Ремзик, — сказала она, пряча платок, — помни, Баграт ничего не должен знать... Он каждую минуту рискует жизнью...

— Глупости, — сказал Ремзик сурово, — она обо всем ему пишет... Я же лучше знаю...

— Обо всем, — вздохнула она и спросила у него: — Где ключ от парадной? Почему он не висит на месте?

«В самом деле, — вдруг подумал он, и что-то екнуло у него в груди, — ключ не висит на месте». Он и раньше это заметил, но не придавал этому значения. В следующее мгновение он вспомнил, до чего рассеянная бывает тетя Люся и как много вещей она забывает, где положила.

— Через парадную никто не ходит, — сказал он твердо, — мало ли куда она могла положить ключ...

Вечно у мамы какие-то глупости в голове! Он снова почувствовал аппетит и стал грызть кукурузу.

Мама опять уставилась в одну точку. Он быстро доел початок, боясь, что она новым вопросом опять испортит ему настроение.

— Во всяком случае, ты на этих сборищах не сиди, — сказала она, выходя из задумчивости, — иди к соседям или читай у себя в комнате.

— Хорошо, — сказал он ей, чтобы успокоить ее, и выбросил голую кочерыжку во двор. Барс вскочил из-под магнолии, где он сидел, и, подбежав к кочерыжке, стал выкусывать из нее остатки кукурузных зерен.

— Только бы окончилась война, — сказала вдруг мама, и лицо ее приняло неприятное, жесткое выражение, — духу ее здесь не будет...

...Потом пришла тетя Люся, и мама как ни в чем не бывало разговаривала с ней, спрашивала про работу, про письма от Баграта, и они вдвоем приготовили обед, и Ремзику показалось, что мама забыла про свои подозрения, потому что они мирно втроем пообедали и она даже не вспомнила про ключ.

Мама уезжала вечерним автобусом, и он провожал ее до станции. Она села в автобус, и он стоял возле нее у открытого окна и ждал, когда тронется машина.

— Следи, — вдруг сказала она ему из автобуса, — если этот подлец будет приходить.

— Отстань, — сказал он раздраженно, а мать, вздохнув, печально замкнулась. Он с нетерпением ждал, когда отойдет автобус.

Он понял тогда, что ничего не забылось, а все затаилось еще глубже. Главное, мама никак не могла понять, что своими подозрениями она не только унижает тетю Люсю, но и своего любимого брата.

И вот оказалось, что все правда! Стыд и мерзость! Стыд и мерзость!

Сейчас Ремзик с особенным омерзением вспомнил, что однажды на одной вечеринке этот доктор, которого долго просили спеть, наконец согласился и, став возле тети Люси, большой, как памятник, вдруг рухнул на колени и пропел арию из «Евгения Онегина»:

*Любви все возрасты покорны,
Ее порывы благотворны...*

Ремзик тогда хохотал до слез! Это было так смешно, что он сам несколько раз просил его повторить этот номер, но доктор не соглашался. С какой-то режущей душу гадливостью теперь он вспомнил странную многозначительность на лицах некоторых гостей. Тогда это казалось ему особенно смешным, потому что они как бы подыгрывали ему, делая вид, что всерьез верят его признанию. Значит, они все знали, знали!

Но главное, она! Как она сидела, потупившись, и слушала его, а он-то думал, и она подыгрывает!

Порыв ночного ветерка задумчиво прошелестел в саду. Тени виноградных плетей, свисающих под карнизом, качнулись на веранде. В саду рухнула груша, шелестнула в траве, замолкла. Барс, сидевший возле топчана, сонно зарычал. Ремзик разделся и, оставшись в одних трусах, лег и укрылся простыней.

Она предала дядю. Это так же точно, как то, что сейчас ночь, как то, что он лежит на топчане и Барс лежит возле него на полу, а они лежат в бывшей маминной комнате.

Надо закричать, надо прогнать их из дому! Но ведь тогда дядя все узнает, а мама сказала, что ему ничего нельзя говорить, он же на фронте. Но он знал, что не только это, он знал, что ему было бы стыдно сказать им что-нибудь. Он подумал: «Ведь если не сказать, значит, и я предатель, ведь мне было сказано, что я здесь остаюсь за мужчину». Но он знал, что ему будет стыдно сказать это. Это было так гадостно, как съесть живую змею.

Он подумал: «Но раз я это знаю и ничего не делаю, значит, я тоже предаю». Он никогда бы не поверил, что такое случается в наши дни. По книгам он знал, что такие вещи случались в далекие дореволюционные времена. Но он не знал, что такие вещи бывают в наши дни. Тем более с женой его дяди.

Но как же он сможет любить дядю, когда дядя придет? Он с полной ясностью понял, что теперь не имеет права даже подходить к нему, а не то чтобы гордиться им. Ведь получается, что и он предает, раз он знает и ничего не делает.

«Ты уже предал папу, а теперь предаешь дядю!» — пронзила его страшная догадка, и он застонал от боли. Барс встал и,

цокая когтями, подошел к его изголовью и ткнулся носом в его подушку. Не дождавшись ответного внимания, собака улеглась рядом с ним.

* * *

Это было еще до войны. Ни одному человеку в мире он не признался бы в этом. Ни один человек в мире, только он один знал, что это так.

Ночью он внезапно проснулся от страха. Еще ничего не зная, он уже знал, что случилось страшное. В доме горел свет, и по дому ходили чужие люди.

— Сейчас, — услышал он голос отца, открывшего дверь в комнату, где спали дети. Это слово он услышал, уже проснувшись, и, словно откинув кусок сна, он услышал предыдущую фразу одного из этих людей, которому ответил отец.

— Мы и так задерживаемся, — сказал тот.

— Сейчас, — сказал отец и открыл дверь в комнату, где спали дети.

Отец вошел в комнату и стал над его кроватью. Один из тех следом за отцом вошел в комнату и стал в дверях.

И Ремзика сковал ужас. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Он чувствовал запах отца — смесь запаха табака и еще чего-то, связанного с навьюченными лошадьми, ночными кострами, палатками, землей. Отец был геологом, и запах отца был не только запахом отца, он был запахом семьи, семейного праздника, потому что отец на-

долго уезжал в экспедиции. Во время одной из них в горном селении Чегем, откуда мама была родом и где, только что окончив институт, работала врачом, они познакомились и поженились.

Видно, отец не решался его разбудить. Ведь он лежал с закрытыми глазами, а свет, проникавший в комнату из открытых дверей, был достаточно сильный, чтобы разглядеть его лицо. Ремзик это чувствовал.

— Может, и в самом деле не стоит, — тихо сказала мама, входя в комнату, — зачем пугать?..

Отец постоял еще несколько мгновений над его кроватью, и они все вышли из комнаты, но запах отца продолжал стоять над ним с такой же отчетливостью, как если бы отец еще был здесь.

— Обязательно сходи в управление, — услышал он голос отца уже с веранды, — я хочу, чтобы все было ясно, чтобы там разобрались как следует.

— Конечно, — ответила мама, и голос ее сорвался, — помни... сколько бы... сколько бы... я всегда...

Он почувствовал всю силу ее отчаянья, он почувствовал ее желание уверить отца в беспредельной прочности того, что остается за ним, и даже попытку в последний миг назвать отца по имени, но она так и не решилась. Хотя отец был русский, мать, по абхазскому обычаю, никогда не называла его по имени.

Мама все еще стояла на веранде. Ремзик лежал с закрытыми глазами, чувствуя запах отца и неосознанно боясь, что этот

запах исчезнет, как только он откроет глаза. Запах отца постоянно немного, а потом тихо-тихо улетучился.

Да, он тогда испугался и не открыл глаза, и отец не решился разбудить его. С тех пор прошло много месяцев, и чувство вины перед отцом все реже и реже приходило, но иногда восстанавливалось с первоначальной силой.

Он знал, что отец его геолог и во время одной экспедиции нашел в горах ртуть. Но потом оказалось, что допущена какая-то ошибка.

Так говорили маме. Но Ремзик ничего не мог понять. Он никак не мог понять, почему отец один отвечает за эту ошибку. Вспоминая следующее утро после ухода отца, разбросанные книги на полу, выдвинутые ящики комода и шкафов, он решил, что они в ту ночь искали карту, чтобы обнаружить ошибку. Он понимал, что все это глупо, но почему взрослые мужчины, которые занимаются этим делом, не видят этого, он не понимал.

От отца пришло несколько бодрых (слишком бодрых, он это почувствовал) писем из Воркуты. Отец писал, что работает в шахте, чувствует себя великолепно, но очень просил прилать теплых вещей и чесноку.

Иногда мама говорила, что казнит себя за то, что не разрешила отцу попроситься с детьми. И каждый раз, когда она это говорила, он чувствовал: что он! он! он! виноват в том, что отец не попросился с детьми.

Отец его, как самого маленького, больше всех любил и поэтому первым делом подошел к его кровати. Он столько раз об

этом думал, что пришел к выводу, что именно его (неспящего!..), как самого маленького, он не решился разбудить, и потом уже, исчерпав время, отпущенное на прощание с детьми, не стал подходить к остальным. Может, он даже решил, что если он попросится с остальными, не разбудив Ремзика, то Ремзик утром обидится на отца.

И вот теперь с дядей случилось такое. Но что же он должен сделать? Ужасная тоска охватила его. Он вытащил руку из-под простыни и нашарил в полутьме собачью морду. Он стал гладить собаку и почувствовал, что ему лучше. Но потом рука у него устала, и он перестал гладить собаку. Рука безвольно опустилась вниз. Барс дотянулся до его руки и стал лизать ее. Ему опять стало немного легче.

Луна уже скрылась, и в саду было темно. Черные гирлянды виноградных плетей покачивались над верандой, то открывая, то закрывая кусок звездного неба. В саду опять упала груша.

Он подумал: надо будет завтра подобрать эти груши. Он решил больше не есть в этом доме. Надо завтра уехать к маме. А если она рассердится на его отъезд и обо всем напишет дяде? Он опять почувствовал тоску безысходности. Но все-таки решение завтра с утра уехать немного успокоило его, и он уснул.

Он проснулся рано, быстро оделся, вышел на крыльцо и натянул на ноги свои «мухус-сочи». Они еще были влажные, и шершавая резина неприятно щемила ступни ног. Он знал, что это через некоторое время пройдет, обувь разносится.

Он поел винограду, прямо отщипывая от кистей спелые ягоды, чтобы не портить всю гроздь. Виноград был прохладный и очень вкусно соскальзывал в горло. Барсу он тоже бросал спелые ягоды, отщипывая их от тугих прохладных гроздей.

Он знал, что он сюда никогда не вернется. Во всяком случае, не скоро, во всяком случае, винограда тогда уже не будет. И все-таки он отщипывал от гроздей только спелые ягоды. Он не знал, зачем он так делает, он только знал, что это правильно.

На веранде он нашел огрызок карандаша. Нашел в старой тетради, лежавшей в ящике стола, полстраницы чистой бумаги, на которой кончалось сочинение с отметкой «хорошо», выведенное красивым почерком Александры Ивановны, его учительницы. Все это было всего несколько месяцев тому назад, а кажется, так давно, как будто в другой жизни. Он оторвал ту часть страницы, которая была чистой, так, чтобы не задеть подпись Александры Ивановны и отметку.

Он подумал-подумал и написал: «Я навсегда, навсегда уезжаю к маме. Ремзик». Он прочитал написанное и решил, что два раза повторять одно и то же слово не стоило. Он подумал, что это звучит так, как будто он собирается ее разжалобить. Он замарал карандашом одно из двух повторенных слов.

Он положил записку под банку с джемом, чтобы ее не сдуло ветром.

Он снова открыл ящик стола, вложил туда свою тетрадь и выбросил огрызок карандаша. Он закрыл ящик, стараясь не

шуметь, но потом вспомнил, что поводок тоже лежит в ящике, и снова, стараясь не шуметь, вынул его и снова закрыл ящик.

Он надел на собаку поводок, вышел в сад и подошел к подножью старой груши. Ноги его сразу промокли в густой росистой траве, но он, держа собаку на поводу, раздвигал ногой траву, ища спелые груши, которые ночью упали с дерева. Это была груша, поспевающая осенью, но самые спелые плоды уже падали с дерева. Первую грушу он сразу нашел и положил ее в карман брюк. Вторую искал гораздо дольше, она долго не находилась, но он точно знал, что с дерева упали, по крайней мере, две спелые груши. Поэтому он искал. Наконец он ее нашел. Она закатилась в заросли бурьяна, и пока он ее искал, у него по колено промокли брюки.

Держа Барса на поводке, он вышел на улицу, просунув руку сквозь штaketник, закрыл калитку и пошел направо от дома. Проходя мимо парадной двери своего дома, он ускорил шаги, потому что ему было бы стыдно, если бы Этот как раз в это время выходил из дому.

Он решил идти не на станцию, а на Эндурскую дорогу, где бывало много попутных машин. У него совсем не было денег, но он знал, что там бывают военные машины, которые вывозят лес за селом Анхара, а военные шоферы не берут денег, во всяком случае с ребят.

Он уже дошел почти до конца квартала, когда вспомнил, что обещал Чикю пойти с ними на море. Он подумал, что они его будут дожидаться и им не у кого будет спросить, потому что тетя Люся уйдет на работу. Он повернул обратно и Барс

стал упираться, но он прикрикнул на него, и собака пошла свободней. Она сначала подумала, что они идут на море, а потом решила, что Ремзик почему-то расхотел идти. Барс, в отличие от некоторых собак, например собаки Чика, любил купаться в море.

Он опять очень быстро прошел мимо своего обесцещенного дома, подошел к дому Чика и, вытянув руку, слегка постучал по открытому окну.

Никто не отозвался. Он еще раз постучал, на этот раз громче и дольше.

— Эй, кто? — отозвался сонный голос Чика.

— Это я, — сказал Ремзик.

— Чего тебе? — спросил Чик, и его взлохмаченная голова появилась между прутьями оконной решетки.

— Я уезжаю в деревню, — сказал Ремзик, — я на море с вами не пойду.

— Ты что, малохольный? — ответил Чик сердито. — Что, мы без тебя дорогу не найдем, что ли?

— Я ведь обещал, — сказал Ремзик.

— А Барса зачем берешь? — спросил Чик, окончательно просыпаясь. — Оставь мне, я его вместе с Белкой поведу на море.

— Нет, — сказал Ремзик, — я должен ехать с Барсом...

— Ну, пока, — сказал Чик, и по лицу его было видно, что он раздумывает, стоит ему идти досыпать или не стоит.

— Пока, — сказал Ремзик, и пошел на этот раз в противоположную от своего дома сторону. Он не хотел в третий раз рисковать встретиться с Этим.

Завернув за угол, он вынул из кармана грушу и стал ее есть. Груша была водянистая и не очень вкусная. Скороспелки всегда бывают такими водянистыми и не очень вкусными. Он прошел весь город, перешел Красный мост и остановился в самом начале Эндурской дороги.

* * *

В это время подруга жены дяди вышла на веранду и обнаружила, что Ремзика нет в постели. Ей надо было узнать, где он, чтобы доктор мог незамеченным выйти из дому. Она окликнула его, думая, что он в саду, но ей никто не отозвался. Она открыла калитку и вышла на улицу, но улица в этот еще довольно ранний час была пустой. Она обратила внимание, что собаки тоже нет.

Она вернулась в дом, постучала в двери спальни и сказала, что мальчик с собакой куда-то ушли.

Жена Баграта сначала встревожилась, но потом вспомнила, что мальчик и раньше иногда рано утром уходил на рыбалку, всегда беря с собой собаку. Правда, он раньше всегда с вечера предупреждал, что уходит, хотя вчера вечером он был какой-то рассеянный, вспомнила она, не удивительно, что забыл.

— Он ушел на рыбалку, — ответила она подруге, — будем завтракать на веранде.

— Хорошо, — ответила та и, выйдя на веранду, зажгла при- мус, убрала со стола, не заметив записки, которая, пока она

готовила завтрак, слетела со стола и залетела под топчан, где ее через три года обнаружила мать Ремзика.

Они спокойно позавтракали на веранде, потому что она была хорошо защищена от улицы деревьями сада. Доктор и Клава вышли из дома вместе, а через некоторое время ушла на работу и жена Баграта, прикрыв полотенцем чайник и оставив на столе хлеб и сковородку с остатками жареных бататов.

* * *

У края дороги стоял «студебекер». Машина была совсем пустая. Он решил, что шофер зашел на базар за какими-то покупками, и стал его дожидаться.

Направо от дороги на той стороне улицы был расположен базар. У входа в него сидел инвалид и показывал карточный фокус, на который часто попадались крестьяне, приезжавшие продавать фрукты и овощи.

Инвалид вынимал из колоды валета, даму и короля, показывал их всем и, сбросив эти три карты картинками вниз на мешковину, расстеленную перед ним, переставлял их местами, якобы для того, чтобы запутать партнера, а потом предлагал угадать, где валет. Но было совершенно ясно, где должен лежать валет. И вот, когда кто-нибудь из зевак не выдерживал — до того ясно было, где лежит валет, — и начинал играть, оказывалось, что валет совсем в другом месте.

Ремзик, бывало, когда его посылали на базар, подолгу следил за этой игрой. Иногда инвалид нарочно проигрывал не-

которое время, чтобы завлечь партнера. Ремзику бывало жалко туговатого на расплату крестьянина, который осторожно вступал в игру, сначала немного выигрывал, а потом подряд проигрывал все деньги, ошалевшими глазами следя за неуловимо исчезающим валетом.

Сейчас тоже возле инвалида стояла небольшая толпа зевак, в которой выделялся высокий парень с неприятным худым лицом, который почти всегда стоял в толпе и время от времени садился играть с инвалидом и часто выигрывал у него и, как подозревал Ремзик, был в тайном сговоре с этим инвалидом. Своими выигрышами он подзадоривал остальных. Все-таки Ремзик, сколько ни следил за этой игрой, никак не мог понять, почему валет оказывается в другом месте, а не там, где он должен быть.

...На той стороне улицы из ларька выглядывала молодая женщина. Если не было покупателей, она большим половником вытаскивала из бочки с компотом мелкие груши (Ремзик знал, что они самые вкусные в этом компоте), ела их и незаметно сбрасывала огрызки назад в бочку. Ремзик отвернулся.

Взвод бойцов, пропахших могучим солдатским потом, с песней прошел по улице:

*Украина золотая, Белоруссия родная,
Наше счастье мо-ло-до-е!
Мы стальными штыками отстоим!*

Продавщица, как и Ремзик, залюбовалась бойцами, но потом очнулась и, снова достав из бочки пару мелких груш, съе-

ла их и первый огрызок бросила в бочку, а на втором, вдруг встретившись глазами с Ремзиком, удивилась его вниманию и сбросила огрызок за прилавок на улицу, словно говоря: «Подумаешь, какая разница...»

Из базара вышло человек десять матросов, очень веселых и бодрых. Похохатывая и подтрунивая друг над другом, они перешли дорогу и стали влезать на «студебекер». Ремзик сначала заволновался, он хотел попроситься в машину, но потом почувствовал, что от матросов сильно разит чачей и они все здорово выпили.

— Давай, пацан, подвезем! — крикнул один из них, взглянув с кузова на Ремзика и его собаку.

— Спасибо, мне не в ту сторону, — сказал Ремзик.

Ему неохота было ехать с пьяными матросами. Он не боялся за себя, он боялся за Барса. Пьяные любят поиграть с собаками и не знают меры, и мало ли что может быть.

— Все на месте? — спросил шофер, высунувшись из кабины.

— Полундра! — крикнул кто-то с кузова, и машина рванулась, хотя один из матросов только успел ухватиться за задний борт кузова.

Ремзiku стало страшно за него, но матросы с кузова весело загалдели, и несколько человек, вытянув руки, схватили опоздавшего товарища и с небрежной дружественностью втащили наконец его в кузов, когда машина уже пылила далеко впереди. У Ремзика отлегло на душе. Несмотря на то, что матросы были очень пьяные, он все-таки невольно любовался

ими, пока они влезали в машину, такие они все были бравые, здоровые, красивые!

Он терпеливо стоял на тротуаре и продолжал голосовать, но машины или были переполнены, или не останавливались. Было уже около десяти часов утра, и на солнце сильно пекло. Он стоял в тени камфорового деревца, но каждый раз, когда на мосту показывалась более или менее подходящая машина, он выходил из тени и вытягивал руку.

Его брюки из чертовой кожи, промокшие утром в росе, давно высохли и как-то неприятно топорщились. Проклятые «мухус-сочи» тоже сильно пересохли и давили ступни ног, хотя изнутри, он это чувствовал, ноги сильно потели.

Он почувствовал голод и, вынув из кармана вторую грушу, съел ее. Несмотря на голод, груша показалась невкусной, водянистой. От этих скороспелок, подумал он, никогда толку не бывает.

От голода и от долгого ожидания Барс стал капризничать. Он перестал верить, что их может взять попутная машина, и когда Ремзик выходил из тени, собака упиралась, и ему иногда приходилось выволакивать ее оттуда.

Возле ларька появилась цыганка с огромным выводком цыганят, то рассыпающихся, то сливающихся возле маминой юбки.

Цыганка, прислонившись к прилавку и как-то удобно переломившись, явно уговаривала продавщицу погадать. Та, видно, сначала отказывалась, но потом они сторговались, потому что продавщица наполнила один за другим шесть ста-

канов компотом, и цыганята все разом потянулись за ними, а некоторые из них были такие маленькие, что едва дотягивались рукой до прилавка.

— Стаканы не разбейте, чертенята, — услышал Ремзик голос продавщицы, и детишки, наконец разобрав стаканы, угомонились и замерли кто где стоял, всосавшись в стаканы. Продавщица легла грудью на прилавок и подала ладонь гадалке.

Стоя в жидкой тени камфорового дерева и бесполезно пытаясь обратить на себя внимание проезжающих шоферов, Ремзик вдруг вспомнил, как после дядиной свадьбы, которую справляли в деревне, они большой компанией возвращались домой и долго «голосовали» на дороге, но ни одна машина не останавливалась.

— Вы не так голосуете, — сказал дядя и, вынув из кармана две красные тридцатки, помахал ими перед первым из грузовиков, и он как зачарованный остановился. Да, за что дядя ни брался, у него все получалось...

Наконец проехал «студебекер», и Ремзик довольно неуверенно поднял руку, другой рукой подтягивая поводок с Барсом. Машина проехала, но потом вдруг остановилась метрах в пятидесяти от него, шофер выглянул и махнул рукой. Ремзик подбежал к нему, продолжая держать собаку на поводке.

— Тебе куда, малец? — спросил шофер, выглядывая из кабины.

— Нам до Анхары, — сказал Ремзик и посмотрел на собаку, как бы извиняясь за нее.

— Влезайте, — сказал шофер и показал глазами, чтобы они обошли машину.

— В кабину? — удивился Ремзик.

— А куда же? — спросил шофер. — Побыстрой.

Ремзик с собакой обежали машину, и красноармеец, сидевший рядом с шофером, открыл ему дверцу. Ремзик уселся на мягкое сиденье, стараясь как можно меньше занимать места, хотя там было достаточно свободно. Он загородил ногами собаку, чтобы боец, сидевший рядом с ним, не чувствовал опасности, хотя тому и в голову не приходило, что этой маленькой дворняжки надо опасаться.

Они поехали. В кабине было жарко и пахло бензином. Обычно Ремзик любил этот запах, но не сейчас, когда сказывался недосып, голод и долгое стояние на жарком, пыльном тротуаре. Его «мухус-сочи» раскалились, и ступни от них сильно саднило, но он не решился их снять, чтобы запах потных ног не чувствовался в кабине. В носке правого башмака и так была дыра величиной с трехкопеечную монету, и он знал, что оттуда немного попахивает.

Сквозь гул мотора однообразным жужжанием доносились голоса шофера и его дружка.

— А она что? — спрашивал шофер, не переставая смотреть на дорогу.

— А она — ничего, — отвечал дружок.

— А ты что?

— А я свое долдоню...

— А она что?

- Она, грит, приходи завтра...
- А ты что?
- А я, грю, что ж мне, в самоволку идти...
- А она что?
- Сегодня, грит, не могу, сегодня, грит, мать не дежурит...

Ремзик задремал под гул мотора и однообразное жужжание голосов.

Машина внезапно остановилась у въезда на Кодорский мост... Направо от дороги лежал перевернутый «студебекер», возле которого толпились зеваки и несколько милиционеров, один из которых что-то записывал, о чем-то расспрашивая штатского человека, стоявшего рядом с ним.

Вдруг откуда-то из-за машины выскочил матрос в одной тельняшке, с головой, перевязанной ослепительно белой марлей. Даже издали было видно, что у него обезумевшие глаза, и он, махая руками то на дорогу, то на машину, стал что-то объяснять милиционеру, по-видимому, противоречащее тому, что рассказывал штатский человек.

Ремзик сразу узнал этого матроса. Он был из тех, и, конечно, это их машина перевернулась. Он подумал, что он мог сесть в эту машину, и удивился, что не испытывает никакой радости оттого, что все-таки не сел в нее. Конечно, он не хотел бы оказаться в той перевернутой машине, но радости никакой от этого не было.

Шофер собрался выйти из машины, чтобы узнать, что случилось с тем «студебекером», но тут к нему подошла молодая женщина с сумкой и попросила подбросить ее до заставы, где она живет.

Шофер и его дружок стали сажать ее в кабину, а Ремзик постеснялся оставаться и сказал, что он с удовольствием поедет в кузове.

— Ничего, — сказал дружок шофера, — в тесноте, да не в обиде.

— А собака не укусит? — спросила она, осторожно усаживаясь между Ремзиком и вторым красноармейцем. Она была в легком крепдешиновом платье, и от нее пахло духами, пудрой и тем жаром летней женщины, который, как теперь чувствовал Ремзик, располагает к предательству.

— Нет, — сказал Ремзик, — она не кусается.

— Вот кто кусается, — кивнул шофер на своего дружка, и они оба рассмеялись. Женщина замкнулась, давая знать, что не принимает шутку.

Шофер снова сделал попытку выйти из машины и посмотреть на перевернутый «студебекер» поближе, но тут стали раздаваться гудки затормозивших сзади машин, и один из милиционеров, стоявших внизу, выскочил на дорогу и стал показывать рукой, чтобы все ехали, а не стояли здесь. Впереди тоже было несколько машин.

— Я видел эту машину, — сказал Ремзик, — там было много пьяных матросов.

— А-а-а, — кивнул головой шофер и, подумав, добавил: — Не... Я за рулем ни-ни...

— Да, — вздохнул Ремзик, — они вышли из базара и были все пьяные.

Когда они въехали на Кодорский мост, Ремзик заметил, что по реке плывет вниз по течению белесый поток дохлой рыбы. Машина по мосту шла медленно, и было видно, как много дохлой рыбы идет вниз по течению.

Он подумал, что где-то в верховьях Кодора глушили рыбу или травили тем химическим средством, которым лечат чайные кусты. Скорее всего, травили, догадался он, потому что от глушения так много рыбы не может погибнуть.

Ему было жалко эту ни в чем не повинную рыбешку и жалко матросов, хотя он не знал, погиб там кто-нибудь из них или нет.

Он снова вспомнил матроса, выскочившего из-за машины в одной тельняшке с белоснежной повязкой на голове и безумными глазами.

Матрос этот напомнил ему один случай, когда дядя первый раз приехал с женой.

...В тот день они втроем пошли в гастроном покупать продукты по карточкам. В гастрономе была довольно большая очередь. Одна очередь стояла в кассу, а другая — к прилавку. Дядя стал в одну очередь, тетя Люся в другую, а Ремзик вышел с корзиной на улицу, потому что в гастрономе было очень жарко.

На тротуаре напротив гастронома сейчас стоял известный в городе бандит Альберт. Голова его была повязана грязной марлей, один рукав пиджака задернут по локоть, а глаза блестя свинцовым безумием. Он был очень пьян. Тротуар напротив гастронома мигмом опустел, а Альберт приставал

к редким прохожим, явно чтобы подраться с кем-нибудь из них, но они были или слишком старыми для него, или настолько уступчивыми, что он никак не мог ни к одному из них придрататься.

— Моя рука, — почти плача, с каким-то странным умилением говорил он, время от времени поднося к носу огромный кулак, нюхая его и как бы опьяняясь его запахом.

Ремзик сразу почувствовал, что Альберт пристанет к дяде, как только тот выйдет из гастронома. Так и получилось. Как только дядя вышел из гастронома рядом с нарядной, красивой тетей Люсей, тот ринулся прямо на него.

— А-а-а-а, летун, — сказал он таким голосом, словно наконец-таки ему попался человек, с которым он давно собирался свести счеты.

Дядя сделал несколько шагов в сторону Альберта, но не потому, что хотел с ним встретиться, а потому, что им надо было идти в ту сторону. У Ремзика, стоявшего на газоне между тротуаром и улицей, рот пересох от волнения. Он просто слова не мог выговорить. Он до этого заметил, что у Альберта из внутреннего кармана пиджака торчал большой нож.

Он не успел предупредить дядю. Через несколько секунд Альберт стоял против дяди, загораживая ему дорогу. Дядя держал в обеих руках по кульку и в таком странном виде стоял против бандита.

— Ну, что скажешь? — грозно спросил Альберт и еще ближе придвинулся к дяде.

Дядя продолжал молча стоять со своими кульками, а тетя Люся слегка потянула его за рукав, чтобы обойти Альберта. Но дядя словно врос в землю, продолжая стоять, сжимая в своих руках по большому кульку и не сводя взгляда с бандита.

— Моя рука, — снова сказал Альберт и поднес к самому лицу дяди свой огромный кулак.

Дядя молча продолжал смотреть на него, спокойно прижимая к груди свои большие кульки.

О страшной силе Альберта ходили легенды. Говорили, что он однажды сбежал из КПЗ, приподняв одну из десятипудовых бетонных плит потолка камеры.

— Жена? — вдруг спросил Альберт, кивнув на тетю Люсю. Что-то неуловимое появилось в голосе Альберта.

Ремзику показалось, что он дал еле заметный задний ход. Но дядя молча продолжал смотреть на Альберта, продолжая прижимать к груди свои такие неуместные кульки. Тетя Люся слегка прижалась к дяде, давая знать бандиту, что он не ошибся, что она и в самом деле его жена.

— Тогда поцелуй ее, — вдруг сказал Альберт и кивнул на тетю Люсю.

Дядя, не сдвигаясь с места, молча продолжал смотреть на Альберта.

И вдруг бандит, сделав шутовской полупоклон в сторону дяди, уступил им дорогу, говоря:

— Орденосцам почет и слава...

Дядя молча прошел мимо него и, сделав несколько шагов, посмотрел по сторонам, ища глазами Ремзика. Рем-

зик подбежал к дяде, и тот переложил в корзину свои кульки.

Вся эта сцена с бандитом длилась, может быть, не больше минуты, но уже многие люди с безопасного расстояния восхищались дядей. Как бодро шагал тогда Ремзик рядом с ним, как он был счастлив! Ему чудилось, что кто-то из людей, занятых выяснением дела отца, обязательно узнает об этом и снова призадумается, могут ли быть в одной и той же семье такой храбрец и вредитель одновременно. Каждый раз, гуляя с дядей, он тайно показывал им его: пусть призадумаются, это им пойдет только на пользу.

Дядя тогда сказал про Альберта, что тот просто трус, что они, фронтовики, за километр узнают таких трусов. Что-что, а трусом Ремзик этого Альберта никак не мог считать, о его драках рассказывали всякие чудеса. И что же? Даже в этом дядя оказался прав. Оказывается, у этих бандитов была своя «малина», и милиция там устроила засаду, когда они все собрались. И когда милиция ворвалась в дом, бандиты пытались бежать, а некоторые даже отстреливались, и только Альберт поднял руки. Оказывается, им руки поднимать нельзя, оказывается у них тоже есть свои законы чести. И Альберт, подняв руки, опозорился, и через полгода один из тех, кому удалось тогда сбежать, поймал Альберта в ресторане и в наказание разбил о его голову одну за другой три бутылки с вином, а тот стоял не шелохнувшись, по стойке «смирно». Ну и голова же у этого Альберта, надо сказать!

...Вдруг Ремзик заметил, что эта женщина, косясь на Барса, слегка ворочит нос. «Учуяла, — подумал он, внутренне замирая, — учуяла запах моих ног». Ему стало ужасно неприятно, что она учуяла этот запах.

Вообще ничего особенного в этом запахе не было. Чик даже говорил ему, что этот запах напоминает ему запах одного довоенного сыра, который продавали тогда в магазинах. Этот сыр назывался не то нидерландский, не то голландский. Ремзик помнил этот сыр, он был такой дырчатый и вкусный. Но не станешь всем говорить, что точно так пахнул довоенный дырчатый сыр.

Женщина время от времени неприязненно поглядывала на Барса и морщила свой нос, показывая, что туда попадает совершенно невозможный запах, хотя запах был вполне терпимый и красноармейцы его не замечали. Ремзик это чувствовал.

Когда она морщила нос, она поглядывала на Барса, а потом на сидящего рядом красноармейца, как бы призывая его тоже поморщиться вместе с ней. Но красноармеец не только не собирался морщиться вместе с ней, он даже не понимал ее намеков.

Все-таки Ремзику было ужасно неприятно, когда она так морщила нос и неприязненно смотрела на ни в чем не повинного Барса. Эти проклятые «мухус-сочи», которым сноса не было, хотя он их носил уже второй год, летом страшно раскаляются.

Он старался сидеть, не шевеля ногами, но, как назло, очень хотелось пошевелить пальцами внутри обуви. Он

знал, что если не шевелить ступней и особенно пальцами, то запаха почти не бывает. Но он также знал, что из дырки на правом башмаке запах сам по себе подымается, как пар из носика чайника. Он подумал, что если заткнуть чем-нибудь эту дырку, то, пожалуй, старый запах постепенно выветрится из кабины, и женщина перестанет так нечестно морщить нос. Ведь даже если ты слышишь какой-то неприятный запах, ты должен перетерпеть его, если ты не у себя дома, конечно.

Ремзик по себе знал, что иногда у некоторых знакомых в доме царит неприятный запах. Но сами они, хозяева дома, этого запаха не замечают. Потому что они привыкли к нему.

Если Ремзику попадался дом с таким неприятным запахом, он его честно терпел, только потом старался не заходить туда, если уж очень местный запах этого дома был неприятен.

Ведь ты не почтальон, ты не обязан входить в каждый дом, но если уж вошел, то ты не должен показывать, что местный запах этого дома тебе не нравится.

Ремзик решил чем-нибудь заткнуть все-таки свой резиновый башмак. Но заткнуть было нечем. Он знал, что у него в карманах ничего нет. В руке у него был только поводок, больше у него ничего не было.

Он нагнулся, прикрывшись спиной от женщины и делая вид, что возится с ошейником, вдавил часть поводка в дырку и снова выпрямился. Барс очень удивился, что Ремзик

так странно использовал поводок, и, выпрямив уши, уставился на башмак так, как, бывало, уставится в подвальный люк, учуяв там кошку и ожидая, что она оттуда выскочит.

Ремзик почувствовал, что лицо его краснеет от предчувствия разоблачения. Сейчас она все поймет, глупый Барс его выдаст.

— Эта собака, — вдруг сказала женщина, — очень неприятно пахнет... Вы ее не купаете?

— Почти каждый день в море купается, — сказал Ремзик. Он понял, что женщина ничего не заметила.

— А по-моему, хорошая псица, — сказал красноармеец, сидевший рядом с ней.

Молодец красноармеец! Он с ней ни в чем не соглашался. Как только она села, он попробовал с нею шутить, как взрослые шутят с молодыми женщинами, но она не захотела слушать его шутки, намекнув, что ее муж лейтенант погранзаставы. Все-таки это было довольно грубо — давать знать рядовому красноармейцу, что ее муж лейтенант погранзаставы. Вот он и обиделся. Могла бы потерпеть. Другие и не такое терпят.

Воспоминание о случившемся такой режущей болью отдалось во всем его теле, что он больше не думал, что ему неприятно и стыдно перед этой женщиной из-за своих проклятых «мухус-сочи».

Он снова вспомнил то первое лето, когда дядя приехал из Москвы с женой. Он вспомнил, что в то лето в их доме после долгого перерыва запахло праздником, как при папе.

Да, все лето, пока дядя не уехал на фронт, в доме пахло праздником. Не то чтобы дядя никогда не ссорился со своей юной женой, но это были очень короткие ссоры, и запах праздника никуда не уходил. Во время этих ссор дядя всегда говорил одну и ту же непонятную фразу.

— Я таких, как ты, — говорил он, — имел на бреющем...

Самое смешное, что эта непонятная фраза действовала на тетю Люсю вразумляюще. Она или переставала ссориться, или, смеясь, подходила к нему и начинала целовать его и чего-то намурлыкивать в ухо.

Да, в то лето в их доме снова заработала парадная дверь и снова появился запах праздника! После того как четыре года тому назад арестовали отца, в доме появился унылый запах, и этот запах почти никогда не проходил до прошлого года. За эти четыре года запах праздника иногда снова приходил в их дом, но теперь он приходил в грустном облике воспоминаний. Это было тогда, когда кто-нибудь из родственников или знакомых, а чаще всего мама вспоминали об отце.

— Ваш отец... — говорила она и рассказывала какой-нибудь случай из их жизни.

Особенно он любил рассказ о том, как он был совсем маленький и заболел каким-то желудочным заболеванием и долго-долго болел, и никто не мог его вылечить, а папа был в экспедиции.

Наконец врач, уставший лечить его, сказал маме:

— Я больше ничего не могу... Попробуйте сменить климат...

Мама дала телеграмму отцу, и через два дня он был в городе. Они решили Ремзика вывезти в Чегем, в дом дедушки. По словам мамы, он был уже так слаб, что не мог поднять голову, а не то чтобы говорить или ходить...

Они поехали в машине до села Анастасовка, и отец его все время держал на руках, а мать время от времени заглядывала ему в лицо и дула ему в глаза, чтобы посмотреть, жив он или уже умер.

И вот, когда они вышли из машины и дошли до Кодора и стали ждать парома с того берега, а паром долго не приходил, и, наконец, когда паром уперся в берег и отец с ребенком на руках вошел на паром и сел у борта, ребенок вдруг ожил. Маленький Ремзик стал тянуться к воде, что-то мыча и показывая на что-то рукой.

Сначала никто ничего не мог понять, а потом отец посмотрел в воду и увидел, что в воде, прижатый течением к борту парома, показывается карандаш, выпавший из кармана, когда он садился. Ремзик обращался к отцу и именно ему показывал на его потерю! Это было, по словам мамы, первое, да еще осмысленное оживление ребенка после многих месяцев. Мама говорила, что именно в ту минуту она поверила, что Ремзик все-таки выживет!

Самое смешное заключается в том, что Ремзику кажется, что он отчетливо помнит этот случай, хотя как будто он не должен был его помнить по возрасту. Ему было тогда полтора года.

Но ему казалось, что он помнит, как они ждали паром и как промчались, пока они ждали, вниз по течению плоты

с плотогонами, стоявшими с шестами на плотках, отчетливо помнит мускулистые, мокрые, в закатанных штанах икры их ног, помнит, как один из плотогонов что-то им крикнул, но голос его со страшной быстротой умчался вниз вместе с плотками, и, главное, помнит этот карандаш, болтавшийся на воде, и тоненькую перламутровую струйку, отходящую от остро заточенного конца его!

— Мама, — спрашивал Ремзик каждый раз, когда она об этом рассказывала, — а ты все-таки не помнишь, карандаш был химический или простой?

— Ну, откуда, Ремзик, — отвечала она ему каждый раз, — мне тогда было не до этого.

Наверное, отец мог вспомнить, какой у него был карандаш, но теперь у отца невозможно было спросить об этом. Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, Ремзик уверился бы в том, что все это он вспомнил, а не выдумал уже после того, как мама об этом рассказала. Он много раз думал об этом и пришел к выводу, что, скорее всего, у отца был химический карандаш. Ведь отец был геолог, а геологам приходится и в горной реке мокнуть, и на лошадях трястись, поэтому им надо свои записи делать более стойким химическим карандашом. Ремзик так думал, но не был уверен в этом.

От той поездки он еще помнит огромного орла, пойманного дядей, тогда еще юношей, и привязанного на веревке к веранде дедушкиного дома. Когда он вспоминал про орла, ему говорили, что орел и в самом деле был пойман,

но он был не такой большой. А некоторые вообще не помнили про орла.

Дядя про орла помнил. Но он тоже, всегда почему-то смеясь, говорил ему, что орел не был таким большим. Но Ремзик помнил, что орел был большой, просто невероятный, особенно когда расправлял крылья!

Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, получалось бы, что орел был именно таким, каким его запомнил Ремзик. Взрослые часто забывают про многое... Нет, лучше не думать про некоторые вещи, о которых забывают взрослые.

У поворота с Эндурского шоссе на село Анхара машина остановилась, и женщина стала сходить. Ремзик открыл ей дверцу, встал и сам вышел вместе с собакой. Женщина вытащила из сумки кошелек, открыла его и протянула шоферу мятую пятерку. Тот посмотрел на своего друга.

— Не будем разорять лейтенанта? — спросил тот у шофера. Он это сказал серьезно, но Ремзик сразу понял, что он шутит, вернее, даже дразнит эту женщину.

— Не будем, — немного подумав, еще серьезней ответил ему шофер.

— Как хотите, — сказала женщина, но лицо у нее покраснело от возмущения. Она взяла свою сумку и, ни на кого не глядя, вышла из машины, и, перейдя улицу, пошла в сторону берега.

Ремзик сел в кабину вместе с Барсом. В кабине стало как-то очень просторно. Машина повернула на Анхару.

— То у нее собака не так пахнет... — подмигнул красноармеец Ремзику, — то у нее муж лейтенант...

— Шуток не понимает, — ответил Ремзик.

— Пацан точно сечет, — сказал красноармеец шоферу и кивнул на Ремзика.

— Пацан молоток, — ответил шофер, объезжая большую выбоину на дороге.

Они проехали армянское село и въехали в село Анхара. Когда слева от дороги появился сарай для хранения собранного чая, Ремзик сказал:

— Мне тут...

Шофер затормозил, и, когда Ремзик открыл дверцу, Барс, которому, видно, машина здорово надоела, с такой быстротой выскочил из нее, что Ремзик чуть не слетел с подножки.

— Спасибо, — сказал он, смущаясь не столько оттого, что у него не было денег, сколько оттого, что должен был показать готовность заплатить, если бы они у него были.

— Кушай на здоровье, — сказал шофер, и машина запылила дальше.

Барс слегка ошалел оттого, что они наконец приехали. Он все время рвался с поводка, но Ремзик его придерживал, потому что собака хорошо знала дорогу и она явно прибежала бы в дом к дедушке раньше его. Почему-то Ремзику было неудобно, если бы собака пришла раньше его. Он шел по деревенской улице, как всегда смущаясь в предчувствии первой встречи со знакомыми ребятами. Но, слава Богу, был жаркий полдень, и все попрятались в тени, никого не было видно.

Он подошел к воротам и со скрипом отворил их. Рыжуха, собака дедушки Шабана, по прозвищу Колчерукий, выскочила из-под дома и помчалась на них, но уже на полпути, узнав Ремзика, сделала вид, что она не лаяла, а просто так пошутила, чтобы напугать их. Несколько секунд Рыжуха и Барс чопорно обнюхивали друг друга, а потом Рыжуха стала прыгать возле Ремзика, стараясь лизнуть его в лицо.

Ремзик снял поводок с Барса, и тот помчался в сторону кухни, откуда вышел дедушка посмотреть, на кого лаяла собака. Сначала он узнал подбежавшего Барса, а потом и Ремзика.

— А-а! — крикнул он по своему обыкновению. — Наш русачок прибыл, русачок! Мало того что сам дармоед, так он еще и собаку с собой привел!

За ним из кухни выскочила жена дедушки, тетя Софичка.

— Что-нибудь случилось? — спросила тетушка издалека, глядя на Ремзика из-под руки, чтобы загордиться от солнца.

— Чего там могло случиться! — заорал на нее дедушка. — Соскучился по мамалыге — вот и приехал!

— Ничего не случилось, — сказал Ремзик, и, когда они подошли друг к другу, она, улыбаясь, повертела рукой вокруг его головы, что должно было значить, что она берет на себя все его болезни и горести.

— Что с тобой должно случиться, пусть случится со мной, — сказала она, улыбаясь своим морщинистым лицом и целуя его в лоб. От нее приятно пахло запахом очаж-

ного дыма, уютом деревенской кухни, добротой старой женщины, которая вышла из того возраста, когда можно стать предательницей.

— А где Яшка? — спросил он про своего двоюродного брата, озираясь.

— Он с твоим братом пошел рыбу ловить на Кодор, — ответила тетушка, — они теперь не скоро придут...

Тетушка и Ремзик вошли в кухонную веранду. Из кухни выскочила сестра.

— Ремзюша, — сказала сестра и бросилась его целовать. Он, стараясь не обидеть ее, все-таки достаточно сурово отстранился. Сестре было пятнадцать лет, и она как-то здорово изменилась за последние несколько месяцев. Она уже становилась девушкой, то есть входила в тот возраст, когда можно стать предательницей.

— С чего это ты вдруг? — спросила она у него по-русски.

— Я приехал навсегда, — неожиданно сказал Ремзик и сам почувствовал, что сказал что-то лишнее...

— Как навсегда? — удивилась сестра. — А как же Люся?

— Посмотрим, — сказал он, — там видно будет.

У него снова испортилось настроение, а он-то думал, когда открывал ворота и входил во двор, что все осталось позади. Надо ведь как-то объяснить свой приезд. Но потом он подумал: если уж объяснять, то только маме, а мама раньше вечера домой не придет. Он не знал, как рассказать обо всем этом маме, но он решил, что мама раньше вечера все равно домой не придет, а до этого можно будет все выки-

нуть из головы. Он подумал: до вечера еще долго, долго... До вечера что-нибудь может случиться... Вдруг радио сообщит, что Гитлер сдался и война окончилась... Тогда все будет просто...

Ему стало как-то веселей и проще. Он с удовольствием оглядел большой зеленый двор с яблоневыми деревьями с одного края, с ореховым деревом и персиковым деревцем с другого края, чистый зеленый двор. Во дворе паслись два теленка и каурая лошадь, которая с какой-то странной яростью щипала траву.

С той стороны плетня, огораживающего двор, у подножья яблонь лежало много паданцев. Во дворе тоже валялось несколько яблок, и одно из них теленок смешно катал по траве, пытаясь укусить, и никак не ухватывал его зубами.

— У дедушки новая лошадь? — спросил Ремзик.

— А что ему больше делать, — ответила тетушка Софичка, сворачивая сигарку, — только и знает, что менять лошадей... Уже сбросила его раз... Думаю, в следующий она его прикончит...

— Чем болтать всякую чушь, — крикнул дедушка с веранды, где он подшивал к седлу подпругу, — ты бы лучше курицу зарезала да угостила нашего русачка... Глядишь, и нам чего-нибудь перепадет.

Все это он сказал, не подымая головы и орудуя шилом и большой иглой.

— За курицей дело не станет, — ответила тетушка Софичка, и они все трое вошли в кухню.

В очаге горел огонь. В придвинутом к огню котле варилась фасоль. Ремзик сел на скамью у огня. Чувствовать огонь лицом и смотреть на него было приятно.

В это время одно за другим несколько яблок шлепнулось под яблоней во дворе и на огороде.

— Деньги падают и гниют, — крикнул дедушка с веранды, — некому подобрать.

— Чем причитать здесь, повез бы в город и продал! — в ответ ему крикнула тетушка Софичка и поставила рядом с Ремзиком тарелку с вареной тыквой и ножом.

— Подкрепись до обеда, — сказала она.

— Совсем выжила, — крикнул дедушка в ответ, — где же у меня время возиться с яблоками...

Барс, который вместе с ними вошел в кухню, посмотрел на тарелку, потом на Ремзика и как бы показал на себя. Ремзик вырезал ножом мякоть из одного куска тыквы и бросил ее Барсу. Барс понюхал тыкву, осторожно попробовал, а потом стал быстро уплетать ее, как бы вспомнив вкус полузабытой еды.

Ремзик тоже стал есть холодную вкусную тыкву. Он чувствовал, что тыква вкусная, но почему-то она плохо лезла в горло. Он не знал, что случилось с его горлом, но он знал, что это связано с тем, что он узнал вчера. Горло стало как-то плохо работать. Все же он съел два куса холодной вкусной тыквы, и хотя горло плохо работало, он заставил себя глотать мякоть тыквы.

Еще один кусок он бросил Барсу, и Барс с удовольствием съел второй кусок. Интересно, подумал он, у собаки, когда

она узнает о чем-то неприятном, может горло плохо работать или нет?

— Ну, как там Люся, не скучает? — спросила сестра.

— А чего ей скучать, — ответил Ремзик, — у нее ведь там компаньонка.

— Пора бы ей хоть котенка выродить! — крикнул дедушка с веранды. Оказывается, он все слышал оттуда. — Слава Богу, больше года замужем...

— Не твое дело! — крикнула ему тетушка Софичка и подвесила над огнем очага мамалыжный котел и засыпала туда муки для заварки. Потом она вошла в кладовку и вынесла оттуда в подоле кукурузные зерна. Пыхтя цигаркой, она вышла из кухни, высокая, костистая, худая.

— Тетя Софичка еще сильнее похудела, — сказал Ремзик, глядя ей вслед.

— Еще бы, — ответила сестра, размешивая мамалыжной лопаткой заварку в котле, — она ведь два дня в неделю ничего не ест.

— Почему? — удивился Ремзик.

— Она дала Богу обет, — сказала сестра, — на каждого из наших близких, чтобы вернулись живыми с фронта. Сегодня как раз день Баграта... В такие дни только воду пьют и курят... Конечно, глупость...

Сестра положила мамалыжную лопату на котел и присела рядом с Ремзиком на скамью.

Раньше Ремзик и сам считал, что такие вещи просто глупость. Но сейчас он вдруг почувствовал, что это не глупость.

Он подумал: «Если ты кого-то любишь, то ты ради этой любви должен что-то трудное сделать, и тогда будет ясно, настоящая это любовь или ненастоящая».

Он подумал: «А что же сделал я ради любви к дяде?.. Мне было стыдно сказать ей, — ответил он сам себе. — Надо было одолеть стыд и сразу же все сказать, — подумал он. — Но ведь она могла пожаловаться дяде, а мама говорила, что он ничего не должен знать». Он снова почувствовал тоску безысходности. «Но ведь еще прошло немного времени, — подумал он, — еще есть время что-то сделать...»

— Снял бы свои «мухус-сочи», — сказала сестра, — по-моему, они пованивают.

— Ага, — сказал Ремзик и вышел во двор. Он снял свою обувь и выставил ее на солнце посреди двора. Теплая мягкая трава приятно щекотала подошвы ног. Он с удовольствием потер потные ноги о траву.

— Ремзик, согреть тебе воду, может, ноги вымоешь? — спросила сестра, появляясь в дверях кухни.

— Зачем ему ноги мыть, — крикнул дедушка, — я сейчас пойду купать лошадей, там он и вымоется весь. Пойдешь со мной?

— Конечно, — обрадовался Ремзик.

За домом раздался голос тети Софички, сзывающей кур. Куры со всего двора бежали на ее голос. Два петуха, один рыжий, а другой белый, тоже бежали на голос тети Софички, но все время делали вид, что они не слишком торопятся. Поглядывая друг на друга, они то бежали, то приостанавлива-

лись. Вдруг рыжий петух гневно заклокотал, услышав кудахтанье, как понял Ремзик, пойманной курицы. Расправив крылья, он изо всех сил побежал за дом, а белый остался, осторожно прислушиваясь к тому, что происходит за домом.

— А тебе-то какое дело, — слышался голос тетушки Софички, отгоняющей петуха, — чтоб тебя ястреб унес!

Через несколько минут она вышла из-за дома, неся за ножки курицу с перерезанным горлом.

— Я давно ее подозревала, — сказала она, неизвестно к кому обращаясь, — что она поворовывает кукурузу в амбаре... Так оно и есть — один жир.

— Помогите мне лошадь поймать, — сказал дедушка и, гремя уздечкой, сошел с веранды.

В это время с яблонь шлепнулось несколько яблок.

— Денги гниют, — сказал он мимоходом, и они стали медленно подходить к лошади. Лошадь вздернула голову, посмотрела на дедушку и, сердито фыркнув, побежала в глубину двора. Там она остановилась и стала яростно щипать траву.

— Заходи с той стороны, а я с этой, — сказал дедушка.

Они стали приближаться к лошади. Ступать босыми ногами по мягкой, теплой траве было приятно. Когда они подошли к ней поближе, она снова вздернула голову, посмотрела на обоих и побежала в сторону Ремзика, словно поняв, что его ей незачем бояться. В нескольких шагах от него она остановилась и стала яростно щипать траву. Когда он приблизился к ней, она, никуда не уходя, быстро повернулась к нему спиной, словно направила на него орудие задних копыт. Он по-

пытался ее обойти, но она опять, не сходя с места и продолжая яростно щипать траву, направила на него орудие своих задних копыт. Ремзику стало немного не по себе. В это время тетушка Софичка вынесла курицу, обданную кипятком, и стала выщипывать из нее перья.

— Нечего ребенка к своей бешеной собаке подпускать, — сказала она ворчливо, — мог бы и сам взнудать...

Наконец они загнали лошадь в угол двора. Она злобно озиралась на Ремзика, который стоял сзади нее в нескольких шагах и помахивал палкой, чтобы она боялась побежать в его сторону. Ремзик не знал, боится ли она его, но то, что он ее боится, это он чувствовал. Дедушка подходил к ней сбоку, и теперь ей некуда было деться — справа забор, впереди забор, сзади Ремзик с палкой. Она сделала попытку перемахнуть через забор, но не решилась, а дедушка уже стоял рядом с ней, и когда он поднес к ее губам удила, она вскинула гривастую голову, но он успел вложить ей в рот железо, и она сразу притихла.

— Хочешь поехать верхом? — спросил дедушка.

— Да, — сказал Ремзик отчаянно.

Ощипав и выпотрошив курицу, тетя Софичка бросила неодобрительный взгляд на Колчерукого, который, окоротив уздечку, чтобы лошадь не укусила Ремзика, помогал ему взобраться на нее.

— Чтоб я эту лошадь на упокой твоей души, — ругнула она дедушку и вошла в кухню. Обе собаки съели выброшенные внутренности курицы и сейчас принялись к перьям.

Ремзик уже сидел на лошади, и дедушка открывал ему ворота, когда снова — шлеп! шлеп! шлеп! — с яблонь слетело несколько яблок.

— С ума сойти, — бормотал дедушка, скрипя воротами, — деньги под ногами гниют, а подобрать некому.

Ремзик чувствовал голыми ступнями ног горячий живот лошади и немного боялся, что она его укусит. Несколько раз она мотала головой, чтобы схватить его за ногу, но он успевал отдернуть ее.

— Да не бойся же ты, — крикнул дедушка, как бы вкладывая в свой крик и раздражение по поводу гниющих денег, — крепче поводья держи!

— Я не боюсь, — сказал Ремзик и крепче сжал поводья.

Услышав скрип ворот, Барс поднял голову и, увидев, что Ремзик выезжает со двора, бросился вслед. Собака выскочила на улицу первой, следом Ремзик на лошади, а сзади дедушка, захлопнув ворота, замкнул шествие.

Теперь они двигались по проселочной дороге. Лошадь все время косилась на Барса, который, чувствуя неприязнь лошади, держался на безопасном расстоянии. Лошадь все время косилась на Барса и словно забыла о Ремзике. Барс время от времени поглядывал на Ремзика, словно хотел спросить: «Что ей от меня надо? Иду себе в сторону, а она все недовольна».

Ремзик уже привык к ней и чувствовал себя легко. Он ощущал голыми ступнями ее странно горячий живот, как будто у нее была температура.

Надо было проехать еще метров сто по проселочной дороге, потом проехать небольшую поляну и въехать в лесок, где протекал ручей, образовавший в этом месте довольно глубокую заводь.

Ремзик знал это место. Он не раз там ловил рыбу и купался. У самого выхода проселочной дороги на поляну навстречу им показался бригадир соседней бригады. Он подозрительно покосился, как показалось Ремзику, на него, на самом деле он оглядывал лошадь.

Дело в том, что бригадир этот поймал сегодня утром на колхозном кукурузном поле чью-то лошадь и теперь искал хозяина. Он знал, что Колчерукий совсем недавно приобрел себе новую лошадь, и сильно подозревал, что поймал именно ее.

— Это твоя лошадь? — кивнул он на нее.

— А то чья? — спросил Колчерукий.

— Да сегодня на потраве поймал одну лошадь, волк ее задери, — сплюнул бригадир, — не могу найти хозяина.

— А какая она с виду? — спросил Колчерукий.

Они стояли в тени ореха, а Ремзик уже выехал на поляну. Он остановил лошадь, дожидаясь дедушки. Лошадь, клацая железом, стала яростно щипать траву.

— Гнедая, волк ее задери, — снова сплюнул бригадир.

— У наших нет гнедой, — сказал Колчерукий, — никак армянская.

Ремзик оглядел поляну. На ней паслись коровы и свиньи, державшиеся поблизости от трех яблонь, росших посредине

поляны, с которых время от времени слетали перезревшие плоды.

Бригадир и Колчерукий закурили, стоя у подножия ореха, и стали прикидывать, какому армянину могла принадлежать эта лошадь, пойманная на потраве.

— Ты езжай, она сама доведет, — сказал Колчерукий Ремзику. Он не мог спокойно говорить о лошадях, даже если они пойманы на потраве.

— Чоу! — крикнул Ремзик на лошадь, стараясь придать голосу мужественную грубость. Но лошадь никак не отозвалась на его голос и продолжала яростно щипать траву. Ремзику стало стыдно, что он не может никому ничего приказать. Он ударил ее пяткой по животу и изо всех сил потянул поводья. С трудом заставив ее приподнять голову, он еще раз сильно ударил ее пяткой, и она крупной рысью пошла через поляну.

Лошадь шла крупной рысью, и собака трусила поблизости, слегка поджав хвост и как бы стараясь придать своему облику неприятельную скромность и тем самым хотя бы заставить лошадь забыть о своем существовании. Но лошадь ни на минуту не забывала о собаке и время от времени гневно косилась на нее.

Болтаться на спине лошади, идущей рысью, было неудобно и даже немного больно, но все-таки Ремзик был доволен, что подчинил ее своей воле.

Тропа вошла в прохладный и сырой ольшаник. Черный дрозд вылетел из кустов ежевики и, треща, пролетел сквозь заросли дикого ореха. Лошадь перешла на бег.

Они вышли к ручью, на глинистом берегу которого было множество следов животных, приходящих сюда на водопой.

Огромная разлапая коряга, лежавшая поперек течения ручья, образовывала в этом месте довольно глубокую запруду. На той стороне ее шесть буйволов лежали в воде, высунув из нее свои рогатые, жующие жвачку головы. Увидев всадника, подъехавшего к ручью, буйволы перестали жевать жвачку, но, убедившись, что им ничего не грозит, снова задвигали могучими ленивыми челюстями.

Ремзик слегка разгорячился от верховой езды. Он попытался въехать в ручей с разгону, но лошадь, как он ни стучал ее своими пятками, не шла. Тогда он повернул ее, въехал на небольшой откос, дотянулся до зарослей ольхового молодняка, выломал ветку, сдернул с нее листья и, спустившись с откоса, снова подошел к запруде.

Он только взмахнул своим хлыстом, и лошадь, почувствовав, что он и в самом деле может ее ударить, вошла в воду. Он попытался было закатать брюки, но не успел и решил, что потом высушит их на берегу. Лошадь вошла в воду по шею и, установившись, стала медленно и долго пить воду. Она пила воду так долго, что запруда успела успокоиться, и мальчик смотрел в прозрачную воду ручья, видел волнистую песчаную поверхность дна в середине ручья с дрожащими бликами солнца, стаи мальков, мелькающие в воде, темную глубину воды слева под откосом, где дно едва-едва просматривалось и где на глазах его медленно и осторожно проплыла большая крапчатая форель. Она была величиной с кукурузный початок.

Буйволы возле того берега, когда всадник вошел в воду, выжидательно перестали жевать жвачку, но, заметив, что всадник не собирается переходить на тот берег, снова заработали челюстями.

Голову и плечи пекло солнце, а от мокрых по колено ног подымалась прохлада. Он почувствовал какую-то легкость, какое-то прикосновение, какого не чувствовал со вчерашнего дня. Он почувствовал, что он что-то может.

Он подумал: «Я буду жить здесь, покамест мама здесь работает, а когда окончится война, дядя обо всем узнает, и тогда взрослые сами решат, как им быть... Но все это нечестно, — подумал он, — предательство будет продолжаться, и я, зная о нем и ничего не делая, буду тоже предателем...»

Ему опять стало как-то не по себе. Голову и плечи пекло солнце, и от мокрых ног шекочущим ознобом подымалась прохлада, и это было теперь неприятно.

Он оглянулся на Барса, одиноко сидевшего на берегу. Ему стало жалко собаку, словно он ее тоже немного предал из-за лошади.

— Барсик, ко мне, — сказал Ремзик. Собака завиляла хвостом, обрадованная вниманием мальчика, и радостно полезла в воду. Она немного попила воды, словно желая убедиться в свойствах среды, в которой ей придется плыть, и, убедившись, что эти свойства вполне подходящие, поплыла. Она плыла, приподняв голову и смешно выставив из воды кончик хвоста. Сейчас ей лошадь не была страшна, потому что та бы-

ла наполовину погружена в воду, и собака понимала, что лошадь ее не сможет ударить ногой.

Она подплыла к Ремзику, и Ремзик, нагнувшись, несколько раз погладил ее по голове. Лошадь приподняла голову и покосилась на собаку. Собаке это не понравилось, и она посмотрела на Ремзика, словно говоря: «Если у тебя нет ко мне никакого дела, я лучше все-таки буду подальше от этой недружелюбной лошади».

Она поплыла назад, сначала прямо, а потом какими-то зигзагами, и мальчик удивился, но потом понял, что это она погналась за каким-то скользящим по воде насекомым.

Лошадь приподняла голову, по губам ее стекала вода. Ремзик оглянулся на то место, где проплывала форель, но сейчас в темной глубине ничего не было видно. Откос обрывистым берегом высотой метра в два уходил в глубокую заводь. В прошлое лето он с другими деревенскими ребятами прыгал отсюда в воду, а иногда и рыбу ловил. Он решил попробовать прыгнуть с обрыва на лошади.

Он вышел на берег, поднялся на откос, отъехал метров на десять и, ударив лошадь своей веткой, погнал ее к обрыву. Лошадь рысью побежала к обрыву, но у самого края притормозила и остановилась.

Ремзик посмотрел вниз, в глубокую заводь, с высоты лошади. Ему стало страшновато. Когда он смотрел на обрыв из воды, он не казался ему страшным. Сейчас с высоты глубокая заводь была прозрачной, и он снова увидел большую крапчатую форель, которая осторожно проплывала по само-

му дну. Наверное, это была та же самая форель. Он подумал: чем крупнее рыба, тем она осторожней... Интересно, именно те рыбы становятся большими, которые осторожны, или рыба, став большой и понимая, что ее хорошо видно, делается осторожной?

Форель доплыла до тени головы лошади, падавшей на воду, и, каким-то образом почувствовав ее там, на дне, постояла немного и осторожно повернула и всплыла под самый берег в самую глубину заводи.

Он так и не понял, рыба становится большой оттого, что она осторожна, или сделавшись большой, становится осторожной. Он подумал: «Почему, интересно, я об этом подумал?.. Потому что я боюсь прыгать и нарочно отвлекаюсь», — ответил он себе.

И вдруг вспышка режущего стыда соединила невыносимой болью три точки его жизни: «Я струсил в ту ночь, когда отец подошел прощаться, я предал дядю, ничего не сделал для него, я сдрейфил прыгать и отвлекаюсь на какую-то чепуху с большой рыбой!».

И, больше не давая себе ни о чем думать, он хлестнул лошадь и, отъехав метров на двадцать, повернул ее и, снова хлестнув, галопом помчался к обрыву. У самого края лошадь еще раз притормозила, и он опять хлестнул ее своим ольховым прутом, и она, почувствовав власть всадника, сделала тяжелый прыжок в воду.

Холод воды с размаху оцепенил его тело, и когда он выдернул из нее голову, он увидел вокруг себя еще оседающие

после падения брызги, и справа от него на мгновение засветился мягкий, нежный кусок радуги.

Еще через мгновение голова лошади, вымахнувшая из воды, хлестнув его по левой щеке мокрой гривой, отдернулась назад.

Нащупав ногами дно, лошадь вышла на берег и, фыркнув, отряхнулась. Он тронул рукой горящую щеку и оглянулся на запруду. Волны от их прыжка все еще расходились по воде, и буйволы, перестав жевать, приподымали головы, пропуская волны. Казалось, они мерно покачиваются в воде.

Бедный Барс, которому этот шумный прыжок совсем не понравился, отошел подальше вверх по течению и уселся на безопасном расстоянии.

Ремзик был счастлив. Весь мокрый, но не чувствуя холода, наоборот, чувствуя только бодрость и необыкновенную легкость во всем теле, он понял, что теперь ему ничего не страшно и все будет как надо. И отец вернется и поймет, что он был слишком маленьким тогда и потому испугался, и дядя вернется с фронта, когда окончится война, и от предательницы, как говорила мама, духу не будет здесь, и никто не подумает, что он в чем-то виноват.

Ему захотелось снова прыгнуть в воду, но свой ольховый прут он выпустил из рук, когда погружался в воду. Он снова погнал лошадь на откос и, добравшись до зарослей ольшаника, выломал новую ветку, сдернул с нее листья и, отогнав лошадь, ударил ее и пустил в галоп.

У края обрыва лошадь снова затормозила, но он, едва удерживаясь и сползая на шею, снова огрел ее веткой, и она снова тяжело плюхнулась в воду.

Он снова с головой погрузился в воду, почувствовал, как перехватило дыхание, и на мгновение раньше, чем лошадь, успел высунуть голову. Лошадь тоже выметнула голову из воды, и грива ее на этот раз хлестнула его в правую щеку. По струе воздуха, ударившей его по лицу, он почувствовал, с какой силой голова лошади выметнулась из воды. На этот раз в брызгах налево от себя он увидел нежную полоску радуги, растворившуюся в воздухе. Он никогда не думал, что можно так близко увидеть радугу. Он смутно подумал, что надо опасаться головы лошади, но тут же отогнал эту мысль, словно она его возвращала в то тоскливое состояние, в котором он был со вчерашнего вечера. «Нет, нет, — подумал он, — этого никогда не будет теперь. Второй прыжок был еще лучше, чем первый. На этот раз, — горделиво подумал он, — я даже свой хлыст не потерял».

Он снова ударил лошадь, отряхивавшуюся на берегу, и отогнал ее для третьего прыжка.

Волны, вызванные вторым падением, снова заставили буйволов перестать жевать жвачку, и они, покачивая рогами головами, пропускали волны, чтобы не замочить голову. Хотя прыжки всадника в воду им не нравились, они их беспокоили не настолько, чтобы покинуть уютную прохладу ручья.

Когда Ремзик отогнал лошадь и повернул ее для третьего заезда, он увидел, что поверхность запруды почти совсем успокоилась, и буйволы снова заработали чугунными челюстями, лениво жуя свою жвачку.

В это время Колчерукий с бригадиром уже сидели в тени ореха, и Колчерукий, зная всех армянских лошадников, рассказывал бригадиру, где кто живет. Если бы бригадир встретился с Колчерукиком минутой позже, когда Ремзик и дед проходили поляну, где головы палило полуденное солнце, он не стал бы с ним так долго заговаривать.

Из леса выскочил Барс и, пробежав поляну, не останавливаясь возле сидящих в тени, побежал прямо к дому Колчерукого. Колчерукий даже не заметил его. Добежав до ворот, он стал отчаянно скрестись, чтобы открыть их, а потом откинул голову и завыл.

— Ша! — сказала тетя Софичка, услышав вой собаки. Она вышла на кухонную веранду, чтобы точнее определить, чья это собака. Судя по близости воя, это могла быть собака соседей, живущих напротив, у которых сын был на фронте.

— Кажется, это собака Датико, — сказала она грустно, — несчастная его мать. Да ведь кто его знает, может, ранило, а может, собаки вообще ничего не понимают.

Она снова вошла в кухню, где у очага сидела сестра Ремзика и жарила на вертеле курицу, с которой то и дело капал жир, вспыхивая голубоватыми огоньками на раскаленных углях. Лицо ее разругалось от сильного жара.

— Уже готова, — сказала она, стараясь отвернуться от огня.

— Снимай, — сказала тетушка Софичка, — мамалыга тоже уже высыхает... Этот мой балаболка, наверное, с кем-то встретился и теперь будет до самого вечера бар-бар-бар-бар...

В это время Барс снова завыл, и стало ясно, что какая-то собака воет у самых ворот. Рыжуха из-под дома виновато скульнула в ответ.

— Ша! — сказала старуха и снова вышла из кухни. На этот раз она дошла до самых ворот и увидела Барса. Сердце сжалось от боли, но она заставила себя подумать, что все-таки, наверное, выла какая-нибудь другая собака. Но Барс посмотрел ей прямо в глаза и снова завыл со страшной силой.

— Неужто с Баграмом что случилось... — сказала она вслух и открыла собаке ворота. Потом она вдруг подумала, что что-то могло случиться с ребятами, ушедшими на Кодор ловить рыбу.

Собака вбежала во двор и беспокойно оглянулась на старуху, словно хотела ей что-то сказать. Потом она добежала до середины двора и внезапно затормозила, увидев «мухус-сочи» Ремзика. Она взяла в зубы резиновый башмак мальчика, потрепала его в зубах и снова завыла. В это время сестра Ремзика уже стояла на кухонной веранде. У тетушки Софички и сестры одновременно вырвался из груди вопль страшной догадки:

— Ремзик!

Собака, больше не глядя ни на кого, выбежала со двора, а тетушка Софичка так и замерла у открытых ворот.

С необыкновенной быстротой, клубком отчаянья собака промчалась мимо все еще сидевших в тени ореха дедушки и бригадира.

— Эта собака, — кивнул бригадир на Барса, — что-то страшное видела, только что она промчалась туда, а теперь бежит обратно.

— Так это ж нашего русачка собака, — сказал Колчерукий и встал.

— Уж не она ли только что выла? — сказал бригадир.

— А чего ей выть, волк ее задери, — сказал Колчерукий и заторопился через поляну. Он был уже на краю поляны, когда увидел свою лошадь, которая, волоча поводья, мокрая, выходила из леса, яростно щипая траву.

* * *

Ремзик третий раз разогнался, и лошадь опять притормозила у обрыва, и он снова хлестнул ее, и она тяжело бултыхнулась в воду. У него снова перехватило дыхание, и он изо всех сил вскинул голову и схватил ртом живительный глоток воздуха. Брызги, вызванные взрывом падения, еще оседали в воду, и он увидел на этот раз впереди себя нежно тающий на глазах полукруг радуги и прямо изпод него выметнувшуюся из воды и летящую на него голову лошади.

Он успел откинуть собственную голову, но голова лошади ударила его в грудь, и, уже падая в воду, в последний миг, он успел удивиться неимоверной, незаслуженной жестокости случившегося.

Лошадь вышла из воды и пошла через ольшаник, по дороге яростно щипая клочья травы, попадавшей по сторонам от лесной тропы.

Барс, которому сразу не понравились эти прыжки, слишком шумные и слишком резкие, сначала обрадовался, что лошадь ушла, а мальчик нырнул... Собака привыкла к его ныряниям в море и терпеливо ждала. Потом она забеспокоилась и подошла к воде, быстро поворачивая голову то вверх, то вниз по течению. Она знала, что, когда они купались в море, он иногда занывривал за какую-нибудь скалу, а она беспокоилась и искала его.

Вдруг он вынырнул, но не как обычно, шумно фыркая, а как-то тихо, тихо поплыл по течению и, зацепившись за корягу запруды, остановился.

Собака слегка заскулила и поплыла к нему. Она подплыла к нему и стала лизать его лицо, чувствуя, что это его лицо, его тело, его рубашка, вздувшаяся от застрявшего в ней воздуха, и в то же время, что его нет, из него ушло то, что она так любила и что было им, Ремзиком.

Она подумала, что другие люди, тоже любившие его, смогут помочь, если то, что было им в его теле, еще не ушло слишком далеко, и она быстро поплыла назад и, выплыв из ручья, не отряхиваясь, изо всех сил побежала к дому.

У запруды снова стало тихо. Но буйволы почему-то вылезли из воды и, отражая солнце черными, лоснящимися тушами, медленно пошли от ручья. Они почувствовали что-то.

богатый портной и хиромант

Богатый Портной, как и положено Богатому Портному, занимал три комнаты в верхнем этаже нашего дома. Раньше, говорят, он жил во дворе в маленькой хибарке, вроде той или даже в той, в которой сейчас жил дядя Алихан, продавец восточных сладостей.

Но потом, говорят, дела его пошли в гору, и он, соответственно, как думал я, перебрался на второй этаж.

Сначала в одну комнату, и она нависала над двором как деревянная скала, и тут уже можно сказать, он вылупил и предстал перед всеми в своем новом обличье, а именно в обличье Богатого Портного.

Вообще-то звали его Сурен, и Богатым Портным его сначала называли за глаза, но потом, видя, что он не обижается, все чаще и чаще стали называть его так и в глаза.

— Какой я богатый, — бывало, говорил он, ласково отмахиваясь от прозвища,

Будь в нашем доме множество этажей, думал иногда я, он так и перебирался бы с одного на другой, так и поднимался бы все выше и выше. Но дом имел всего два этажа, и переби-

раться Богатому Портному больше было некуда, хотя стремление оставалось. Поэтому он сначала расширил, насколько мог, эту взлетную площадку, а потом приобрел себе земельный участок и стал строить собственный дом.

Иногда Богатый Портной со всей семьей отправлялся отдыхать на участок. Сборы были шумными и долгими. Несли с собой кастрюли, тарелки, провизию, примус. Маленький, победный, кучерявоголовый, сам он шел всегда впереди со свернутым в трубу ковром на плече.

Вечером возвращались. Богатый Портной усаживался на балконе и начинал хвалить свой участок.

— Один воздух — миллион стоит! — громко сообщал он.

— А что там за воздух? — удивлялся кто-нибудь из соседей, потому что участок этот был расположен в полукилометре от дома, и где там взяться какому-то особенному воздуху, было непонятно.

— Речка журчит, и все время кушать хочется! — сам удивляясь, говорил он.

— Неужели все время?

— Да! — восторженно подтверждал он с балкона. — Только что покушал, опять кушать хочется — такой воздух! По сравнению с ним Кисловодск — тьфу!

При этом Богатый Портной и в самом деле плевал с балкона, на минуту помешкав, чтобы не попасть в прохожего.

На участке у него стояла сосна. Он ее тоже хвалил как особенно красивую. Он и дятла хвалил, который иногда прилетал на эту сосну.

— Опять мой дятел прилетал, — говорил он, — хвост прижмет к дереву и долбит, долбит, так что опилки летят! Тоже кусок хлеба ищет — интересная птица!

Строительство нового дома на участке длилось множество лет и доставляло ему массу хлопот, которые он выдавал за особую форму наслаждения. Так, например, фруктовый сад с мандаринами, грушами, хурмой, заложенный на участке, стал плодоносить гораздо раньше, чем он выстроил дом, потому что рост растений никак не связан с добычей строительных материалов, тем более левых, не говоря уж о найме удальцов-шабашников.

Когда стали плодоносить груши дюшес, ему пришлось купить охотничье ружье и время от времени ходить по ночам сторожить свой участок, потому что груши поворывали.

Так как ходить туда часто он не мог, ему приходилось, видимо, для острастки тамошних соседей иногда инсценировать удачную оборону фруктовых деревьев от хулиганских набегов. По слухам, эти стычки сопровождались выстрелами, криками и лаем дворовой Белочки, которую он приспособил таскать к себе на участок. Я пытался прятать от него нашу Белочку, но сделать это было трудно, потому что Богатый Портной был настойчив и всемогущ.

— Белочка, купаться, — бывало, говорил я ей тихо, видя, что Богатый Портной собирается на вахту. Купаться Белочка не любила и тут же забивалась в подвал или убегала на улицу. Все равно он обычно ее находил и вылавливал.

Через некоторое время она сама до того возненавидела эти усадебные развлечения, что если кто-нибудь при ней просто так начинал говорить про участок, то она, услышав это слово, забивалась в подвал, и вытащить ее оттуда стоило большого труда.

Иногда, уходя сторожить на свой участок, он в тот же вечер возвращался домой. Посторожит часа два-три, покажется соседям, может быть, пальнет в воздух, а потом тайно уходит домой.

Однажды я видел, как ночью, возвращаясь домой, он перелезает через забор соседнего школьного двора. Тогда мне показалось, что это он делает для сокращения дороги. Но потом я догадался, что этот маневр был направлен и против ребят с улицы, чтобы и они думали, что он остался сторожить свои фрукты.

Днем в послеобеденное время он иногда приезжал с участка на мотоцикле своего кунака, известного в городе автоинспектора. Обычно он сидел в коляске, по пояс погруженный в груши и хурму, как маленький кучерявый бог плодородия.

Подъехав к дому, он кричал кому-нибудь из своих, и ему выносили корзину, после чего он часть плодов вытаскивал из коляски, а часть оставлял.

Автоинспектор в таких случаях сидел прямо за рулем, не оборачиваясь и даже стараясь не шевелиться. Чувствовалось, что автоинспектор не оборачивается и даже не шевелится, чтобы показать хозяину, что он никакого давле-

ния на него не оказывает, мол, как хочешь, так и дели. А с другой стороны, он не оборачивается, чтобы для окружающих получилось, что он и не знает, чего это там Богатый Портной визится в коляске, чтобы потом на всякий случай можно было сказать:

— Ты смотри, оказывается, он там груши оставил!

Я знал, что Богатый Портной его нарочно возил на свой участок, чтобы показать тамошним жителям свою близость к органам наведения порядка.

Автоинспектор появлялся в доме Богатого Портного, как правило, после большого дворового скандала, в котором принимала участие семья Богатого Портного. И хотя сам автоинспектор в эти скандалы никогда не вмешивался (чего не было, того не было), все понимали, что это демонстрация силы.

Еще до того, как Богатый Портной стал ходить на участок с охотничьим ружьем и Белкой, он долго искал человека, чтобы нанять его сторожить свой сад. Кстати, все эти его ночные бдения с выдуманными или преувеличенными набегами и стрельбой закончились тем, что его самого прострелил ишиас, явно невыдуманный, хотя, может быть, и преувеличенный. Во всяком случае, в описываемое лето, как и во все последующие годы, он ходил мужественно прихрамывая, так что со стороны для тех, кто ничего не знал про ишиас, могло показаться, что он бывший участник гражданской войны.

Тогда на участке его стояла времянка, сколоченная на скорую руку, а поздней осенью ночи у нас бывают довольно про-

мозглями. Так что на следующий год, когда стали дозревать фрукты, он купил у одного загулявшего туриста спальный мешок и уже не выходил в осеннюю сырость во время дежурства на участке, а только время от времени, просыпаясь в спальном мешке, высовывался из него, палил куда попало и снова засыпал.

Ребята с нашей улицы, те, что были постарше лет на пять, на шесть, договорились было унести его ночью в этом мешке и забросить на какой-нибудь участок, где собака позлее. Но потом все же не осмелились осуществить свой замысел, потому что было вполне вероятно, что он по дороге проснется и уж по крайней мере два выстрела из своей двустволки сделает и в закрытом мешке.

Все знали горячий нрав Богатого Портного. Однажды разозлившись, он сбросил горшок с геранью на одного пацана, который надерзил ему, уверенный, что, покамест тот слезет со своего балкона, он успеет убежать куда-нибудь. К счастью, горшок с геранью пролетел мимо, но пацан этот здорово испугался.

Этими горшками всех калибров, от маленьких, величиной с кружку, до больших, величиной с бочонок, в которых росли столетники, цвела герань, пламенели канны, был уставлен весь балкон.

Балкон как бы представлял из себя цветущий макет его будущей усадьбы. Здесь он обычно отдыхал, а чаще гладил, громко прыская водой по материалу.

Бывало, наберет в рот воды, а потом почему-то передумает поливать сукно, а то и не передумает поливать, а что-то

срочно надо ответить кому-то на улице, так он, чтобы не пропала вода, фыркнет ее на цветок и потом уже говорит. А то, бывало, и поливать сукно не передумал и вроде некому срочно отвечать, но так случайно упадет взгляд на цветок, и вдруг Богатый Портной весь подобрался, насторожился, словно село на растение какое-то зловредное насекомое или он почувствовал, что, оказывается, оно умирает от жажды, и вот он быстро наклоняется — и фырк! А потом еще и еще, и, уже успокоившись, снова берется за утюг.

Надо сказать, что по мере расцветания участка цветник на балконе приходил постепенно в упадок. Возможно даже, что горшок с геранью, выброшенный на того пацана, был первым еще неосознанным признаком его охлаждения к цветнику. Можно даже сказать, что в состоянии этой горячности проявилось начало его подсознательного охлаждения, хотя тогда еще его участок был далек от расцвета. После этого он еще дважды или трижды выбрасывал горшки с цветами на своих противников, но тогда уже упадок цветника на балконе был более или менее очевиден. Так воплощение всякого замысла приводит к грустному запустению мечты.

Я замечал, что и теперь он по привычке прыскает иногда на цветник, но где та сосредоточенность, настороженность, вкрадчивость любовной игры? Нет, теперь, заметив что-нибудь неладное в состоянии цветника, он небрежно, мимоходом брызнет изо рта, словно бросит кость опостылевшей собаке.

Семья Богатого Портного состояла из жены, тещи, время от времени навсегда уехавшей из дому к родственникам, но потом неизменно возвращавшейся, и двоих детей — Оника и Розы.

Оник был мальчик наших лет, его Богатый Портной особенно любил и баловал. Бывало, поглаживает на балконе брюки или пиджак заказчика, прыскает изо рта и, поглядывая на улицу, где Оник катается на своем велосипеде, напевает песенку собственного сочинения:

Мой Оник симпатичка... (Брызг!)

Мой Оник моя птичка... (Брызг! Брызг! Брызг!)

Мой Оник, тру-ля-ля...

Так он с небольшими перерывами мог напевать часами, пока Оник не выходил из себя.

— Ну, хватит, папа, хватит! — кричал Оник, чувствуя, что ребята посмеиваются над ним за эти нежности.

— А что, разве не симпатичка? — спрашивал он и, чмокнув губами, посылал жирный воздушный поцелуй. Оник нажимал на педали.

Однажды Богатый Портной пришел в нашу школу, открыл класс во время урока, просунул туда голову, нашел глазами своего любимчика и, протягивая ему кулек, сказал:

— Оник, горячие пончики...

Класс, конечно, повалился от хохота. Даже учительница не смогла удержаться от смеха. Несколько лет после

этого Оника в школе называли Горячий Пончик или просто Пончик.

Роза — девушка лет шестнадцати, в то время очень полная, просто квадратная, вся в маму, хотя отчасти и в папу. Сам Богатый Портной был довольно пухленький, но не толстый, я думаю, его подвижность и нервность не давали ему располнеть.

— Моя Роза — алтынчик (золотце)! — говаривал он с гордостью.

Роза была, как и все очень полные девушки, застенчивой, потому что чувствовала некоторую вину за свою полноту. Позже такие девушки, если им удастся выйти замуж за человека, который как раз эту полноту больше всего в них ценит, еще больше полнеют, одновременно вымещая на муже за все излишки застенчивости своей юности.

Конечно, так бывает не всегда. Если муж успевает вовремя спохватиться, то он, поддерживая в своей толстушке юношеское чувство вины, может сохранить в ее характере эту приятную застенчивость и даже развить ее до чувства постоянной благодарности.

Впрочем, до всего этого тогда было далеко, и Роза целыми днями играла на фортепьяно. Стрекотанье швейной машинки почти полностью заглушалось водопадами звуков, льющихся из этой музыкальной прорвы.

— Играй, алтынчик, играй! — слышался ласковый голос отца, если она вдруг замолкала. И Роза снова играла. Поговаривали, что он ее нарочно заставляет играть, чтобы заглу-

шить свою швейную машинку. Нашего двора и улицы он, конечно, не боялся, но, видимо, все же считал приличней, если из квартиры целыми днями доносятся до улицы звуки фортепьяно, а не стрекотанье швейной машинки.

* * *

Однажды, воспользовавшись фальшивой рекомендацией, в дом Богатого Портного проник фининспектор. Он заказал себе костюм, дал Богатому Портному снять с себя мерку, после чего уселся за стол и стал писать акт.

Богатый Портной стал ему доказывать, что все это шутка, что он его узнал, как только тот появился на углу нашей улицы. Но фининспектор ему не поверил, и тогда Богатый Портной отказался подписать акт.

— Не имеет значения, — сказал фининспектор и, положив акт в карман, стал уходить.

— Хорошо, пока не показывай, — сказал Богатый Портной и, следя с балкона за уходящим фининспектором, добавил: — Вот человек, шуток не понимает.

Минут через десять он сам ушел из дому и в тот же день приехал домой на мотоцикле автоинспектора. Потом был долгий обед, и Богатый Портной провожал своего кунака до мотоцикла. Жена, Роза и Оник стояли на балконе.

— Помни, — сказал Богатый Портной, усадив его на мотоцикл и показывая рукой на балкон, — моя семья смотрит на тебя!

Автоинспектор уже включил мотор и вместе с мотоциклом как бы дрожал от нетерпенья.

— Помни! — повторил Богатый Портной еще более важно и поднял палец к небу. — Наверху — Бог, внизу — ты.

— Знаю, — снова сказал автоинспектор и поехал. Богатый Портной еще немного постоял, глядя ему вслед. Жена и Роза махали рукой. Богатый Портной вошел в дом, жена и Роза перестали махать и тихо покинули балкон.

Три дня после этого Богатый Портной не показывался на балконе, а Онику не давали кататься на велосипеде. Роза играла какую-то грустную музыку, или, может быть, нам казалось, что музыка грустная, потому что деятельный дом Богатого Портного притих.

На третий день вечером Богатый Портной распахнул двери балкона и сказал на всю улицу:

— Рука руку моет, а свинья остается свиньей.

На следующий день уже весело стрекотала машинка, а Оник выволлок на улицу велосипед.

Оказывается, автоинспектор узнал, что жена фининспектора, так удачно накрывшего Богатого Портного, работает в ларьке. Это и решило дело. Он уговорил своего друга, инспектора горсовета, поймать ее с поличным. Тот согласился.

В наших ларьках в те времена, как, впрочем, и в последующие, продавали водку в разлив. Это было выгодно и тем, кто ее покупал, и тем, кто ее продавал, и тем, кто проверял продающих, хотя, конечно, и не полагалось по закону.

И вот инспектор горсовета подошел к ларьку с одним человеком. Вернее, сам он стал сбоку у ларька, так, чтобы его не видно было, а того, своего дружка, подпустил к стойке.

Надо сказать, что продавщица была предупреждена, что из горсовета может кое-кто нагрянуть в этот день. У них там тоже свои люди есть. Поэтому она была очень осматрительна в этот день и, прежде чем наливать водку в стакан, основательно высовывалась из ларька и смотрела направо и налево. После этого она наливала водку в стакан, закрашивала ее сиропом и подавала клиенту. Так что со стороны получалось, что человек пьет воду с сиропом.

И вот, значит, этот человек подходит и просит сто пятьдесят граммов.

Продавщица что-то заподозрила и сказала, что она водку в разлив вообще не продает.

— Знаю, — сказал этот человек, — но у меня так живот болит, прямо сил нет.

Дрогнуло сердце продавщицы, да и до закрытия ларька оставалось всего полчаса, и она уступила. Высунулась из окошка, посмотрела по сторонам и налила сто пятьдесят граммов. Конечно, знай она, кто там притаился сбоку, может, прежде чем наливать, выскочила бы из ларька да обежала бы его два три раза, но тут сплеховала.

И вот она налила водку в стакан и, как водится, только хотела закрасить свой грех сиропом, как он потянул у нее стакан. Тут продавщица опять что-то заподозрила и хотела выхватить у него стакан с тем, чтобы вылить содержимое в мой-

ку и в дальнейшем все отрицать. Но парень этот вцепился в стакан и отошел от прилавка, чтобы не расплескать вещественное доказательство.

Тут вышел на свет Божий добрый молодец инспектор и, со смехом войдя в ларек, стал составлять акт, который продавщица, конечно, не подписала, ссылаясь на свое милосердие.

— Не имеет значения, — сказал инспектор и унес акт.

Дальше все было просто. Автоинспектор свел интересы обеих сторон к одному банкетному столу в приморском ресторане. Стороны, сидя друг против друга, при свидетелях обменялись актами и, изорвав их в клочья, выбросили в море.

После этого, говорят, порядочно было выпито, потому что товарищ инспектора горсовета оказался очень веселым парнем. Он никому не давал передышки и то и дело хватался за живот, крича:

— Ой, ой, живот болит, налейте!

Тут, говорят, все падали от смеха, кроме фининспектора, которому все-таки эта шутка продолжала не нравиться.

Надо сказать, что после этой истории Богатый Портной с новыми клиентами стал гораздо осторожнее. Прежде чем впустить неизвестного в дом, он довольно основательно изучал его, разговаривая с балкона. Помню, одного хриплого толстяка он прямо-таки измучил. Тот стоял, придерживая одной рукой перевязанный шпагатом газетный сверток, в другой руке висела сетка с мушмулой. Богатый

Портной, склонившись над перилами балкона, внимательно изучал его.

— Я от Гагика Марояна, — застенчиво косясь на сверток, сказал толстяк, — один костюмчик хочу.

— Нет, что ты, дорогой, — ответил он ему, расплывшись, — давно бросил. Пожалуйста, в мастерскую.

— Один летний, легкий костюмчик, — прохрипел толстяк.

— Что ты, дорогой, — повторяет он, стараясь определить, хитрит толстяк или в самом деле честный клиент. Он рыскает по нему выпуклыми глазами, не зная, за что зацепиться, и неожиданно спрашивает:

— Мушмула с участка?

— С базара, — отвечает толстяк, обливаясь потом. — Гагик сказал, пойдй к Сурену...

— У меня тоже участок, — говорит Богатый Портной, — восемь японских корней мушмулы посадил, но пока не родит...

— Один аккуратный костюмчик...

— Что ты, дорогой! — восклицает Богатый Портной, как бы удивляясь тому, что люди еще помнят дела такой давности. — А какой Гагик тебя послал?

— Гагик Мароян...

— Ты смотри! — вдруг удивляется Богатый Портной, что этот человек знает именно Гагика Марояна, хотя тот с этого и начал. — Откуда ты его знаешь?

— С братом на фермзаводе работаю, — хрипит толстяк.

— Ты смотри, правильно! — еще больше удивляется он. — Легкие тоже слабые имеет?

— Да, имеет, — кивает толстяк, обливаясь потом, — как брата, прошу...

— Нет, что ты! — разводит руками Богатый Портной и вдруг добавляет: — А парторгом кто у вас?

— Миша Габуня, — хрипит толстяк, — майский костюмчик...

— Ты смотри, тоже правильно! — еще больше удивляется Богатый Портной. — Молодец Миша! Растет. Время такое...

— Один летний, легкий... — тянет хрипло толстяк.

— Нет, шить не шью! — наконец сдается Богатый Портной. — Просто так заходи, поговорим.

Толстяк заходит.

Вообще Богатый Портной не любил, когда на нашей улице появлялся какой-нибудь незнакомый человек. Бывало, смотрит на него сверху, потом вслед, поставив руку козырьком от солнца, потом пожимает плечами, в недоумении бормочет:

— Третий раз сегодня проходит... Другой улицы нет, что ли...

* * *

Но я чуть не забыл рассказать, как Богатый Портной нанимал сторожа на участок еще до того, как сам взялся за дело. То ли потому, что он работу предлагал сезонную, всего на два-

три месяца, то ли еще почему, но так он и не смог нанять себе настоящего сторожа. Он даже объявление вывесил во многих местах.

Я сам видел одно такое объявление на электрическом столбе прямо напротив выхода из стадиона. Словно он надеялся, что после футбольных состязаний нашему болельщику ничего не остается, как прочесть его призыв и пойти в ночные сторожа, тем более что наше местное «Динамо» все время проигрывало, хотя и подбрасывало всесоюзному футболу время от времени (а может, поэтому и проигрывало?) довольно значительных звезд. Достаточно сказать, что знаменитый нападающий московского «Спартака» Никита Симонян наш парень.

Объявление это гласило: «Ищу хорошего русского старика для сторожения фрукт. Если будет плотник или каменщик, еще лучше. Вторая Подгорная, дом 37, балкон на улице, кричи: «Сурен».

То ли хорошие русские старики были приставлены к другим фруктовым садам, то ли еще что, но однажды к дому Богатого Портного подъехал на своем ослике известный в городе бродячий хиромант, человек с огненным взором и огненной бородой. Обычно он ездил на своем ослике по дворам и гадал.

— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — кричал он зычным голосом, остановившись посреди двора, подманивая к себе женщин. Женщины подходили и, украдкой утерев ладонь о фартук или халат, словно надея-

лись этим улучшить показания судьбы, протягивали руку. Хиромант гадал, не слезая с ослика. За гадание брал деньгами, продуктами или детской одеждой для своего многочисленного потомства. Иногда он появлялся возле нашей школы, где, также не слезая с ослика, за небольшую плату решал математические задачи для старшеклассников. В городе его считали не то Ученым, не то полоумным, а точнее — полоумным, оттого что ученый.

Мой сумасшедший дядюшка, увидев его на ослике, приходил в радостное состояние и, показывая на него пальцем, говорил:

— Мулла едет, мулла!

Однажды он заехал к нам во двор. Там у него произошло небольшое столкновение с Богатым Портным, которое, по мнению некоторых людей, повлияло на их будущие отношения. Я это хорошо помню, потому что в это время, сидя на корточках посреди двора, мыл в лохани Белку.

Главное, что Богатый Портной в поисках сквозняка на этот раз спустился во двор и пил кофе по-турецки, который сюда ему принесла жена, хотя для обоих было бы проще, если бы он, выпив кофе, спустился вниз. Но он всегда так делал, если уж спускался во двор. Бывало, только спустится, а там считай до десяти, и глядишь, его жена появится с чашечкой кофе в одной руке, а то и со стульчиком в другой. Правда, стульчик иногда он выносил и сам, но кофе — никогда.

И как это она точно попевала за ним, было трудно понять. Я даже подозревал, что они все это разыгрывали зара-

нее, потому что Богатый Портной ко всем своим достоинствам еще и считал себя хозяином прекрасной семьи и свои редкие выходы во двор отчасти превращал в наглядные уроки семейной идиллии. Вот так он сидел ипил кофе, когда в калитку въехал на своем ослике огненнородый хиромант.

— Воздух — твое гаданье, — сказал Богатый Портной, дав ему проехать возле себя, — ни один человек не верит...

— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — воскликнул тот, не обращая внимания на Богатого Портного. Остановившись посреди двора, он бросал огненные взоры в окна и приоткрытые двери квартир.

Несмотря на заверение Богатого Портного, женщины окружили хироманта, а одна из них даже вынесла ослику арбузные корки. Я заметил по лицу Богатого Портного, что он уязвлен вниманием женщин к гаданию,

Первой протянула руку хироманту жена Алихана — Даша. Сам Алихан сидел у порожка своей хибарки и парил в теплой воде мозоли.

— Венерин бугор! — воскликнул хиромант, взглянув на Дашину ладонь. Женщины вздрогнули.

— Воздух! — несколько вяло откликнулся Богатый Портной.

Ослик хрустел арбузными корками, хиромант гадал Даше, иногда бросая взоры и на других женщин, после чего те, поживаясь, запахивались в свои халаты.

Алихан парил в тазике мозоли и, приподняв круглые брови над круглыми глазами, доброжелательно прислушивался. Видно, гадание ничего плохого не предвещало.

Алихан очень любил свою вечно растрепанную Дашу. Из-за ее бурного прошлого и неряшливого настоящего во дворе Дашу считали плохой женой. Алихан хотел считать, что у него жена такая же, как у других, но двор и в особенности Богатый Портной время от времени напоминали ему, что жена его не совсем такая, как у других, а пожалуй, похуже.

Поэтому он и сейчас с подчеркнутым спокойствием прислушивался к гаданию Даши и, поглядывая на Богатого Портного, как бы предлагал и ему проникнуться этим спокойствием. Но Богатый Портной этим спокойствием не проникался.

— Разве это дело, — сказал Богатый Портной, прислушиваясь к чуждому бормотанию хироманта, — в наше время только ремесло дает твердый кусок хлеба. Возьмем меня...

Он отхлебнул кофе и посмотрел на Алихана.

— Пусть гадают, — ответил Алихан доброжелательно, — каждый человек хочет иметь свое маленькое дело.

Богатый Портной еще раз отхлебнул кофе, поставил чашечку на землю возле себя и решительно поднял голову,

— Алихан, ты не мужчина, — махнул рукой Богатый Портной.

— Почему не мужчина? — встрепенулся Алихан.

— Я бы никогда своей жене не разрешил эти глупости, — кивнул Богатый Портной на хироманта и, приподняв чашечку, снова отхлебнул кофе.

— О Аллах, — сказал Алихан, уклоняясь от спора, — если это дает спокойствие, рахат, пусть гадают...

Алихан слегка прикрыл веки, прислушиваясь не то к гада-
нию, не то к действию теплой воды на ступни своих ног, сно-
шенных и разбитых поисками утерянного после нэпа ком-
мерческого счастья.

Видно, уклончивый ответ Алихана, а главное, внимание
женщин двора к тому, что говорит хиромант, продолжало раз-
дражать Богатого Портного. Он привык, чтобы слушали его,
а тут все облепили хироманта с его осликом, а на него никто
не обращал внимания.

Он критически прислушивался к тому, что говорит хиро-
мант, но все же никак не мог к нему подступить. Помогла
его собственная жена. Она подошла к нему за пустой чашеч-
кой, и он молча, кивком головы потребовал еще один кофе.

— Как скажешь, Суренчик, — ответила жена, хотя он ничего
не сказал. Взяв чашечку, она пошла к себе. Богатый Портной по-
смотрел ей вслед, потом перевел взгляд на гадающую простово-
лосую Дашу, потом на Алихана и удрученно покачал головой.
На это Алихан немедленно обратил внимание и выразил недо-
умение, приподняв круглые брови над круглыми глазами.

— И у тебя жена русская, и у меня то же самое, — задумчи-
во сказал Богатый Портной, как бы удивляясь безумной игре
природы.

— Ну и что? — промолвил Алихан, нарочно не замечая на-
мек на безумную игру природы.

— У меня жена все равно как армянка, — сказал Богатый
Портной не слишком громко, но с чувством, — все понимает,
только не говорит...

— У каждой женщины свой марафет, — ответил Алихан примирительно и снова прикрыл глаза. Видно, он сначала ожидал более неприятных разоблачений, а в том, что его жена не похожа на армянку, он не находил ничего обидного.

Когда хиромант, закончив гадание, стал выезжать со двора, Богатый Портной окликнул его. Хиромант остановил ослика и, приподняв голову, как бы нацелился на него кончиком огненной бороды.

— Теперь ты мне скажи, — спросил Богатый Портной громко, — ишак в городской черте разрешается или не разрешается?

— Тебе лучше знать, антихрист! — воскликнул хиромант и тронул ослика.

Я в это время уже сидел на камне и держал Белку на коленях, обернув ее чистой тряпкой, ждал, когда она высохнет.

Богатый Портной растерялся не столько от самого оскорбления, сколько от неожиданного и непонятого слова «антихрист».

— Хахам! — все-таки успел он крикнуть ему вслед. Хиромант не обернулся, так что было непонятно, услышал он или нет.

Хахам жил в самом конце нашей улицы и занимался тем, что резал по праздникам гусей шумным грузинским евреям, по сравнению с которыми, как говорят те, что их сравнивали, одесские евреи кажутся глухонемыми. Кроме широкой черной бороды, к тому же, как утверждали знатоки, крашеной,

но не потому, что она была рыжая, а потому что седая, он никакого сходства с хиромантом не имел.

— Хахам тоже имеет свою коммерцию, — сквозь сладостный стон напомнил Алихан. Сейчас, положив одну ногу в закатанной штанине на колено другой, он особой ложечкой расчесывал распаренную пятку. Занятие это всегда приводило его в тихое неистовство.

— Уф-уф-уф-уф, — постанывал Алихан, доходя до какого-то заветного местечка. Доходя до заветного местечка, — в каждой пятке у него было заветное местечко, — он замедлял движение ложки, наслаждаясь ближайшими окрестностями его, как бы мечтая до него дойти и в то же время пугаясь чрезмерной остроты наслаждения, которая его ожидает.

Богатый Портной некоторое время следил за Алиханом, слегка заражаясь его состоянием. В то же время на лице его было написано брезгливое сомнение в том, что такое никчемное занятие может доставлять удовольствие или приносить пользу.

— Не притворяйся, что так приятно, — сказал Богатый Портной, — все равно не верю...

— Уй-уй-уй! — застонал Алихан особенно пронзительно, поймав это заветное местечко и быстро двигая ложкой, как при взбалтывании гоголь-моголя.

— Холера тебе в пятку, — в тон ему ответила Даша, бросая на сковороду шипящие куски мяса. Она стояла над своим мангалом.

— Не люблю, когда притворяешься, Алихан! — с жаром воскликнул Богатый Портной, как бы еще больше заражаясь его состоянием и еще решительней его отрицая. — Никакого удовольствия не может быть...

Алихан, удивленно приподняв брови, как-то издали, сквозь райскую пленку наслаждения, немо глядел на Богатого Портного. Наконец движения руки его замедлились. Он опять перешел к окрестности заветного местечка.

— Ну ладно, — сказал Богатый Портной и сделал рукой успокаивающий жест, — ну, ла, ла...

Богатый Портной сделал вид, что Алихан остановился под его командой, хотя ясно было, что Алихан остановился сам по себе.

— Чем фантазировать удовольствие, — сказал он, уже взяв в руки скамеечку и уходя, — лучше бы посторожил мой сад...

— Никогда! — просветленно воскликнул Алихан. — Я коммерсантом родился и коммерсантом умру.

— Подумай, пока не поздно, — проговорил Богатый Портной, подымаясь по лестнице.

Закончив свою мучительно-сладкую операцию с ногами, Алихан надел тапки, слил воду из тазика, тщательно промыл под краном свою ложку, спрятал ее и сел на свой стул. Вид у него теперь был ублаженный и особенно благожелательный.

— Дядя Алихан, — спросил я, — что такое антихрист?

— Шайтан, — просто и ясно ответил Алихан, но потом, решив дояснить, все запутал: — «Шайтан» говорят по-на-

шему, по-мусульмански, а по-гяурски говорят «антихрист». А так как сами «гяуры» по-нашему тоже «шайтаны», то получается, что «антихрист» это — «шайтанский шайтан»! — Ясный взор Алихана выражал готовность ответить на любые вопросы.

— Алихан, ужинать! — раздался голос его шайтанской жены, и Алихан, подхватив стульчик, поспешно вошел в свою комнату.

* * *

Тем же летом на объявление о найме сторожа откликнулся хиромант. Он подъехал к балкону Богатого Портного и позвал его.

Тот вышел на балкон, хмуро посмотрел вниз и сказал:

— Воздух — твоё гаданье!

— Я хочу сторожить твоё именьё! — закричал хиромант, дико хохоча и вкладывая в свои слова сатанинскую иронию, о которой ни мы, ни Богатый Портной не догадывались.

Нет, не такого человека ожидал Богатый Портной, но, видно, делать было нечего, никто не приходил наниматься.

— Объявление читал или кто-то сказал? — спросил он, хмуро выслушав его тираду.

— Весь город об этом говорит! — радостно закричал хиромант и всплеснул руками.

— Ляй-ляй-конференцию хватит, — мрачно прервал он его, — ишака привяжи, а сам подымись.

Хиромант так и сделал, и они обо всем договорились. Условия договора, конечно, не разглашались, но кое-что все-таки просочилось. Так, стало известно, что хироманту давалось право использовать по своему усмотрению паданцы и скосить всю траву на участке для прокормления ослика.

Примерно через месяц они в пух и прах разругались, и Богатый Портной изгнал его со своего участка. Тогда-то и выяснились некоторые условия договора.

Хиромант жил на горе, недалеко от участка Богатого Портного, можно сказать, прямо над ним. На этой горе были две сталактитовые пещеры. Так вот одну из них он оборудовал под жилье и жил в ней вместе с осликом и всем своим многочисленным выводком.

Оказывается, Богатый Портной проследил за ним и обнаружил, что тот под видом паданцев или вместе с паданцами тащит к себе в пещеру его груши и яблоки, из которых он гнал самогон. Гнать самогон в наших краях разрешается, но, разумеется, из собственных фруктов. Выяснилось это следующим образом.

Оказывается, жена Богатого Портного встретила на базаре жену хироманта. Та продавала самогон и при виде жены Богатого Портного сильно смутилась. Видя такую стыдливость жены хироманта, жена Богатого Портного подошла к ней и потребовала объяснения, хотя до этого и не собиралась подходить.

Испуганная жена хироманта во всем созналась. Она умоляла жену Богатого Портного никому об этом не говорить,

потому что самогон она продает втайне от мужа из его зимних запасов. Так что, говорила она, если до него дойдут слухи о том, что она продавала самогон, он ее убьет или, что еще хуже, прогонит вместе с детьми.

Ну, жена Богатого Портного, конечно, не удержалась и все рассказала мужу, больше всего удивленная такому плохому отношению к собственным детям со стороны ученых людей. Он проследил за ним и однажды поймал его на тропинке, когда тот подымался к своей пещере, деловито погоняя ослика, нагруженного мешками с фруктами. Мешки были вскрыты, и тут же разразился неслыханный скандал, тем более что хиромант успел скосить и убрать с участка всю траву.

Недели через две он снова появился на нашей улице. Несмотря на летний день, правда пасмурный, хиромант был в пальто.

— Чатлах! — крикнул Богатый Портной с балкона, увидев его. Крикнул он это не слишком воинственно, так что, промолчи хиромант, может быть, все обошлось бы. Но хиромант молчать не стал.

— Ищу хорошего русского старика! — крикнул он в ответ и стал оглядывать улицу, словно удивляясь, куда он запропастился, этот хороший русский старик, словно только что он здесь был, а теперь куда-то делся.

Тут Богатый Портной от возмущения потерял дар речи и, схватив горшок со столетником, бросил его вниз. Горшок шлепнулся рядом с осликом и разбился вдребезги. Хиромант даже не дрогнул. Ослик его дернулся было, но потом потя-

нулся мохнатой мордой и понюхал столетник, с комом земли выпавший из горшка.

Как только ослик двинулся дальше, Алихан, сидевший тут же на каменных порожках у входа в дом Богатого Портного, подошел к разбитому горшку, приподнял стебель столетника и, стряхнув с него землю, унес домой.

Кстати, сразу же, как только полетел горшок, Богатый Портной приобрел дар речи, словно тот стоял у него поперек горла, словно он выкашлял его, а не швырнул руками.

— Аферист! — кричал он, свешиваясь с балкона и передвигаясь, чтобы сопровождать ход ослика по улице. — Ты в пещере живешь, ты шакалка!

Хиромант невозмутимо продолжал ехать.

— Нищий, нищий! — вдруг с отчаянной радостью закричал Богатый Портной, словно нашел наконец точное слово. И в самом деле, видно, попал в точку. Хиромант снова остановил ослика.

— Я еще хожу в шелках! — крикнул он, оборачиваясь, и распахнул, почти вывернул пальто, так что чуть не выпала из внутреннего кармана слегка отпитая бутылка с вином. Сверкнула золотистая подкладка, и в самом деле шелковая.

«Ах, вот для чего пальто!» — подумал я тогда, успев заметить, что вся она была в мелких-мелких трещинах.

Богатый Портной, видно, не ожидал такой подкладки. Во всяком случае, он на мгновение помешкал, оглядывая ее, но в следующий миг взвился, сердясь на себя за это унижительное внимание.

— Барахло — твоя подкладка! — крикнул он. — Все знают, что я шил для наркома и буду шить...

Но ослик уже тронулся. Тут Богатый Портной быстро вошел в комнату, чтобы всем было ясно, что это он первым закончил спор.

— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — уже издали раздался голос хироманта. Услышав его, Богатый Портной почему-то снова выскочил на балкон.

— Воздухтрест! — проговорил он, больше обращаясь к улице, чем к самому хироманту. — Все равно никто не верит...

Про этого наркома Богатый Портной довольно часто вспоминал, хотя на нашей улице его никто не видел. Правда, несколько раз за Богатым Портным заезжала легковая машина, но принадлежала ли она наркому, трудно сказать.

— Белый телефон стоит, — рассказывал он про квартиру наркома, — куда хочешь соединяет! Люди — живут.

* * *

Сейчас я расскажу о великом споре между Алиханом и Богатым Портным. Но прежде чем излагать суть дела, я должен дать вам ясное представление о расстановке сил, о стратегических выгодах и слабостях той и другой стороны, чтобы драма идей, заключенная под внешне незначительным поводом спора, раскрылась во всем своем тайном величии.

Хибарка Алихана, как это легко догадаться, никакого балкона не имела, потому что стояла прямо на земле. Поэтому после работы он иногда отдыхал во дворе, но чаще всего он отдыхал на улице, на каменных ступеньках у входа в парадную дверь Богатого Портной. Тот, сидя на балконе, переговаривался с Алиханом, а чаще из-за своего полемического свойства спорил с ним. Иногда Алихан поднимался к нему на балкон поиграть в нарды или попить кофе, но Богатый Портной вниз к нему никогда не спускался.

Как видно из рассказанного, Богатый Портной был человеком нервным и самолюбивым, тогда как Алихан (бывший владелец кофейни-кондитерской), хоть и продолжал именовать себя коммерсантом, как человек давно все потерявший, был спокойным и ровным. Единственное, в чем он проявлял упорство, — это постоянное отстаивание звания коммерсанта.

Когда разновидность восточных сладостей в его передвижном лотке сократилась до козинак, он не впал в уныние, а стал заполнять свой полупустой лоток жареными каштанами.

— Алихан, — говорил ему Богатый Портной, — изучи ремесло, а то скоро семечки будешь продавать.

— Семечки — никогда! — твердо отвечал Алихан, как бы давая знать, что продажа жареных каштанов входит в шкалу продуктов коммерческой деятельности, хотя и не занимает в ней высокого места, тогда как продажа семечек — это распад, разложение, полная сдача позиций.

Таким образом, Алихан в спорах с Богатым Портным имел свои сильные стороны и твердые убеждения. Но и Богатый Портной, возвышаясь над ним на балконе и охватывая голосом большее пространство, как бы в силу самого положения вещей имел свои преимущества.

Получалось, что он отчасти обращается к соседям, которые, выглядывая из окон ближайших домов и балконов, кивали ему, особенно в жару, в знак согласия. Кивать было удобно, потому что большинство этих кивков сидящий внизу Алихан не замечал. Так что они и его не обижали.

Но и Алихан, опять же в силу самого положения вещей сидевший на низком крыльце у входа в дом Богатого Портного, был до некоторой степени неуязвим, то есть чувствовалось, что скинуть-то его неоткуда, что он и так до того приземлен, что уже почти сидит на земле. А положение человека, сидящего на земле, как бы мы сказали теперь, получив высшее образование, при многих неудобствах обладает диалектической прочностью — что-что, а шлепнуться на землю ему не страшно.

Теперь перехожу к сути главного спора Алихана с Богатым Портным.

Метрах в двадцати от нашего дома была речушка, или канава, как ее достаточно справедливо тогда называли. Под каменным мостом она пересекала улицу. У самого моста с той стороны улицы был очень крутой спуск, переходящий в тропинку, которая подымалась вдоль русла вверх по течению. Обычно воды в этой речушке было так мало, что редкая пти-

ца решалась ее перелететь, проще было перейти ее вброд, что и делали чумазые городские куры.

Только изредка, когда в горах шли грозовые ливни, она вздувалась и на несколько часов превращалась в могучий горный поток, а потом снова мелела.

С некоторых пор на нашей улице стал появляться странный велосипедист. Странность его уже заключалась в том, что раньше он никогда здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться. Жители нашей улицы едва свыклись с этой его странностью, как заметили за ним еще большую странность. Он доезжал до самого обрывистого спуска у моста и только тогда (ни шагом раньше) тормозил, слезал с велосипеда, приподымал его и, быстро спустившись в канаву, исчезал на тропе.

Можно было предположить, что живет он где-то там выше, над речкой, но почему он раньше здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться, было непонятно. А главное — это его упрямство, с каким он доезжал до самого края канавы, так что переднее колесо даже слегка высывалось над обрывом, и только после этого тормозил.

Сначала мы все решили, что это он так делает для форсу, но потом заметили, что он никакого внимания на улицу не обращает, что было почему-то неприятно. Выходило, что все это он делает и не для форсу. Тогда для чего? Этого никто не понимал, и Богатый Портной начал раздражаться. Несколько дней он молча присматривался к нему, а потом не выдержал.

— Интересно, — сказал он однажды с балкона, обращаясь к Алихану, который сидел внизу, — когда он сломает шею, на этой неделе или на следующей?

— Никогда, — ответил Алихан, перебирая четки.

— Откуда знаешь? — с брезгливым вызовом спросил Богатый Портной и высунулся над балконом.

— Так думаю, — миролюбиво ответил Алихан.

— То, что ты думаешь, я давно забыл, — сказал Богатый Портной, — но я буду последним нищим, если он не сломает себе шею или ногу.

— Ничего не сломает, — бодро ответил Алихан и, приподняв свои круглые брови над круглыми глазами, посмотрел наверх, — он свое дело знает.

— Посмотрим, — сказал Богатый Портной с угрозой и, отложив шитье, добавил: — А пока подумись, я тебе один «Марс» поставлю...

— «Марс» — это еще неизвестно, — сказал Алихан, вставая, — но этот человек свое дело знает.

Дни шли, а велосипедист продолжал приезжать в своей кепке, низко надвинутой на глаза, в сатиновой блузе с закатанными рукавами, в замызганных рабочих брюках, стянутых у щиколоток зажимами, и, конечно, каждый раз останавливался над самым обрывом, и ни шагом раньше. При этом он ни малейшего внимания не обращал на жителей нашей улицы, в том числе и на Богатого Портного. Я не вполне исключаю мысль, что он вообще не знал о его существовании.

— Так и будет останавливаться со своим дряхлым велосипедом, — сказал однажды Богатый Портной, тоскливо проследив за его благополучным спуском в канаву.

— Так и будет, — бодро отвечал снизу Алихан, — человек свое дело знает.

— Ничего, Алихан, — покачал головой Богатый Портной, — про Лоткина ты то же самое говорил.

— Лоткин тоже свое дело знал, — ответил Алихан и, раскрыв рот, показал два ряда металлических зубов, которые мы почему-то тогда считали серебряными, — как мельница работают.

— А Лоткин где? — ехидно спросил Богатый Портной.

— Лоткин через свое женское горе пострадал, — отвечал Алихан, слегка раздражаясь, — а при чем здесь этот человек?

— Ничего, — пригрозил Богатый Портной, — живы будем, посмотрим.

Несколько лет тому назад Лоткин поселился рядом с нашим домом. На дверях своей квартиры он повесил железную табличку с надписью: «Зубной техник Д. Д. Лоткин».

Лоткина у нас считали немножко малахольным, потому что он ходил в шляпе и макинтоше — форма одежды, не принятая на нашей улице тогда, а главное, все время улыбался неизвестно чему.

Бывало, розовый, в шляпе и в распахнутом макинтоше идет себе по улице с немного запрокинутой и одновременно доброжелательно склоненной набок головой и улыбается в том смысле, что все ему здесь нравится и все ему здесь приятно.

Особенно он расцветал, если встречал на пути какую-нибудь маленькую девочку. А таких девочек на нашей улице было полным-полно. Бывало, присядет на корточки перед такой девочкой, почмокает губами и протянет конфетку.

— Этот человек плохо кончит, Алихан, — говаривал Богатый Портной, проследив за ним, пока тот входил в дом или выходил из дому.

— Почему? — спрашивал Алихан, подняв голову.

— Есть в нем не то, — уверенно говорил Богатый Портной.

— Докажи! — отзывался Алихан.

— Если человек все время улыбается, — пояснял Богатый Портной, — значит, человек хитрит.

Лоткин жил вдвоем с женой, и когда, бывало, выходил с ней на улицу, все смотрели им вслед. Жена его высокая, выше Лоткина, тонкая женщина, говорили — красавица, проходя, обычно опускала голову, углы губ ее были слегка приподняты, словно она едва сдерживала усмешку, как бы стыдясь за своего Лоткина. А он знай себе идет, размахивая руками и ничего не понимая, улыбается направо и налево, здоровается, приподымая шляпу, и в то же время рыскает глазами, нет ли где поблизости сопливой девчонки в кудряшках, была бы поменьше, умела бы подымать и опускать глаза да еще протягивать руку за конфеткой.

— Ах ты моя куколка золотая...

Однажды мы пошли купаться в море в такой компании — я со своим отцом, Оник со своим Богатым Портным и Лоткин с женой. Помню, всю дорогу Богатый Портной

как-то подшучивал над Лоткиным, делая вид, что он о нем знает что-то нехорошее, а что именно, было неясно. Мне кажется, он завидовал Лоткину, что у него такая красивая жена. Лоткин почему-то на эти насмешливые намеки Богатого Портного не отвечал, а только сопел и все улыбался, прикрывшись от солнца свернутой газетой. На этот раз он был без шляпы.

Вблизи улыбка его показалась мне какой-то напряженной. Было неприятно, что жена его все так же опускала голову, чуть улыбаясь краями губ. Чувствовалось, что она поощряет Богатого Портного, во всяком случае, на его стороне. Тогда я не особенно прислушивался к тому, что они говорили, потому что меня самого угнетало тревожное предчувствие, что отец мой окажется в кальсонах.

Так оно и оказалось. Отец разделся в сторонке и, закатав кальсоны, вошел в море. Отец мой прекрасно плавал, и в воде было, конечно, незаметно, что он в кальсонах, но рано или поздно надо было вылезать из воды, и это растревляло мое сыновнее самолюбие.

Богатый Портной в трусах с голубыми кантами — мы их называли динамовскими — плескался у самого берега, как младенец. Он не умел плавать, но так как он сам несколько не стыдился этого, получалось, что он просто не хочет идти в море. Я заметил, что Лоткин в воде пытался заигрывать с женой, но она в море относилась к нему еще хуже, чем на суше.

Однажды рано утром я проснулся от тревожного шума, идущего с улицы.

— Лоткин жену зарезал, — услышал я чей-то голос, и чьи-то шаги за окном заторопились, боясь упустить зрелище.

Я вскочил и выбежал на улицу. Возле лоткинского крыльца стояла небольшая толпа и машина «скорой помощи». Обе створки дверей его квартиры были как-то не по-жилому распахнуты, словно их распахнул взрыв случившейся катастрофы. Толпа колыхнулась, в зиянии дверей появились санитары с носилками, прикрытыми простыней.

Когда санитары спустились с крыльца, я увидел слабое очертание тела, лежавшего под простыней. Кисть руки высовывалась из-под простыни и, непомерно длинная, свисала с края носилок.

Когда машина уехала, я с некоторыми ребятами с нашей улицы сумел пробраться в дом и увидел разоренную комнату с разбросанными вещами, с широкой кроватью, на которой простыни и одеяла были вздыблены и перекручены, как бы хранили следы ужаса и борьбы. Видно, она как-то сопротивлялась. Над постелью на стене остались отпечатки окровавленных пальцев. Пятна следов подымались над постелью все выше и выше, и чем выше они поднимались, тем слабее становились кровавые отпечатки пальцев. Казалось, жена Лоткина пыталась уйти от него, карабкаясь по стене. Говорили, что он ее зарезал бритвой.

Лоткина я больше не видел. Его увели милиционеры раньше, чем я туда пришел. Об этом случае долго толковали на нашей улице, и смысл этих толков сводился к тому, что он ее любил, а она его не любила или любила другого.

После этого случая самоуважение Богатого Портного усилилось, потому что получалось, что он один предвидел, чем это все кончится. И вот теперь в спорах с Алиханом Богатый Портной напоминал ему о Лоткине, который перед самой этой ужасной историей успел вставить Алихану зубы.

А между тем велосипедист продолжал с непонятным упрямством подъезжать к самому краю обрыва и по-прежнему, не обращая ни малейшего внимания на окружающих, благополучно тормозил, приподымал велосипед и спускался в канаву.

— Чтоб этот балкон провалился, если он не сломает себе шею, — сказал однажды Богатый Портной, проследив за этой неумолимой процедурой.

— Его велосипед, его шея, — тут же отозвался Алихан, — какое твое дело?

— Порядочный человек так не делает, — сказал Богатый Портной, сумрачно из кружки поливая цветник. Теперь он поливал цветы прямо из кружки, тогда как раньше всегда сначала набирал воду в рот, а потом уж прыскал.

— А как делает? — спросил Алихан, подымая голову. Богатый Портной вбросил кружку в ведро с водой и посмотрел вниз на Алихана, помедлил, собираясь с мыслями.

— Во-первых, порядочный человек остановит свой велосипед хотя бы за пять-шесть шагов, — начал он, — во-вторых, посмотрит вокруг и поздоровается с соседями, а потом пойдет в свою канаву... Лоткин и то лучше был, — неожиданно добавил он.

— Почему? — удивился Алихан.

— Лоткин хотя бы от души здоровался со всеми, — сказал Богатый Портной, — а этот нас за людей не считает!

— Тогда скажи, за кого считает? — быстро спросил Алихан.

— За барахло считает, — мрачно сказал Богатый Портной, — даже кепку ехидно надевает... Мол, на вас даже смотреть не хочу, так надевает, — пояснил Богатый Портной и добавил, возвращаясь к привычной лоткинской версии: — Лоткин шляпу надевал, и то у него номер не получился.

— При чем тут Лоткин! — закричал Алихан. — Лоткин через свое женское горе пострадал.

— А этот через свое упрямство пострадает, — сказал Богатый Портной и пророчески погрозил пальцем в воздухе.

Дни шли, а человек на велосипеде, все так же нахлобучив кепку на самые глаза, продолжал подъезжать к самому обрыву.

Иногда Алихан запаздывал со своей тележкой и, появляясь на улице, смотрел на балкон, взглядом спрашивая у Богатого Портного: мол, как там дела? Богатый Портной в ответ молчал, из чего следовало, что возмездие все еще предстоит.

Иногда сам велосипедист запаздывал, и тогда Богатый Портной, если был занят у себя в комнате, время от времени выходил на балкон и посматривал на улицу. При этом он старался сделать вид, что просто так вышел. Якобы так, беззаботно посмотрит в одну сторону, откуда должен был появиться

ся велосипедист, потом в другую сторону, хотя в другую сторону ему и не надо было смотреть, потому что он оттуда никого не ожидал.

Ребята с нашей улицы обычно в такое время сидели на травке у забора как раз напротив его балкона и, конечно, все понимали. Особенно было смешно, когда он выходил что-нибудь жуя, потому что в это время он ужинал и вставать из-за стола у него не было никаких причин, кроме желания не пропустить ненавистного велосипедиста.

В таких случаях, если он задерживался на балконе, жена его звала из глубины квартиры и, если он не сразу возвращался, сама появлялась и слегка подталкивала его в комнату. Лениво жуя, она сама в последний раз бросала взгляд вдоль улицы и исчезала.

— Едет! Едет! — иногда кричали наши ребята, когда велосипедист появлялся в конце квартала, а Богатого Портного на месте не было.

— Ну и что?! — кричал Богатый Портной, выскочив на балкон. — Подумаешь, какое мое дело!

А сам оставался на балконе, пока не убедится, что упрямый велосипедист и на этот раз невредимым сошел в свою канаву. Если в это время Оник где-нибудь поблизости катался на велосипеде, он, кивнув в его сторону, говорил Алихану:

- Какой пример детям показывает, а?
- Какой пример? — удивлялся Алихан.
- А если Оник захочет то же самое?
- Никогда не захочет, — уверенно отвечал Алихан.

— Оник! — кричал Богатый Портной яростно. — Если будешь крутиться возле канавы, как Лоткин, задушу тебя своими руками!

— Я не кручусь, папа! — отвечал Оник и отъезжал подальше от канавы.

Дни шли, а велосипедист продолжал целым и невредимым подъезжать к самому краю обрывистого спуска. И когда Богатый Портной отводил от него глаза, полные гневного недомыслия, то, как правило, встречался с приподнятыми на него ясными глазами Алихана.

— Я тебе говорю, — кивал Алихан, — этот человек свое дело знает.

— Чем даром здесь сидеть, — злился Богатый Портной, — лучше бы пошел сторожить мой сад.

— Я коммерсантом родился, коммерсантом умру, — спокойно отвечал ему Алихан.

— Твоя коммерция — воздух! — говорил Богатый Портной и, плюнув на руку, громко шлепал ею по днищу утюга.

— Эй, гиди, время, — вздыхал Алихан и, покачивая головой, смотрел на него, как бы распределяя свой упрек между вечностью и Богатым Портным.

Однажды велосипедист появился, держа под мышкой буханку хлеба. На этот раз он руль держал одной рукой и ехал гораздо медленней. Мы все, а в особенности Богатый Портной, ожидали, что он хоть на этот раз остановит свой велосипед пораньше. Но он и теперь доехал до самого края и затормозил, как обычно.

После этого случая мы стали замечать, что он довольно часто проезжает то с буханкой хлеба под мышкой, то с корзиной на руле и каждый раз благополучно сходит в свою канаву.

— Хоть бы в газету завернул, — сказал однажды Богатый Портной, имея в виду хлеб, который тот привозил.

— Его хлеб, как хочет, везет, — ответил Алихан.

— Ты думаешь, что он будет делать, если хлеб упадет в канаву? — неожиданно спросил Богатый Портной.

— Ничего, — несколько рассеянно ответил Алихан.

— Подымет и покушает, — уверенно сообщил Богатый Портной и быстро вошел в комнату.

Однажды человек на велосипеде приехал с коровьей головой, которую он держал за рог в слегка оттянутой, чтоб не закапать велосипед, левой руке. Богатый Портной обомлел и замер на своем балконе, увидев такое. Покамест тот спустился в канаву, он, несколько раз качнув головой, даже присвистнул: дескать, дождались.

— Алихан, что это? — тихо спросил Богатый Портной, приходя в себя.

Алихан на этот раз сидел, слегка насупившись, как бы признавая свою некоторую ответственность за поведение велосипедиста и в то же время готовый оказать сопротивление ввиду не такой уж значительности самого проступка.

— Ничего, — ответил Алихан сухо.

— Как ничего, Алихан?! — простонал Богатый Портной, умоляя его хотя бы не отрицать того, что каждый только что видел своими глазами.

— Коровина голова, больше ничего, — сказал Алихан и, подняв собственную голову, твердо посмотрел ему в глаза, как бы отбрасывая всякую возможность мистического толкования этого события.

— Он что, на бойне работает? — спросил Богатый Портной с таким глубоким изумлением, словно, окажись велосипедист работником бойни, сразу же можно было бы этим объяснить и все остальные его странности.

Алихан хаживал на бойню, где доставал потроха для хаша. Иногда он их приносил и Богатому Портному. Алихан хорошо знал всех работников бойни.

— Зачем на бойне, — сказал Алихан просто, — на базаре тоже продают.

— Дай Бог мне столько здоровья, за сколько он эту голову купил, — ответил Богатый Портной.

— Тогда скажи, где взял?! — воскликнул Алихан.

— Где взял, не знаю, — ответил Богатый Портной, успокаиваясь оттого, что Алихан начинал сердиться, — но Лоткина ты тоже защищал...

— При чем Лоткин, при чем голова! — закричал Алихан и, неожиданно взмахнув рукой, добавил: — Иди в свою комнату!

— На моем сидит и меня прогоняет, — задумчиво сказал Богатый Портной, обращаясь ко всей улице и как бы давая через этот маленький пример всем убедиться, какой Алихан несправедливый человек.

Однажды велосипедист особенно долго не возвращался. У Богатого Портного в доме был клиент, так что с балкона он

не мог следить за тем, что происходит на улице. Он только время от времени выскакивал на балкон, чтобы не пропустить велосипедиста.

— Я скажу, когда будет, ты иди, — говорил ему Алихан и гнал его с балкона.

Человек пятнадцать ребят с нашей улицы, как обычно, сидели на лужайке напротив балкона Богатого Портного. Уже и видно было плохо, когда велосипедист появился на углу.

— Едет! Едет! — хором закричали ребята, опережая Алихана.

— Ну и что?! Пускай едет! — выскочив на балкон, стал огрызаться Богатый Портной, но внезапно замолк, увидев велосипедиста. И тут все сразу заметили, что на этот раз он едет как-то странно, велосипед страшно вихлял. Никто не мог понять, в чем дело. Первым догадался Алихан.

— Клянусь Аллахом, он пьяный! — воскликнул Алихан и даже встал.

— Не мое дело! — радостно отозвался Богатый Портной и, обернувшись в комнату, крикнул: — Эй, сюда, сюда!

На балконе появились жена Богатого Портного и клиент в пиджаке без рукавов, впрочем, один из рукавов Богатый Портной держал в руке.

— В чем дело? — спросил клиент, глядя на свой рукав, которым беспрестанно взмахивал Богатый Портной.

— Потом, потом, туда смотри! — воскликнул он и от нетерпения заходил ходуном по балкону.

— Пьяный не считается! — крикнул Алихан в сильнейшем возбуждении.

— Спор есть спор! — выкрикнул Богатый Портной, взмаивая рукавом.

— Пьяный и без велосипеда может упасть! — не сдавался Алихан.

— Будь мужчиной, Алихан, спор есть спор! — еще успел крикнуть Богатый Портной.

Все мы, ребята с нашей улицы, оцепенев от волнения и какой-то странной жути, ждали, что будет. Метров за десять от канавы он, словно вспомнив об опасности, казалось, сворачивает на мост, но потом поехал дальше. Подъехав к обрыву, он притормозил и мгновенье, балансируя рулем, стоял над обрывом, словно решая, а не спуститься ли на велосипеде, но нет — накренился и стал одной ногой на землю.

Взрыв рукоплесканий, свист и вопли восторга поднялись над лужайкой, как над трибунами стадиона. Богатый Портной даже как-то подпрыгнул на своем балконе, что-то крича и махая рукой в знак яростного протеста.

И тут, кажется, впервые этот человек поднял голову и удивленно посмотрел вокруг. Увидев нас, пацанов, он улыбнулся нам слабой улыбкой пьяного, не вполне понимающего, в чем дело, человека. Потом он, как обычно, поднял велосипед и, пошатываясь, сошел с обрыва. Богатого Портного он, похожему, так и не заметил.

На следующий день в гости к Богатому Портному приехал автоинспектор. Я уверен, что Богатый Портной жаловался

ему. После долгого обеда они вышли на улицу и разговаривали, стоя у заведенного и повернутого в нужную сторону мотоцикла. Это было всем заметно, да они, а в особенности Богатый Портной, и не скрывали этого.

Как только на углу появился велосипедист, автоинспектор вскочил в седло и, извергая апокалипсические громы (уж не снял ли он нарочно глушители?!), рванул с места на большой скорости и через несколько секунд в тучах пыли, скрывшей обонх, остановился возле велосипедиста.

Когда осела пыль, мы увидели, что велосипедист стоит возле автоинспектора, хотя в то же время продолжает сидеть в седле, только протянул к земле одну ногу.

По лицу Богатого Портного было видно, что сама поза велосипедиста ему не нравится. Не то чтобы автоинспектор обещал наехать на него, но, видно, обещал пугануть упрянца как следует, да, видно, что-то не так получилось.

Они разговаривали, как равный с равным, и даже оба сидели в своих седлах. И только велосипедист что-то говорил, довольно независимо кивая головой в сторону речушки.

Постепенно их окружили мужчины с нашей улицы, в том числе и Алихан. Как водится в таких случаях, они их слушали с важным видом, а иногда и сами что-то вставляли. Оник объезжал всю эту группу на своем велосипеде, на ходу прислушиваясь к тому, что они говорили. Богатый Портной к ним так и не подошел, а остановился по близости, как не слишком заинтересованный, но все же любопытствующий человек. Время от времени он, не

слишком улавливая течение разговора, вставлялся одной и той же фразой:

— Нет, если для детей не вредно, пожалуйста...

Наконец велосипедист оттолкнулся ногой и поехал к своей канаве. Автоинспектор, продолжая держаться за руль, круто обернулся, то ли стараясь разглядеть, есть ли у него номер под седлом, то ли ему тоже было интересно, как этот упрямец доезжает до самого спуска. Тут Богатый Портной подошел к автоинспектору. Ковыряя спичкой в зубах, он тоже посмотрел вслед велосипедисту каким-то пустующим взглядом.

Когда тот скрылся, Богатый Портной, продолжая ковырять спичкой в зубах, посмотрел на автоинспектора своим пустующим взглядом. Было похоже, что этим ковырянием он напоминает кунаку о долгом обеде.

— Имеет право, — сказал автоинспектор, взглянув на Богатого Портного. Казалось, он смутно угадывает намек и сам изумляется своей догадке.

— Нет, если детям не вредно, пожалуйста, — холодно повторил Богатый Портной, продолжая задумчиво ковыряться в зубах. Возможно, теперь это означало, что хотя долгие обеды в его доме не отменяются, но список приглашенных лиц подвергнется жестокому пересмотру.

Автоинспектор дал газ и уехал. На обратном пути Алихан рассказывал, как этот велосипедист здесь появился. Оказывается, он живет над нашей речушкой у самого выезда, на параллельной улице. Там почти такой же мост и почти такой же

спуск. После бурных дождей возле его дома случился оползень, и выход на шоссе был разрушен. Вот он и избрал этот путь на работу через нашу улицу.

— Хорошо, — перебил его Богатый Портной, — а мой дармоед что говорит?

— Он говорит, — ответил Алихан миролюбиво, — им про оползень все известно, и они его починят.

Рядом с высоким сутуловатым Алиханом, опрятно сдерживающим торжество, маленький Богатый Портной шел, слегка прихрамывая. Так, прихрамывая, бывало, покидали поле наши футболисты после очередного проигрыша.

— А зачем он до самого края доезжал? — кивнул Богатый Портной на речушку.

— Это, говорит, мое дело, имею полное право, потому что рабочий кожзавода.

— А, — сказал Богатый Портной, догадываясь, — что хотят, то и делают.

— Да, — сказал Алихан, — хозяин...

Богатый Портной поднялся к себе, а Алихан еще немного постоял у калитки, следя за собой, чтобы не дать прорваться ликованию. И вдруг Богатый Портной появился на балконе.

— Алихан, — склонился он над перилами.

— Что? — живо откликнулся Алихан. Наверное, он решил, что Богатый Портной зовет его поиграть в нарды.

— Все же Коровину голову он на бойне взял, — сказал Богатый Портной.

— При чем?.. — вздрогнул Алихан от неожиданности.

— При том, что кожзавод находится рядом с бойней, Алихан, — сказал Богатый Портной и быстро покинул балкон, так что Алихан только и успел поднять свои круглые брови над круглыми глазами.

Кожзавод был и в самом деле расположен рядом с бойней (он и сейчас там), и, вероятней всего, этот парень там и купил коровью голову. Сказав, где работает этот парень, Алихан в сущности сделал слабый ход, которым воспользовался Богатый Портной.

Не знаю, как в других краях, но у нас автоинспектор слов на ветер не бросает. Через неделю упрямый велосипедист перестал появляться на нашей улице. Видно, дорогу и в самом деле привели в порядок.

Возгласами: «Едет! Едет!» — нашим ребятам пару раз удалось заставить Богатого Портного выбежать на балкон, но потом рефлекс этот быстро отработался, да и сам Богатый Портной вскоре переехал на свой участок и больше в нашем доме на моей памяти не появлялся.

Тетушка моя время от времени, примерно раз или два в год, ходила в гости к Богатому Портному. Каждый раз она оттуда приносила удивительные новости. Больше всего поразило ее воображение, что Богатый Портной отвел воду от речушки на свой участок, где вырыл небольшой бассейн.

— В бассейне утки плавают, в беседке скамейка стоит, — сокрушенно рассказывала она каждый раз, возвращаясь оттуда.



— Ну и что? — сказал мой старший брат, когда она впервые об этом заговорила. — В беседке всегда скамейка стоит.

— Дурачки вы мои, дурачки, — печально покачала тетушка головой, как бы стараясь внушить, что дело не в самой беседке, а в том, что она наглядное звено в гармоничной системе, созданной руками Богатого Портного.

В конце концов, эта ее фраза превратилась для нас в символ глуповатой благопристойности и вообще всякой липы.

— В бассейне утки плавают, — говорили мы, и сразу же становилось ясно, что это за кинофильм, что это за книжка или что это за обещания.

— Смейтесь, дурачки, — печально отзывалась тетушка, хотя сама была человеком удивительно легкомысленным и в то же время очень впечатлительным. Как человек легкомысленный, она забывала, что сама далека от идеалов Богатого Портного, но, как человек впечатлительный, она, побывав у него на участке, воспламенялась красивым результатом его идей, стараясь и нас воспламенить своими восторгам.

* * *

На этом я временно прерываю жизнеописание Богатого Портного с тем, чтобы рассказать несколько случаев из более бурной и потому менее благочестивой жизни хироманта.

Во время войны, когда начались бомбежки нашего города, в сущности бомбили всего два раза, пещера хироманта была превращена в бомбоубежище. К этому времени на горе поблизо-

сти от пещеры понастроили десятка два домов, в результате здесь образовался небольшой пригородный поселок. К владельцам этих домов подсеялись беженцы, так что людей хватало.

Вторая сталактитовая пещера была расположена повыше, но карабкаться туда было далековато. К тому же она была не слишком удобна, потому что коридор ее метров через десять от входа круто опускался вниз, и впопыхах там легко можно было сорваться и проломить голову без всякой бомбы.

В первое время, говорят, хиромант именно туда и гнал всех, кто пытался укрыться в его пещере, но потом почему-то легко примирился с этим, и когда после тревоги люди расходились по домам, он им говорил:

— Чуть что, бегите сюда, не стесняйтесь...

Говорят, особенно в первое время туда набивалось черт-те сколько людей. К тому же они по неопытности тащили с собой все, что могли унести из дому, а унести они пытались все. Так что дети хироманта, пользуясь светомаскировкой, а точнее, полным отсутствием света, паникой, которую нагонял ослик, загнанный сюда же и шарахающийся после каждого залпа зенитки, одним словом, пользуясь всей этой вавилонской бестолковщиной, дети хироманта ползали по перепуганным людям и при этом нередко вползали в их узлы, чемоданы и даже карманы, говорят.

Говорят, один беженец, выйдя из пещеры после тревоги с основательно полегчавшим чемоданом, — уж не знаю, что там лежало? — воскликнул:

— Лучше б я под бомбежку попал!

Позже люди перестали таскать свой скарб, но все-таки бегать туда продолжали, потому что немецкие самолеты всегда встречались таким дружным зенитным огнем, что люди не без основания полагали, что летчики с перепугу как раз и угодят бомбой на эту окраину.

Вскоре женщины поселка стали замечать, что их мужчины, как только объявляется тревога, обгоняя друг друга и оставляя далеко позади свои семейства, первыми вбегают в пещеру.

Потом стали замечать, что после отбоя они, эти храбрецы, выходят из пещеры какими-то веселыми, как бы слегка обалдевшими от страха или еще чего-то там.

Но тут возникшие было подозрения рассеял один эвакуированный интеллигент, который, тоже весьма бодро и тоже обгоняя свое семейство, бегал в пещеру. Он объяснил, что такое состояние некоторого вынужденного веселья после пребывания в пещере вызывается так называемым озонным опьянением. Почему это озонное, или сезонное, как его перекрестили, опьянение действует только на мужчин, он не стал объяснять.

Позже, когда некоторые мужчины и после отбоя старались задержаться в пещере, яростно доказывая, что немецкие самолеты могут вернуться, а другие стали туда бегать и без всякой тревоги, среди бела дня, первоначальные подозрения снова всплыли и даже полностью оправдались.

Короче, выяснилось, что хиромант во время тревоги, пользуясь темнотой и вообще бомбофобией, довольно прости-

тельной для военного времени, спивает остатки, и без того довольно жалкие, поселковых мужчин. Учтем, что лучшие из них в это время были там, где положено быть лучшим, — на фронте.

К этому времени хиромант приспособился гнать самогон из подножного ассортимента, куда входили: бузина, крапива, икала, кислицы и все, что можно было натрусить в окрестных садах. Самогонный аппарат стоял в глубине пещеры и в сезон работал почти круглосуточно, как маленький военный завод.

Разумеется, плату за это удовольствие он повышал соответственно катастрофичности момента, может быть, даже с учетом своевременной доставки, хотя доставлять было неоткуда, ибо запасы хранились тут же, в одном из естественных тайников пещеры.

Но главное, что хитрец, поднося своим испуганным клиентам кружку с самогоном, тут же давал на закуску лавровый листик, благо одичавших лавровых деревьев на этой горе росло немало. А лавровый лист, как известно, отбивает всякие низменные сивушные запахи, оставляя один свой возвышенный древнегреческий запах. Так что мужчины этого поселка выходили из пещеры, увенчанные хоть и не лавровым венком, но все же лавровым запахом. В этом полублаженном состоянии они вполне безнаказанно ходили по нашему пригородному Олимпу, может быть, только тем и отличаясь от обитателей того древнего Олимпа, что походке их недоставало некоторой величавой твердости.

В конце концов, как и все хитрецы, хиромант погорел на своей хитрости. Одна женщина во время очередного пребывания в бомбоубежище, видимо решив в темноте следить за своим мужем, выхватила кружку из его руки, которую подсунул ему хиромант. Вернее, случилось так, что кружку-то он сумел сунуть ее злополучному мужу, а лавровый листик подал ей по ошибке.

Действовал он все же в темноте, и нельзя сказать, что движения его отличались безукоризненной точностью, ибо себя во время работы он, конечно, тоже не обносил, хотя сам лавровым листом и не закусывал. Не исключено, что сказался его долголетний рефлекс хироманта и он, забывшись, потянулся к женской ладони. Одним словом, как и всякий человек, хиромант мог ошибиться, и я, нисколько не пытаясь его оправдать, просто хочу понять, как это случилось.

Стало быть, женщина догадалась, в чем дело, и, продолжая держать в одной руке этот лавровый лист, другой вырвала кружку из рук своего мужа. Балбес, вместо того чтобы сразу выпить, медлил, все еще дожидаясь лаврового листа, словно находился не в пещере во время тревоги, а где-нибудь в доверенной закускойной.

Вырвав кружку, женщина молча плеснула ее на бороду хироманта, может быть слегка светящуюся в темноте, потому что, по уверению очевидцев, хиромант не сразу ей ответил, а сначала (вечно у нас преувеличивают!) сунул бороду в рот и стал ее обсасывать.

Плеснув из кружки, женщина эта, говорят, обернулась к мужу и, тыча ему в лицо лавровый лист, сказала с неслышанным ехидством:

— Жуй, детка, жуй!

Возмущенный муж попытался ей объяснить, что он ничего жевать не собирается, что он только попросил напиток и хиромант ему принес воды, а теперь он не понимает, что здесь происходит.

Но тут, говорят, хиромант дососал свою бороду и стал выгонять ее из пещеры. Та с криком, обращаясь к другим женщинам, начала разоблачать хироманта, одновременно не давая себя вытолкнуть из пещеры, и в этой локальной части своей борьбы была решительно поддержана собственным мужем.

— Ругать ругай, а гнать не имеешь права, — говорил он хироманту, слегка придерживая жену.

Но тут вмешались остальные женщины, и в пещере под гром зениток разразился бедлам, который еще мог притихнуть вместе с зенитками или даже раньше, да беда в том, что в самый разгар его один из волчат хироманта подполз к этой женщине и сунул ей за пазуху летучую мышь.

Тут она издала вопль такой силы — женщина, разумеется, а не летучая мышь, — что некоторые окрестные жители, те, что не пользовались пещерой, решили, что в пещере обвалился свод, и, радуясь за себя, скорбели за несчастных. Другие решили, что семерка рыжеголовых набросилась на одну из женщин с какой-то неясной, но, во всяком случае, нехорошей целью.



Говорят, вопль этот был услышан и в доме Богатого Портного, который к этому времени переселился на свой участок, расположенный под горой.

— Когда Лоткин свою жену резал, и то она так не кричала, — говорил он впоследствии про этот вопль, хотя, как было известно на нашей улице, жена Лоткина вообще не кричала в ту трагическую ночь. Но тут об этом не знали, и поправить его было некому. Впрочем, и на нашей улице его никто не поправлял, кроме бедняги Алихана. А что он мог один?

И вот эта женщина с воплем выбежала из пещеры и, продолжая вопить, словно за пазухой у нее лежал кусок горячей пакли, бежала по склону в сторону своего дома.

Говорят, когда ее поймали и вытащили из-за пазухи летучую мышь, та была мертва. Говорят, они, эти летучие мыши, далеко не всякие звуки выдерживают. Вроде бы у них аппарат восприятия звуков до того нежный, что они умирают, когда в воздухе появляются душераздирающие вибрации. Не удивительно, что у некоторых людей тоже наблюдается излишняя изнеженность слухового аппарата.

* * *

Однажды я сам был свидетелем такой картины. В кабинет учреждения, где работал один мой знакомый, любимец муз, приоткрылась дверь, всунулась голова начальника и выбросила из себя довольно длинную струю не слишком печатных выражений. И вдруг на глазах у нас, посторонних людей,

как только струя эта коснулась чуткого уха сотрудника, он стал оседать на своем стуле. Голова его красиво поникла, а глаза прикрылись веками. В сущности, он потерял сознание в самом начале струи, так что основная часть ее вылилась даром, он ее уже не воспринимал, если не считать нас, посторонних посетителей, которых она, струя эта, обрызгала, можно сказать, профилактически.

Когда мы нашего друга привели в чувство, он улыбнулся слабой улыбкой и прошептал, показывая на ухо:

— Не могу привыкнуть...

А ведь на вид детина был дай Бог. Но слух не приспособлен. Вернее, приспособлен для музыки высших сфер, а для матовой ситуации не приспособлен.

Кстати, нельзя сказать, что профком учреждения, о котором идет речь, прошел мимо этого случая. На очередном собрании начальнику сделали серьезное внушение за то, что он непотребными словами общался с подчиненными при посторонних.

Начальник принялся оправдываться, указывая на то, что он посторонних не заметил, что он только приоткрыл дверь, тем самым прикрыв посторонних, что, кстати, с печальным благородством подтвердил и пострадавший.

Но тут начальнику вполне резонно заметили, что в том-то и беда, что сначала надо было войти, поздороваться, а потом уже дело говорить. Ну хорошо, сказали ему, на этот раз посторонние оказались своими, но бывает, что в кабинете могут оказаться чужие посторонние, скажем, ино-

странцы в порядке культурного обмена... Тогда что? Накладочка?!

Но тут начальник попытался оправдаться, говоря, что накладочка никак не может получиться, потому что если иностранец и забредет в учреждение в порядке культурного обмена, то он прямо попадает к нему в кабинет, и он уже сам его водит по другим местам и рассказывает что-нибудь общедоступное, а про дело не говорит. А если ненароком и сорвется с губ какое-нибудь словцо, то переводчик на то и переводчик, чтобы придать ему легкое иностранное звучание.

Не знаю, чем у них там закончилось собрание, но знаю одно, что когда я в следующий раз посетил это учреждение, там двери во всех кабинетах были перевешены в обратном порядке. Может, это случайность, как и то, что теперь, приоткрывая дверь, можно было одним взглядом охватить внутреннюю жизнь кабинета и, уже в зависимости от этого, прямо с порога излагать свои накипевшие мысли.

* * *

Одним словом, после этого скандала, я имею в виду пещеру, женщины поселка, во главе с пострадавшей, пошли жаловаться в райсовет, желая выселить хироманта из пещеры. Самое удивительное, что муж ее, приняв пристойный вид, вместе с ними отправился туда же.

Там он рассказал о том, как постепенно хиромант втягивал его в свои алкогольные сети, как он сначала не хотел пить,

но тот его коварно уверял, что самогон снимает страх перед бомбами, что сперва так оно и было, а потом он уже привык.

Ко всему этому он еще приплюснул, что жена его отчасти обесчещена прикосновением летучей мыши и что теперь, как только он хочет ее обнять, он вспоминает летучую мышь, и у него объятия нередко повисают в воздухе.

Тут, говорят, товарищ из райсовета махнул на него рукой и стал слушать остальных делегатов. Жалобы в основном сводились к тому, что хиромант со своими детьми мешает жителям поселка культурно переждать бомбежку. Как водится в таких случаях, вспомнили все, что было и не было.

Так, многие говорили, что у них в поселке исчезают куры и что, скорее всего, это дело рук хироманта.

Хиромант не отрицал, что он давал иногда кое-кому пару глотков самогона. Но кому? Только тем, кто своим трусливым поведением способствовал ложным слухам. Что касается кур, то тут он сказал, что никогда так низко не опускался, чтобы воровать кур, и дал честное слово дворянина, что этого никогда не было. На это честное слово дворянина товарищ из райсовета не обратил ни малейшего внимания, но обратил внимание на то, что нет доказательств.

В конце концов, учитывая большое количество детей хироманта и что жена его почти мать-героиня, товарищ из райсовета принял довольно гуманное решение.

По окончательному постановлению райсовета полагалось выселить хироманта с семьей из нижней сталактитовой пе-

щеры, превратив ее в бомбоубежище, и вселить в верхнюю сталактитовую пещеру. При этом райсовет обязался кирпичной кладкой огородить крутой спуск в пещере ввиду многочисленности его необузданных детей и возможности несчастного случая.

— Скажи спасибо детям, — сказал ему товарищ из райсовета. — Советская власть даже из твоей рыжей команды делает настоящих людей.

— Дай Бог, — смиренно согласился хиромант.

Таким образом, райсовет оставил хироманта с его семьей в нижней сталактитовой пещере впредь до кирпичной кладки в верхней. Решение это оказалось выгодным хироманту и ставило противников в довольно затруднительные условия, особенно мужчин, привыкших взбадриваться. Теперь, говорят, хиромант во время тревоги устраивался напротив той злополучной парочки и, звякая бутылкой, наливал себе в кружку сколько хотел, при этом долго разговаривал с напитком, дурашливо укоряя его за совращение нестойких мужчин. После этого он вливал его в свое клокочущее горло. Невезучий муж этой женщины, как и все другие мужчины, молча сносил эту изощренную пытку. Но жена его не выдерживала.

— Овца, — обращалась она в темноте к своему мужу, — скажи ему, что тебе противно смотреть!

— Мне противно смотреть, — повторял муж, не сводя зачарованного взгляда с темного силуэта совратителя.

В конце концов, через некоторое время часть жалобщиков дрогнула и пала к ногам хироманта, после чего он возобновил

снабжение их бодрящим напитком. Другая часть под влиянием жен и собственной зависти к изменникам до того ожесточилась, что решила в верхней пещере поставить кирпичную кладку, не дожидаясь райсовета, за собственный счет. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не грянул счастливый случай, который сделал хироманта недосыгаемым для окружающих.

Как раз в один из этих дней в горах сравнительно недалеко от нашего города выбросились на парашютах из подбитого «юнкерса» два немецких летчика.

Кстати, жители нашего города долгие годы утверждали, и, кажется, до сих пор утверждают, что самолет подбили именно наши зенитчики. При всем моем уважении к нашим старожилам должен сказать, что это маловероятно. Даже нам, тогдашним мальчишкам, было ясно, что самолет, упавший недалеко от города, хоть и в горах, никак не мог быть подбитым над городом, потому что самолеты эти всегда пролетали очень высоко. Так что подбили его, скорее всего, где-то над Батумом или над Гаграми в крайнем случае, но никак не над нашим городом.

Правда, в те времена слухи эти ввиду их полезного воздействия на жителей города не опровергались, хотя официально, скажем, через газету или радио, и не подтверждались никак.

Напав на след этих летчиков, бойцы истребительного батальона гнались за ними целую ночь и в конце концов до того их запутали, что они не нашли ничего лучшего, как после

длительного бегства выбежать на нашу пригородную гору и укрыться в верхней пещере.

Правда, дело происходило ночью, а город был погашен ввиду всеобщей маскировки (вот что значит хорошая маскировка, а некоторые в те времена недооценивали ее), так что ночью летчики могли и не заметить, куда их загнали, а утром было поздно.

На рассвете к пещере подошли бойцы истребительного батальона, состоявшего из выбракованных, непригодных для армии абхазских крестьян со своим командиром, русским лейтенантом-фронтовиком.

Пытались было сунуться в пещеру — летчики стреляют. Лейтенант, дождавшись открытия городских учреждений, послал туда человека за переводчиком. Пришел переводчик с рупором, вроде тех, что употребляют физруки на общешкольных зарядках и на стадионе (уж не в нашей ли школе он его прихватил?!).

Говорят, этот рупор, может быть, потому, что на нем было несколько латок, сразу же не понравился бойцам истребительного батальона. Говорят, при виде этого рупора некоторые высказались, правда, по-абхазски, что городские власти могли и поновей кричалку прислать по этому случаю.

Так или иначе, переводчик подошел к краю пещеры и, осторожно высунув рупор, прокричал в глубину, чтобы немцы сдавались по-хорошему, а то их возьмут по-плохому. Несколько раз он повторял свое предложение, но немцы ничего не отвечали.

Немцы молчали, но бойцы истребительного батальона, услышав звуки языка, никак не похожего ни на абхазский, ни на грузинский, ни на армянский, ни на турецкий, ни на греческий, ни даже на русский, стали хохотать, уверяя друг друга, что на такой тарабарщине двуногое существо говорить никак не может и не должно.

Бойцы истребительного батальона до того развеселились, что стали мешать переводчику, и лейтенант вынужден был на них прикрикнуть. Бойцы слегка притихли, но зато свои насмешки перенесли на самого переводчика и его трубу. Сначала они ему предлагали, чтобы он свою кричалку закинул немцам, а то им нечем ему отвечать, а себе притащил бы другую, если это не единственная кричалка на весь город. Главное, говорили они ему, перекинуть ее через верхнюю площадку, а там она сама вниз покатится.

Толмач продолжал кричать немцам, стараясь не обращать внимание на насмешки. Немцы продолжали молчать, а бойцы истребительного батальона вовсе распались, уверяя, что если он вкритится в одно место во-он того ослика, что пasetся на склоне, то оттуда он найдет якобы больше отзвука, и притом понятного на всех языках.

То ли от волнения, то ли с отчаянья, стараясь доказать, что немцы все-таки будут ему отвечать, толмач, крича им в очередной раз, слишком сильно высунулся, правда за счет своего рупора, а не за счет своей головы.

И вдруг из пещеры раздался выстрел. Рупор выпал из рук переводчика, и сам он свалился, схватившись руками за рот.

Бойцы истребительного батальона подскочили к нему, решив, что пуля, пробив рупор, рикошетом влетела ему в рот, потому что все видели, что хоть он и сильно высунулся, а все же не за счет головы, а за счет рупора.

Но, слава Богу, все обошлось. Не успели они подойти, как он вскочил на ноги и только попросил достать ему рупор, который выкатился на такое место, что его можно было еще раз прострелить из пещеры. Один из бойцов осторожно поддел его дулом вытянутой винтовки и вернул в безопасное пространство. Бойцы истребительного батальона убедились, что рупор был пробит насквозь. Каждый из них счел своим долгом всунуть палец в выходное отверстие и подивиться силе немецкой пули. Некоторые нюхали его, уверяя, что оно чем-то пахнет.

Переводчик окончательно пришел в себя и снова стал кричать в свой рупор, чтобы немцы сдавались по-хорошему, но на этот раз звук его голоса, наверное из-за дырки в рупоре, вырывался неубедительно, с какими-то позорными отвлечениями. Так что тут не только бойцы истребительного батальона стали хохотать, но и сам лейтенант не выдержал и сурово улыбнулся. К довершению всего ослик хироманта, что пасся тут же на склоне, неожиданно закричал своим тоскливым голосом, и получилось, что он-то как раз и отвечает на призыв переводчика, хотя, скорее всего, он кричал сам по себе, по своим надобностям.

Переводчику велели отдохнуть, и лейтенант стал советовать, как быть дальше. Некоторые бойцы истребительного

батальона предлагали взять пещеру приступом, кстати, пусть вперед этого ослика, что даром здесь пасется, чтобы немцы отвлекли на него свой огонь.

Другие предлагали, пока ветер дует с моря, развести у выхода из пещеры большой костер, и немцы, в конце концов задыхаясь от дыма, будут прыгать из пещеры прямо в огонь, откуда их останется только выкатить, как печеные каштаны.

Лейтенант оба эти предложения отверг. Он полагал, что немцев могут убить во время штурма, тем более ему не хотелось брать в плен каких-то там обгорелых, подпорченных немцев.

— За целый год, — сказал он, — один самолет сбили, и я вам этих немцев не дам испортить.

— Как хочешь, — сказали бойцы истребительного батальона, — нам на этих немцах не пахать.

Они опять расположились на лужайке под пещерой и развели костер, замаскировав его к вечеру плащ-палаткой. Так они просидели до утра, вспоминая всякие деревенские истории. Временами кто-нибудь из них оглядывался на пещеру, приговаривая, что если уж немцы выскочат из нее, то никак не может случиться, чтобы хоть один из них этого не заметил.

— Такого и быть не может, — услышав эти слова, заключал один из остальных бойцов, окончательно успокаивая и без того спокойного товарища.

На следующее утро бойцы опять запросили лобовой атаки, ссылаясь на то, что немецкие летчики, по слухам, едят шо-

колад, и на нем они могут продержаться до самых холодов. Лейтенант заколебался.

Бойцы стали искать глазами ослика, которого они собирались пустить вперед, но его нигде на склоне не оказалось. Тогда кто-то вспомнил, что возле ослика все время сидел один из волчат хироманта, которого они прозвали немым, хотя он не был немым, а только молчал, как и весь выводок.

Лейтенант пошел договариваться с хиромантом насчет ослика и тут неожиданно получил от него встречное предложение. Лейтенанту оно показалось дельным, и он согласился.

Оказывается, пещера хироманта через один из коридоров узким лазом соединялась с верхней пещерой, о чем никто, кроме него, не знал. Вернее, и он не знал, да один из его волчат рассказал ему об этом. И именно тот, что все время торчал поблизости от бойцов истребительного батальона, — не то пас ослика, не то слушал, о чем они говорят, покамест бойцы не перестали на него обращать внимание, приняв его за глухонемого, не понимающего по-абхазски.

Оказывается, он давно обнаружил этот лаз и использовал его для своих надобностей. Он сознался, что лаз ведет в самую глубину верхней пещеры, где протекает подземный ручей.

План хироманта был прост и разумен: проникнуть в глубину верхней пещеры, перекрыть ручей, вернуться назад и ждать, пока вода поднимется до уровня верхней

площадки и немцы всплывут вместе с ней. А если у них в голове еще что-нибудь кумекает, то они сдадутся гораздо раньше.

Чтобы избежать возможной провокации, лейтенант пустил на это дело самого хироманта, на что тот не очень охотно согласился, думая ограничиться подачей идеи. Но все же пошел.

Ждали его обратно около трех часов и уже было заподозрили, что он там стакнулся с немцами и, может быть, захочет вывести их через свою пещеру, так что лейтенант с двумя бойцами спустился в нижнюю пещеру и стерег выход из лаза, освещая его электрическим фонариком.

Говорят, когда хиромант выполз из дыры, весь измазанный мокрой глиной, лейтенант не стал его тормошить, а дал выйти из пещеры на свет Божий. Хиромант постоял возле своей пещеры, утирая/одной рукой мокрую бороду и сослепу поводя головой. Говорят, он так с минуту постоял, окруженный бойцами истребительного батальона и собственным многочисленным выводком во главе с тринадцатилетним рыжиком, который молча, как и все, дожидался отца, постругивая палочку сапожным ножом.

— Змееныш! — неожиданно закричал хиромант и, с безумным проворством подхватив полено, валявшееся у ног, ринулся за одним из своих волчат, а именно за тем, который рассказывал ему про лаз.

Тот молча побежал от отца, и теперь было видно, что и отец поводил головой, готовясь к прыжку, и рыжик хоть

и не сдвинулся с места до того, как отец ринулся на него, но ждал этого и был готов.

Очевидцы говорили, что их никогда не охватывала такая жуть, как в эти минуты, когда хиромант бежал за сыном по лужайке, карабкался за ним по склону над пещерой, пытался его достать, когда тот пробежал мимо остальных рыжеголовых, молча, одними глазами следивших за происходящим.

Жуть эта подымалась, как они позже сообразили, даже не столько от вида разъяренного, измазанного глиной рыжебородого, с поленом в руке догоняющего сына, и даже не оттого, что оба они при этом молчали, и только слышалось, как с присвистом и клекотаньем дышит отец, а маленький побряхтывает и злобно оглядывается, ни на мгновение не сдаваясь, а только стараясь соразмерить расстояние и сохранить силы. Она, эта жуть, исходила от остальных волчат, от всей этой молчаливой стаи, в которой одни жевали свою жвачку, а другие просто зыркали глазами, самый старший, так тот и вовсе, кажется, не смотрел, а только постругивал свою палочку и помалкивал, как и все.

И вдруг, когда отец пробежал мимо него (значит, все-таки следил!), он неожиданно бросился ему под ноги, и тот, перекувырнувшись через него, полетел на землю и выпустил из рук полено.

А этот встал как ни в чем не бывало и, даже не отряхнувшись, снова принялся за свою палочку и только подальше отпихнул ногой полено.

Как только хиромант рухнул, волчонок, что бежал от него, говорят, остановился и даже приблизился на несколько шагов, а именно те, которые успел пробежать по инерции, и, тяжело дыша, злобно продолжал смотреть на него, как бы предлагая продолжить всю эту игру, если у него хватит пороха. Хиромант в это время катался по лужайке, кусая траву и стараясь врыться головой в землю.

Тут лейтенант подбежал к нему и, опустившись на колени, стал нежно гладить его по спине, приговаривая:

— Чудак-человек, сначала доложи, а потом наказывай!

Как выяснилось потом, ярость хироманта была вызвана тем, что он у ручья на дне верхней пещеры обнаружил следы от костра и целый кощев холм куриных костей.

Успокоившись, хиромант доложил, что хорошо заделал выход подземного ручья и теперь немцам капут, только надо подождать, чтобы вода поднялась.

Вода подымалась медленно, если она вообще подымалась, так что ждать пришлось до следующего утра. А в первые часы было много сомнений насчет того, что хиромант сумел как следует заделать выход подземного ручья. К тому же вода могла просочиться и в других местах.

Ночью один из бойцов истребительного батальона, сидевший вместе с другими у замаскированного плаш-палаткой костра, вдруг догадался, что можно проверить, подымается ли вода в пещере, забрасывая туда камни. Бойцы обрадовались этому открытию и стали собирать камни и забрасывать их в пещеру. В этом деле, говорят, выбракованные крестьяне

оказались ловчее самого лейтенанта. Кидать надо было так, чтобы камень, не задевая свода пещеры, имел достаточно высокую траекторию, чтобы, минуя площадку, проваливаться за обрыв.

И вот, говорят, туча этих самых камней чуть ли не всю ночь летела в пещеру, и после падения некоторых из них иногда казалось, что слышится чмокающий звук, а иногда ничего не казалось. Один раз они услышали не то ругань, не то стон одного из немцев, в которого, видно, попал камень. Тут бойцы истребительного батальона дружно зааплодировали, но, разумеется, не тому, что в немца попал камень, они в него не целились, а тому, что немцы или хотя бы один из них жив и подает голос.

Неизвестно, чем бы кончилось это швырянье камнями, может, они дошвырялись бы до того, что просто захоронили бы немцев в этих камнях или даже искусственно подняли бы уровень воды в запруженном ручье, если бы среди них не появился взволнованный хиромант.

Он сказал, что из лаза полилась вода, что она залила огонь под самогонным аппаратом и что ему едва удалось предотвратить взрыв котла. Но теперь все в порядке, добавил он, так что вода в пещере будет подыматься еще быстрее.

— Я ему заткнул глотку, — уверил он лейтенанта напоследок.

— И успел промочить свою, — ответил ему лейтенант с упреком и послал бойцов проверить состояние лаза.

Все оказалось правдой, а на рассвете наконец из пещеры полилась вода. Сначала она стекала вниз по камням, как пер-

вач по соломинке, а потом пошла ручьем. Первая струя была встречена громом аплодисментов и свадебной песней бойцов истребительного батальона.

Потом один из бойцов отделился от остальных и подошел к ручью. Он снял винтовку, осторожно прислонил ее к одному из больших камней, между которыми пробегал новоявленный ручей, снял кружку с пояса, ополоснул ее, набрал воды, сказав несколько непонятных слов, стал медленно пить.

Лейтенант очень удивился всей этой процедуре, и когда спросил, что все это означает, один из бойцов истребительного батальона, лучше других говоривший по-русски, улыбаясь его наивности, объяснил, что это он пьет кровь побежденного врага, что раз уж он выпил эту кровь, немцам ничего не остается, как сложить оружие.

Лейтенант махнул рукой и послал человека в учреждение за переводчиком. Боец истребительного батальона все еще дегустировал символическую кровь врага, а остальные внимательно следили за ним, когда неизвестно откуда выползший один из рыжих волчат стащил его винтовку и поволок ее вверх по склону.

Он уже метров пятьдесят прокарабкался, когда, неспешно допив кровь врага, боец истребительного батальона стал озираться в поисках своего оружия.

— Сдается мне, — сказал ему один из бойцов, кивая на гору, — что этот глухой с твоей винтовкой карабкается...

— Хайт! Его глухую мать! — вскричал оскорбленный дегустатор крови и с быстротой оленя помчался вверх. Он бе-

жал, сверкая своей кружкой, которую то ли по забывчивости, то ли решив, что в этих гиблых местах вообще ничего нельзя оставлять без присмотра, захватил с собой. Бойцы истребительного батальона заулюлюкали, засвистели, и было непонятно, своего товарища они взбадривают или рыжика. Скорее всего, и того и другого. Бегать от абхаза по горам — бесполезное дело, тем более рыжик карабкался под тяжестью винтовки, а боец был налегке, если не считать его кружки.

Расстояние быстро сокращалось, но, видно, гнев бойца переливался через край, потому что он метров за десять от рыжика не удержался и швырнул в него кружкой. Кружка просверкнула мимо, но рыжик выпустил добычу и уже дальше помчался налегке.

Боец, добравшись до винтовки, не стал его преследовать, а помчался за своей кружкой, которая, звякая и подпрыгивая по каменистому склону, покатила в обратном направлении, что и спасло рыжика от хорошей взбучки. Кстати, кружку свою этот злосчастный боец так и не смог поймать, хоть и мчался за ней до самой полянки. Говорят, на каждый отскок ее от крутого каменистого склона он, продолжая бежать, отвечал угрозами обесчестить эти самые камни, не смущаясь ни их суровыми формами, ни их почтенным геологическим возрастом. Надо сказать, что по части подобных выражений абхазский язык, пожалуй, побогаче русского (тоже небедного!), хотя и значительно уступает турецкому.

Короче говоря, кружка эта, может ошалевшая от своего символического употребления, даже пыталась перепрыгнуть полянку, на которой стояли остальные бойцы, но тут один из них изловчился и сбил ее своей шапкой.

Хозяин, наконец добравшись до нее, снова принялся пить воду, но уже не придавая этому никакого символического значения, а главное, не выпуская из левой руки спасенную винтовку. Говорят, он выпил несколько кружек и, каждый раз зачерпнув из ручья, внимательно следил, не протекает ли, бормоча при этом:

— Моя бедная... цинковая... чуть не загорбил, новехонькую...

Напившись, он камнем выправил ее помятые бока и, окончательно успокоившись, привязал к своему поясу. А волчонка, что пытался похитить ружье, уселся на самой вершине горы и сидел там до тех пор, сияя рыжей головенкой, пока бойцы вместе с немцами не покинули горы.

Вновь появился толмач со своей трубой, теперь уже аккуратно залатанной новыми железными латками, что почему-то язвительно отметили бойцы истребительного батальона. К тому же они стали подшучивать над своим товарищем, заметив его нежную привязанность к своей кружке, говоря, что нечего ему было так бояться за свою кружку, что в случае чего толмач привел бы ее в порядок, вон как свою трубу залатал.

— Так я ему и доверил ее, — отвечал боец, пошлепывая по кружке ладонью, — я с нею три года пропастишил, а тут пришел в город — и на тебе.

Лейтенант снова стал торопить толмача, он боялся, как бы немцы не утонули. Толмач снова стал кричать в свою трубу, чтобы немцы сдавались по-хорошему.

И тут из пещеры наконец раздался хриплый голос. Лейтенант и все бойцы очень обрадовались этому голосу. Лейтенант радостно приказал немцам, чтобы они плыли к выходу. Толмач передал приказ, и из пещеры снова раздался голос.

— Он говорит, что они не умеют плавать, — не вполне уверенно перевел толмач.

— Тогда как же они держатся? — удивился лейтенант.

Толмач перевел его удивление. Теперь немцы охотно переговаривались и даже продолжали что-то говорить, пока толмач оборачивался к лейтенанту.

— Он говорит, что они держатся на пробковых поясах, — перевел толмач, — потому что летают из Румынии.

— Ах, из Румынии? — удивился лейтенант и приказал, чтобы немцы отдавались течению, что оно их как раз и вытянет к выходу. Но тут немец, тот, что переговаривался, прохрипел, что они отдаваться течению не намерены, что они, наоборот, держатся за сталактит и будут держаться, хотя у них вышли из строя электрические обогреватели.

— А почему второй молчит? — вдруг спросил лейтенант. По мнению некоторых позднейших комментаторов, этот вопрос был связан с тем, что он хотел сыграть на возможных противоречиях между осажденными немцами. Может, так оно и было, а может, он просто хотел узнать, жив ли второй немец.

— Он говорит, что его товарищ потерял голос, — перевел толмач.

— Скажи им, чтоб скорее сдавались, — заторопил его лейтенант, — а то и этот совсем осипнет... На черта нам сдались безголосые «языки»...

Толмач приник к своей трубе, но тут, говорят, лейтенант его остановил и сказал, чтобы про безголосые «языки» он немцам не переводил.

— Что, я первый раз, что ли?! — ответил толмач обиженно, хотя обижаться было не на что, тем более что он и в самом деле первый раз работал с немцами. Об этом в городе знали точно, а пленных вообще тогда еще не было в наших краях.

На этот раз он долго переговаривался с немцами и даже спорил с тем из них, кто все еще мог отвечать, а лейтенант все пыривался узнать, что они говорят, но толмач отмахивался от него и никак не мог оторваться от своей залатанной трубы.

Возможно, он не все понимал, учитывая, что немец довольно сильно хрипел и у него не было даже такого латаного-перелатаного рупора, если не считать самой пещеры, которая до того гулко резонировала и гремела немецким эхом, что в иные мгновенья казалось — уж не расплодись ли они там в нашей животворной воде?

Одним словом, он до того долго с ними переговаривался, что, когда перевел смысл разговора, бойцы истребительно-го батальона остались недовольны, ворча, что такой долгий разговор можно было перевести и подлинней. Как-то он им

не пришелся по вкусу, этот толмач, вот они и придирались к нему.

— Он говорит, — перевел толмач, — что немецкие летчики могут продержаться в черноморской воде тридцать часов и что хотя вода в пещере гораздо холодней, они будут держаться оставшиеся два часа с оружием в руках.

— Вот суки! — восхитился лейтенант психикой немцев, еще не сломленной Сталинградом, и велел ждать.

К этому времени весь поселок и все живущие под горой собрались у пещеры, и, конечно, не обошлось без Богатого Портного. С начала осады немцев он каждый день, прихрамывая, навевывался сюда. Уже в первый день он пришел сюда с ковриком и с нардами. За это время он много чего здесь наговорил, но в памяти очевидцев остались два его изречения.

— Тот человек счастливый, — сказал он, расставляя фишки для новой партии в нарды и внезапно останавливаясь, словно прислушиваясь к грохоту далекой канонады, — тот человек счастливый, что сейчас на фронте в самом пекле находится...

В этом его не слишком ясном изречении было понятно только одно, что ему хочется на фронт, но, увы, больная нога не пускает. После своего ишиаса, полученного в часы ночных бдений в саду, он и раньше прихрамывал с оттенком участника гражданской войны. Теперь он вовсе захромал уже без всяких оттенков, жалуясь при случае, что у него в колене нашли гнилую воду.

В этот день он предложил лейтенанту прорыть гору над пещерой и выйти немцам в тыл. (Но это еще не второе его изречение, тем более, что лейтенант его не послушался.)

— Вот и рой, — холодно ответил ему лейтенант.

Ровно через два часа лейтенант, взяв с собой троих добровольцев, отправился в пещеру. Он разъяснил бойцам, что враг хотя измотан, но продолжает оставаться коварным, поэтому надо быть начеку, но стрелять только в самом крайнем случае.

Сзади на некотором расстоянии шел переводчик, слегка прикрываясь рупором, хотя уже было достаточно ясно, что немецкая пуля его пробивает. Один из бойцов, проявив военную хитрость, привязал электрический фонарик к дулу своей винтовки и, оттянув ее подальше от себя и своих товарищей, освещал дорогу, чтобы запугать немцев, если они проявят вероломство. Но немцы стрелять не стали.

Трое бойцов вместе с лейтенантом и догнавшим их переводчиком, хлюпая по воде, подошли к краю огромного озера. В середине озера торчала вершина сталактита, которую, стараясь пистолеты держать повыше, в обнимку сжимали летчики. Лейтенант включил и свой фонарик, так что оба немца теперь беспомощно помаргивали белесыми глазами в прожекторном перекрещении двух световых лучей.

Толмач опять попытался говорить в рупор, но тут уж лейтенант не выдержал и, выхватив у него трубу, бросил ее в воду, и сразу же всем, может быть даже включая немцев, стало ясно, до чего эта труба надоела лейтенанту и какую железную выдержку проявил он, смиряясь с ее необходимостью.

— Говори так, — сказал он ему, кивая на сравнительно большое расстояние от сталактита до берега.

— Хорошо, — ответил толмач, тоже проявив немалую выдержку, — но за то, что ты это сделал при немцах, ответишь.

— А немцы и не видели, — вступился один из бойцов за своего лейтенанта, имея в виду, что немцы их фонарями не освещали, а, наоборот, они немцев освещали.

— Там выяснят, — ответил толмач мимоходом, продолжая слушать немцев, отчего его угроза прозвучала еще убедительней.

Боец хотел было войти в воду и достать рупор, тем более что упал он недалеко, но тут опять произошло замешательство, потому что немцы к берегу плыть отказались. Они сказали (говорил-то все еще один из них), что сами в плен не сдаются, но, если их возьмут в плен, они не отказываются. Тогда лейтенант приказал бросить сталактит, потому что будет рассматривать это как сопротивление. Тут немцы, говорят, переглянулись и в самом деле бросили сталактит, после чего они еще некоторое время с дурацким выражением нейтралитета покружились на поверхности озера, и когда приблизились на расстояние вытянутой винтовки, их окончательно подогнали к берегу.

Поразительно, что, выходя из воды, один из них успел вытащить рупор и подать его именно толмачу, из чего неминуемо следовало, что столкновение лейтенанта с переводчиком не осталось незамеченным. Беря рупор, толмач кивнул головой, как бы злорадно намекая на это обстоятельство.

Вытащив из оцепеневших пальцев пленных пистолеты, их выволокли на солнце. К великому удивлению всех людей, надо полагать, всех, кроме хироманта и его выводка, мокрые немцы оказались облепленными каким-то пухом и перьями, словно это были не подбитые летчики, а Дедал и Икар после неудачного полета.

Немного отдышавшись, тот из немцев, у которого оставался кое-какой голосишко, что-то стал говорить переводчику, показывая на голову своего онемевшего товарища, из чего жители поселка сделали чересчур поспешный вывод, что второй немец сошел с ума.

— Притворяется! — крикнул Богатый Портной, но тут переводчик доложил, что немец намекает на камни, которые ночью бросали в пещеру.

— Он говорит, что будет жаловаться на нечестное ведение боя, — перевел толмач, продолжая мстить за свой рупор. Но лейтенант не растерялся.

— А кто мирный договор нарушил? — спросил он в упор.

На это немец не нашелся что ответить и неожиданно принялся чихать, а через секунду к нему присоединился и второй пленный. Тут бойцы да и сам лейтенант обрадовались, что у второго немца хоть таким образом прорезался голос. И тогда все поняли, что немец онемел не от камня, а от простуды, в чем сам же виноват. Тут один из бойцов истребительного батальона привел, имея в виду этого невезучего немца, абхазскую пословицу, гласящую, что, мол, упавшего с дерева укусила змея.

Бойцы истребительного батальона посмеялись удачно приведенной поговорке, и тогда тот, кто ее вовремя вспомнил, попросил переводчика перевести ее на немецкий язык для пострадавшего немца.

Говорят, переводчик довольно долго переводил эту поговорку на немецкий язык, а немец продолжал чихать, глядя на него непонимающими глазами, может быть решив, что уже начался допрос.

Пока переводчик, поднатужившись, старался довести до сознания пленного немца смысл поговорки, указывая для наглядности на его голову, бойцы истребительного батальона рассказывали окружающим представителям других наций, как сжат и точен абхазский язык, если переводчику так долго приходится переводить эту поговорку. Представители других наций сдержанно соглашались, намекая, что и в их языках тоже есть немало хорошего.

Перевод поговорки, видно, как-то не дошел до сознания немцев, потому что тот, кто пострадал от камня, неожиданно энергично замотал головой и что-то просипел, как бы в корне не соглашаясь с поговоркой, что выглядело не вполне прилично со стороны пленного. Но тут второй немец разъяснил, что его товарищ, когда парашют зацепился за дерево, не упал с него, а спрыгнул, потому что там было невысоко.

Но тут вмешался лейтенант и велел оставить немцев в покое, оберегая их умственные усилия для более важных дел. Но немцев не оставили в покое, потому что к ним про-

тиснулся Богатый Портной и сказал, обращаясь к переводчику:

— Переведи слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!»

Это было второе его изречение, надолго запомнившееся местным жителям.

— Для чего? — спросил переводчик, и без того утомленный предыдущей поговоркой.

— Интересно, что они скажут, — сказал Богатый Портной.

Но тут лейтенант опять отстранил Богатого Портного, да и непохоже было, чтобы немцы могли что-нибудь отвечать, потому что они как принялись чихать, так и продолжали, почти не переставая.

И потом, когда их вели к машине и в самой машине, они продолжали чихать, и даже когда приехали в НКВД, никак не унимались. Да и позже, в кабинете самого полковника, рассказывают жители нашего города, немцы продолжали почиывать, хотя и не столь безудержно, но и без особых признаков затухания.

А все тот же толмач, рассказывают старожилы, хотя непонятно, откуда они все это видели или тем более слышали, стоял рядом с ними весьма удрученный, но уже не тем, что нельзя пользоваться рупором, а тем, что вот полковник все ждет, постукивая пальцами по столу, а ему и переводить нечего, кроме этого чихания.

Но тут, говорят, полковник перестал постукивать пальцами, а надо полагать, потеряв терпение, двинул всем кулаком

по столу и сказал несколько русских слов, которые в переводе могли прозвучать как строгое напоминание о том, что они находятся не в поликлинике, а совсем в другом месте. И тут, говорят всезнающие старожилы, немцы перестали чихать и притихли, перед тем как заговорить.

В тот же день в пещеру был вызван водолаз, потому что вода начала заливать жителей, живущих у подножия горы, и он, открыв завал, устроенный хиромантом, спустил воду. Вот так хироманта за его полезную находчивость оставили жить в нижней сталактитовой пещере, хотя сам лаз у выхода в верхнюю сталактитовую пещеру на всякий случай заделали железной решеткой.

Подбитый немецкий самолет, это был «юнкерс», выволокли на буйволах из ущелья, где он застрял, привезли в город и поставили в парке, сохранив его ужасный вид для наглядного примера того, что ждет всю германскую военную машину, а не только ее отдельные самолеты. Там он стоял в неприглядном виде до самого конца войны и даже дольше. Должен сказать, что события этого бурного года я отчасти восстанавливаю со слов очевидцев, так что кое-где возможны некоторые преувеличения, впрочем незначительные. Дело в том, что как только появилась опасность попасть под бомбежку, мама решила тактически более правильным (экономически тоже) переехать в деревню, что мы и сделали.

Когда мы вернулись из деревни, события на фронте изменились в нашу пользу, и в городе было полным-полно пленных немцев. Они работали в основном на строительстве раз-

рушенных бомбежкой домов, что было вполне справедливо и поучительно. Кстати, заодно они восстановили и привели в порядок наш театр, сгоревший из-за халатности неизвестного лица.

Среди пленных находились и двое этих летчиков, и когда колонна проходила по улице, они обычно стояли рядом. С бодрыми песнями, лихо шелкая деревянными босоножками, они проходили по улицам города.

Я часто замечал, когда они проходили мимо парка, каким странным взглядом эти двое смотрели на свой самолет. Но если они даже не смотрели туда, наши старожилы, которым случалось стоять поблизости, рукой показывали им на парк в том смысле, что во-он ваш самолет еще стоит, на что эти двое, а иногда и остальные пленные вежливо кивали головой, давая знать, что этот факт им известен.

Во взгляде старожиллов на этих двух летчиков, как, впрочем, и во взгляде летчиков на свой бывший самолет, было много скрытого юмора. Старожиллы своими взглядами и кивками в сторону летчиков как бы напоминали им, что они, эти летчики, личная лепта нашего города в общей победе над немцами и что поэтому им, летчикам, не стоит слишком затеряться в толпе пленных.

«Ладно, не затеряемся», — как бы отвечали летчики своим суховатым кивком. Возможно, им надоедали эти бесконечные напоминания. Во взгляде летчиков на свой самолет тоже было немало смешного. Теперь, осовременивая впечатление от этого взгляда, но не меняя его сути, я бы осмелил-

ся привести такой образ. Так мог бы смотреть посетитель ночного кабаре на танцовщицу этого кабаре, в которой вдруг узнал свою бывшую жену. В качестве бывшего мужа он как бы оскорблен этой встречей и в то же время показывает взглядом, что никакой ответственности не несет за ее теперешнее поведение.

Но вернемся к нашему хироманту. После войны, когда в наших краях стало появляться довольно много туристов, он сам себя назначил проводником в эту теперь уже знаменитую пещеру. В разгар сезона он обычно сидел у входа в пещеру в одних трусах, иногда измазанный пещерной глиной, якобы удерживающей организм от старения.

— Войдешь старичком, выйдешь бодрячком! — говорил он, подмигивая и кивая на рыжую команду, если она околичивалась рядом.

Туристы, как правило, клевали на его призыв, и тогда он им предлагал раздеться, раздавал свечи собственного изготовления и, оставив одежду под присмотром кого-нибудь из рыжиков, отправлялся в путь. По дороге он успевал себе выбрать, как бы шутливо, интеллигентную фаворитку в купальном костюме.

В пещере он обычно рассказывал историю поимки немецких летчиков и показывал на сталактит, за который они держались, когда их стала поднимать вода. Высоко подняв свечи, туристы вглядывались в вершину сталактита, стараясь разглядеть на ней следы пребывания немецких летчиков, хотя никаких следов там не было.

Когда группа доходила до места, где имелись небольшие, по его уверениям, запасы целебной глины, он предлагал всем натереться этой глиной, а фаворитку натирал сам.

В глубине пещеры, у самого ручья был очень крутой, метров на десять, глинистый (по-моему, такой же целебный) обрыв, раскатанный неугомонными заданн его рыжих волчат. Обрыв этот можно было обойти, но хиромант всегда приводил туристов к этому месту.

Обычно, подходя к этому месту, он отбирал у них свечи, часть из них гасил, а одну или две, придавив к ближайшим сталактитам, оставлял гореть. После этого он пропускал вперед ничего не подозревающих туристов, а сам, придерживая за руку свою избранницу, оставался сзади.

Туристы один за другим с предсмертным воплем летели в бездну и тут же бултыхались в довольно глубокий бо-чаг, служивший вполне безопасным тормозящим устройством.

Каждый раз после того, как кто-нибудь летел вниз, сверху раздавался демонический хохот хироманта. Проводив всех в бездну, он вместе с фавориткой обрушивался вниз, на лету издавая радостный вопль.

— Афинские ночи!

Это была его любимая шутка, которая ему никогда не надоедала. Многие туристы говорили, что после выхода из пещеры они ощущают исключительный прилив физических и духовных сил, который объясняли немедленным воздействием целебной глины.

Я сам неоднократно обрушивался в эту бездну, и надо сказать, что радость по поводу того, что остался жив, надолго прекрывала несколько мгновений ужаса, испытанного во время падения.

Гадать он, кстати, предлагал после выхода из пещеры, уже дружелюбно и весело настроенным туристам. Если гадание проходило успешно, он в виде особой любезности предлагал им купить пещерный жемчуг, маленькие, с горошину, желтоватые камушки, которые, по-моему, он сам же обтачивал.

Если же туристы, проходившие по этим местам, отказывались гадать, покупать свечи, вымазаться целебной глиной, поверить в естественное происхождение пещерного жемчуга, и вообще никак не давали себя загнать в пещеру, хиромант мрачно кивал головой и говорил:

— Ничего, идите, идите...

С несколько подпорченным настроением туристы шли дальше, и ничего особенного с ними не случилось. Разве что, если в компании не было достаточно решительных мужчин, их догонял рыжий выводок и отбирал бутерброды и банки со сгущенным молоком.

После войны хиромант перестал ездить по дворам и гадать. То ли люди стали плохо верить в хиромантию, то ли ему это запретили в связи с внесением большей четкости в идеологическую работу, остается неизвестным.

Где-то в конце сороковых годов он исчез вместе с осликом и всем своим многочисленным выводком. О его дальнейшей судьбе я лично ничего не знаю. Все же в памяти старожил

нашего города (напоминаю, что речь идет о городе Мухусе, а не каком-нибудь другом, чтобы не было путаницы, обид, жалоб), так вот в памяти старожиллов нашего города он оставил довольно яркий след, его и сейчас хорошо помнят.

путь из варяг в греки

Поговорим о вине. Поговорим о сильных и слабых свойствах этого напитка, ибо его сила состоит в том, что он порой и слабого может сделать сильным, а его слабость как раз в том, что он и сильного может обессилить.

Поговорим о вине. Будем доверчивы и раскованны так, как будто мы в Абхазии сидим на веранде крестьянского дома, пьем по второму стакану «изабеллы» и закусываем жареной кукурузой и грецкими орехами. Благородная легкость и походная сухость закуски еще лучше оттенят орошающий смысл виноградной влаги и придадут нашему застолью уют военного бивуака, тем более приятного, что он не омрачен предстоящими сражениями. И пусть, прежде чем делать окончательные выводы, каждый вспомнит какую-нибудь поучительную историю, связанную с этим напитком, я же буду рассказывать о том, что было со мной.

У меня очень ранние воспоминания о вине. Не скрою — в нашем доме любили выпить, умели выпить и, просто говоря, пили. Среди многочисленных шумных мужчин нашего дома только двое не пили — это я и мой сумасшедший дядя. Нелю-

бовь моего дяди к спиртным напиткам была предметом постоянных веселых обсуждений со стороны гостей нашего дома. Тема эта с неизменным гостеприимством поддерживалась хозяевами и ни разу на моей памяти не подвергалась ограничениям из фамильных или педагогических соображений.

Иногда, пользуясь детской привязанностью моего дядюшки к лимонаду, как бы пародируя недалекое феодальное прошлое нашего края, гости пытались путем всякого рода подмешивания подсунуть ему алкоголь. Но он быстро угадывал обман, и эти проделки нередко карались им сурово и, я бы сказал, со старообрядческой простотой.

В конце концов, гости приходили к выводу, что его нелюбовь к спиртным напиткам, а также и к носителям спиртного духа, то есть к пьяным, есть концентрированное выражение его ненормального состояния, особого рода парадокса внутри парадокса его безумия, обернувшего более естественную в его состоянии водобоязнь на темный страх перед ни в чем не повинными веселительными напитками.

Сейчас, думая о причине крайнего недовольства дядюшки при виде пьяных и в особенности при их попытках объяснить с ним, я прихожу к выводу, что его раздражали эти чересчур эстрадные имитации безумия, эти коммунальные прогулки в глубины подсознания. Так, вероятно, шахтера раздражают профсоюзные экскурсанты, топчущиеся в забое и даже как бы пробующие кайлить уголь.

Примерно лет с девяти гости стали удивленно приглядываться ко мне. Ход их мысли, который я угадывал в недо-

уменном пожатии плеч, в вопросительно приподнятых бровях, в странном переглядывании, был примерно таков: сумасшедший он, конечно, сумасшедший, с него, как говорится, и взятки гладки, но этот-то почему торчит между нами и ничего не пьет? Не стоит ли приглядеться к нему, нет ли тут проявлений дурной наследственности?

Все началось с того, что один из постоянных наших гостей, которого я называл Красным Дядей по причине его апоплексического цвета лица, как-то предложил мне выпить рюмку вина. Помнится, кто-то из женщин возразил. Тогда он стал с пьяной настойчивостью спорить. В конце концов, чтобы успокоить его, я вынужден был сказать, что вообще никогда не пью, потому что мне от этого неприятно.

Возможно, этими словами я, смутно угадывая, выражал тоску женщин по новому стойкому типу непьющего мужчины, который тогда уже пытались выработать, но, к сожалению, до сих пор еще не выработали, во всяком случае недоработали, хотя опыты продолжаются. Видимо, и Красный Дядя почувствовал в моих словах отголоски морали, которую ему навязали, или какой-то иной системы отчета человеческих добродетелей, которая унижала его систему. Во всяком случае, он как-то глупо и упрямо обиделся.

Во время очередного застолья он снова вспомнил наш разговор и теперь попытался доискаться до глубинной причины моей трезвенности. Забавно, что он об этом вспомнил не сразу, а после некоторого возлияния, когда, вероятно, уровень

выпитого поднялся до той зарубки, с которой он в тот раз стал приставать ко мне.

— Нет, ты мне скажи, — говорил он, — тебе неприятно до того, как ты пьешь, или после?

— Мне всегда неприятно, потому что я никогда не пью, — отвечал я ему с пионерской отчетливостью.

Одним словом, эта моя мнимая особенность стала предметом разговоров, обычно предвещающих славу. Постепенно я вошел во вкус и стал разыгрывать из себя мальчика, у которого организм обладает добродетельной странностью отталкивать алкогольные напитки.

Интересно, что как только я утвердился в этой роли и все поверили, что у меня в самом деле такое забавное свойство организма, я почувствовал в себе жгучую, раздраженно нарастающую страсть к алкоголю. Я вспоминаю себя в кухне, когда гости уже вышли, а наши еще провожают их со двора, в страшной спешке допивающего из бутылок последние капли. То же самое я делал, когда посылали меня за вином, со свежими, только что приконченными бутылками.

К моему счастью, пили в основном вино, а гость по своему характеру был таков, что, пока есть что пить, никуда не уходил. Сейчас, вспоминая ощущение, которое я испытывал, когда допивал эти жалкие капли из бутылок и стаканов, я чувствую, что это было истинное состояние алкоголика. Я чувствовал, что те места на языке и горле, которые удавалось увлажнить винной влагой, приходили в состояние физиоло-

гического оживления и еще больше увеличивали жажду, как бы давая местные образцы ее утоления.

Сейчас в это трудно поверить, но лет с десяти до четырнадцати я был теоретическим алкоголиком, испытывая пламенное желание напиться и ни разу не удовлетворив его. Думаю, что все это кончилось бы плохо, если бы не один счастливый случай, - который вывел меня из этого опасного состояния.

Как-то зимой я жил в горах у своего дяди, о котором я уже неоднократно писал и намерен писать еще. И вот однажды он поручил мне принести к ужину чайник вина. Надо было набрать его из кувшина, зарытого в землю недалеко от дядиного дома, на старой усадьбе, где жил когда-то его брат.

Вечереет. Какой-то предвесенний, еще голубоватый от снега день. Кое-где проталины, а в воздухе привкус праздника, предчувствие тайны обновления, и я с позвякивающим чайником в одной руке и черпаком в другой иду за вином. Черпак этот представляет из себя длинную ручку, насаженную на легкую окостеневшую кубышку из выпотрошенной и высушенной особого рода тыквы.

Но куда я иду? Я иду на свидание с вином, которое в самых воспаленных мечтах умещалось в лимонадную бутылку. А тут тебе целый кувшин и черпак, похожий на черепок карлика, хранителя клада.

В сущности, кто я такой? Я маленький египетский звездочет, тайно мечтавший о рябой дочери феллаха, похожей на печальную верблюдицу, и внезапно получивший любовную записку от Клеопатры с просьбой, близкой к приказу

явиться ровно в полночь. О, зачем? Может, верблюдица лучше?

Но вот я на месте. Вспоминаю, что здесь когда-то стоял сарай. А вот и камень, придавивший сверху кувшин. Я не спешу, как человек, боящийся спугнуть счастье. Может, все это сон? Не лучше ли сделать вид, что просто так пришел поглазеть на знакомые места. Если все исчезнет, можно сказать себе, что ты и не ожидал ничего такого... А вот и сливовое дерево. Длинные, голые ветки, а какие на них бывали летом толстые, в голубоватой пыльце плоды. Проведешь пальцем, а под пыльцой глянцеви́тая темень кожуры, совсем как чернильница, случайно забытая и нашаренная в парте после каникул.

Я ставлю свой чайник на снег, кладу рядом черпак и берусь обеими руками за камень. Он холодный и скользкий, и я, с трудом его приподняв, осторожно ставлю в сторону. Под камнем слой папоротника, который я отдираю от доски и цельным комом, как его спрессовал камень, стараясь не растрясти, кладу в сторону.

Я уже веду себя по-хозяйски. Никакого насилия. Я облюбовываю этот божественный водопой и берегу место для новых встреч. Остается снять доску, прикрывающую кувшин, и я ее снимаю.

Черная, круглая дыра пахнула на меня ароматом переспелого винограда и тайны. Я заметил, что вокруг кувшина нет снега, словно вино излучало жар летнего винограда. Я взял в руки черпак, нагнулся и, чувствуя одним коленом холодную сырость земли, сунул его в отверстие.

Видно, из кувшина уже много раз брали вино, потому что я не мог дотянуться до него. Тогда я нагнулся еще сильнее и по локоть сунул в кувшин руку с черпаком и, наконец, почувствовал трепещущую, плотную поверхность вина. Оно отталкивало легкий шар черпака, сопротивлялось, и я с каким-то странным удовольствием пересилил сопротивление жидкости и услышал, как, чмокнув, черпак захлебнулся в вине.

Я осторожно вытянул его, придержал левой рукой и перехватил правой у самой кубышки мокрую и красную, как голубиная лапа, ручку. Внутри черпака мерцало что-то темное, покрытое местами светлой плесенью, что как-то подтверждало подлинность мерцающей драгоценности.

Я посмотрел по сторонам, дунул в черпак, раздувая плесень, и притронулся губами к его шершавому пористому краю. Я почувствовал ненавязчивый аромат виноградного сока и какой-то растительный, ветхий запах посуды.

Колючая ледяная жидкость полилась в меня. Почти не прерываясь, я выдул весь черпак, чувствуя, как в горле и дальше внутри меня твердеет серебристая полоса онемения. Оторвавшись от черпака, я увидел сквозь голые сухие ветки сливы зелено-серебристый диск луны и почему-то подумал, что если надкусить его краешек, то во рту и в горле будет такое же серебристое онемение, как от вина.

Я уселся на сухой, слежавшийся ком папоротника, так что горлышко кувшина оказалось у меня между ног наподобие солдатского котелка. Я стал наполнять чайник. Иногда я почему-то, не долив из черпака в чайник, сам допивал, а иногда,

вытащив полный черпак, делал несколько пробных глотков, а остальное доливал в чайник. Наполнив чайник, я несколько раз просто так доставал вино из кувшина и снова выливал его в кувшин, глядя на изгиб тяжелой струи в лунном свете и слушая сырой гул падающего вина, похожий на гул, который бывает в ущельях.

Как и всякий человек, получивший над чем-нибудь власть, я первым делом стал проверять степень ее полноты и наслаждался, убеждаясь в ее истинности.

Но вот я встал, прикрыл доской отверстие кувшина, положил на доску папоротниковую прокладку, приподнял камень и поставил его на место. Мне показалось, что он значительно полегчал.

Я поднял чайник и почувствовал, что он переполнен, потому что из носика выплеснулась струйка. Чтобы вино даром не терялось, я поднес чайник ко рту и вытянул из носика хороший ледяной глоток. Потом я поднял черпак и в последний раз посмотрел на камень с клочками папоротника, торчащими из-под него, и вдруг мне почему-то стало жалко оставлять здесь кувшин, придавленный холодным скользким камнем, и я неожиданно вспомнил строки давно любимого стихотворения:

*Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не смог.*

Мне стало до того жалко императора Наполеона, что хоть ревя реви. Мало того, думал я, ковыляя домой,

что он вынужден вставать из гроба и искать любимого сына — а где его теперь найдешь? — так они еще камень положили ему на могилу. Он-то, мертвый, об этом не знает, потому что ему снизу не видно, он думает, что просто сам он слишком слаб в своей могиле.

Эх, если б он знал, думаю я. Меня угнетает вероломство врагов императора. Конечно, думаю я, было бы глупо искусственно поднимать его из гроба, напяливать на него мундир и заставлять приветствовать войска, но камнем давить на мертвеца — тоже подлое занятие. Как же быть? Очень просто, решаю я, надо оставить его в покое. И если он может подняться из гроба сам, пусть подымается. Только не надо ему ни помогать, ни мешать. Все должно быть честно.

Постепенно я на этом успокоился и обратил внимание на то, что снег под ногами хрустывает, а когда я шел за вином, этого не было. Я понял, что подморозило, и в то же время никак не мог сообразить, почему ж мне так тепло.

Время от времени я поглядывал на чайник, потому что боялся, как бы из носика не выплеснулось вино. Но вино не выплескивалось, и это стало меня беспокоить. Я немного трянул чайник и, когда струйка вылилась на снег, отпил несколько хороших глотков и пошел дальше. По дороге я еще несколько раз повторил эти контрольные встряски, каждый раз отпивая излишек. Казалось, я готовлю чайник с вином к долгому верховому путешествию по горным дорогам.

Когда я вошел в кухню, тетка приняла у меня чайник, глупо заглянула мне в глаза и вдруг улыбнулась.

- Немножко есть? — спросила она понимающе.
- Есть! Есть! — ответил я почему-то восторженно.
- Если хочешь, полежи, — посоветовала она и показала на кушетку.

Я в самом деле лег, но не на кушетку, а на длинную скамью, стоящую у очага. Сквозь закрытые глаза я чувствовал лицом пылание огня и даже как бы видел кожей то сильней, то слабей полыхавшие струи. Потом я вдруг почувствовал, как все стронулось с места и поплыло, как бывает, когда долго смотришь на текучую воду. Я открыл глаза, и снова все остановилось. Потом опять закрыл, и снова все остановилось. Тогда я вообразил, что в случае чего я всегда успею открыть глаза, и, успокоившись, отдался течению.

С какой-то обостренной нежностью я теперь слышал каждый звук, раздававшийся в кухне и на веранде. В каждом звуке я угадывал его истинный, больший, чем он означает, смысл. И каждый раз он звучал так, словно я его давно ожидал. Так в детстве в закрытой комнате, бывало, ожидал шаги матери, когда она возвращалась с базара. И теперь я радовался узнаванию этих звуков, как тогда узнаванию материнских шагов.

Вот тетушкины пальцы зашлепали по сиду, вот звякнули в шкафу тарелки, вот мамалыжная лопатка в чугушке заходила, — и все эти звуки, я чувствую, означают не только приближение ужина, а что-то большее, может быть, уют домашнего очага, древнюю песню вечернего сбора.

А потом я слышу, как хозяйские дети, брат и сестра, моют ноги в тазу. И опять это означает что-то большее, чем боязнь

испачкать постель, может быть, означает извечное возвращение детей под родительский кров... А потом я слышу, как они возьмется на кушетке, дерутся, и я чувствую в самой этой щелячьей возне какую-то необходимость, тайный уют, словно это им так нужно — рвануться в разные стороны, чтобы больней и слаще почувствовать потом общую привязь родства.

И каждый раз, угадывая за каждым звуком его истинный смысл, я чувствую в груди вспышку благодарности, которая, оказываясь, вызывает у меня смех. Но я его не замечаю, я узнаю о нем по восклицаниям детей или тетушки, которая то и дело входит и выходит.

— Мама, он опять смеялся! — кричат дети.

— Ну и пусть смеялся, — отвечает она мимоходом.

— Нам страшно! — кричат дети, но я понимаю, что им не страшно, но приятно делать вид, что страшно, чтобы потереться о материнские крылья, напомнить себе и ей, что им еще под этими крыльями тепло и безопасно.

А потом входит дядя, и дети восторженно бросаются ему объяснять, что я напился, и я слышу его добрую усмешку, слышу, как тетушка поливает ему воду и рассказывает обо мне. И я чувствую какое-то странное удовольствие оттого, что при мне говорят обо мне, думая, что я не слышу, не понимаю, как бы наполовину не существую.

...Не это ли божественное любопытство совести заставляет людей при жизни поступать так, словно потом из могилы им дано с улыбкой прислушиваться к тому, что о них говорят живые?

А потом меня поднимают ужинать, и мы сидим ужинаем, а дети любят мою странность, а я стараюсь угодить их потребности в странном, а это так просто, легко, — стоит мне потянуться за стаканом, как они заливаются смехом, потому что движения мои потеряли привычку.

А потом я себя вспоминал ночью. Я выхожу на морозный воздух, я стою под белой, как зеркало, луной, на белом снегу. Ко мне подбегает наша собака, фантастически черная на белом снегу. Она искрится чернотой, бьет хвостом, а от нее веет бесовской силой и радостью одинокой души живой душе.

Но каждый раз, когда я нагибаюсь ее погладить, она отскакивает, испуганная неточностью моих движений.

На следующее утро я перестал быть алкоголиком.

Страсть, порожденная собственным запретом, была утолена. Теперь я пил вино, как и все деревенские дети в наших краях. Сколько дадут, столько и пил, а если не давали, я, как и они, не вспоминал о нем. Но то первое опьянение осталось в памяти как чудесный сон. Вспоминая его, я каждый раз с нежностью думаю о дяде, о тетушке, о братце и сестричке. Я до сих пор вижу их в том золотистом освещении, и это помогает мне сохранить теплоту своей давней к ним привязанности.

Так, может быть, случайно мне тогда открылся великий объединяющий смысл вина, и другого смысла, достаточно высокого, я в нем не нахожу.

Однажды зимним вечером, подымаясь по Садовому кольцу, я увидел пьяного человека, лежавшего на тротуаре. Он ле-

жал, распластавшись на животе, в позе достойной лучших традиций МХАТа, ибо нет предела артистичности россиянина. Красной от мороза пятерней вытянутой руки он сжимал голый стволник деревца. Другая рука в перчатке лежала рядом на снегу, красиво не дотянувшись.

Вниз по Садовому кольцу время от времени задувал ледяной ветер, сдувая с тротуара небольшие вихри снежной пыли, и подгонял редких прохожих. Пожалуй, замерзнет, подумал я и после некоторых колебаний подошел к нему. Я нагнулся и дернул его за плечо. Пьяный замычал и уютно втянул голову в барашковый воротник пальто.

Я взял его за барашковый воротник и изо всех сил потянул вверх. Судорожно перебирая пальцами по обледенелому стволнику, он пытался удержаться, но я успел обхватить его второй рукой за туловище и поставил на ноги, продолжая придерживать. Осторожно отпустил.

Он стоял с закрытыми глазами, с плотно сомкнутыми губами, покачиваясь и поскрипывая зубами. Я плотнее натянул ему на голову модную финскую или ту, которую у нас принято считать за финскую, кепку, потому что она еле держалась. После этого он открыл глаза, медленно трезвея, прислушиваясь к своему отрезвлению, но не спеша давать ему ту или иную оценку.

Это был человек лет пятидесяти, с набрякшими веками, большеглазый, с нежным румянцем на лице. Я давно заметил, что люди с такими векастыми глазами всегда держат наготове выпяченные губы. Сейчас у этого человека губы были

плотно сжаты, и я ждал, когда он приведет их в соответствие со своими набрякшими веками.

В одежде его тоже чувствовался некоторый разнбой. Судя по финской кепке, можно было сказать, что человеку этому не чужды веянья моды, а следовательно, и модные веянья. Но это могучее пальто со светлым барашковым воротником, сейчас приподнятым и чем-то напоминающим гранитную воронку, кстати, сходство с гранитом подтверждалось кварцевыми кристалликами мороза, сверкавшими на нем, — так вот этот монументальный воротник заставлял усомниться в возможностях модных веяний.

Воронка воротника прочно держала внутри себя голову вместе с финской кепкой и всеми возможными веяньями.

А между тем человек постепенно приходил в себя. Казалось, после того, как я его поставил на ноги, алкоголь отхлынул от головы, стекает обратно в желудок. Тут я заметил, что вторая перчатка торчит у него из кармана пальто. Я вытащил ее с некоторым оттенком ханжеской брезгливости, с которой мы обычно лезем в чужие карманы. С трудом натянул ее на его одеревеневшую красную кисть. Он посмотрел на нее с хозяйским угрюмством, как на вещь, которую одалживали, а теперь вернули.

— Ну и что? — сказал он, словно убедившись, что вещь, пожалуй, не слишком пострадала, хотя и пользы от этого никому нет.

— Домой, домой, — направил я его мысль с односложностью ночного сторожа.

— А где дом? — спросил он, по-видимому язвительно и довольно смело откинулся назад, наконец-таки выпятив губу. Теперь ветер дул ему в спину, и он, отчасти опираясь спиной на ветер, покачивался на его порывах, как на качалке.

— Не знаю, — сказал я, обдумывая, как быть дальше.

— Э-э, — протянул он, как бы придавая моему незнанию универсальный смысл. Теперь он почти надменно покачивался на качалке ветра. Я решил довести его до площади Маяковского, а там он или сам придет в себя, или милиция его заметит.

Я взял его под руку, повернул, и мы пошли. Сначала он шел хорошо, только упорно молчал, время от времени скрежеща зубами. Но потом он стал тяжелеть, все безвольней повисал на моей руке, как будто алкоголь, взболтанный ходьбой, усилил свое воздействие. За все это время он только один раз попросил у меня закурить и больше не сказал ни слова. Когда ему хотелось курить, он останавливался и, оттопыривая нижнюю губу, показывал мне, что ждет сигарету.

Убедившись, что прикурить он на ветру никак не может, я закуривал сам и потом вставлял горящую сигарету в его оттопыренные губы, как в хобот. Это повторялось множество раз, потому что он быстро терял сигарету, вернее, ронял на барашковый воротник, и я старался следить, чтобы он не сжег свое руно. Чем ближе подходили мы к площади, тем труднее становилось его вести. Прохожие стали попадаться все чаще и чаще, и некоторые обращали на нас внимание, тем более что он иногда делал довольно неожиданные зигзаги, застав-

лявшие их шарахаться. Видимо, я устал и ослабил свой контроль над ним. В такие мгновенья люди с упреком смотрели на меня, словно я его споил, а теперь потешаюсь над ним, злоупотребляя его невменяемостью. Как я ни старался придать своему лицу бодрое выражение сопровождающего, а не собутыльника, как я ни переглядывался с ними с выражением взаимной трезвости, не было мне ни прощения, ни сочувствия.

Уже совсем близко от площади после очень сильного порыва ветра мой спутник вдруг снял с себя кепку и бросил ее по ветру. Жест этот можно было понять, как языческое жертвоприношение, если б не сопровождающие слова.

— А Катюше передай привет, — сказал он ей, вернее, даже как-то кинул через плечо в сторону летящей кепке, и трудно было понять, то ли он бредит, то ли иронизирует, прощаясь с кепкой, как серый волк с бабушкиным чепчиком.

Между тем, как только он раскрыл рот, сигарета выпала у него изо рта, и я вынужден был стряхнуть ее с воротника, прежде чем бежать за кепкой, которая с замысловатыми остановками катилась по тротуару. Я боялся, что она вылетит на улицу, прежде чем я успею ее догнать. Я ее быстро догнал, но она не сразу мне далась, а все вырывалась, как убегающая курица. В конце концов, чтобы поймать ее, я вынужден был на нее наступить.

Пока я бежал за кепкой, он ждал меня, все так же через плечо поглядывая в мою сторону без особого любопытства. Слабый пушок светлых волос колыхался над большим пустырем его лба. Плотно, почти до самых глаз я насадил

кепку на его голову, вкладывая в это действие замаскированный укор.

— А сигарета? — спросил он обиженно, после того как я натянул на него кепку, словно его раздражала сама половинчатость реставрации: раз вернул кепку, чего уж там стесняться, давай и сигарету.

Я вынул сигарету, прикурил и, прежде чем дать ему, с удовольствием сделал несколько затяжек. Он ждал рассеянно, протягивая раскрытый рот, как ребенок навстречу ложке. Я вложил сигарету в эту темную губастую дыру.

Все это начинало мне надоедать, и когда мы двинулись дальше, я заметил в фасаде одного из домов углубление, нечто вроде ниши, защищенной от ветра. Я решил вставить его туда и уйти. Приняв решение, я стал медленно скашивать с таким расчетом, чтобы мы через некоторое время уперлись в нее. И вдруг этот человек, делавший до этого невероятные зигзаги, что-то почувствовал, забеспокоился. Он даже как-то попытался уклониться, сойти с намеченного мной курса, но было уже поздно. Я вставил его в нишу и, чувствуя некоторые угрызения совести, стал заправлять у него на груди слегка выбившееся кашне.

— Куда? — спросил он, тоскливо трезвея.

— Мне надо идти, — ответил я, продолжая заправлять кашне.

— Выпьем? — предложил он.

— В другой раз, — ответил я после некоторой фальшивой паузы. Если бы не эта фальшивая пауза, может быть, он легче примирился бы с моим отказом. Но я, пытаюсь смягчить

свой отказ этой жалкой имитацией внутренней борьбы, только посеял ложные надежды. Он устремился в эту приоткрытую (хотя и на цепочке) дверь.

— Выпьем, деньги есть, — повторил он и вытащил из кармана пальто несколько мятых рублей. Он смотрел на меня с некоторым недоумением, словно предлагая выпить, он имел в виду, что деньги эти ни для чего другого не пригодны и если сейчас же их не пропить, то завтра они все равно пропадут.

— Домой поедешь? — спросил я без особой надобности.

— Нет, — отрезал он и резким движением сунул деньги в карман. Что-то мешало мне уйти просто так, и чтобы что-то делать, я решил хотя бы загнуть его барашковый воротник, все еще торчавший торчком.

Только я дотронулся до него, как ладонь хозяина руна с молниеносностью электрического разряда ударила меня по лицу. От неожиданности или расслабленности из глаз у меня посыпались искры. Багровая волна ярости захлестнула мне голову — расколошматить к чертовой матери! И все-таки какой-то давний, привычный тормоз остановил меня, как останавливает он всех нас: бить пьяного, бить глупого, бить неведающего, что творит?

— Ты что? — только и сказал я. Он смотрел на меня взглядом, исполненным трезвой враждебности.

— Ненавижу, — прошипел он, словно боясь, что я как-нибудь не так истолкую его удар.

Я повернулся и пошел. Мне надо было пересечь улицу, и, сходя с тротуара, я обернулся. Он все еще продолжал стоять в нише,

слегка откинувшись к стене, в своей финской кепке и гранитно-барашковом воротнике. Оттопыренные губы его шевелились. И вдруг мне показалось, что это чудовищное подобие выродившегося Командора, который только что сотворил месть, соответственно измельчавшую, возвратился на свое место и, ворча на холод и новые времена, медленно превращается в статую.

Конечно, тогда мне было очень даже обидно. Но теперь, когда страсти улеглись (особенно, конечно, бушевал я), а мой подопечный, надо думать, протрезвел, я должен, как говорится на собраниях, сказать и о своих ошибках.

Если бы я его тащил, ругая и давая время от времени подзатыльники, может быть, это послужило бы некоторым не слишком прочным, но все-таки мостком от меня к нему. Я же своей нудной добродетельностью каждый раз бестактно обозначал между нами границу: я, мол, трезвый, а он, мол, пьяный, я, мол, подымаю, а он, мол, валится, и так далее.

Конечно, моей помощи не хватало живого чувства. Другое дело, где его взять, если его не испытываешь...

Кстати, эта псевдофинская кепка напомнила мне совсем другой случай.

Однажды ночью в ленинградской гостинице я прошел в бар и увидел несметное количество очень пьяных блондинов. Зрелище было страшное. Оказывается, огромное количество пьяных блондинов производит особенно жуткое впечатление. Казалось, что все эти люди не пьют, не заказывают напитки, не разговаривают, не танцуют, а копошатся. Фиолетовые финны копошились в мутном табачном воздухе бара.

Потом я узнал, что в Финляндии сухой закон, и стало ясно, что пьянка эта своего рода скандинавский бунт: против закона своей страны они выезжали протестовать в соседнюю страну.

Так что же я предлагаю? Не противопоставлять свободную пьянку сухому закону, а наметить дорогу от сухого закона к сухому вину, как путь из варяг в греки.

Кстати, того количества пьяных в баре хватило бы на все абхазские пирушки, которые я когда-либо видел. Конечно, дело здесь не в особой выносливости, а в том, что народы, производящие много вина, выработали моральные границы, которые не просто нарушить. И если во время питья терять контроль над собой считается позором, то самообладание пьющих превращается в традицию.

И я говорю, что нам необходимо время от времени собираться на семейных торжествах, чтобы через одинаковый цвет нашего напитка вновь почувствовать наше кровное родство и вновь увидеть тех людей, от которых мы идем, и тех, что идут за нами, чтобы, прочнее осознав свое место во времени, почувствовать себя звеном, как сказал поэт. Если мы встречаемся со старым школьным товарищем, с которым не виделись целую вечность, мы должны поднять стаканы с вином, как волшебные фонарики, выхватывающие наши лица из тьмы годов безжалостным и нежным светом.

И если мы в дружеской компании внезапно сдвигаем стаканы с победными, сияющими лицами, мне кажется, мы только что зачерпнули из собственных душ, — и вот смотрите,

как полны стаканы, как наши души глубоки друг для друга! Не потому ли недоливший себе воспринимается как изменник?

И если мы с тобой на каком-то аэровокзале в нелетную погоду оказались за одним столиком и я предложил тебе распить бутылку вина, то это было не что иное, как приглашение раскрыть друг другу свои душевные богатства.

И вот, оказывается, мы прекрасно посидели и надолго запомнили эту встречу. Но может случиться, что мы снова встретимся при других обстоятельствах, когда, скажем, я буду недоволен своей работой и буду злословить или важно суетиться перед своим начальником, ты все-таки не забывай, что видел меня и другим, что я на самом деле гораздо богаче и еще могу зазеленеть, потому что однажды цвел, раскрываясь тебе. Нам надо помнить о той встрече, потому что она поможет нам сохранить уважение к людям и наградит каждый наш день единственной достойной наградой — смыслом, потому что каждый день будет подготовкой к празднику нашей встречи.

СЛОВО

С небольшой старинной фотографии смотрит девушка с толстой косой, с широкоскулым, широкоглазым и больше-ротым лицом. Это мамина сестра Айша. С ее именем связана печальная история, которую я слышал много раз.

Иногда, когда кто-нибудь из близких рассказывал о ней, я вглядывался в эту фотографию, стараясь уловить в ее чертах

то обаяние, которое все они помнили, но, кроме обычного выражения грусти, свойственного снимкам умерших людей, я ничего не находил в ее лице.

Я даже думаю, что если б не эти огромные темнеющие глаза, она, может, казалась бы уродливой, настолько черты ее лица были явно неправильны. Но когда на лице такие громадные глаза, все остальные черты делаются незаметными, и потом, они придают лицу выражение какой-то незащищенности — вечное оружие женственности. Впрочем, все это, может, только мои домыслы.

Мама говорит, что Айша была любимицей в их огромной семье, где одних детей — братьев и сестер — было человек десять.

В те времена в доме дедушки летом собиралось множество долинных родственников и просто знакомых. Они приезжали на лето отдохнуть, подышать горным воздухом, а главное, спасались от колхидской лихорадки. Девушкам, сестрам мамы, и, конечно, ей крепко доставалось. Всю эту ораву надо было кормить, поить, укладывать спать да еще и хозяйством заниматься. Я думаю, эта трудная, но не униженная и неспособная унизиться юность помогла моей матери впоследствии перенести многое, от чего можно было сломаться.

Говорят, лет в пятнадцать Айша расцвела почти сразу. К ней стали приглядываться, о ней заговорили в соседних больших и богатых селах. Братья не выпускали ее из виду, потому что раз девушка нравится, ее кто-нибудь захочет украсть и обязательно тот, с кем не хочет родниться семья де-

вушки. Потому что, если уж очень он нравится семье, ему, пожалуй, незачем воровать девушку.

Но случилось так, что в нее влюбился простой парень из соседней деревни, да еще родственник, правда, дальний. Звали его Теймраз.

Он отдыхал в доме бабушки, потому что болел малярией, и, может быть, любовь Айши была продолжением женского милосердия. Она ухаживала за ним. И как это бывает в таких случаях, его-то как раз никто всерьез не принимал. И как больного, и как родственника, и как вообще слишком молодого и ничем не приметного человека. Но болезнь оказалась делом временным, родственность — относительной, а молодость еще никогда не бывала препятствием к любви.

Говорят, когда бабушка узнал, что они хотят жениться, он наотрез отказался выдать дочь.

— Не будем вязать наше родство двумя узлами, — сказал он, — а то потом рубить придется.

— А что он такого украл? — спросили братья и презрительно пожали плечами.

В те времена в наших краях доблесть мужчины проверялась способностью с наибольшей дерзостью угнать чужого коня, стадо овец или в крайнем случае корову. Это была своеобразная восточная джентльменская игра, при которой хозяин, обнаружив пропажу, гнался за обидчиком и стрелял в него без всякого предупреждения. Игра была благородной, но опасной. Вот почему горец, показывая на своего коня, клялся всеми святыми, что он у него ворованный, а не какой-

нибудь купленный или дареный. Иногда конь оказывался именно купленным или подаренным, и тогда клеймо позора ложилось на хвостуна до тех пор, пока он его не соскребал строго доказанной дерзостью.

Дедушка, отказывая Теймразу, говорил, что они родственники. Но я думаю, что это была только отговорка. Мачеха Теймраза приходилась двоюродной сестрой дедушке. Вот и все родство. Даже строжайшие в этом отношении абхазские обычаи никакого смешения крови здесь не могли заподозрить.

Откровенно говоря, против самого Теймраза дедушка, кажется, ничего не имел, но ему не нравились его братья, известные в Абхазии абреки и головорезы. И хотя Теймраз был среди них вроде выроodka, то есть никого не убивал, не умыкал, не уводил, дедушка не хотел связываться с их семьей слишком близко. Он был далек от всего этого молодечества, и это удивительнее всего. Он прожил длинную жизнь, полную вольных трудов и невольных приключений, дважды побывал в Турции во времена переселения абхазцев, дважды начинал жизнь с первого вбитого кола. Вокруг него свистели пули абреков, ревели угнанные стада, творили свой жестокий обет кровники, а он словно не замечал всего этого.

Получалось довольно сложно: то, что нравилось в Теймразе дедушке, не нравилось братьям Айши, а то, что нравилось братьям, дедушка терпеть не мог.

Но и ссориться с братьями Теймраза было опасно. Поэтому, убедившись, что любят они друг друга не на шутку, а парень никак не отстает, дедушка дал согласие.

Сыграли свадьбу, и молодые стали жить в доме Теймраза. Отец его, говорят, полюбил Айшу больше своих дочерей, потому что она была ласковой и услужливой девушкой. С приходом Айши дом старика ожил и засветился. До этого сыновья его редко навещали, хоть и жили поблизости. Они были недовольны тем, что он женился после смерти матери второй раз. Соседи тоже избегали старика, потому что побаивались его сыновей. Айша смягчила все отношения, и в дом старика потянулись братья и соседи, как на добрую старую мельницу.

Однажды старушка, соседка Айши, зашла на огород нарвать перца и вдруг заметила в двух шагах от себя в кустах фасоли незнакомую собачонку. Старушка прикрикнула на нее, но та вместо того, чтобы убежать, неожиданно оскалилась. Рассердилась старушка, хотела пнуть ее ногой, а собачонка укусила её за ногу и убежала. Тут только она и заметила, что это была не собака, а лиса. По другой версии то была не лиса, а кунница. Подивилась старушка на чудеса, послунявила ранку, собрала в подол свой перец и вернулась домой.

Ранка от укуса была еле заметной, все равно что о ежевичную колючку укололась. Вечером она рассказала о случае на огороде своим домашним. На рану никто не обратил внимания, только все удивились, что лиса, или тем более кунница, осмелилась укусить человека.

Недели через три старуха заболела. Возле нее день и ночь дежурили родственники и соседи. Айша не отходила от нее ни на шаг. Меняла ей белье, прикладывала ко лбу мокрое полотенце, смоченное в кислом молоке, пыталась

кормить. Вскоре стало ясно, что старушка заразилась бешенством. Через несколько дней она умерла. Пригласили знахарку, и она приготовила настойку для всех, кто присматривал за больной.

В тот день, когда знахарка принесла приготовленную настойку, Айша лежала в постели. Она слегка приболела, это было обычное недомогание, которое испытывают многие молодые женщины во время беременности. Может быть, из-за этого недомогания она отказалась пить снадобье. Никак не могли ее заставить. В конце концов близкие сочли это за обычный каприз беременной женщины и оставили ее в покое. Тем более, что ни в снадобье, ни в возможность заразиться бешенством именно таким путем никто особенно не верил. Пили так, на всякий случай.

Но Теймраз, узнав о том, что она не выпила настойку, встревожился. Он решил заставить ее выпить. Говорят, он целый день уговаривал ее, даже несколько раз выпивал сам, чтобы показать, как это просто. Но она никак не хотела пить. Только поднесет стакан с настойкой к губам, ее так и воротит.

— Не могу, — говорит и отстраняет стакан.

— Неужели ты умрешь, если выпьешь? — говорят, сказал он ей напоследок. — Почему ты так боишься!

— Да, умру, — серьезно ответила она и посмотрела ему в глаза своими большими темными глазами.

Говорят, при этих словах Теймраз побледнел, но все-таки упрямо протянул ей стакан.

— Пей, — сказал он, — если ты умрешь, я пойду за тобой.

Говорят, на этот раз она посмотрела на него своими большими глазами и ничего не сказала, только молча взяла его за руку.

— Что за глупые шутки, — набросилась тут мачеха на Теймраза, — подобает ли мужчине поддерживать жалкие разговоры беременных женщин?

Всем, кто слышал, как переговаривались Айша и Теймраз, стало как-то не по себе. Потом они уверяли, что уже тогда по их разговору что-то предчувствовали. Я думаю, что дело не в предчувствии, а в том, что влюбленные возвращали словам их истинный вес, и это-то показалось странным и необычным тем, кто был рядом.

Услышав недовольный голос свекрови, говорят, Айша привстала и, продолжая держать одной рукой руку мужа, другой взяла стакан. Щеки ее слегка зарумянились. Она выпила настойку, не поморщившись, сказала, что попробует заснуть, и легла, повернувшись к стене.

Через день у нее начался сильный жар, и дней десять после этого она была между жизнью и смертью. Дедушка поехал в город и с большим трудом привез врача. Но ничто не помогло. Врач сказал, что у нее началось заражение крови и ей в ее положении никак нельзя было пить это снадобье. Айша родила мертвого ребенка и через несколько часов умерла сама. Теймраз словно окаменел.

Родственники стали на него коситься, потому что, как ни велико горе, по абхазскому обычаю муж должен его скрывать от постороннего глаза.

В день похорон покойницу выставили во дворе под укрытием, чтобы все, кто хочет, могли попрощаться с ней. Рядом с гробом лежали ее личные вещи и стояла ее лошадь, которую держал под уздцы брат Айши, тогда еще мальчик.

И вдруг, расталкивая плакальщиц, Теймраз подвел свою лошадь, оседланную, в полной готовности, и поставил ее рядом с лошадью жены.

Подивились родственники и соседи такому невиданному обряду, потому что никто не слышал, чтобы рядом с лошадью покойной жены ставили лошадь живого мужа. Зашептались гости, не сошел ли он с ума, не смеется ли над ними. Братья велели увести его лошадь. Он стал сопротивляться. Произошла неприятная стычка, неуместное замешательство. Все-таки они добились своего.

— Вы еще об этом пожалеете, — сказал он сквозь зубы и вывел свою лошадь из круга плакальщиц.

После похорон все наши сели на лошадей и отправились к себе в деревню. Теймраз вызвался их провожать. Моя мама, тогда еще девочка-подросток, ехала рядом с ним. Мама говорит, что он начинал какие-то странные разговоры, она его совсем не понимала, — то плакала, то принималась утешать.

Они ехали по осеннему лесу, выветленному серебристыми стволами буков, устланному золотистыми листьями, пахучему и свежему, как молодое вино. Я знаю эту дорогу от Джгерды до Ахуцы, она и сейчас красива, но тогда она им казалась бесконечной и грустной. Наконец приехали домой.

Приготовили еду. Теймраза едва уговорили сесть за стол. Он хоть и сел, но к еде так и не притронулся, только выпил два стакана вина. Потом он встал, попрощался со всеми и вышел во двор. Дело шло к вечеру. Его пытались оставить дома, но он отвязал лошадь и неожиданно стал джигитовать во дворе.

Он поднимал коня на дыбы, бросал его в галоп, заставлял делать чераз, то есть скользить по траве, и многое другое.

Говорят, было что-то жуткое в этой мрачной джигитовке. В тишине притихшего двора раздавалось только пистолетное шелканье камчи и жесткий голос всадника, понукающего коня. И сам он, говорят, был страшен, смертельно бледный, с траурной каймой бороды, властный и непреклонный в своей странной, никому не нужной джигитовке.

Потом он перемахнул через ограду и помчался в сторону своей деревни.

Поведение его было необъяснимо и позорно. Джигитовать в день похорон жены, да еще в доме ее отца — это было ни на что не похоже.

— И за этого выродка я отдал свою дочь!.. — сказал дедушка мрачно и сплюнул.

Часа через два в тот же день Теймраз был уже дома. Его не ждали. Думали, что он останется у наших, но он приехал. Ничего особенного за ним не заметили.

От ужина он, говорят, отказался, сославшись на то, что он уже сидел за столом у наших. Можно представить, каким пустым и холодным показался ему собственный дом после похорон юной жены.

На следующее утро был чудесный, мягкий день, какие бывают у нас в Абхазии в дни сбора винограда. Отец Теймраз привязал веревку к виноградной корзине и пошел в сад. Он звал сына с собой, но тот сказал, что ему нужно уладить кое-какие дела.

Как только отец ушел в сад, Теймраз попросил у мачехи чистое белье, сказал, что хочет вымыться перед большой дорогой. Она не стала спрашивать, какая дорога и куда. Она решила, что сейчас ему будет полезней всего отвлечься.

— Будь осторожней, сынок, — сказала она, увидев, что он стал прочищать старое отцовское ружье.

— Хуже того, что случилось, не будет, — ответил он.

Потом Теймраз наточил бритву, побрился, нагрел воду в котле и вымылся. Мачеха все это время сидела на крыльце с вязаньем. Отец несколько раз окликал его из сада, чтобы он принял спущенную на веревке корзину, и он несколько раз проходил в сад.

Потом он пошел на могилу своей жены, постоял там немного, наклонился и стал выкидывать камушки со свежей насыпи.

«Словно готовит грядку огорода», — подумал отец, глядя на него с дерева. Во всяком случае, так он потом рассказывал. У нас обычно хоронят своих покойников недалеко от дома.

Теймраз постоял во дворе, потом тихо подошел к мачехе и говорит:

— Мать, у меня опасная дорога. Если что случится, продайте моего коня и сделайте нам с женой общие поминки.

Всплеснула руками старая, запричитала:

— Мало нам горя, опять чего-нибудь накличешь!

Жалко ему стало ее. Подошел, обнял.

— Уйди, уйди дуралей невезучий! — говорит она и отмахивается от него. — За что мучаешь стариков?

...От теплого осеннего солнца, от горькой усталости этих дней старушку то и дело одолевала дрема. И вот сквозь дрему ей показалось странным все, что делал Теймраз, как будто он все делал на выворот. Так она потом рассказывала. Только задремлет, и ей видится, что Теймраз сначала побрился, а потом наточил бритву, сначала оделся в чистое белье, а потом стал греть воду, сначала зарядил ружье, а потом стал его чистить.

«Да что же он все делает не по-людски?» — думает старушка сквозь сон и, очнувшись, озирается. Посмотрит вокруг — вроде все в порядке, а на душе нехорошо. Снова дремлет, и снова все то же, и вдруг ее словно что-то толкнуло. Она окончательно очнулась... «Как же это он собирается в дорогу, а еще не поймал коня? Где же это слыхано. Надо же сначала поймать коня, привести его домой, а потом собираться в дорогу». Только хотела окликнуть его, слышит, вроде в кладовке кто-то крышкой сундука хлопнул.

— Теймраз, это ты? — крикнула она, но никто ей не ответил.

И вдруг распахивается кухонная дверь, и оттуда выходит, почти выбегает Теймраз.

— И детям ваших врагов не пожелаю, чтобы они так выходили из кухни, — говорила потом старушка.

Сначала она ничего не поняла. Теймраз почему-то скребет себя ладонями по груди и выбегает на середину двора, а потом она видит, что на нем горит рубаха, а он ее пытается погасить.

— Что с тобой Теймраз! — крикнула она не своим голосом.

— Ничего, ничего, — сказал он, испугавшись ее голоса, и, словно стыдясь того, что случилось, стал прикрывать ладонями дымящуюся рубаху.

А потом между пальцев выплеснулась струя крови, Теймраз зашатался, но у него все же хватило сил лечь на траву.

Старик услышал крики со своего проклятущего виноградника и, почуяв неладное, бросился с дерева и побежал к сыну.

«Вот же как бывает, — говорил он потом удивленно, — в другое время сорвись я с такой высоты — не встал бы, а тут — ни царапины».

Теймраз лежал в тени орехового дерева, продолжая скрести почти погашенную рубашку. Пальцы его все еще помнили, что надо погасить этот маленький пожар, но сам он уже не понимал, что сделал с собой. Он был мертв.

Братья Теймраза оскорбились причиной его самоубийства. Его похоронили наскоро в этот же день, никого не известив, не пустив горевестников по соседним селам, как это обычно делается.

Через сорок дней отец устроил поминки. Поминали сразу обоих. Похоронили их, конечно, рядом.

Я никогда не видел ни Айши, ни Теймраза, но иногда, мне кажется, трагедии близких доходят до нас как бы в затихающих колебаниях безотчетной грусти.

Только глупец может подумать, что я славлю самоубийство, но чего бы стоили слова о человеческой дружбе, человеческой верности и любви, если б время от времени они так гроз-

но и чисто не насыщались настоящей кровью, кровью, которая и в те времена подлецам казалась старомодной.

святое озеро

Этим летом я жил с пастухами на альпийских лугах Башкапсара, в живописной котловине, огороженной справа и слева хребтами, тучными и зелеными у подножия, с аскетически костлявыми, скалистыми вершинами. Котловину прорезала горная речушка, довольно безобидная, если не обращать внимания на ее шум. Вдоль нее три пастушеских шалаша, упорно именуемых балаганами. В них-то мы и жили.

Если смотреть вверх по руслу, виден перевал. За перевалом озеро, которое пастухи называли святым. Святым его считали местные сваны, а им лучше знать, да и спорить с ними по этому поводу было бы не слишком осторожно.

Кроме того, по слухам, озеро само могло постоять за себя. Говорили, что если выпить из него воды — обрушится небывалый ливень, а то и град, а если попробовать выкупаться — живым не вылезешь.

— Как так не вылезешь?

— Ты вылазишь, а оно тянет.

— Кто тянет?

— Святая сила, сванский бог.

— Чепуха, — говорю, — вот выкупаюсь, и ничего не будет.

— Один выкупался. Залез живой, вылез мертвый.

— Может, плавать не умел?

— Какой-то русский. Турист, говорят... Плавать-то он плавал, да от судьбы не уплывешь.

В конце концов я решил доказать, что в этом озере не больше святости, чем в любом из нас. Погода в последние дни стояла неустойчивая, и я все откладывал поход.

И вот ясный солнечный день.

Накануне вечером прибежал в лагерь один из молодых пастухов, немного сумасшедший, как и все охотники.

— Медведь! — закричал он и, схватив свою одностволку, побежал обратно.

Через час мы услышали выстрел, а потом уже в темноте пришел и он.

— По-моему, уложил, — сказал он, опускаясь на лежанку, весь потный, трясущийся.

— Завтра с утра пойду с собаками.

Почему-то я был уверен, что все это охотничьи бредни, и на следующий день, не дождавшись его прихода, стал собираться в дорогу.

Пастухи весело отговаривали меня, скорей всего, чтоб подзадорить. Я думаю, они были не прочь устроить небольшую идеологическую потасовку, полюбоваться на нас и в конце концов присоединиться к той стороне, которая возьмет верх.

В качестве судьи или летописца со мной отправился здоровенный парень, на редкость ленивый, добродушный и наивный. Звали его Датуша.

Этой весной, неторопливо учась в седьмом классе, он узнал, что осенью ему идти в армию. По этому поводу мать решила ему бросить школу, чтобы мальчик успел отдохнуть перед военной службой. С этой же целью его направили сюда на альпийские луга, чтобы тут он уже окончательно отдохнул и надышался горным абхазским воздухом, потому что в России, по слухам, не то что горного воздуха, но и самих гор, пожалуй, не отыщешь.

Датуша был типичным деревенским пижоном. В отличие от своих городских собратьев он, по-видимому, не стремился прожигать жизнь или получать там какие-то запретные удовольствия. Единственное, к чему он стремился, — это быть чистым и неподвижным. В хорошую погоду он выходил после завтрака на луг, усаживался на камне, подтянув брюки и открыв Главному Кавказскому хребту великолепные красные носки. Так и сидел целыми днями, время от времени стряхивая с брюк вымышленные пылинки. В плохую погоду он сидел у костра, часами слушая хозяйственные притчи старых пастухов. Примерно через день он спускался к речке и с мылом тщательно промывал свою барашковую голову в ледяном потоке. Менингит ему явно не угрожал.

Меня слегка раздражало его безмятежное безделье, возможно, я в нем почувствовал опасного конкурента. И все-таки на него было трудно обижаться. Он был большой и добродушный, как альпийский одуванчик.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать, как я его недавно разыграл. Я привез с собой мыло в виде зеленой лягушки,

странный плод парфюмерной фантазии. Как-то заметив его, Датуша сделал такие глаза, что я не удержался и сказал:

— Альпийская лягушка. Ядовитая, — добавил я, и он отдернул протянутую руку.

Несколько дней мы морочили ему голову этой лягушкой, и он приходил к нам в шалаш — все хотел посмотреть, как мы ее кормим. В конце концов, узнав, в чем дело, он не обиделся и даже не разочаровался.

— Чего только в наш век не придумают! — сказал он солидно. — Спутники запускают, а теперь стали лягушек делать из мыла.

Потом он попросил меня испробовать мыло на деле и пошел на речку мыть голову. Такой уж он был добродушный, обидеть его было невозможно. Да, пожалуй, и не нужно.

И вот мы поднимаемся к перевалу вдоль русла реки все выше и выше. Казалось до перевала не больше двух-трех километров, до того отчетливо он виделся вдали. Но слишком большая ясность тоже бывает обманчива.

Через час мы хрустели по фирновому снегу. Речка уменьшалась на глазах. Она питалась этим снегом. Мы подошли к сплошному заносу, сквозь который пробивалась наша речка, теперь уже совсем ручей. Он просверлил в снегу тоннель, и, слегка пригнув головы, мы вошли в него. Мы очутились в белом коридоре, потолок которого пропускал солнечный свет, смягченный толщей снега. Кое-где снег протаял под солнечным теплом, и в отверстиях победно сияли синие кусочки неба.

Журчанье и бульканье под ногами, радостная белизна снега — это был путь вечной несмолкающей весны. Мы шли, осторожно переступая с камня на камень, стараясь не задевать головой хрупкий белоснежный свод. Вышли у самого перевала. Здесь снег опять кончился и зеленела трава.

— Сейчас будет озеро, — сказал Датуша и стал вытирать о траву свои туфли. Я почувствовал нетерпенье и стал выбираться на гребень перевала, не дожидаясь его. Сердце гулко стучало. Сказывалась высота. Горячий и сухой воздух с внезапно натекающими струями холодного дыхания ледников. Я вышел на перевал. Внизу под крутым обрывом лежало озеро.

Я взглянул на него и ощутил тихое и глубокое изумление. Мне показалось невероятным, что за мгновение до этого я не видел и не чувствовал, что рядом лежит такое чудо.

Казалось, это не вода, а какая-то первозданная голубизна, огромный сгусток кристаллического воздуха, вправленный в землю.

Оно лежало прямо подо мной, окруженное нежной и курчавой, как шерсть животного, травой. Недалеко от берега из воды высывалась небольшая гряда оранжевых скал, четко, как в бинокле, отраженная в воде. Большие ломти снега, так же четко отраженные в воде, легко стояли на ней.

А над озером и над лужайкой, справа и слева — навороченные друг на друга глыбы, отроги гор и хребты. Окаменевший, но все еще рвущийся вверх хаос борьбы за высоту, за небо.

А здесь это тихое озеро, и тихая лужайка, и смирившиеся камни, по горло погруженные в воду, и крупные ломти

снега, забывшего таять, прислушивались к чему-то тихому, вечному.

Я оглянулся. Датуша стоял рядом со мной. Я не заметил, как он подошел. Мне захотелось поскорее спуститься к озеру.

— Как же мы спустимся? — спросил я у Датуши, не находя места, удобного для спуска.

— Должна быть тропинка, — сказал он, озираясь. Так ищут глазами собаку, которая только что была здесь и вдруг куда-то запропала.

Тропы нигде не было видно.

— Напрасно мы влезли в снег, — сказал Датуша, — надо было не сходить с тропы.

Мы ходили по краю обрыва, но ничего похожего на тропу не было видно. Мы стояли на небольшой площадке, зажатой справа и слева отвесными скалами. Видно, вышли к озеру не на том месте. Надо было спускаться вниз и искать тропу или взбираться на скалы и идти по ним до тех пор, пока не найдется более или менее подходящего места для спуска. В конце концов мы решили разделиться. Я буду идти по скалам, огибающим озеро, он вернется назад искать тропу. На всякий случай мы решили изредка перекликаться.

Я стал карабкаться по скальному выступу. Если смотреть со стороны, кажется, что по такому крутому склону не подняться. На самом деле на нем обычно много щелей, бугорков, трещин. Иногда кусты. Цепляешься, прижимаешься боком, ставишь ногу, подтягиваешься на руках и постепенно взбираешься все выше и выше. Чем трудней подъем, тем сладостней ощущение

ние устойчивости сделанного шага, благодарности земле за ее добрую шероховатость. Хочется расправить куст рододендрона с химически фиолетовым цветком, который помог тебе подтянуться и сделать решительный шаг, или потрепать по шее неожиданный выступ, так славно подвернувшийся тебе.

Но, бывает, попадаете мертвое пространство и так долго стоишь на одном месте в неудобной позе и никак не сообразишь, как одолеть его. Не за что зацепиться.

В таких случаях было бы ошибкой возвращаться назад. По неопытности чаще всего так и делают. Это идет от удобного заблуждения, что спускаться вообще легче, чем подыматься.

Во время подъема у вас работают две руки (если вы не Венера Милосская), две ноги и два глаза. Глаза — лощман, находящий фарватер на поверхности скал. Но к работе глаз мы так привыкли, что упускаем ее из виду.

А что делают глаза, когда вы осторожно опускаетесь задним ходом? Они тоскливо рассматривают узоры на камнях, тогда как ноги, пытаясь найти опору, безуспешно скребутся носками о скользкую стену.

Одним словом, в таких случаях лучший выход — идти вперед. Конечно, и здесь нет полной уверенности в успехе, но зато уж, если случится то, что могло случиться, вы, падая, все-таки успеете подумать, что погибаете с лучшим соотношением очков. А сорваться во время отступления — это чистый проигрыш.

Об этом я думал, благополучно выбравшись на гребень скального хребта. Отдышавшись, я пошел по гребню, бес-

плодно-каменистому, как лунная поверхность. Он был узким и казался таким хрупким, что было страшновато, как бы он подо мной не обломался. Мне вдруг пришло в голову, что, может быть, здесь не проходил ни один человек за все миллионы лет существования земли. Пастухам на этих голых скалах нечего делать, а места эти в стороне от караванных путей туристов.

— Э-ге-гей! — донеслось откуда-то снизу. Это кричал Датуша.

Отвечать почему-то не хотелось. Вокруг громоздился каменный океан, как бы застывший во время космического шторма. Внезапно металлический звук нарушил этот вечный покой. Из-под моих ног выкатилась ржавая банка. Это было так неожиданно, что я не менее неожиданно решил — упала из самолета. Через минуту я увидел еще несколько ржавых банок из-под сгущенного молока. Пришлось признать, что здесь побывали геологи или альпинисты. Я почему-то заглянул в каждую из банок, но они были пустые.

Смирив гордыню первооткрывателя, я стал искать место, где бы можно было сойти к озеру. Справа внизу между скалами блестело снежное поле, круто спускающееся в сторону озера. Самого озера не было видно. Кое-как дошел до снежного поля. Это был занос, образовавшийся от обвалов. Слишком крутые склоны гор не могли удержать снега, и он скальзывал сюда вместе с камнями и обломками скал.

Сверху было видно, что поле кое-где изрезано глубокими траншеями, по которым неслись талые воды. Между скалой,

на которой я стоял, и краем снежного поля зияла черная дыра, протаявшая от теплоты каменного массива. Я осторожно заглянул в нее, и мне стало не по себе. Снег толщиной метров в десять, а где-то в черно-синей глубине клокочет вода. Я подумал, что идти прямо вниз к озеру по этому крутому спуску опасно, и решил пересечь снежное поле наискосок. Чтобы не упереться в одну из траншей, я наметил глазами линию пути и выбрал ориентир на том берегу снежного поля. На всякий случай, чтобы проверить прочность снега, я для полной безопасности швырнул на него несколько обломков скал. Они упруго ударились о снег и, не продавливая его, покатались вниз.

Довольный тем, что перехитрил все возможные случайности, я осторожно переступил шель, сделал шаг и полетел вниз.

Я сорвался, как будто меня с размаху ударили палкой по ногам. То, что случилось, случилось нагло, безоговорочно. «Озеро», — успел подумать я, слушая наждачный скрежет снега, рассекаемого моим падающим телом. Снег, как белое пламя, обжигал руки, ноги, лицо. Не скажу, что я не успел испугаться, но страх мгновенно заполнил меня. Я погрузился в него, как в воду. Может быть, поэтому и не было обычного ощущения страха. Казалось, одним махом, от перенапряжения все инстинкты сохранения жизни погасли, как перегоревшие лампочки.

Было состояние какого-то одеревенения души. Словно я видел со стороны свое летящее тело и запоздало жалел его.

Внезапно перед глазами мелькнула полоса траншеи. «Конец!» — все так же деревянно подумал я и в следующее мгно-

венне ощутил сильнейший толчок, и вспышку боли во всем теле, и вспышку удивления, но не силе удара, а его одушевленной злости, непонятной жестокости. И вместе с этим толчком и болью я понял, что перелетел через траншею, а не завалился в нее, как ожидал. И эта боль, как удар электрического заряда, оживила меня. Я почувствовал, что руками, ногами, животом и даже подбородком стараюсь зацепиться, втиснуться, удержаться на жестком, обжигающем, беспощадно рвущемся из-под меня снежном насте.

Потом я ощутил, что скорость падения уменьшилась. Я мог в какой-то мере управлять своим телом. Теперь мне удавалось удерживаться в сидячем положении. Стараюсь не налететь на обломки скал, я изо всех сил на ходу отгребал руками.

Но вот я остановился. Вернее, тело мое остановилось. Я встал на ноги и почувствовал, что весь трясусь, особенно дрожали ноги. Живот туго стянуло спазмой.

Теперь склон был совсем пологий и озеро стояло близко. Я шагнул и снова полетел вниз. Это была насмешка над моим первым падением, его замедленное повторение. Я снова вскочил на ноги и снова шлепнулся на снег. Я понял, что от напряжения, страха и всего пережитого меня просто не держат ноги. Я сел на снег и, отталкиваясь руками, с истерической яростью заскользил вниз. Поверхность снега стала совсем ровная. Я встал и пошел по снегу, а потом по траве к самому озеру.

Меня пошатывало, но я чувствовал неодолимый прилив сил, злорадную жажду мести. Я чувствовал, что меня хотели

убить, убить подло, из-за угла, без всякого повода и предупреждения.

«Эти сволочи хотели меня убить», — не то подумал, не то сказал я вслух. «Но это им не удалось», — добавил я, скидывая с себя на ходу лыжную куртку.

«И не удастся», — закончил я свою мысль и, скинув рубаху, подошел к воде. Видимо, я имел в виду озеро и его обитателей.

Я снял брюки и, оставшись в одних трусах, хотел было войти в воду, но вдруг решил, что этих сволочей нечего стесняться, и скинул трусы. Действовал я в каком-то опьянении, но и с некоторой логичностью пьяного хитреца.

Глубокая, заколдованная вода стояла передо мной. Я хотел было сначала броситься в нее с головой, но потом нашел глазами мелкое место и полез в воду. Вошел в нее по пояс и, на мгновение присев, окунулся с головой. Обжигающий, ледяной кипяток сковал дыхание, и я, как подброшенный, выскочил из воды и потом, переводя дыхание, несколько раз окунулся в воду, покамест мое тело не привыкло к холоду. Потом я поплыл и, проплыв шагов десять в глубь озера, вернулся назад. Я честно выполнил условие, моя победа была полной и безоговорочной. Все-таки я решил дать им еще один шанс и снова окунулся в воду и проплыв такое же расстояние, вылез на берег.

Вода отрезвила меня. Я успокоился. Чтобы погреться, я влез на большой камень, стоявший на берегу, и прилег. Было приятно ощущать тепло разогретого солнцем камня, пахнущего мохом и солнцем — запах древности и молодости.

И глядеть на спокойную гладь озера с легкими глыбами снега, на курчавую лужайку, на оранжевые и лиловые тени скалы, стеной стоящие на противоположном берегу. Тело мое наполнялось теплотой и спокойствием, как зреющий плод, и я старался не шевелиться, чтобы не вспугнуть это редкое ощущение. «Хорошо бы остаться здесь на всю жизнь», — спокойно и неожиданно подумал я.

Только теперь я заметил, что от озера исходит тихий, несмолкающий шорох. Слышать его было странно, потому что поверхность воды была совершенно неподвижна и не было видно ни одного ручья, который бы втекал в озеро. Шорох подымался от всей поверхности воды и чем-то напоминал треск нарзанных пузырьков, если черпать воду прямо из источника. По-видимому, со дна озера били тысячи ключей, и, хотя расшевелить его поверхность они не могли, звук пробивался сквозь густо-голубой кристалл воды. Все-таки слышать этот шорох было загадочно, потому что глаз привык связывать звук воды с ее движением.

— Эй! — услышал я голос Датуши. Я поднял голову и увидел его высокую стройную фигуру на краю скалистого уступа по ту сторону озера. Он стоял гораздо правее и ниже того места, где мы с ним разошлись. Я махнул рукой, и он стал спускаться, лавируя между скалами. Было слышно, как изредка из-под его ног осыпаются камушки и, отчетливо перещелкиваясь, падают вниз.

Тропы не было видно. Я пытался угадать ее по форме поверхности скал, но мне не удавалось: Датуша делал не-

ожиданные и необъяснимые издалека зигзаги. Когда он приблизился, я неохотно встал со своего места и начал одеваться.

— Я видел, как ты летел с ледника и как ты купался, — радостно сказал он, подходя ко мне. — Разве можно по леднику идти без палки! — добавил он, как будто я нарушил всем известную инструкцию хождения по ледникам.

— Что ж ты не спускался, если так давно там стоял? — спросил я. Мне было неприятно, что он следил за мной, хотя и приятно, что он все видел.

— Я хотел узнать, что с тобой сделает озеро, — сказал он просто.

— Неужели ты веришь в эти сказки, а еще в армию идешь? — сказал я.

— Вниз-то я не верю, но здесь, кто его знает, земля необжитая, — объяснил Датуша, немного подумав.

Он снова протер туфли о траву и взобрался на камень, на котором я сидел, как будто поднялся в дом. Теперь он сидел на камне и мирно следил за мной, пока я выжимал мокрые от снега рубашку и брюки.

— Может, пойдем к сванам, там Валико, — сказал он, выждав, пока я оденусь.

Валико — заведующий фермой — маленький, худой, издерганный животноводческими заботами человек. За последнее время отношения с пастухами у него несколько осложнились. Председатель приказал высчитывать из труднейшей пастухов стоимость выпитого молока по слишком высоким,

почти городским ценам. И хотя никто не мог проверить, сколько пастухи пьют молока и никто их в этом не ограничивал, да и не мог ограничивать, сама эта мера на бумаге выглядела солидно. Она доказывала вышестоящим лицам, что в хозяйстве колхоза ведется строгий учет.

— А что он там делает? — спросил я.

— Кто-то скот пригнал на наши пастбища. Пошел узнать.

— А далеко?

— Отсюда видно, — сказал Датуша и слез с камня.

Я посмотрел на озеро и подумал, что несколько минут тому назад хотел остаться здесь на всю жизнь, но не пробыл и часа.

Мы обогнули его и вышли на обрывистый край лужайки.

Под нами расстилалась большая, зеленая, плавно уходящая ложбина с рыжими и черными пятнами пасущихся коров, со светлой зеленью травы и темной зеленью пихт, как сказочные витязи стоящих на краю ложбины. Между стволами пихт виднелось бревенчатое строение.

Мы спустились в ложбину по крутой тропе, терпеливо петляющей между скалами.

Мы прошли под пихтами и вышли на лужайку, где стоял сванский дом, сложенный из золотистых тесаных бревен невероятной толщины. Рядом с домом стоял такой же сарай. Казалось, строения были выдержаны в каком-то неведомом богатырском стиле. К углу дома была привязана маленькая сванская лошадь.

Вошли в дом. В большой светлой комнате с ярко пылавшим очагом сидело несколько мужчин. Среди них был и наш Валико.

Мужчины встали и поздоровались с нами, не особенно удивляясь нашему приходу.

Пожилой широкоплечий сван что-то сказал женщине, стоявшей у окна с веретеном. Я сначала ее не заметил. Она что-то сказала в другую смежную комнату, и оттуда вышла совсем юная девушка с глазами большими и темными, как колодцы. Она вынесла два стула и, оглядев нас с любопытством, довольно смелым для этих мест, ушла в другую комнату.

— Как попали? В чем дело? — быстро и тревожно спросил Валико, и на его худом лице задвигались желваки.

— Он купался в озере, — сказал Датуша, глупо улыбаясь, как будто он привел меня сюда показывать сванам.

— В самом деле? Расскажите, как было, — оживился Валико. Он явно ждал худших вестей. Он подмигнул сванам: дескать, подождите и узнаете кое-что забавное. Мы говорили по-абхазски, поэтому они нас не понимали.

Я ему рассказал, как было дело, невольно входя в роль городского чудака. Пока я говорил, сваны вежливо молчали. Их было трое. Пожилой, широкоплечий, видимо хозяин, молодой парень, обесцвеченный городской одеждой, и старик со свирепым бельмом на глазу. Старик сидел с краю поближе к огню, держа неподвижно вытянутую ногу на посохе. Так раненые держат ногу на костыле.

— Ну и как, на дно не тянуло? — спросил Валико.

— Нет, — сказал я, — только вода была очень холодная.

— Конечно, очень холодная, — подтвердил Валико, как бы радуясь, что предупреждение пастухов отчасти сбылось.

Он повернулся к сванам и стал переводить им по-грузински мои слова. Говорил он по-грузински довольно плохо, так что я почти все понял. По его словам, мое купание в озере было похоже на борьбу Давида с Голлиафом. Ему хотелось польстить сванам. Все-таки это было их озеро. Сначала я немного боялся, что они обидятся на меня за то, что я нарушил грозное поверье. Но потом я заметил, что никто не обиделся. Они почти одновременно заговорили между собой гортанным орлиным клекотом, поглядывая на меня и прищипывая. Потом хозяин перешел на грузинский язык и что-то сказал Валико.

— Он спрашивает, зачем ты полез в озеро, — сказал Валико, давая знать, что сам он только из вежливости присоединяется к любопытному хозяину.

— Просто так, — сказал я.

Сваны усмехнулись, а старик с бельмом что-то сказал, и все трое рассмеялись.

— Он говорит, что ты хотел поймать сванского бога, — перевел Валико.

— Нет, нет, — сказал я по-русски, обращаясь к старику, и замахал рукой.

— Да, да, — неожиданно сказал старик по-русски.

Сваны опять рассмеялись. Старик еще что-то сказал, после чего сваны вовсе расхохотались.

— Он говорит, что сванский бог работает на лесозаготовках, — перевел Валико.

В дом вошла женщина лет тридцати и быстро прошла в другую комнату. В руках она держала деревянную миску с мукой. Было слышно, как она тихо переговаривается с девушкой. Потом послышалось равномерное шлепанье ладоней о сито.

Хозяин и сваны о чем-то переговаривались между собой. Женщина, которая все это время молча стояла у окна, оставила свое веретено и вышла из дому. Она вышла во двор, и в открытую дверь было видно, как она подошла к кольям, на которых сушились сванские шапочки, видимо изделие ее рук. Она примерила каждую шапочку и, наверное, решив, что они еще не досушились, снова повесила их на колья. Было что-то странное в том, как она примеряла эти шапочки, может быть, то, что она это делала без привычного для глаз женского кокетства. Она их примеряла с той отвлеченной безразличностью, с какой крестьяне примеряют топор к топорщику.

— Это старшая жена хозяина, — сказал Валико, заметив, что я слежу за ней. — Удивительная женщина...

— Почему?

— В прошлом году она здесь осталась одна. Неожиданно пошел снег и перекрыл все дороги. Они живут в деревне, а это их летний дом. Снег шел несколько дней подряд и завалил дом до самой крыши. Она одна просидела в этом доме сорок дней, пока не ударили морозы.

— Сорок дней не всякий мужчина выдержит, — добавил Валико, как бы намекая, что если и есть такие мужчины, то, во всяком случае, не в городе.

Женщина вошла в комнату и молча взялась за веретено. Кружащееся веретено медленно двигалось вниз, вытягивая и закручивая нить из большого клона шерсти, который она держала одной рукой. По мере того как спускалось веретено, она подымала руку все выше, чтобы вытянуть нить подлинней. Видимо, она догадалась, что Валико говорит о ней, потому что посмотрела на него и улыбнулась. И потом продолжала улыбаться, слушая его рассказ. Так улыбаются взрослые, слушая болтовню детей, в которой смешаются привычные взрослые понятия.

Я пытался себе представить эти сорок дней одиночества, когда вокруг ни одной живой души, только свист горной метели и мертвый шорох снега.

— Спроси, что она делала все эти сорок дней.

— Фуфайки вязала, — перевел Валико ее слова, и она продолжала все так же улыбаться, когда Валико переводил.

В комнату вошла девушка и, раздвинув головешки, нагребла жар и вбросила туда чугунную жаровню. Сзади к юбке ее прицепилась щепка. Девушка тряхнула юбкой, но щепка не отделилась. Так и ушла с этой щепкой на юбке в другую комнату.

— А почему она старшая жена? — спросил я у Валико, вспомнив его слова.

— У этого свана было три жены, — ответил Валико, сделав такое выражение лица, какое бывает у людей, когда они делают вид, что говорят о чем-то постороннем.

— Вторую жену ты видел, она приходила с мукой, а третья ему изменила, и он ее...

Женщина с веретеном, взглянув на огонь, что-то сказала в другую комнату, и оттуда опять вышла девушка с миской, на которой стопкой лежали сырые хачапуры. Она поставила миску с хачапурами на низенький стульчик, выволокла из огня жаровню, перевернула ее, так что посыпались искры. После этого она быстро протерла дымящейся тряпкой внутреннюю часть жаровни и шлепнула туда готовый хачапур. Она подставила жаровню к огню, приперев ее сзади низенькой колодой.

— Так что он ее? — спросил я у Валико, когда девушка вышла из комнаты, полыхнув глазами в нашу сторону. Зрачки ее глаз сверкнули, как сверкает вода в глубине колодца, если ее всколыхнуть. Девушка была очень хороша.

— Он ее выгнал из дому, но построил ей другой дом и иногда ходит к ней, — сказал Валико. — Он ее все еще любит, но уже женой не считает...

Из другой комнаты раздался сдавленный смех девушки. Я посмотрел в ту сторону и вдруг увидел в щели дощатой стены любопытствующий глаз. Через мгновение глаз исчез, и снова раздался смех. Потом она выскочила в нашу комнату, вывалила из жаровни шипящие жиром хачапуры и снова бросила перевернутую жаровню на огонь.

Вскоре хачапуры были готовы, и вторая жена хозяина застелила стол чистой скатертью, а девушка, взяв в руки кув-

шинчик с водой и перекинув полотенце через плечо, вышла из комнаты.

Мы вышли вслед за нею и стали мыть руки. Первым мыл руки старик, но прежде он вежливо предложил другим, особенно он предлагал мне, как самому дальнему гостю. После некоторых пререканий очередность была установлена, и мы все вымыли руки. Поливая Датуше, девушка отворачивалась, слегка закусив губу, чтобы не рассмеяться.

Было видно, что этому горному котенку надоело играть с клубком шерсти, но Датуша не обращал на нее внимания. Он мыл руки, вытянув их далеко вперед, чтобы не забрызгать брюки. Только теперь я заметил, что он хорошо выглядит. Подобно тому как можешь не замечать глупость красивой женщины, так можешь не заметить великолепия глупого мужчины.

— В школе учишься? — спросил я у девушки по-русски, подставив ладони под кувшинчик.

— Да, — сказала она, смущаясь, как я понял, нелепости вопроса, и добавила: — Десятый класс.

— Ого, — сказал я, — какая молодец!

— Умри, Датуша, эта девчонка тебя обставила, — сказал по-абхазски Валико, слышавший наш разговор. Датуша добродушно хмыкнул.

— Неужели у них в деревне десятилетка? — спросил я у Валико.

— А как же, — сказал Валико, как будто десятилетняя школа на уровне альпийских лугов была обычным делом. — Они богатые, у них скот, скот, — добавил он, многозначительно

подмигивая, словно намекая на то, что они что-то от кого-то прячут.

После мытья рук, одолев последнее препятствие к столу, все заметно повеселели. Старик, взглянув в мою сторону, что-то сказал, и сваны рассмеялись. Хозяин перевел Валико слова старика.

— Он говорит, чтобы ты завтра не купался в озере, а то пойдет дождь, а старику надо ехать к доктору, — перевел Валико.

— А что у него с ногой?

— С лошади упал, — сказал старик.

— Что, лошадь испугалась? — спросил я.

Сваны почему-то рассмеялись, когда Валико перевел им мой вопрос.

— Он говорит, что лошадь его не узнала, — сказал Валико.

— Как не узнала? — спросил я, чувствуя, что становлюсь назойливым и рискую попасться на розыгрыше. Мне все-таки хотелось узнать, как он упал с лошади.

Старик что-то быстро ответил, и сваны опять рассмеялись, и по смеху было видно, что они вспомнили что-то веселое.

— Слишком пьяный был, возвращался со свадьбы, — перевел Валико.

— Араки, уодка, уодка! — сказал старик энергично, давая знать, что такое дело он и сам может объяснить кому хочешь.

Мы ели жирные, сочащиеся, горячие хачапуры, и казалось, ничего вкуснее я в жизни не ел. Секрет кухни был

прост — сыра в хачапурах было больше, чем теста. После обеда вымыли руки в том же порядке.

Пора уходить. Оказалось, что старик тоже уезжает в деревню. Это его лошадь стояла на привязи. Хозяин подвел ее к дверям. Старик прислонил палку к стене, взял из рук девушки камчу и, ковыляя, вышел во двор. Хозяин хотел ему помочь, но старик отказался от помощи и, плотно вложив ногу в стремя, спокойно перекинул тело через седло. Но тут хозяин все же не удержался и вложил его больную ногу в стремя.

— До свидания! — крикнула девушка по-русски, когда мы немного отошли. Я оглянулся, но она уже вбежала в дом. У дома стоял хозяин, озаренный уже по-закатному золотящимся солнцем, стоял неподвижный, сильный, широкоплечий. Рядом с ним стояла его жена, такая же статная, как и он, и, не глядя в нашу сторону, продолжала свое бесконечное занятие. Вся ее сильная, спокойная фигура как бы говорила: гости приходят и уходят, а веретено должно кружиться.

Некоторое время мы шли молча, попевая за лошадью старика. Чувствовалось, что он ее сдерживает. Она беспокойно вертела головой, стараясь освободить поводья. Старик несколько раз оглядывался и смотрел на нас рассеянным взглядом. Мне показалось, что он что-то хочет сказать.

Когда мы прошли пихтовую рощицу и вышли на развилку тропы, он остановил лошадь и начал что-то говорить. Валико сначала улыбнулся, а потом сделал серьезное лицо и несколь-

ко раз кивнул головой старику, пока тот говорил. И потом, когда Валико переводил мне его слова, старик внимательно смотрел мне в лицо, может быть, стараясь угадать, правильно ли я его понимаю.

— Он говорит: не думай, что они боятся озера. Им дедами завещано беречь такие места от порчи.

Я кивнул головой старику в знак того, что хорошо его понял, и старик ударил лошадь камчой, и она пошла быстрым шагом, время от времени пытаясь перейти на рысь.

Он ехал навстречу солнцу, и мы еще некоторое время видели его прямую спину над рыжим крупом лошади. А потом лошадь и всадник превратились в один стройный неразделимый силуэт, движущийся в сторону заходящего солнца.

И только когда мы выбрались к озеру и остановились передохнуть, околдованные его невидимым внутренним журчанием, я вдруг подумал о беззащитности его красоты и по-настоящему глубоко понял, что означали слова старика.

Мне вначале показалось, что, говоря о порче, он имел в виду сглаз или что-то в этом роде. Но то, что он сказал, было глубже и проще. Сваны хотели, чтобы красота этого озера навсегда осталась заповедной. Водяной же, или сванский бог, которого они когда-то поставили сторожить это озеро, теперь мало кого пугал. Люди стали догадываться, что ружье у сторожа не стреляет.

Я думал о пошлости, вечном браконьере красоты, о наивности, и о человеке, который, как буйвол, сам пашет и сам топчет.

Было уже темно, когда мы перешли перевал и медленно, почти ощупью спускались к нашему лагерю. Луч карманного фонарика, который держал Валико, не мог сразу светить всем, и мы спускались осторожно, чтобы где-нибудь не сорваться. Но вот вышла из-за горы луна, и, хотя ее свет был не сильнее фонарика, он ложился всюду поровну, и идти стало намного легче.

Мы подходили к первому балагану, где жил Валико, и запах дыма был приятен, как голос любимого человека, которого давно не видел.

Еще издали нас встретили собаки, они кружились вокруг нас, радостно повизгивая и нетерпеливо забегая вперед. Казалось, они хотели сказать: посмотрите, что мы сделали, пока вас не было.

Мы подошли к шалашу, озаренному одиноким светом луны. На крыше балагана была распластана огромная медвежья шкура с передними лапами, свисающими над краем крыши. Из лап торчали когти, мертвые и жесткие, как гвозди. Я подумал, что когда этот медведь был жив, его когти были еще более мертвыми и жесткими.

Мы пришли как раз вовремя — пастухи ужинали. Нас усадили поближе к горящему костру.

мальчик-рыболов

Мальчик ловил рыбу с пристани. Я сразу заметил его живую фигурку среди малоподвижных старых любителей, кото-

рые, казалось, пытались и никак не могли наладить своими лесками телефонную связь с удачей.

Мелкая колюшка быстро склевывала наживку, и мальчик то и дело вытягивал шнур, снова наживлял крючки и забрасывал снасть, стараясь закинуть ее подальше от пристани. Вскоре у него кончились рачки, на которые он ловил рыбу, и он попросил наживку у одного из рыбаков. Тот хмуро посмотрел на него и протянул небольшую рыбешку. Мальчик быстро распотрошил ее, выскоблил ровные кусочки мяса и снова наживил свои крючки. Он ловко забрасывал шнур и с артистической непринужденностью тащил его наверх. Видно было, что он рыбачит не первый день.

Наконец он подсек рыбу и стал быстро вытягивать, сверкая темными прислушивающимися глазами.

— Что-то хорошее идет, — сказал он мимоходом, заметив, что я за ним слежу.

Из воды высверкнуло широкое плоское тело ласкиря. Это был крупный ласкирь, с хорошую мужскую ладонь. Мальчик даже слегка покраснел от удовольствия. Он выбрал леску и осторожно, чтобы не запутаться, отбросил в сторону ее рабочую часть. Рыба забилась о пристань. Мальчик прижал ее ладонью и вырвал крючок.

Рыбаки с завистливым равнодушием следили за ним. В этот день рыба у всех плохо ловилась.

Мальчик подхватил ласкиря за хвост и передал его тому рыбаку, у которого брал наживку. Тот стал отказываться, уж слишком высок был процент за одолжение. Но мальчик ре-

шительно бросил рыбу возле него и вернулся на свое место. Ласкирь неожиданно забился и стал передвигаться к краю пристани. Тогда рыбак взял его и сунул в корзину как бы для того, чтобы он не упал в море.

У мальчика шнур зацепился за сваю, и он стал освобождать его, раскачивая из стороны в сторону. Леска никак не отцеплялась. Мальчик лег на причал и, вытянув руку, ухватил шнур ближе к тому месту, где он зацепился. Он держал шнур на самых кончиках пальцев, стараясь быть поближе к тому месту, где зацепился шнур. Конец шнура, намотанный на плоскую деревянную катушку, лежал у него за пазухой. Пока он ерзал, свесившись с пристани, катушка выскочила у него из-за пазухи и полетела в море. Он бросил шнур и попытался поймать ее рукой, но катушка отскочила от пальцев и шлепнулась в воду. Теперь шнур держался только на свае.

Мальчик встал, поглядел по сторонам и, видимо, не найдя более подходящего помощника, обратился ко мне:

— Дядя, подержите меня за ноги, а я сниму шнур.

— Не боишься упасть?

— Не, я не упаду.

— Плавать умеешь? — спросил я на всякий случай, хотя был уверен, что он плавает.

— А как же, — сказал он и, просунув голову между железными прутьями барьера, заскользил вниз. Я поддерживал его сначала за рубашку, потом за штаны, но штаны быстро кончились, потому что они были только до колен, и крепко уцепил-

ся руками за его скользкие, гибкие лодыжки. Тело у него было легкое, как у птицы.

— Подымайте! — крикнул он через некоторое время. Мне не было видно, достал он шнур или нет. Я осторожно вытянул его наверх.

— Унесло, — сказал он, вставая и отряхиваясь.

Катушка медленно отходила от пристани. Грузило задерживало ее ход, но течение все же было сильней. Пока мы с ним возились, волна сдернула шнур, и вся снасть оказалась в море.

Мальчик некоторое время следил за ней, потом махнул рукой.

— У меня другая закидушка есть, лучше, — сказал он, стараясь унизить упущенную снасть. Он достал из карманчика, застегнутого на пуговицу, запасную. Шнур был намотан на пробковую катушку. Мальчик размотал шнур в воду, стараясь быть подальше от свай, и, когда грузило достигло дна, отпустил шнур еще на несколько метров и сунул катушку за пазуху. Загорелый кулачок его юркнул под рубашку, как зверек в нору.

Он стоял в независимой позе и делал вид, что не следит за катушкой упущенной снасти, которая все еще была на виду.

— Если бы эта моталка упала, — он хлопнул себя по груди, — я бы поплыл за ней. А ту не жалко.

Через некоторое время, когда мимо пристани проходила лодка, он сказал:

— Может, попросить их достать?

— Попробуй, — сказал я.

— Э, не стоит, — ответил он, подумав немножко, — грузило тоже слишком легкое. Черт с ней!

У него начало клевать, и он стал внимательно прислушиваться к леске. Потом быстро подсек и стал выбирать. Большой ржавый ерш висел на последнем крючке. Мальчик выхватил катушку из-за пазухи, прижал ею ерша и осторожно, чтобы не уколоться, высвободил крючок. Кулак его с зажатой катушкой опять юркнул за пазуху.

Ерш лежал, подрагивая, похожий на маленького злого дракона во всем великолепии безобразного оперения.

— Пригодится на уху, — сказал мальчик, объясняя, почему возится с такой некрасивой рыбой. Он снова забросил шнур и стал искать глазами упущенную снасть. Дощечка катушки еле заметно желтела метрах в пятидесяти от пристани. Течение уносило ее все дальше и дальше.

— Смотри, возле буйка, — сказал я.

— А, черт с ней, — сказал он. — Крючки тоже плохие. Только леску жалко.

— Я тебе дам леску, — сказал я, чтобы он успокоился.

— А у вас есть 0,3?

— Нет, — сказал я, — но у меня есть 0,15.

— Слишком тонкая, — сказал он. — Не импортная? — неожиданно добавил он.

— Нет, — говорю, — ленинградская.

— Ленинградская хорошая, — сказал он поощрительно. — Она тоже импортная.

Перед заходом солнца клев улучшился, и он до вечера поймал еще трех ласкирей, две барабульки, одну ставриду и полдюжины колючек.

— Это что, — сказал мальчик, насаживая на кукан свой улов, — я больше ловил. Я все рыбы ловил. Только петух еще не попадался. А вам петух попадался?

Я сказал, что и мне петух не попадался.

— Ничего, еще попадется, — сказал мальчик, чтобы успокоить меня. За себя он был уверен.

Уже вечерело. Мальчик смотал свою закидушку, тщательно протер крючки о штаны, потрянул кукан, чтобы убедиться, что рыбы хорошо держатся, и мы пошли. Мы с ним договорились, что в следующее воскресенье выйдем в море на моей лодке.

— У нас тоже была лодка, — сказал мальчик, — только утонула.

— Как так? — спросил я.

— Она была ненастоящая, — признался он. — Брат ее сделал из старых досточек. Но она была как настоящая, только потом утонула... Мы с братом ловили рыбу напротив дока. И увидели глиссер. Он гнался за нами.

— Почему?

— Я же сказал, лодка была ненастоящая. На такой лодке не разрешают ловить рыбу. Когда мы увидели глиссер, брат закричал: «Давай, Павлик, сматывай шнуры!»

Я начал сматывать шнуры, а он начал выбирать якорь. Он так перегнулся, что в лодку стала набираться вода,

и она стала тонуть. Мы сначала сидели в лодке, а потом встали, но она все равно тонула. Мы на ней стоим, а она тонет. Уже вода по шейку. Тогда брат сказал: «Плывем, Павлик!» И мы поплыли к берегу. Надо было рубить якорь, но нам было жалко веревку, потому что это была мамина веревка для белья.

— А глиссер?

— Они нас не догнали. Мы убежали. Потом мы спрятались у тети Мани в огороде. Вы не знаете тетю Маню?

— Нет, — сказал я.

— Мы спрятались у тети Мани, и они нас не нашли.

— За что все-таки они хотели вас поймать? — снова спросил я у него.

— Так я же сказал, что лодка была ненастоящая. Без паспорта. На такой лодке можно утонуть, а за это полагается штраф.

— А брат у тебя большой? — спросил я.

— Еще бы, он учится в шестом классе. Он начал рыбачить еще в Казахстане. А я только три года как рыбаку. А вы были в городе Казахстан?

— Казахстан не город, а республика, — сказал я.

— Нет, город, — возразил мальчик. — Я знаю, я же там родился.

Воспоминания о Казахстане, видно, возбуждали его. Он обгонял меня и заглядывал в лицо, полыхая напряженными глазами на чумазом большеротом лице.

— О, у нас в Казахстане был такой замечательный дом! Здесь нет такого красивого дома, — он махнул рукой в сторону гостиницы и всех прибрежных домов.

— Где вы его взяли? — спросил я.

— Сами построили, — сказал он гордо. — Папа и бабушка строили, а брат помогал. Но это другой брат, он сейчас в армии. Папа и бабушка строили, а он носил из леса прутья...

— Какие прутья? — спросил я, уже вовсе ничего не понимая.

— Ну, прутья. Знаете, такие маленькие-маленькие деревья..

— Значит, из них вы строили дом?

— Нет, еще были Коровины лепешки с глиной, — сообщил он доверительно. — А прутья были внутри. И доски тоже были. У нас был самый красивый дом в Казахстане...

Мы шли по прибрежной улице. Мальчик не переставая рассказывал о своих братьях, отце, бабушке. Они были самые ловкие, самые сильные и самые умелые люди на свете. Рассказывая, он успевал оглядеть все вывески, витрины магазинов, встречных собак.

— Это немецкая овчарка, — говорил он, прерывая свой рассказ. — А это бульдог, а это дворняжка...

Он смело проходил мимо бродячих собак, ничуть не стонясь, как храбрый мимо храбрых. Чувствовалось, что он смотрит на собак, как на зверей, может быть, и опасных, но все-таки из своего мальчишеского царства.

Какой-то мальчик, заметив моего спутника, разогнался с воинственным воплем: «Попался, гречонок!» Но в последнее мгновение, видимо заметив, что тот не один, развернулся и пробежал мимо, как будто бежал по каким-то своим надобностям. Павлик не только не испугался, но даже и не посмотрел в его сторону.

Я решил выпить турецкого кофе и угостить мальчика конфетами. Мы зашли в летнюю кофейню, уселись за столик, и я заказал два кофе. Конфет не оказалось, и я решил купить их где-нибудь в другом месте.

— Папа говорит, что всю жизнь положил на этот дом, — сказал мальчик, оглядевшись и быстро освоившись с новым местом.

— Почему? — спросил я, хотя этот казахстанский дом начинал мне надоедать.

— Потому, что ему на ногу упало бревно, и он заболел. Мы думали, что он умрет, но умер дедушка. А папа живой, только ему отрезали ногу.

Официантка принесла две чашки кофе. Становилось прохладно, поэтому кофе было особенно приятно пить. Но мальчик наотрез отказался от кофе.

— Что я, старик, что ли, — сказал он с достоинством, — такой кофе пьют только старики...

Старик с четками, сидевший за соседним столиком, посмотрел на нас и улыбнулся. Потом он обратил внимание на кукан с рыбой. Он смотрел на рыбу гроздь, как на детские четки.

— Отчего умер дедушка? — спросил я, потому что понял: он должен, так или иначе, рассказать свою историю.

— У него разорвалось сердце, — сказал мальчик. — Ему было так жалко папу, что он всю ночь плакал, а потом у него разорвалось сердце...

— Откуда вы узнали, что он плакал всю ночь? — спросил я, не знаю почему. Может быть, мне хотелось, чтобы вся эта история оказалась его выдумкой.

— Так у него утром вся подушка была мокрая. Он думал, что папа умрет, и ему было очень жалко папу.

Я вспомнил своего школьного товарища. Он тоже тогда уехал в Казахстан, и я о нем с тех пор ничего не слышал. Обычно переселенцы из одних мест старались, если это было возможно, держаться вместе. Я подумал, что, может быть, мальчик о нем что-нибудь знает или слышал.

— А он рыжий? — спросил мальчик, выслушав меня.

— У него отец каменщик, — сказал я. — Твой же папа тоже каменщик?

— А он с усами? — спросил мальчик настороженно. На этот вопрос я ему не мог ничего ответить. Когда его увозили, он был вообще безусый.

— Мой папа не любит усатых, — сказал мальчик. — Он больше всего на свете не любит усатых.

— Почему?

— Не знаю, — сказал мальчик, радуясь моему удивлению и сам радостно удивляясь. — Так он добрый, но усатых не любит... Он даже с ними не здоровается на улице. Папа говорит

всем нашим знакомым: «Если вы меня уважаете, не носите усы!» И никто не носит, потому что все уважают папу.

— Но почему же он не любит усатых?

— Не знаю. Он нам не говорит почему. Не любит, и все. Брат мой, когда приезжал из армии, имел усы. Он не хотел их отрезать. Но потом он уснул, и папа отрезал ему один ус, другой не успел, потому что брат проснулся. Если б ему кто-нибудь другой отрезал ус, он бы его одной рукой убил на месте. А папе он ничего не мог сделать, поэтому сам отрезал себе второй ус. Но все равно было видно, что у него были усы. Потом, когда мы обедали, папа ему сказал: «Выпьем за твои усы». А мама сказала: «Лучше выпейте за то, чтобы он жив-здором домой воротился». — «Нет, — сказал папа, — мы выпьем за его бывшие усы». Они выпили, и брат совсем перестал сердиться на папу, потому что в армии он стал человеком.

Расплачиваясь за кофе, я случайно вытащил вместе с мелочью ключ от лодки. Когда официантка отошла, мальчик спросил:

— Что это за ключ?

— От лодки.

Он рассмотрел ключ и разочарованно вернул. Ключ был ржавый и старый.

— Если бы у моего папы был такой ключ, он бы его выкинул в море...

— А кто твой папа?

— Он чистильщик, — ответил мальчик. — Он работает возле Красного моста, у него очень хорошее место. До этого он работал сторожем в военной санатории, но его оттуда выгнали, потому что кто-то ночью вошел в клуб и украл красную скатерть со стола. Папа не был выпивши и не спал, но начальник ему не поверил...

Но тут мы подошли к лоточнику, и мальчик, неожиданно перескакивая на более приятную тему, предупредил:

— Здесь плохие конфеты.

Конфеты были и в самом деле неважные, самые дешевенькие.

Мы вошли в кондитерскую. В буфете под стеклом рядами стояли пирожные, розовые, сочащиеся, с кремовыми финтифлюшками. Мальчик притих и уставился на витрину: так смотрят сухопутные дети на аквариум с разноцветными рыбками.

— Выбирай, — сказал я ему.

Он вздрогнул и улыбнулся застенчивой, милой, ждущей чуда улыбкой.

— Не надо, — сказал он и остановил руку, которая сама потянулась к тому месту витрины, где лежали пирожные с самым пышным слоем крема.

Я заставил его выбрать два пирожных.

— Кто он вам? — спросила буфетчица и проницательно посмотрела на мальчика.

— А что? — сказал я.

— Ничего, — ответила она и положила пирожные в тарелку.

Я заказал кофе с молоком, и мы уселись за столик. В кондитерской он чувствовал себя не так уверенно, как в кофейне. Может быть, потому что кофейня была под открытым небом. Он не знал, куда деть рыбу, и, наконец, осторожно уложил кулан на колени. Казалось, он хотел иметь как можно меньше точек соприкосновения с предметами кондитерской: сидел на краешке стула, кусал пирожное и прихлебывал кофе, стараясь не притрагиваться к столику.

Официантка разносила чебуреки, и, когда запах жареного дошел до нас, я понял, что надо заказать еще пару чебуречин. Надо было начинать с них, но и в этом порядке было видно, с каким удовольствием он ест. Я заказал ему еще стакан кофе.

Я глядел, как он ест, и вспомнил, как однажды в детстве тетка привела меня в кондитерскую. Мы ели кулич и запивали таким же кофе с молоком. Тетка была с подругой, и я решил, что по законам приличия надо от чего-нибудь отказаться. Я отказался от второго стакана кофе, хотя мне хотелось выпить еще один стакан. Сейчас даже трудно представить, до чего мне хотелось выпить еще кофе с молоком. Но я отказался, и отказ мой был принят легко и даже, как мне показалось, облегченно, поэтому я не решился попросить еще один стакан. Кулич был очень вкусный, но есть его без кофе тоже было почему-то неприлично. Мне пришлось старательно растягивать свой стакан кофе, чтобы его хватило на весь кулич.

Когда мы вышли с мальчиком на улицу, было уже совсем темно, и я решил проводить его до автобусной остановки.

Всю дорогу он мне рассказывал какую-то бредовую историю, где эпизоды армянской резни в Турции перемежались с действиями партизан во время Отечественной войны. Я запутался и устал, пытаясь уловить смысл в его рассказе. Мне показалось, что он слегка опьянел от кофе. Видимо, он импровизировал свой рассказ. Так как до автобусной остановки было не очень далеко, он спешил, как бы торопясь полностью расплатиться за этот вечер.

В следующее воскресенье погода испортилась, и мы не встретились. С тех пор я его видел только один раз и то с моря. Я проходил на лодке недалеко от пристани. Он там рыбачил. Узнав меня, он помахал рукой и побежал, провожая лодку до самого конца пристани. Я его не взял в лодку, потому что пристань не имела лодочного причала, а возвращаться к берегу было лень. К тому же пограничники не разрешают брать не отмеченных при выходе пассажиров.

С тех пор я его не видел. Он живет на окраине города и обычно рыбачит в тех местах.

ДОЛЖНИКИ

Одолженец предупредительных телеграмм не шлет. Все происходит неожиданно.

Человек затевает с тобой беседу на общекультурную или даже космическую тему, внимательно выслушивает тебя, и когда между вами устанавливается самое теплое взаимопонимание по самым отвлеченным проблемам, он, воспользовавшись первой же паузой, мягко опускается с космических высот и говорит:

— Кстати, не подкинул бы ты мне десятку на пару недель?

Такой резкий переход подавляет фантазию, и я ничего не могу придумать. Главное, непонятно: почему кстати? Но одолженцы, они такие — им все кстати. Первые две самые драгоценные секунды проходят в замешательстве... И это губит дело. Ведь то, что я не сразу ответил, само по себе доказывает, что деньги у меня есть. В таких случаях труднее всего доказать, что твои деньги нужны тебе самому. Тут уж ничего не поделаешь, приходится выкладываться.

Конечно, некоторые чудаки возвращают взятые деньги, но в сущности они делают вредное дело. Ведь если б их не было, институт злостных неплательщиков долгов давно вымер бы. А так он существует и преуспевает за счет морального кредита этих чудаков.

Однажды я все же отказал одному такому явному одолженцу. Но тут же вынужден был раскаяться.

Встретились мы с ним в кафе. Я его, может быть, и не заметил бы, если б не гнусная мужская привычка оглядывать чужие столики. Наши взгляды столкнулись, и я с ним поздоровался. Мне показалось, что он достаточно прочно сидит

за своим столиком. Однако он неожиданно легко отделился от него и, радостно улыбаясь, направился ко мне.

— Привет, земляк! — крикнул он еще издали.

Я посуровел, но было уже поздно. У некоторых людей достаточно один раз неосторожно прикурить, чтобы они потом всю жизнь вас называли земляком.

Я решил не допускать никакой фамильярности, а тем более панибратства. Он довольно быстро исчерпал все свои жалкие приемы предварительной обработки и, как бы между прочим, задал роковой вопрос.

— Нету, — сказал я ему, вздохнув и довольно фальшиво хлопнул себя по пиджаку, кстати, как раз по тому месту, где лежал кошелек. Одолженец сник. Я был доволен проявленной твердостью и, решив слегка смягчить свой отказ, неожиданно сказал:

— Конечно, если они тебе очень нужны, я мог бы занять у товарища...

— Прекрасно, — оживился он, — сходи позвони, я тебя подожду здесь.

Он уселся за мой столик. Такого оборота дела я не ожидал.

— Но он далеко живет, — сказал я, стараясь погасить его неожиданный энтузиазм и вернуть первоначальную атмосферу безнадежности.

— Ничего, — ответил он радостно, не давая мне погасить свой энтузиазм, а также вернуть первоначальную атмосферу безнадежности. — Я буду пить кофе и ждать, — добавил он,

доставая сигарету из моей пачки, лежавшей на столе, как бы полностью отдаваясь на мое попечение...

— Так я уже заказал себе обед, — сказал я, незаметно для себя переходя в оборону.

— Пока его принесут, ты успеешь сбежать. В крайнем случае я его съем, — сказал он, — а ты себе потом еще закажешь...

Словом, бой был проигран. Против природы не попрешь. Если ты не умеешь врать экспромтом, лучше не берись.

Пришлось в слякоть уходить из теплого кафе на улицу. Собственно говоря, звонить было некуда, но я зашел за угол и юркнул в телефонную будку.

В этой будке я просидел минут пятнадцать. Вынул из кошелька нужную сумму денег и положил в карман. Потом вынул стоимость обеда и положил в другой карман. Кошелек сунул на место. Теперь он был почти пустой.

После этого я медленно возвратился в кафе, стараясь читать по дороге газетные витрины. Но прочитанное в голову не лезло, потому что я боялся спутать карманы и обрушить на свою голову собственное здание лжи, устойчивость которого, в конечном итоге, всегда оказывается иллюзией.

Когда я вошел в кафе, он дожевывал мой обед и собирался приступить к моему кофе. Я дал ему деньги, и он, не считая, сунул их в карман. В ту же секунду я окончательно уверился, что их обратный путь будет долгим и извилистым. Так оно и оказалось.

— Я тебе заказал кофе, — сказал он предупредительно. — Сейчас принесут.

Мне ничего не оставалось, как выпить кофе, потому что аппетит у меня пропал. Официантка принесла кофе вместе со счетом. Причем после того как я расплатился за съеденный им мой обед, он щедро сунул ей на чай, как бы поправляя мою бестактность и изображая из себя скупающего, но все еще благородного богача...

Одолженцы, они все такие. Они широким жестом приглашают вас в такси, дают вам возможность первым войти и последним выйти, чтобы не мешать вам расплачиваться.

Говорят, Вильям Шекспир сказал, что, одалживая деньги, мы теряем и деньги и друзей. У меня получилось наоборот, то есть деньги-то я, в общем, потерял, но зато приобрел сомнительного друга.

Однажды я ему сказал, что каждый человек в Большом Долгу перед обществом. Он со мной охотно согласился. Тогда я осторожно добавил, что понятие Большой Долг в сущности состоит из множества маленьких долгов, которые мы обязаны выполнять, даже если они порой обременительны. Но тут он со мной не согласился. Он указал, что понятие Большой Долг — это не множество маленьких долгов, а именно Большой Долг, который нельзя распылять, не рискуя стать вульгаризатором. Кроме того, он обнаружил в моем понимании Большого Долга отголоски теории малых дел, давно осужденной передовой русской критикой. Я решил, что расходы на осаду этой крепости превзойдут любую контрибуцию и оставил его в покое.

Но вот что удивительно. Людям безусловно честным легче отказать в одолжении, чем субъектам с облегченной, я бы

сказал, спортивного типа совестью. Отказывая первым, мы успокаиваем себя тем, что делаем это не из боязни потерять деньги.

Куда сложнее с одолженцами. Давая им займы, мы знаем, что рискуем потерять деньги, но и они, конечно, знают, что мы знаем об этом риске. Создается щекотливое положение. Своим отказом мы как бы подрываем веру в человека, в сущности наносим ему оскорбление, подозревая его в потенциальном вымогательстве.

Об одном из своих должников я хочу рассказать поподробней. Не скрою, что, кроме отвлеченной исследовательской задачи, я хочу при помощи этого рассказа частично восстановить свои филантропические убытки, а также припугнуть возможностью печатного разоблачения остальных должников. Их не так уж много. На двести с лишним миллионов жителей нашей страны человек семь—восемь. В сущности говоря, ничтожный процент. Но все-таки приятно узнать, что у человека проснулась совесть, а к тебе возвращаются без вести пропавшие деньги. Я бы сказал так: нет ничего своевременней неожиданно возвращенного долга, и нет ничего неожиданней своевременно возвращенного долга. Кажется, это неплохо сказано? Вообще, когда мы говорим о своих потерях, голос наш приобретает неподдельный пафос.

Так вот. Началось все с того, что я получил в одном месте довольно значительную сумму денег. Я не называю этого места, потому что вы там все равно ничего не получите.

Поддавшись общему поветрию, я решил приобрести себе собственный транспорт. Машину я сразу же отверг. Во-первых, надо иметь на нее права. Хотя некоторые сейчас права покупают. Но это, по-моему, глупо. Купить машину, купить права, а потом в один прекрасный день попасть в аварию и в лучшем случае лишиться машины вместе с правами. Я уж не говорю о том, что денег у меня было раз в пять меньше, чем на нее надо.

По всем этим причинам машину я отверг. Я снял с воображаемой машины одно колесо и получился трехколесный комфортабельный мотоцикл с коляской.

Однако после зрелых размышлений я понял, что мотоцикл с коляской мне не подходит, ввиду его неисправимой ассиметричности. Я знал, что эта ассиметричность будет меня постоянно раздражать и дело кончится тем, что я снесу коляску при помощи дорожного столба.

В конце концов я остановился на велосипеде и купил его. Я нашел в нем ряд безусловных преимуществ. Это самый легкий, самый бесшумный и самый проверенный вид транспорта. К тому же здесь я сэкономил на бензине, ибо двигатель его питается своими внутренними силами, находится, так сказать, на хозрасчете.

С месяц я гонял на своем велосипеде и был вполне доволен им. Но однажды, когда я ехал на полной скорости, неожиданно из-за поворота выскочил автобус. Полумертвый от страха, я вывернулся из-под его огнедышащего радиатора,

влетел на тротуар, откуда, не снижая скорости, ворвался в часовую мастерскую.

— Что случилось?! — закричал один из мастеров, вскакивая и роняя ереванский будильник, который покатился по полу, издавая многопластинчатый звон восточного барабана с бубенцами.

— Гарантийный ремонт, — сказал я спокойным голосом, ударившись о будочку кассы и неожиданно легко остановившись.

— Чокнутый, — первой догадалась кассирша и захлопнула окошечко кассы.

Я пришел в себя и, чтобы не менять выгодного впечатления, молча вывел свой велосипед. Краем глаза заметил, что у одного часовщика выпало из глаза стеклышко. Я почему-то подумал, что стеклышко часовщика и монокль аристократа имеют в своем назначении странное сходство. Часовщик при помощи своего увеличительного стекла увеличивает мелкие механизмы, а любители монокля, вероятно, думают, что то же самое происходит с людьми, на которых они смотрят.

Потом по дороге мне пришло в голову, что, шагая рядом с велосипедом, легче и безопасней предаваться мечтам, чем верхом на велосипеде, и потому решил больше им не пользоваться. В конце концов велосипедисту состязаться с автобусом все равно, что легковесу выходить на ринг против тяжеловеса.

Придя домой, я поставил свой велосипед в сарай и больше о нем не вспоминал.

Примерно через месяц к нам домой пришел мой дальний родственник и напомнил о нем. Вообще, если к вам приходит ваш дальний родственник, которого вы давно не видели, ничего хорошего не ждите. Вы пережили трудные годы становления и еще чего-то там, а он в это время пропадал черт его знает где. А потом, когда вы встали на ноги и даже приобрели собственный велосипед, он как ни в чем не бывало приходит к вам домой, улыбается всеми своими тридцатью двумя резцами и начинается великое кумовство.

Представьте себе крепыша небольшого росточка, в негосгораемой кожаной тужурке, с мощным мозолистым рукопожатием. Работает в городе на бензоколонке, а живет в деревне в десяти километрах от города. Он еще крестьянин, но уже рабочий... Он воплощает в одном лице оба победивших класса.

И вот стоит передо мной этот самый Ванечка Мамба, и такая сила жизни прет из каждой складки его кожаной тужурки, лучится в золотистых глазах, в плотных зубах, похожих на костяшки газырей, что кажется, захочет — и выпьет пивную кружку бензина, закурит сигарету, и ни черта с ним не будет.

— Привет, — говорит и жмет руку. Такое, знаете, крепкое рукопожатие волевого мужчины.

— Здравствуй, — говорю, — Ванечка, какими судьбами?

— Слыхал, велосипед продаешь, хочю купить.

Не знаю, откуда он взял, что я продаю велосипед. Я даже не подозревал, что он знает о его существовании. Но Ванечка

Мамба один из тех людей, которые знают о вас больше, чем вы сами о себе. «А почему бы не продать, — думаю я, — очень даже кстати...»

— А что, — говорю, — продам.

— Сколько?

— Сначала посмотри...

— А я уже смотрел, — говорит он и улыбается, — вижу, са-рай открыт...

Велосипед стоил рублей восемьсот старыми деньгами. Скинул сотню на амортизацию.

— Семьсот...

— Не пойдет.

— А сколько дашь?

— Триста!

Ну, думаю, сейчас начнется встречный процесс. Один будет повышать, другой понижать. В какой-то точке интересы сольются.

— Хорошо, — говорю, — шестьсот.

— Брось, — говорит, — трепаться, триста рублей на улице не валяются.

— А велосипед, конечно, валяется?

— Кто же сейчас ездит на велосипеде? Одни сельские почтальоны.

— Зачем же ты покупаешь?

— Мне на работу далеко ездить, я временно, пока машину не купил.

— Покупаешь машину, а торгуешься из-за велосипеда.

— Потому, — говорит, — и покупаю машину, что торгуюсь из-за велосипеда.

Ну что ты ему скажешь? На то он и Ванечка Мамба, человек хорошо известный в нашем городе, особенно в шоферских кругах.

— Ну хорошо, — говорю, — за сколько купишь?

— А я сказал. Не пойдешь же ты с ним на толчок.

— Не пойду.

— В коммиссионке тоже не примут.

— Ну ладно, — говорю, — бери за четыреста, раз ты все знаешь.

— Ладно, — говорит Ванечка, — беру за триста пятьдесят, чтоб и тебе и мне не было обидно. Все же мы родственники.

— Черт с тобой, — говорю, — бери за триста пятьдесят. Но откуда ты узнал, что я продаю велосипед?

— А я, — говорит, — видел, как ты едешь на нем. Думаю — этот долго не наедит: или разобьется, или продаст.

Ванечка хозяйственно оглядел комнату и говорит, опять же улыбаясь всеми своими газырями:

— Может, еще чего продашь?

— Нет, — говорю, — пока с тебя хватит.

Мы вышли из комнаты. Я стоял на крыльце, а он спустился во двор и вывел из сарая велосипед.

— А где же, — говорит, — насос?

— Пацаны стащили.

— Ну вот, а еще торговался, — говорит Ванечка, садится на велосипед и, объезжая двор, поучает: — Надо повесить замок на сарай. Я тебе привезу хороший замок.

— Замок, — говорю, — не твоя забота. Ты мне деньги давай.

— Вот в воскресенье продам груши и привезу деньги, — говорит Ванечка и, не слезая с велосипеда, выезжает со двора.

Не понравилось мне это. Но что поделаешь, как-никак родственник, хоть и дальний. Я и раньше говорил, что лучше один близкий друг, чем десять дальних родственников. Но не все это понимают, особенно в наших краях.

И вот встречаю его через неделю на улице.

— Ну как, продал груши?

— Продал, но сам знаешь, в этом году на них такой урожай, что выгодней свиньям скормить.

— Что ж, ты ничего не выручил?

— Да выручил бабам на тряпки. Сам знаешь, у меня пятеро девчонок. Да еще жена беременная. Одно разорение от этих зараз.

— Что ж ты, — говорю, — жену мучаешь, хватит хулиганить.

— Мне, — говорит, — мальчик нужен. А деньги за мной не пропадут. Скоро виноград поспеет, а там хурма, а там мандарины. Как-нибудь выкручусь.

— Ну, — говорю, — давай, выкручивайся.

На том и расстались. С должником приходится считаться. Должника лелеешь, иногда даже приходится распускать слухи о его честности.

Но вот пришел сезон винограда, потом отошла хурма, появились мандарины, а Ванечка все не идет.

Как-то узнаю стороной, что жена его опять родила дочку, и я решил напомнить о себе под видом поздравительного

письма. Так, мол, и так, поздравляю с очередной дочкой. Как-нибудь заходи, я живу на старом месте. Посидим за бутылочкой вина, поговорим о том о сем.

Через неделю пришел ответ. Ну и почерк, пишет, у тебя хреновый, старшая дочка едва разобрала. Спасибо, говорит, за поздравление, еще одну дочку жена родила. Совсем запутался в именах. У нас, говорит, в деревне электричество провели. За него тоже надо платить. За долг помню, но ничего, Ванечка Мамба как-нибудь выкрутится. А в конце письма еще спрашивает, купил ли я замок на сарай. Если не купил, говорит, я тебе привезу.

Ну, думаю, пропали мои деньги. Так и не виделся с ним до следующего лета. Про долг почти забыл.

Как-то иду по базару, слышу, меня кто-то окликает. Смотрю, стоит Ванечка Мамба за целой горой арбузов. Хрустит большущим ломтем, сверкает зубами, кричит:

— Мамбавские арбузы, налетай, пока сам не съел! — Какая-то женщина спрашивает меня, что это за сорт — мамбавские арбузы.

— Вы не знаете мамбавские арбузы? — смеется Ванечка и, нащиплив на нож кусок мясистой мякоти, сует гражданке прямо в лицо.

— Я не хочу пробовать, я только спрашиваю, — стыдливо отстраняется гражданка.

— Я не прошу покупать, я прошу только попробовать мамбавские арбузы! — почти рыдает Ванечка.

В конце концов гражданин пробует, а попробовав, не решается не взять. Смотрю, на каждом арбузе выскоблено, как фирменный знак, буква «М».

— Что это еще, — говорю, — за меченые атомы?

— Это мы с одним стариком везли из деревни арбузы, так я, чтоб не перепутать, переметил свои.

А сам смеется. Не успел я ему напомнить о долге, как он сунул мне в руку довольно увесистый арбуз. Я попытался отказать, но Ванечка взорлил:

— Родственники мы или нет? С огорода! Свои! Некупленные!

Пришлось взять. С подаренным арбузом в руке говорить о долге было как-то неудобно, и я промолчал. Черт с ним, думаю, хоть арбуз получил за велосипед.

Потом мне рассказывали, что он здорово накрыл этого старичка. Пока они ехали на грузовике верхом на своих арбузах, старичок заснул, а Ванечка успел переметить своим пиратским ножом два десятка стариковских арбузов. Вот они, мамбавские арбузы!

Через полгода с одним приятелем я случайно заехал на бензоколонку. Товарищу надо было заправить машину. Смотрю, Ванечка мой ходит вокруг «Волги» и с такой угрюмой доброжелательностью поливает ее из шланга.

— Привет, — говорю, — Ванечка. Ты что, мойщиком стал?

— А, — говорит, — здравствуй. — Выключает свой шланг и подходит. — Ты что, в самом деле ничего не знаешь?

— А что я должен знать?

— Я же купил «Волгу». Это моя «Волга».

— Молодец, — говорю, — слов на ветер не бросаешь.

— А еще родственник, — жалуется Ванечка, обращаясь к товарищу. — Когда он купил велосипед, я узнал об этом. А когда я купил «Волгу», он ничего не знает. Где же справедливость?

— Про велосипед, — говорю, — лучше не вспоминай.

— Не, — говорит, — я тебе за него заплачу, хоть это был и барахлинский велосипед да еще и без насоса. Но сейчас я затеял дом строить, весь в долгах. Вот построю дом, сразу со всеми расплачусь.

— Фрукты, — говорю, — небось возишь?

— Не говори, одно разорение. Автоинспекция сбесилась. Или совсем не берут или берут так много, что невыгодно возить.

Когда мы отъехали, товарищ мой сказал:

— Этот твой Ванечка махинации устраивает с бензином. Попадется.

— Пусть попадется, — говорю, хотя был уверен, что он не попадется.

Через некоторое время встречаю одного нашего общего знакомого.

— Слышал, Ванечку Мамба в тяжелом состоянии в больницу свезли?

— Что случилось, — говорю, — бензоколонка взорвалась?

— Нет, — говорит, — в яму с известковым раствором упал.

Он же дом строит.

— Ничего, — говорю, — Ванечка выкрутится как-нибудь.

— Нет, — говорит, — не жилец.

Пролежал Ванечка в больнице с месяц. Хотел я было навестить его, да как-то неудобно стало. Думаю, решит, что пришел за деньгами. А потом слышу, — встал, выкрутился. Я был в этом уверен. Слишком у него много дел на этом свете осталось, да еще таких, что другому не поручишь. Не справится.

Прошел год. Однажды передают мне приглашение из деревни: у Ванечки двойной праздник, новоселье и сын родился.

Насмотрелся я на эти празднества. Приглашают человек двести, триста, за стол начинают сажать часов в двенадцать ночи. Пока все приготовят, пока дождутся прихода начальства. А главное, приношения. Стоит посреди двора деревенский глашатай, рядом с ним сидит девочка за столиком. Она слюнявит карандаш и записывает в ученическую тетрадь, кто что принес. Подарки деньгами, но больше натурой.

— Ваза прекрасная, как луна, — кричит глашатай, высоко поднимая ее над головой и показывая всем гостям. — Чистая и прозрачная, как совесть дорогого гостя, — импровизирует он.

— Одеяло русское, — кричит глашатай, вдохновенно разворачивая стеганое одеяло. — Под таким можно уложить целый полк, — бесстыдно добавляет он, хотя размеры одеяла самые обыкновенные.

Особенно в этом отношении отличаются бзыбцы. Они слова не могут сказать без преувеличения. Пока глашатай красноречив, гость с комической скромностью стоит перед ним, низко опустив голову. На самом деле он искоса сле-

дит за девочкой, чтобы она правильно записала его фамилию и имя. Потом он присоединяется к зрителям, а глашатай уже превозносит следующий подарок.

— Скатерть царская, — кричит красобай и жестом деревенского демона вскидывает в руках скатерть.

Одним словом, это своеобразный спектакль. Конечно, если ты пришел без подарка, тебя никто не прогонит, но общественное мнение создается.

В общем, я не поехал, но все же послал ему поздравительное письмо, уже без всяких намеков.

Как-то стою на привокзальной площади одного из наших районных городков и думаю, как бы мне добраться домой: то ли ехать на электричке, то ли ловить попутную...

Слышу, кто-то окликает меня. Смотрю — Ванечка выглядывает из «Волги».

— Ты как сюда попал?

— В командировке был. А ты что?

— Да вот в Сочи прошвырнулся. Садись, подвезу.

Сел я рядом с ним, и мы поехали. В машине стоял устойчивый субтропический аромат контрабанды. После больницы я Ванечку ни разу не видел. Он почти не изменился, только лицо слегка обесцветилось, как будто его промокашкой обсушили. Но все такой же веселый, зубы блестят.

— Получил, — говорит, — твое письмо. Кутеж был отличный, напрасно не приехал.

— Как это ты в яму с известью попал?

— Да-а, неохота вспоминать. Чуть концы не отдал. Можно сказать, уже там был. Зато у меня сын родился через эту яму.

— Как так?

— Я думаю так, что у меня для пацана извести в организме не хватало.

— Ну, извести у тебя хватало.

— Кроме шуток, — смеется Ванечка, — может, я научное открытие сделал. Напиши в какой-нибудь журналчик — деньги пополам. Хотя тебя не напечатают.

— Это почему? — насторожился я.

— Почерк у тебя никудышный, — говорит, — не станут разбирать.

— Брось, — говорю, — травить. Лучше расскажи, как дела.

— Да как сказать, — тянет Ванечка, а сам включил одной рукой радио, нащупал джаз, выровнял, отпустил.

— Порядка нет, — неожиданно добавил он, — вот что плохо.

— Что это ты стал заботиться о порядке?

— Вот возил в Сочи мандарины. На двести километров четыре инспектора, разве это порядок? Нет, ты не перебивай, — добавил он, хотя я и не думал его перебивать. — Трое берут, четвертый отказывается. Разве это порядок? Договоритесь между собой в конце концов! Или совсем не берите или берите все. Не могу же я сказать, что с троици уже поладил. Это же нечестно?

— Конечно, нечестно, — говорю, а сам думаю: интересная вещь это, честность. Неудивительно, что каждый кроит ее по-своему. Удивительно, что никто без нее обойтись не может.

— Хорошо, — говорю, — Ванечка. У тебя есть машина, есть дом, есть сын. Брось ты это все, что тебе еще надо?

— Улики, — говорит, — еще хочу завести.

— Какие такие улики?

— Пчелы. Мой сад обжирают чужие пчелы. Лучше своих заведу. Попробую.

— Ну, — говорю, — попробуй. Чего ты только еще не пробовал.

— Хорошего пчеловода не знаешь?

— Нет, не знаю.

Помолчали немного. Но Ванечка бесплатно молчать не любит.

— Послушай, что это за кампания пошла насчет домов?

— А что, тебя беспокоят?

— Сам знаешь, всякие завистники. Жалуются. Откуда, мол, дом, машина... Председатель уже вызывал.

— Ну и что?

— Я ему говорю, когда комиссия или там делегация — ты их ко мне приводишь. Вот, мол, зажиточный крестьянин. А сейчас продаешь?

— А он что?

— С меня, — говорит, — тоже спрашивают...

Мы так и не договорили. Случилось неожиданное.

Мы ехали с большой скоростью, но, хотя дороги наши выражают, я был спокоен. Ванечка и в армии пять лет просидел за рулем и вообще прекрасно чувствует машину. Сейчас мы въезжали в черту города, а он вроде и не собирался снижать скорость. И вот у автобусной остановки напротив вокзала женщина вырывается из очереди и, как очумевшая овца, бежит через улицу. «Не успеем!» — мелькнуло в голове, и в то же мгновение раздался скрежет тормозов, шипение волоочащейся резины, крик толпы. Машина ударила женщину, отбросила ее на несколько метров и остановилась.

К женщине подбежали люди. Подняли ее, стали уводить в сторону. У нее было бледное одеревеневшее лицо. Но вдруг она неожиданно затрясла руками и стала гневно отбиваться от помощников.

Какой-то парень подбежал к машине, заглянул в нее и заорал:

— Что стоишь, Ванечка, газуй!

Ванечка дал задний ход, вырулил на привокзальную площадь, вырвался на автостраду и так газанул, что фары проносились мимо нас, как метеоры. Минут десять мы ехали с такой пожарной скоростью, и каждую секунду я ожидал, что вот-вот мы отправимся в те места, откуда Ванечка, может, и выкарабкается, но на себя я не очень надеялся.

— Ты что, сбесился, — кричу ему. — Тише!

— Чанкайшист присосался!

Я оглянулся. За нами мчался мотоцикл автоинспектора. Ванечка завернул в переулок, и машина, вибрируя, запрыгала

по булыжной мостовой. Мотоцикл исчез было, но через несколько секунд снова появился в конце квартала. Ванечка завернул в совсем глухой переулок, проехал его и вдруг так резко затормозил, что я ударился головой о дверцу, за которую держался. В двух шагах от машины зияла свежерытая яма, рядом валялась бетонная труба. Ванечка попробовал дать задний ход, но машина забуксовала. Грохот мотоцикла нарастал, как железный рок.

Через несколько секунд рядом с нами остановился мотоцикл автоинспектора. Он заглушил мотор и подошел к нам пружинистым шагом укротителя.

— Почему ехал с повышенной скоростью? Почему не остановился сразу?

— Не слышал сигнала, дорогой, — сказал Ванечка.

Стало ясно, что автоинспектор ничего не знает о случившемся на вокзале. Все-таки он упорно пытался что-то записать и что-то требовал у Ванечки. Ванечка вышел из машины. Я его впервые видел в таком униженном состоянии. Он просил, он умолял, он клялся, он называл общих знакомых, говорил, что они, в сущности, оба работают в одной системе. Потом я заметил, что он многозначительно кивает в мою сторону, явно превышая значение моей личности. Получалось, что он везет меня чуть ли не по заданию местного правительства. Я поймал себя на том, что незаметно для себя приосанился.

В конце концов Ванечка его уговорил. Он проводил автоинспектора до мотоцикла, так в наших краях провожают

до лошади верхового гостя. Я думаю, что он поддержал бы ему стремя, если б оно имелось у мотоцикла.

— Подумаешь, что он из себя представляет — нищий! — неожиданно сказал Ванечка, как только автоинспектор уехал. Видимо, это был новый автоинспектор, которого он не знал.

Ванечка сел в машину и закурил. Я решил, что дорожных приключений на сегодня хватит, и вышел из машины.

— Спасибо, — говорю, — мне теперь недалеко.

— Как хочешь, — говорит он и включает мотор. — А насчет порядков я тебе правильно говорил.

— Каких порядков? — спросил я, ничего не понимая.

— Улицу разрыли? Знака не поставили? Объезд не указали? Это что, порядок?

Я только развел руками.

Как-то неудобно было уходить, пока он не выбрался отсюда. Я еще постоял. Ванечка дал задний ход, и пока машина, буксуя, медленно отходила назад, я глядел на его твердое лицо с жесткой конкистадорской складкой вдоль щеки, четко озаренное государственным электричеством дорожного фонаря.

Вот такой он, Ванечка — хищный, наглый, веселый. Человек он, конечно, неглупый, но возить с ним арбузы на базар я бы никому не советовал.

После машины особенно приятно было идти пешком. Вообще я терпеть не могу всякие автомобильные происшествя. Жалко мне как-то пешеходов. Хоть я и понимаю, что жалость унижает человека, — но ничего с собой поделать не могу. Хо-

рошо, что обошлось без крови. Видно, мы эту тетку не столько ударили, сколько испугали...

Однажды, много лет назад, я шел по Москве, и у меня было очень скверное настроение. Я кончал институт, а кафедра не принимала мою дипломную работу. Что-то она им там не понравилась. Она даже в какой-то мере их испугала. Работа была достаточно глупая, но руководители кафедры, да и я, не сразу об этом догадались. Позже, во время защиты, это благополучно выяснилось, и я получил за нее хорошую оценку. А тогда у меня на душе было неважно. На улице холодно, скользко, на тротуарах мокрая наледь. И вот я вижу, как из узкого проема между домами выезжает задним ходом грузовая машина. На тротуаре двое малышей: один лет восьми, другой лет четырех. Увидев приближающийся кузов, старший бросил малыша и перешел на безопасное место. Я заорал, что было сил. Малыш ничего не слышал, он следил за уличными голубями и был в той глубокой задумчивости, в которой бывают только философы и дети. Он был так мал, что конец кузова уже беспрепятственно прошел над его головой. Я успел подбежать и выволочь его за шиворот из-под кузова. К счастью, машина шла очень медленно, была гололедица, и шофер боялся слишком резко вывалиться на улицу.

Малыш ничего не понял. Он был тщательно укутан от холода, только парная мордочка выглядывала из-под пушистой ушанки. Но ни одна мать, ни один водитель не могут предусмотреть всех случайностей. Тут-то на помощь и приходят пе-

пешеходы. Но и пешеходам помогают такие случаи. Я окончательно понял, что смысл жизни не в дипломной работе и даже не в кафедре, а в чем-то другом.

Может быть, в том, чтобы быть достойным пешеходом? В сущности, все эти машины, самолеты, паровозы — не что иное, как детские коляски, которые мы, пешеходы, тянем за собой или катим впереди себя.

После долгого сидения в чужой машине приятно и легко было идти по земле. Земля — она всегда своя, кто бы там ее и как бы там ее ни крутил. А главное — ощущение свободы и спокойствия. Не тебя несет какая-то сила, а ты сам себя несешь. К тому же ты ни на кого не можешь наехать. Конечно, на тебя могут наехать, но если так думать, и кирпич на голову, как говорится, может упасть. Главное, самому не швыряться кирпичами.

Я шел домой, и мне приятно было думать, что я в свое время не купил машину, а потом продал велосипед.

Я думаю, что лучшие мысли приходят нам в голову, когда мы передвигаемся со скоростью, не превышающей пять километров в час.

содержание

Начало	8
Петух	30
Рассказ о море	40
Тринадцатый подвиг геракла	49
Мой дядя самых честных правил... ..	70
Запретный плод	92
Детский сад	105
Дедушка	121
Лошадь дяди Кязыма	164
Время счастливых находок	182
Мой кумир	203
Письмо	231
Моя миллиция меня бережет	261
Лов форели в верховьях кодора	279
Англичанин с женой и ребенком	309
Летним днем	352
Попутчики	399
Бедный демагог	426
Ремзнк	449
Богатый портной и хиромант	525
Путь из варяг в греки	610
Слово	630
Святое озеро	642
Мальчик-рыболов	665
Должники	678

Литературно-художественное
издание

искандер
фазиль абдулович

собрание

путь из варяг в греки

Редактирование и корректура
Марина Ляхович, Мария Богданович

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Верстка
Роман Терешин

Изд. лиц. № 0985 от 17.02.2000.

Подписано в печать 13.03.2003.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага для ВХИ.
Гарнитура Петербург. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,8. Тираж 3000 экз.
Заказ № 133.

Издательский Дом «Время».
113326, Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон: (095) 231 1877.

Качество печати соответствует качеству
предоставленных диапозитивов.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

ISBN 5-94117-055-6



9 795941 117055 4